ФЕДОР ГЛАДКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ВОСЬМИ ТОМАХ

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ФЕДОР ГЛАДКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ПЯТЫЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

(1940—1945)

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

Примечания Б. Я. Брайниной

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

Каждое утро Мартын Мартынович выходил на верандочку, щурился от солнца и, словно собираясь чихнуть, нюхал воздух. До чая он не одевался, а набрасывал на плечи старое байковое одеяло и бродил по комнате, кудрявой от растений, по верандочке и по двору, если была хорошая погода. Он наслаждался утренним часом, когда воздух бывает еще синим, прохладно-терпким, с туманцем, оставшимся от ночи, с росой на траве и густым запахом земли. Домик был старенький, верандочка сизая, скрипучая, с гнильцой. Такой же деревянный флигелек врастал в землю и напротив; а налево, во дворе, стоял двухэтажный каменный дом, облезлый и грязный.

Пока шумел примус и грелся закопченный чайник, Мартын Мартынович бродил по саду. Этот сад занимал другую половину двора и отделялся от жилой части грядой акаций. Акация уже дымилась пушистой зеленью, а площадка между верандочкой и садом была чисто выметена.

Он останавливался между яблонями и наблюдал за размытыми облаками, которые плыли очень высоко.

Покрикивали журавли, добродушно и утомленно, и Мартын Мартынович улыбался дрожащими морщинками на лице и приветственно махал им рукою.

— Здравствуйте, здравствуйте, молодцы!.. Добро пожаловать! Ишь летят как важно!..

Страшно высоко, в дымной синеве, среди облаков, медленно и упруго летел на север треугольник птиц с вытянутыми длинными шеями. Тускло поблескивали крылья на солнце, и птицы стремились одна за другой удивительно стройно. Передовой журавль, вожак, будто тянул всех на своих крыльях.

Высокий, поджарый, с серой бородкой, с провалами на висках и костистыми скулами, Мартын Мартынович казался больным и слабым. Был он похож на старого профессора в отставке, который проводит свою одинокую жизнь вдали от совершающихся событий. И всем, кто знал его, думалось, что этот чудак равнодушен к людям и не интересуется, чем живет страна; что он весь в прошлом, а настоящего не видит и не понимает; что к деревьям относится, как к людям, а к людям — как к пням.

В этом маленьком городе Мартын Мартынович прожил сорок лет и был самым старым из всех жителей. За годы революции население города обновилось, даже язык изменился. Городок был будто проходным двором или гостиницей, где люди появлялись внезапно, жили хлопотливо, самоуверенно и так же внезапно исчезали. Они оставляли после себя и хорошее, и плохое, — но всегда новое. Город стал живее, начал строиться, мостить улицы, а вдали, на голых склонах увалов, появился другой город — огромные корпуса заводов, мощная электростанция и новая железная дорога. И людей стало очень много. В деревянном домике, где ютился старик в маленькой комнатке, было тесно: в передней половине, с выходом на улицу, в четырех комнатах помещались три семьи, а рядом с ним, за стеной, жила учительница из той школы, которую он когда-то открывал и оборудовал. Эта учительница была еще молодая девушка, недавно кончившая педагогическое училище. Она была конопатенькая, с золотыми волосами, и казалась всегда сконфуженной, растерянной, неловкой. Звали ее Клавдией Николаевной, и это имя как-то не шло к ней. Она изредка заходила к Мартыну Мартыновичу посоветоваться по

методическим вопросам или разрешить некоторые сомнительные случаи правописания. Говорила она на южном диалекте — часто делала неправильные ударения (пóняла, зáняла) и произносила звук «г» придыхательно. Мартын Мартынович сердито теребил бородку, раздраженно ходил по комнате и строго внушал ей с учительским ригоризмом:

— Это, ведь видите ли, сущее безобразие, Клавдия Николаевна! Как же вы можете учить детей русскому языку, если вы не знаете нашей орфоэпии? Откуда вы откопали это «пóняла», «перéдала»?.. И какая же вы учительница, если позволяете себе выдыхать наше взрывное «Г»?.. Не годится, не годится, родная!.. Это — жаргон, а не великий русский язык...

Клавдия Николаевна густо краснела, терялась еще более, но смеялась и пристально смотрела на Мартына Мартыновича умоляющими глазами.

— Как вы интересно негодуете, Мартын Мартынович!..

Он косился на нее, останавливался и сразу же добрел.

— Негодование всегда интересно, ежели оно переходит в гнев. Негодовать скучно — значит ворчать по пустякам.

— Почему вы всю жизнь отдаете деревьям, а не людям, Мартын Мартынович?

— Я отдаю свою жизнь зеленому миру, потому что отдаю ее людям: я хочу, чтобы люди были прекрасны...

— Но ведь люди хороши только в борьбе, Мартын Мартынович.

— В грязи, в пыли, в хламе люди нехороши даже в борьбе. Человек должен жить прекрасно, во имя прекрасного. Он обязан не дичать, а постоянно облагораживаться... Так я привык думать с юности, когда стал учителем...

Клавдия Николаевна любила заходить в его комнатку, а комнатка была похожа на оранжерею: и на окнах, и по стенам, и на столе густо кудрявились растения. Даже над головой, по проволокам и шпагату, играли мотыльками вьющиеся многолетки.

— У вас, говорят, сын — летчик, Мартын Мартынович? Сами-то вы не летали еще над нашей грешной землей?

— Я люблю землю и деревья, а небо и облака — не по мне.

— Вас, Мартын Мартынович, наша действительность, кажется, совсем не затронула... Она, очевидно, проходит мимо вас...

Мартын Мартынович сердился: седые брови шевелились, бородка и усы вздрагивали, а серые глаза становились колючими.

— Что значит — не затронула? И что значит — проходит? Уличная девка, что ли, извините, эта действительность?

Клавдия Николаевна краснела.

— Как же можно жить, Мартын Мартынович, только одной страстью? Деревья, деревья... сады, бульвары, парки... А я вот не успеваю тетради исправлять... Общественная нагрузка... Ребята в классе волнуются... Сегодня хулиганы девочку избили...

— Вот, вот-с!.. Разумеется!.. — горячился Мартын Мартынович. — Но ведь это же говорит против вас... Не поучайте до изнурения, а воспитывайте... Не узда и не самоволие нужны, а самодеятельность... вдохновенная... Я не понимаю, извините-с, что такое нагрузка... Словечко-с!.. Нагрузка! да еще общественная... Мы не ослы! Не нагрузка, как ноша, а наслаждение, как возлюбленный труд...

— Ах, Мартын Мартынович, неужели вы не знаете, что такое система?..

— Чего, чего? Не система, а люди, дорогая моя... без людей нет и системы... Систему создаете вы-с...

И Клавдия Николаевна устало смотрела в угол комнаты, где стояла целая толпа плошек с маленькими деревцами, и прижимала пальцы к вискам, — должно быть, у нее болела голова от переутомления.

Мартын Мартынович сопел, щипал бородку и, странно всхлипывая, смеялся.

— Меня, дурака, всю жизнь считали одержимым... маньяком... и не догадывались, что это для меня —

высшая похвала. Это же самое сильное оружие против косности.

С некоторого времени он чувствовал недомогание: боли в пояснице, дрожь в конечностях, головокружения и странная, пугающая неразбериха в сердце. В прошлом году после одного тяжелого припадка он пошел к врачу, и этот врач — такой же старик, как и он, — неодобрительно взглянул на него из-за очков и почему-то враждебно пробурчал:

— Я не должен вам говорить... понимаете?.. Но не скрою — скверное у вас сердце: едва ковыляет... Одно, два потрясения или там этакая авария, усталость, переживание, ну и истощение, конечно... и вы — чук!.. — юркнете в небытие... В наши годы нужны только надежный покой и воздух.

С тех пор Мартын Мартынович больше о докторах и слышать не хотел.

Прохаживаясь по садику, он всегда испытывал блаженство в толпе этих кротких яблонь, кудрявых кустов смородины и крыжовника. Этот сад насадил он сам восемь лет назад. Горкомхоз дал ему эту комнатку взамен той, которую он раньше занимал в центре. Там он жил двенадцать лет, и пустой двор, заваленный полуразрушенными сарайчиками и всяким хламом, засадил яблонями, грушами, сиренью, липами. Особнячок был старый, в пять комнат, полный мышей и крыс. Квартиранты нахально ломали сирень, молодые липы, цветущие ветви яблонь, обрывали фрукты. И когда Мартын Мартынович видел в саду бритые головы этих граждан и их щебечущих жен, которые жадно ломали и грызли все, что попадалось под руку, он начинал трястись от гнева и до сердцебиения ненавидел этих людей. Он выходил в сад, стучал палкой о землю и кричал пронзительно:

— Это, ведь видите ли, свинство, граждане... Ежели хотите гулять — прошу-с... но зачем вы ломаете кусты и деревья?..

На него смотрели со смехом в глазах и подмигивали друг другу.

— Позвольте, Мартын Мартынович... что вы, собственно, волнуетесь?.. Ведь сад-то не ваш... Не для

себя же вы насадили это барахло... Вы, честное слово, как собака на сене...

Но он продолжал воевать каждый день и надоел всем до последней возможности. Ему начали мстить и уже назло ломали ветви и бросали на землю.

Он пошел в коммунхоз. Его направляли от стола к столу, и он повторял: таким людям надо дать по рукам, надо вдолбить в их башки, что сад — это драгоценность, которую нужно беречь. Его сочувственно слушали и бормотали:

— Правильно... именно... Но что вы, собственно, беспокоитесь?.. не рубят же этих деревьев... не корчуют же их... Эка, ужас, подумаешь, сломали одну-две веточки...

Мартын Мартынович познал одну ошеломляющую истину: многие, даже добропорядочные люди, которые громко кричат об этике, о честном отношении к труду, о любви к общественности, — кое в чем такие же правонарушители, как и те, которых они карают за проступки. Только те — с клеймом профессионалов, а эти — организованные граждане, работающие по найму, за вознаграждение, по такому-то разряду тарифной сетки. Так расценивал он своих соседей, ломающих цветущие ветки, рвущих зеленые яблоки, уродующих молодые посадки. Он познал, что вор-профессионал — это квалификация, которая требует затраты сил, изобретательности, ловкости. Вор-профессионал — на учете у угрозыска: это — разрушитель системы общественного распределения; он — вне общества. Это — грызун, подтачивающий общественный порядок. А вот некий легальный гражданин иногда не менее опасен, потому что он — вне подозрения. Портить и уничтожать зелень — это его удовольствие, развлечение в часы отдыха. Это бытовое воровство украшает его жизнь. Ломать ветки с молодой липы, рвать незрелые плоды, обрывать цветы, а потом бросать под ноги, как сор, — это не считается воровством и уничтожением продуктов долголетнего труда. Это, видите ли, продукт природы, а он, Мартын Мартынович, который отдает все силы на то, чтобы этот продукт создать, только треплется попусту, беспокоит по-

рядочных людей и изображает из себя шута горохового.

Особняк переделали, обновили, и в нем поселился один из ответственных работников города. Дом стал нарядным, ярко окрашенным в голубой цвет. Вокруг сада защетинилась зеленая ограда. И когда Мартын Мартынович проходил по этой улице, он видел у крыльца черный блестящий автомобиль. И потом долго не забывал этого места: обходил вокруг забора, пытливо и любовно смотрел сквозь штакетник: сад был цел, но немного дичал. Его охраняли, но предоставили самому себе. Много в нем было бурьяна, много выросло волчков, кустарники не подстригались, но липы по забору росли пышно и сочно.

Однажды он не утерпел — открыл калитку и прошел в сад. Осматривая деревья, он забылся, увлекся и начал работать ножницами и кривым ножом, как в былые дни.

— Гражданин, что вы там стрижете?

Мартын Мартынович не заметил, как к нему подошел молодой человек во френче и галифе. Засунув руки в карманы, он смотрел на него холодно и улыбался, как хозяин, который поймал вора на месте преступления. Мартын Мартынович смутился — смутился не потому, что почувствовал себя виноватым, а потому, что этот молодой человек уж очень нехорошо улыбался.

— Это кто же разрешил вам хозяйничать здесь?

Мартын Мартынович почувствовал на своем лице судорожную гримасу — эта гримаса раздирала рот плачущей улыбкой. Он здорово тогда струсил, старый дурак. Он потерял тогда свое достоинство.

Но вдруг ощутил и другое: среди этих деревьев, насаженных его руками, он не один. Эти яблони, липы, вся эта гущина зелени — это его сила и жизнь, и никто не может у него отнять право любить их. Все они — живые и сплетаются вокруг него, как надежная его защита.

— Этот сад насадил и вырастил я, молодой человек. Но здесь я не вижу заботы о растениях. Мой долг и потребность — помочь этим деревцам жить хорошо.

Молодой человек вынул руки из карманов, и черные брови у него удивленно поднялись. В глазах блеснула улыбка.

— Понимаю и догадываюсь, кто вы. Илья Осипыч, конечно, ничего не будет иметь... Я его секретарь, Защепков. Очень приятно... Пожалуйста, заходите, когда вам будет угодно...

Они прошли по всему саду, и Мартын Мартынович поучал, как подрезать деревья, как и когда подкапывать землю и окрашивать известью стволы.

— Фруктовые деревья — как дети, молодой человек. Они, ведь видите ли, требуют постоянной заботы и беспокойной любви. Мало насадить сад, — надо его создать. Озеленять жилища, насаждать бульвары, парки — это творчество, молодой человек. Это не простое ковырянье земли и втыканье саженцев, это — устроение человеческой жизни, это, ведь видите ли,— воспитание человека.

— Вы правы... — согласился Защепков. Он внимательно вслушивался в слова Мартына Мартыновича, как будто они для него были совершенно необычны и новы. — Мы как-то мало обращаем на это внимание. При нашей напряженной работе было бы дико, если бы, скажем, я занимался этой проблемой.

Защепков засмеялся и погладил бритую голову, точно хотел удостовериться, способен ли он думать о садах и скверах в его положении.

«Службист... — неодобрительно подумал Мартын Мартынович, позвякивая ножницами. —У таких адъютантов все силы идут на исполнительность и выправку».

Но Защепков понравился ему: и слушает хорошо, и молодость в глазах и жестах; по привычке сдержан, старается говорить как-то издали, оберегает себя и самоуверенно вскидывает голову. Мартын Мартынович чувствовал, что молодому человеку хочется взять у него ножницы и с удовольствием отхватить ветки у деревьев: он украдкой ловил их взглядом, сжимал и разжимал пальцы. У Мартына Мартыновича лукаво посвежели глаза; он без робости взял Защепкова под руку и повел его к яблоне. Дерево стояло еще голое,

широко разбрасывая сизые ветви. Тонкие побеги были фиолетовые, будто налитые кровью, и покрыты пепельной пыльцой и седым пушком.

— Вот-с, молодой человек... Этой яблоньке пятнадцать годков-с. Белый налив. Плоды — как лицо молодой девушки. И ухаживать за этой яблонькой нужно так же, как за невестой: чтобы забота о ней была таким же наслаждением и трогательной радостью...

— Вы поэт, товарищ Подсосов. Замечательно.

— Поэзия и есть жизнь. Вы видели картину Нестерова «Пустынник»? Глаза у старичка заметили?

— К стыду моему, не обратил внимания. К тому же, пустынников не понимаю и не люблю.

— Нет-с, молодой человек: это — вечно человеческое. Это — глаза младенца и мудреца.

Защепков с интересом вслушивался в слова Мартына Мартыновича и снисходительно усмехался.

— По-моему, это очень далеко от жизни, хотя вы и поете ей гимны.

— Возражаю. У Климентия Аркадьевича Тимирязева именно-с были такие глаза... У Пушкина тоже... Знаю-с, вы хохочете надо мной, молодой человек...

— Ну, что вы, товарищ Подсосов!.. — смутился Защепков и опять потер рукою бритую голову.

— Так вот-с... хотел было я, чтобы вы побеседовали с моим Володькой. Он вам рассказал бы больше, чем я...

— Ну, как же! Мы все гордимся вашим сыном...

— Итак-с, яблонька... Вот вам ножницы — действуйте... Это увлекательно, ведь видите ли... Начнем с волчков...

Защепков с удовольствием провел с Мартыном Мартыновичем целый час и незаметно почувствовал, что этот старик чудак стал близок ему, точно знал он его очень давно.

Мартын Мартынович начал насаждать новый сад на новом месте. Много он хлопотал о разрешении озеленить свой двор. В коммунхозе от него отмахивались, как от бездельника и маньяка. Комендант дома, всегда

мрачный человек, с черной повязкой на глазу, с неизменным, приросшим к бедру, рваным портфелем, говорил ему глухо и напряженно:

— Нечего канитель разводить, гражданин Подсосов: у нас — жакт, а не совхоз.

Помог новый друг — Защепков.

И когда планировался двор под сад, когда Мартын Мартынович сам рыл ямки, сам волочил на своих плечах деревца, сам приносил в корзинке перегной и навоз, комендант так же обозленно распоряжался:

— Вы мне сплошь засаживайте: ни одного порожнего места не оставляйте... А то вон лысины... Куда это годится!..

После завтрака Мартын Мартынович в старом пальтишке и давнишней шляпе выходил из дому и, опираясь на палку, брел на бульвар. Этот бульвар тянулся по всей улице на полверсты. Много лет назад эти липы и серебристые тополи, теперь еще голые, с разбухшими почками, сажали всей школой. Тогда деревца были ростом с ребятишек — жиденькие, беспомощные прутики, которые нуждались в уходе и надзоре. Он укреплял каждый саженец между тремя колышками и привязывал веревочками, чтобы не раскачивало ветром. Эти деревца посадил он в четыре ряда. А теперь они — могучие, и их кроны сплетаются ветвями очень высоко.

В конце аллеи, в узкой прогалине, белел фасад старинного здания с колоннами, а по сторонам, за деревьями, прилипая друг к другу и отбегая друг от друга, тянулись особнячки и двухэтажные дома.

Навстречу Мартыну Мартыновичу шли одинокие прохожие: домашние хозяйки с кошелками, советские служащие с портфелями и папками, с припухшими от сна лицами. Молодые женщины в теплых пальто подталкивали детские коляски и о чем-то тихо разговаривали.

Мартын Мартынович шагал медленно и смотрел по сторонам. Знал он каждое дерево и до мелочей помнил историю его роста. Он страдал, если видел, что

какая-то озорная рука вырезала ножичком на коре ствола всякие пошлости — имена, сердца, похожие на червонный туз, и гнусные слова. Сразу замечал он сломанную ветку, подходил к дереву и старательно ампутировал испорченный побег, который жил и разбивался несколько лет. А коммунхоз не поставил даже охраны такого богатства от воров и громил. Вот бордюр из акаций погибает: кусты помяты, изломаны, потоптаны — один хлам, грязная щетина из сухих прутиков.

С бульвара Мартын Мартынович проходил на площадь, где когда-то, тоже очень давно, он вместе со школьниками разбил сквер. В былые времена широкая площадь с собором утопала летом в пыли, а в ненастье превращалась в грязное болото. Прохожие жались к заборам и стенам домов, а по площади, увязая по ступицу, бултыхались телеги. Дрогали и деревенские мужики лупили дрожащих, замызганных грязью лошаденок и орали, надрываясь:

— Но-но!.. н-но!.. хал-лера!..

Тогда автомобилей еще не было.

По широким сторонам квадрата площади теперь облаками клубятся липы в два ряда, в середине толпятся высокие ели в бисерной бахроме, серебром переливаются березы, а между аллеями — полянки в бархатной зелени газона. Собор сейчас превращен в клуб кожевников. Кресты сшиблены, а на колокольне развевается красный флаг; колокола сброшены, и в отверстиях звонницы разворочены кирпичи.

В этот час обычной прогулки Мартын Мартынович проходил мимо клуба. Комсомольцы и комсомолки рассыпались по площадке — иные стояли группами у портала, другие бродили по дорожкам сквера. Все оживленно разговаривали, смеялись. Две девушки в легких пальто и белых беретах стояли на широких ступенях лестницы. Они в ожидании смотрели навстречу Мартыну Мартыновичу и улыбались. Может быть, они улыбались не потому, что увидели его, а просто оттого, что была весна, солнце, теплое небо, что они молоды и наслаждались жизнью, но в этих

лицах и ожидающих улыбках он почувствовал что-то милое и ласковое. Он тоже улыбнулся им, остановился и снял шляпу.

Девушки сбежали вниз и направились к нему.

— Мартын Мартынович!.. давайте познакомимся... Заверните к нам. Мы вас хорошо знаем, а вы нас еще нет...

Черненькая девушка с усиками учтиво и сдержанно предупредила:

— Мы вот с Агнией учились в вашей школе.— Она подтолкнула к нему краснощекую толстушку с маленькими смелыми глазами.

Агния бесцеремонно взяла под руку Мартына Мартыновича.

— Пойдемте... клуб наш посмотрите...

Наталья смотрела на него с умненьким любопытством.

— Что же это так много собралось молодежи? — спросил Мартын Мартынович.

— А мы сейчас устраиваем поход в противогазах... Осоавиахим... — быстро и охотно ответила Наталья. — Часть — из ночной смены... кожевники... часть — со строительства.

Он видел, что девушки рады встрече с ним и что ведут они его к своим ребятам, как человека, которого ждали давно и с которым связаны с детских лет: память о нем жила и в школе, и в рабочих кварталах старожилов.

Около портала Мартына Мартыновича окружила толпа парней и девушек. Все хлынули в открытую дверь клуба. Мартын Мартынович очень давно не испытывал такого радостного волнения, какое переживал сейчас в этой теплой, молодой толпе. Все эти неизвестные ему девушки и юноши, с отблеском отроческой наивности в лицах, были близки и понятны, как и в прошедшие годы его учительства. В этой телесной, горячей толчее он всегда чувствовал себя легко, бодро и молодо. Смех, разговоры, суета, неукротимое клокотанье жизни заражали и самого Мартына Мартыновича. Но теперь это волнение было похоже на радостное воспоминание.

В клубе показывали ему библиотеку, выставку художественных работ по рукоделию, какие-то макеты. Но в зрительном зале с алтарной нишей мерцал бронзовый полумрак, а раскатистое эхо путало голоса и тушило слова. Многого Мартын Мартынович не рассмотрел, многого не расслышал, но ему было хорошо переходить из комнаты в комнату и медленно шагать по сумеречным пространствам зрительного зала в кругу молодых людей, слышать их переклики и смех и видеть их лица, обращенные к нему с веселым любопытством. Не то от непривычки, не то от старости он все же утомился и был рад, когда вышел на воздух: этот воздух показался ему горячим, ароматным и хрустально-чистым.

Наталья и Агния проводили его до бульвара. По дороге он рассказывал им о прошлом города, об известных в стране людях, которые учились в его школе, о героях революции 1905 года и о гражданской войне.

— Всякая река имеет свои истоки, милые девушки, а букварь обязывает двигаться в глубины энциклопедии. Городок наш не последний в истории. На месте сквера и этого бульвара в девятьсот пятом году было кровавое побоище... Рабочие — кожевники и железнодорожники — дрались с «черной сотней» и с казаками. Десятки людей пали в бою, а многих расстреляли солдаты здесь же, у ограды собора.

— Да, нам много об этом рассказывали... — сказала Наталья. — Мой дядя — брат мамы — тоже погиб здесь...

— А фамильица его какая?

— Подгорнов.

— Ах, вон оно что!.. Вы, значит, племянница Миши Подгорнова. Знал я его хорошо. Горел революцией. Говорил, бывало: «Сколько страданий пережито, сколько крови пролито рабочим классом! Подумать страшно... Но победит рабочий класс... победит силой своей правды...» Он верил в будущее народа и умер гордо. И вот мы с ребятишками, с детьми этих людей, решили, что лучшим памятником для их отцов будет

на этом месте сад... Нам есть кем гордиться, есть кого любить.

На бульваре он простился с ними, но им не хотелось уходить. Он пожимал им руки и говорил:

— Не забывайте меня, старика... Я с вами будто живой воды выпил...

А когда он по дороге оглянулся, девушки смотрели ему вслед, а Агния махала рукой.

Мартын Мартынович часто ходил в городской парк. От площади он брел по грязным тротуарам до окраины города, где уже не было каменных особняков, а смотрели из-за палисадников резными наличниками окна деревенских изб. Это были крестьянские дворы с тесовыми навесами, с курами на улице, с хрюкающей свиньей в луже у забора. Здесь жили также городские служащие и рабочие кожевенных заводов.

Городской парк рос каждый год в даль и ширь. Много лет назад Мартын Мартынович начал засаживать этот пустырь вместе со своими школьниками и учениками высшего начального училища. Молоденькие деревца с колышками обнесли колючей проволокой. Он сам с учениками охранял его от мальчишек и коров. Часто пастухи, чтобы разозлить Мартына Мартыновича, разрывали проволоку и загоняли в сад стадо. И когда приходил туда Мартын Мартынович с ребятами, он с ужасом смотрел на коров и телят, разгуливающих между деревцами. Много липок, березок, кленов и ясеней было поломано, вырвано с корнем. А пастухи бегали между деревцами, щелкали кнутом, орали и на бегу ломали посадки. Как-то Мартын Мартынович в припадке исступления налетел на пастуха и, хрипя от ярости, ударил его палкой.

— Старый черт!.. Я тебя научу пасти своих паршивых коров... Ты не пастух, а негодяй...

Пастух, сгорбившись, убежал. Володька, сынишка, сцепив руками голые колени, сидел на земле, качался вперед и назад и плакал молча, горестно и покорно. Он не жаловался, не смотрел ни на кого. Лицо его

корчилось от боли, он сжимал зубы и весь ушел в свое горе.

— Володенька! Чего ты, родной?..

Володя молчал и словно не слышал отца. Вокруг собрались ребятишки и, притихшие, смотрели на него с испугом. Один из ребят, задыхаясь не то от гнева, не то от того, что не мог еще отдохнуть от беготни, крикнул:

— Его пастух кнутом стеганул... Огрел его, а сам — наутек...

Мартын Мартынович подошел к Володе, поднял рубашку и увидел на спине его красную полосу, которая вздулась кровоподтеком. Володя даже не шевельнулся; он продолжал качаться и молча плакать. Когда Мартын Мартынович поднял его на руки и понес домой, Володя вдруг обнял отца, прижался головой к его груди и впервые зарыдал и задрожал всем телом.

— Папа, папочка!.. Зачем же... зачем он ломал мои деревца?

Ночью он метался в жару, плакал, и Мартын Мартынович так и просидел около него до утра. И с этого дня стал иначе относиться к тем деревцам, которые сажал в парке. Они казались ему частью Володи.

Городская управа не давала ни денег, ни рабочих и на докладные записки Мартына Мартыновича о необходимости озеленения города отвечала короткой бумажкой: «Мысль о насаждении деревьев в городе одобрить, но, за неимением средств, в ассигновании денег на сей предмет отказать, не возбраняя, однако, предприятия учителя Подсосова в порядке личной инициативы и использования для оной цели силы учеников вверенной ему школы в воспитательном направлении».

Мартын Мартынович отрывал от своего жалованья последние гроши, ходил обтрепанный, полубосой, перебиваясь с хлеба на квас (Надя, жена, умерла молодой, когда родила Володю). Мартын Мартынович завел лошадь и телегу и сам ездил за двенадцать верст в лес, выкапывал там деревья и привозил их для посадки. Через пять лет городской парк занимал уже

четыре десятины. И когда Мартын Мартынович доносил городской управе, что парк нуждается в благоустройстве и охране, что он не в состоянии больше обслуживать его, оттуда прибывали стереотипные ответы: «Донесение учителя Подсосова принять к сведению». И только перед войной, когда городским головой стал известный либерал адвокат Жеребцов, Мартын Мартынович был вызван к нему в кабинет. Жеребцов принял его очень предупредительно и усадил в кресло:

— Я давно следил за вашей самоотверженной деятельностью по благоустройству города, Мартын Мартынович, и доселе изумляюсь вашему необыкновенному бескорыстию. Городское самоуправление решило выразить вам благодарность за ваши заслуги перед городом и взять бульвары и парки на свое попечение. Отныне вы можете считать себя свободным от всякой заботы о насаждениях.

Жеребцов крепко пожал ему руку, и Мартын Мартынович подумал, глядя на черную его бородку, что она стоит ему, должно быть, дорого: она была подстрижена и старательно причесана. К этой шелковой бородке очень шло золотое пенсне. Жеребцов благосклонно улыбнулся, провожая Мартына Мартыновича.

— Вы, как представитель местной интеллигенции, должны бы заявить общественности свое политическое кредо. Можете рассчитывать на мое содействие в случае желания вашего примкнуть к нашей партии.

А Мартын Мартынович простодушно ответил:

— Но у меня у самого партия, да еще какая!.. Ее все любят и к ней тянутся. Мои деревца — самая здоровая партия: без обмана, ведь видите ли, — без дипломатии, без игры... А как пойти в вашу партию, ежели я без рубашки, без сапог, без всякого достойного ценза?..

И он ушел из кабинета городского головы с чувством удовлетворения и гордости. Шел он по улице бодро, дышал свободно, радостно и щелкал пальцами. А дома он подхватил Володьку на руки и закричал восторженно:

— Кричи «ура», Володька, стервец! Мы с тобой, мальчоныш, не продаем души своей дьяволу. Мы живем и трудимся во имя гордого человека... Понял ты меня, ну?..

В этот день они были счастливы, и им казалось, что солнце светило ярче и оставалось на небе дольше.

Мартын Мартынович возвращался из парка по городским задворкам, пересекал луку в самом узком месте между изгибами реки. Он шел к плотине, чтобы побродить по глинистому берегу озера. Его постоянно тянуло это озеро, и он подолгу расхаживал вдоль берега, задумчиво и одиноко.

Когда в первой пятилетке строили электростанцию и сооружали сельмаш, навалило много народу — рабочих, сезонников, инженеров. Жилплощади не хватало, пошло уплотнение, и улицы зашумели, затолпились народом. Люди жили одним — стройкой. Старожилы и городская головка с гордостью говорили о колоссальном будущем города: это будет один из крупных культурных и промышленных узлов. Для электростанции и заводов нужна была вода. Речку загородили бетонной плотиной, и теперь к северу от города разливалось широкое озеро. Горожане в выходные дни гуляли по берегу, и всем было приятно смотреть на зеркальную тишину воды, в которой отражались облака и новые здания на той стороне.

Тяжело опираясь на палку, Мартын Мартынович брел очень медленно, часто останавливался, смотрел на озеро и на голые берега. За озером громоздились кирпичные и бетонные корпуса сельмаша и тремя кургузыми трубами дымилась электростанция, похожая на величавый дворец. Ближе красными глыбами в беспорядке разбросаны были скучные корпуса многоэтажных общежитий. Между ними строились другие здания, опутанные сизыми лесами и стройными стеблями вышек.

Озеро в эти дни весны было холодное, стальное и тусклое, и в нем мутно отражались кирпичные дома. Мартын Мартынович угрюмо усмехался: эти дома

построены так, что их можно поставить как угодно — и на крышу, и набок, — они не изменят своего вида.

Со стороны строительства певуче гремело железо, шустро вскрикивали паровозики, грохотали вагоны и бухали паровые молоты. Сиреной выли пилы на лесопилке, и металлической дробью прошивали воздух клепальные молотки. Это была новая, незнакомая жизнь. Там, в этой путанице лесов, вышек и железных конструкций, с каждым днем росло и могуче потрясало пространства огромное машинное величие. Когда-то здесь горели в солнечном зное зеленые поля, бежали облачные тени и высоко под облаками переливались песни жаворонков. И было очень хорошо — приятно, задумчиво, грустно — в эти маревые дни в поле. Вспоминалась молодость, вёсны и колокольные звоны, вспоминались девушки, с которыми ушла юность, и, как образ далекого сна, улыбалась из прошлого последней улыбкой страдания жена с прозрачным лицом.

Каждый день строительство захватывало новые поля. Заводские корпуса приближались к старинному городу, похожему на деревню, и этот городок, где прошла вся его жизнь, казался уже маленьким, вросшим в землю, притихшим и испуганным.

«Стары мы стали с тобой, городишко... — поглядывая на пестрые крыши домов, думал Мартын Мартынович. — Уйдешь ты в историю вместе с ненужным атласом Петри. Ты рождаешься для новой карты страны. А я?.. Владимир! Володька!.. — мысленно кричал он сыну, вглядываясь в небо. — Летаешь, Володька?.. Летай, мой милый Икар... Рядом с тобой орел—дрянненький стервятник... Величие, брат, сейчас не измеряется больше пернатыми хищниками...»

Он брел, сшибая палкой прошлогодние будяки, и смотрел на скучные казармы рабочего городка на том берегу. Среди этих каменных казарм тоже были отвалы глины, мусора и болота грязной воды, холодной от льдистого отражения неба. В этой грязи и на кучах глины играли детишки. Видны осыпи на отвалах, комья земли и даже доски на дорожке от корпуса к корпусу. Вон, около двери, на бетонной пло-

щадке стоит старая кривая табуретка. Вышла женщина в подоткнутой юбке, с голыми икрами, с ведром в правой руке и с размаху выплеснула черные помои перед окнами. Прямо перед нею висит на веревке белье и машет рукавами и кальсонами на ветру.

Здесь люди, должно быть, устают от домашней духоты, от этих забытых глинистых насыпей, от помоев перед окнами, от одинаковых кирпичных корпусов...

Из трех труб электростанции выбрасывался в небо густой нефтяной дым и бурыми тучами низко плыл на город. И от этого дыма, и от неряшливого пустыря на том берегу, и от одиночества своего среди этих полей Мартыну Мартыновичу было тягостно. Он хватался за мочку уха и отдергивал с отвращением руку — чувствовал, как хрустели толстые волосы под пальцами, точно сухой мох на старых сучьях.

Однажды Мартын Мартынович зашел в свою старую школу и долго бродил по саду. Яблони росли во всю ширину заднего плана. Почти на каждом дереве было поломано много ветвей, и они безобразно свешивались до самой земли.

Этот сад был его биографией: здесь, в этих деревьях, — его молодость. Тут он не был больше десяти лет: оскорбленный вынужденной отставкой, чувствуя холодное и даже враждебное отношение к себе районного руководства за его оппозицию к новшествам, он не показывался среди учителей. Впрочем, он несколько раз заглядывал через забор в этот сад, но всегда расстраивался от его запущенности.

Грустно бродил он от дерева к дереву, отстригал старые ветки, отрезал ножом сучки и знал, что одному не справиться ему с чисткой сада, что, если не придут сюда люди, сад совсем одичает и погибнет, предоставленный себе и вредителям.

Где-то пели скворцы, — вероятно, в соседнем дворе, на скворечнике. Ветер посвистывал в ветвях яблонь печально и тоскливо; бурые и седые ветви покачивались и постукивали одна о другую. Старый штакетник со стороны улицы был разрушен, и

в широкие дыры видна была булыжная мостовая в ямах. С треском и грохотом проехал дрогаль. На другой стороне улицы деревянный домик с мезонином был памятен Мартыну Мартыновичу с молодости. А вот забор — тоже штакетник — зеленел там свежей краской. Может быть, этот забор сбит из вырванных школьных штакетин?.. Вполне вероятно: ведь в этом домике по-прежнему живет старик Широков, похожий на старовера, — былой подрядчик по постройке церквей, а сын его сейчас служит кладовщиком на стройке. Если нет надзора за садом, то за оградой и подавно некому глядеть: цел забор или разрушен — никто даже и внимания не обратит.

Раньше в саду были дорожки, обложенные дерном, а между деревьями земля пропахивалась, и в междурядьях были кусты смородины и крыжовника. Теперь земля так утрамбована ногами ребят, что трава не растет, а смородина и крыжовник давно уже растоптаны или вырыты кем-то из соседей, может быть тем же Широковым.

Этому саду двадцать пять лет; пятнадцать лет Мартын Мартынович бережно, заботливо выращивал каждое дерево. Он знал любое из них со всеми его особенностями — сам прививал, сам формировал кроны, сам подрезал, и он видел их даже во сне.

Когда любишь предмет своего труда и, трудясь, болеешь и наслаждаешься, — созданный тобою продукт становится живым, бесценным и прекрасным. И дерево, взращенное тобою, — это твой «неподвижный брат», как хорошо выразился Золя.

А вот этот сад никому не нужен: он заброшен, загажен, изуродован. Учителя и дети равнодушны к нему. Если бы они знали, сколько дней своей жизни отдал ему Мартын Мартынович! Впрочем, они, может быть, удивились бы: зачем ему нужно было терять дорогое время на эту нелепую затею, когда сад все равно не его достояние, а для школы вреден, потому что загромождает площадь, нужную для игр, и развращает детей, приучая их воровать фрукты.

Мартын Мартынович давно уже не был в своей старой школе. Тут работала Клавдия Николаевна, но

она ни разу не приглашала его на уроки, а учителя не интересовались им, стариком: для них история школы не существовала. А ведь он, Мартын Мартынович, — главный деятель этой истории. Он с изумлением вспомнил, что Клавдия Николаевна ни слова не проронила о фруктовом саде. Она толковала об общественных нагрузках, о соцсоревновании учителей и классов на стопроцентное отличничество, о слабой дисциплине учеников, о жуткой власти улицы над некоторыми ребятами. Но не догадывалась, что дисциплина, работоспособность и интерес к урокам зависят во многом от целеустремленной самодеятельности ребят.

Он вошел в знакомый с давних пор вестибюль и, не раздеваясь, направился мимо вешалок к учительской. В коридорах глухо рокотала та школьная жизнь, с которой он сжился с юности и которая неугасимо пела в нем помимо его сознания даже теперь.

— Вам кого нужно, гражданин? — строгим басом окликнула его толстая старуха с седыми усами и лиловым пятном в бородавках на правой щеке.

Мартын Мартынович медленно обернулся и, опираясь на палку, снял шляпу.

— Учительская там же, где и была? — спросил он почему-то с робкой улыбкой.

— А куда же она, по-вашему, скрылась?

— В мое время она помещалась во второй комнате, налево по коридору.

— Ваше время нас не касается, а учительская находится на втором этаже. Там и кабинет директора. И канцелярия там же.

— Вот видите...

— Я ничего не вижу. А вы вот шагаете самовольно. Родитель, что ли?

— Нет, учитель бывший...

— Это который? Я тут уж тумбой сижу десять годов, а личность вашу не помню. Да оно и не диво: не то что людей — себя забываешь.

Старуха оживилась и, облокотившись на прилавок, поманила его рукой.

— В наробразе, что ли, служите? Обследователь, что ли? Милый, дети-то какие пошли!.. Не то что учителей — меня, старуху, «на урал» берут...

— Сад-то вон... тоже «на урал» взяли... А какой был сад!..

Старуха оглядела его без всякого любопытства пепельными глазами, потерла плоскими пальцами ядовитое пятно на щеке.

— Жила вот... — пожаловалась она равнодушно,— шестьдесят пять годов прожила... а старость моя — сирота...

Где-то в ворохах одежды засмеялась, должно быть, девушка.

— Какая же твоя заслуга, Митревна, что ты до старости дожила? Человек не летами хорош, а делами.

Митревна, качая головой, ткнулась пальцем в пухлые кучи одежды.

— Вот они какие нонче! К старости почтенья не спрашивай...

И опять насмешливо крикнул молодой голос:

— Я говорю: старость — не заслуга... старость-то часто и в тягость бывает...

Митревна даже задрожала от негодованья.

— Видал? Гордости-то сколько!.. А эту гордость я еще в младости выплакала.

Она с обидой покосилась на вешалки.

— Образованная... читает все, учится... Сидит со мной на гардеробе — не гнушается... Пущай... хорошо это... А вот к старикам-то интересу нету... Не страдала еще...

Она вдруг посуровела и строго предупредила Мартына Мартыновича:

— Перемена сейчас: гляди, как бы с ног не сшибли...

Эта старуха своей воркотней будто обласкала Мартына Мартыновича. «Хорошая женщина», — решил он улыбаясь. Приятно звенел в ушах смех и неожиданные слова девушки, спрятанной в ворохах одежды. «Умница!»

Он поднялся по знакомой лестнице на второй этаж и с удовольствием отметил, что пол коридоров и на первом и на втором этаже — не дощатый, как был раньше, а выстлан дубовым паркетом в елку. За дверями классов переплетались детские голоса, постукивали крышки парт. Учительница визгливо надрывалась, стараясь перекричать учеников.

«Неопытная... — отметил Мартын Мартынович. — Не знает, как овладеть классом... горячится... А дома, должно быть, плачет над тетрадями...»

Он прошел по широкому коридору с окнами, обращенными в сад. Такие коридоры Мартын Мартынович запроектировал когда-то сам: нужно было, чтобы они полны были небесного сияния и простора. Собственно, это был не коридор, а рекреационный зал, по обе стороны которого темнели площадки лестниц в нижний этаж. К залу по концам примыкали комнаты, где помещались физический кабинет, библиотека и кабинет наглядных пособий. Внизу, в подвальном этаже были мастерские ручного труда — столярная, переплетная, кройки и шитья и изделий из папье-маше. В этих мастерских сами ученики изготовляли несложные физические приборы, схемы, и рельефные планы, и карты для всех школ города. На стене еще до сих пор висят рельефы местного района и Европейской России.

Здесь прошли лучшие годы его жизни. Даже стены дышали его прошлым: они впитали его мечты, его постоянное беспокойство и любовь к делу. Здесь же учительствовала и его Надя. Ее любимый класс был тот, в котором Мартын Мартынович слышал обиженно-гневный крик учительницы. Но Надя обладала какой-то особой тайной ясного общения с детьми: она никогда не сердилась, не нервничала. В классе ее всегда была задушевная тишина, и ребята сами проникались этой мягкой тишиной и были счастливы, когда встречали милый, любовный взгляд Нади. А когда она умерла, ребятишки плакали навзрыд, а потом часто ходили на ее могилу.

И вот теперь Мартын Мартынович испытывал странное состояние: всё здесь родное, всё — его...

Каждая дверь, каждая стена, и этот воздушный свет в зале, и этот лесной шум во всем здании — все волнуется в душе слезами воспоминаний...

Он остановился перед Надиным классом, но дверь быстро распахнулась, и из комнаты вырвался грохот и гам. Несколько ребятишек озорно налетели прямо на него и вытолкнули в коридор Клавдию Николаевну. Один из мальчишек, рыжий, с озорным лицом, толкнул Мартына Мартыновича и сразу же ошалело отскочил в сторону. Лицо его вспыхнуло радостным изумлением, и глаза заиграли лукавством.

— О! Ребята!.. Гляди: Зеленая радость...

Он указывал на Мартына Мартыновича и счастливо орал:

— Он! Гляди!

Ребятишки столпились вокруг Мартына Мартыновича и с любопытством подталкивали друг друга.

Клавдия Николаевна покраснела и сконфузилась.

— Мартын Мартынович! Вы?

И сердито крикнула:

— Кургузов, как тебе не стыдно!.. Мартын Мартынович — старый учитель... из нашей школы... Как же ты встречаешь его?.. Он — наш дорогой гость...

Мальчик лихо повернулся на одной ноге, отступил в сторону, сгорбился и затеребил воображаемую бородку. Кто-то из ребят засмеялся, кто-то сердито крикнул на него: «Ну ты, перец!.. Чего хулиганишь?»

Хорошенькая девочка с двумя золотыми косами и красным галстуком смело, с приветливой радостью в ясно-голубых глазах подошла к старику и очень сердечным голоском сказала:

— Здравствуйте, Мартын Мартынович!.. Мы очень рады, что вы пришли к нам. И вас, и вашего сына мы хорошо знаем... Мы уже просили Клавдию Николаевну, чтобы она пригласила вас... или чтобы мы — к вам... А о Владимире Мартыновиче просто мечтаем...

Детски-живая и беспокойная толпа хлынула к Мартыну Мартыновичу и густо обступила его со всех сторон. Одни смотрели на него с жадным любопытством, другие хотели заговорить с ним, но не ре-

шались, иные враждебно оглядывались на Кургузова и сердито перешептывались. Совестились особенно девочки. Они, обнявшись, стояли перед стариком и ожидали, что он скажет. Кургузов с независимым видом зашагал к лестнице, посвистывая и выбрасывая ноги, как плясун.

Прошел мимо учитель, высокий и бледный молодой человек, с гладко причесанными черными волосами и очень близко к носу сдвинутыми глазами. Он был, очевидно, болен или очень утомлен: прошел он безучастно и даже не взглянул на густую толпу детишек. Но пожилая учительница, стриженная под польку, рябая, с глобусом в руке, пораженная неожиданным появлением Мартына Мартыновича, ахнула, остановилась и заулыбалась.

— Мартын Мартынович!.. Голубчик!.. Как я рада вас видеть!..

Клавдия Николаевна спохватилась и смущенно пригласила его в учительскую. Он степенно поклонился пожилой учительнице, но ничего ей не ответил, а она почему-то обидчиво отвернулась и пошла дальше.

— Нет, Клавдия Николаевна, зачем же в учительскую? Мне хорошо и здесь... с детьми...

Он прижал к себе девочку и сказал ей дрогнувшим голосом:

— Лучшего привета, родная моя, как от вас, нет для меня на свете. С детьми я прожил многие годы душа в душу... с детьми я трудился и радовался... Всю жизнь я проводил с молодой порослью...

Девочка зарделась от его ласки и взяла его за руку.

— Мартын Мартынович, — с изумлением спросила она, — как это вы смогли такую массу деревьев насадить? Это же — ужас!

— О! если захочешь — все сделаешь. Задумал — делай, а начал — доводи до конца. Хоть и трудно, а не отступай. Этому правилу мы и следовали с ребятами. Вот и добились. Это большое удовольствие. И счастье!

Дети еще теснее окружили его: все почувствовали в нем не обычного—утомленного, неразговорчивого—

учителя, а доброго, проникновенного дедушку. Одни старались протиснуться к нему поближе, другие поднимались на дыбки и ловили его лицо, третьи жались к нему и слушали, что он говорит. Кургузов, побежденный любопытством, медленно приближался к толпе ребят: стараясь показать, что ему наплевать на это сборище, он нахально поглядывал на старика, на ребят и, с руками в карманах, вертелся из стороны в сторону.

— А вот садик свой вы запустили, ребятки... — с грустным упреком сказал Мартын Мартынович и покачал головой. — Но мы с учениками очень о нем заботились... Сколько яблок собирали! И какая в нем была красота! Сад гибнет, и это очень печально... Один и я не мог бы его сохранить...

— Дедушка! —покрикивали, перебивая друг друга, детские голоса. — Мартын Мартынович! Почему вы в школе не учите?..

— Дедушка, расскажите о вашем сыне... о летчике... У нас есть портрет его в классе...

— Мартын Мартынович! Дедушка!.. — звали его со всех сторон. Каждому хотелось, чтоб он обратил на него внимание.

В этот момент задребезжал звонок, толпа ребят дрогнула, заволновалась, но не расходилась. Мартын Мартынович закивал головой и с дрожащей улыбкой стал пробираться сквозь толпу. Все закричали, замахали руками и двинулись вместе с ним по коридору.

Уже на лестнице кто-то схватил его за рукав. Он оглянулся и увидел Кургузова. Позади, на верхней ступеньке, стояла девочка с двумя косами. Мартын Мартынович хорошо знал детей и очень глубоко переживал вместе с ними такие безмолвные их признания. Он обнял мальчика и, наклонившись к его уху, прошептал:

— Я знаю, что ты хороший... чувствую... Если пожелаешь, приходи ко мне в гости...

Мальчишка со всех ног бросился по лестнице вверх.

Конец апреля и начало мая для Мартына Мартыновича были самым беспокойным временем года. Душа его начинала смутно волноваться, как весенняя птица. Он был предан природе, как матери, и она сама нуждалась в его любви и труде.

Но в этот день Мартын Мартынович чувствовал себя нехорошо: встал он с гнетущей тоской в сердце, очень похожей на тяжелое предчувствие. В теле была слабость, дрожали ноги, не хватало воздуху. Чтобы немного развеяться, он прошелся по своему садику, но прогулка была только в тягость.

Задумчиво плыли облака, и очень высоко, у самых облаков, летел на юг одинокий самолет. Где-то в соседнем флигеле патефон противно наигрывал пошленький фокстротик и гнусавый голос подпевал идиотически томно и пьяно. Этот фокстротный голос и запутанное вихлянье джаза нагло вытесняли Мартына Мартыновича из этого дома, из сада, из города. Ему чудилась развратная, мясистая морда какого-то сукина сына, который ворвался в его скромную трудовую жизнь и топчет его душу.

«Спотыкач... — шептал он горестно и злобно. — Спотыкач... спотыкач...»

Этот «спотыкач» вертелся перед ним, плешивый и рыхлый, сонно мигая алкоголическими веками, мял кусты, цветы, ломал деревья и нахально вваливался в комнату.

И никогда Мартын Мартынович не чувствовал себя таким одиноким, забытым, чужим, ненужным, как в это утро. Жизнь прожита, она ушла незаметно, растаяла, как сон. Как будто и не жил он. И вот этот садик, и вон те прозрачные облака густых ветвей за крышами домов — длинная толпа деревьев на бульваре — живут отдельно от него. Никто и не подумает о нем как о человеке, который лучшие дни своей жизни отдал зеленому миру этого города.

Но совсем расстроился Мартын Мартынович в этот день от встречи с замначем строительства, а потом подкосило его одно неожиданное событие.

После многодневного раздумья решил он пойти в управление стройки — предложить свои услуги по

озеленению набережных. В соцгороде он останавливался на перекрестках, осматривал площади, улицы, размышлял, чертил своей палкой линии на земле. Прохожие — строительные служащие, женщины с сумочками и корзинками и рабочие — с удивлением осматривали его, проходили мимо, вдоль неприютных кирпичных стен, оглядывались и, встречаясь с другими людьми, останавливались, — очевидно, спрашивали друг друга, кто этот странный старик и что он тут планирует. А ребятишки гурьбой сбежались к нему и с любопытством следили за его непонятными манипуляциями. Беловолосая девочка, курносенькая, с умненьким лицом, с ребенком на руках, недружелюбно спросила его:

— Ты чего это, дедушка, тут колдуешь?

Он рассеянно взглянул на нее и ничего не ответил, занятый своими мыслями. А девочка нерешительно шагнула к нему.

— А ты не нищий?.. Тут у нас страсть не любят нищих... Здесь никто не подает...

Мартын Мартынович очнулся и улыбнулся ей. Подумав над чем-то, он сказал ей, как взрослой:

— Видишь ли, душа моя, в чем дело. Я думаю, что на улицах неплохо бы посадить деревья, а на площади, в серединке, раскинуть цветничок... Ты как на это смотришь?

Девочка подобрела и охотно сообщила:

— А я сама около сарайчика ветлу посадила... Уж пуплышки надулись...

Мартын Мартынович озадаченно поднял брови.

— Гм... пуплышки... Это — верно, у ветлы, особенно у вербы, пуплышки надуваются еще на снегу... Чудесно!.. Сажай деревца всюду — у сарайчика, на дворе, вдоль стен. Вырастешь и увидишь сама, как ты хороша.

Девочка уже растерянно смотрела на него, не понимая, что он бормочет, и ей казалось, что говорит он не ей, а сам себе. Нестриженые ребятишки впервые видели этого тощего старика в шляпе, бородатенького, с необычными словами, с добрым, задумчивым голо-

сом. Так и чудилось, что он сделает сейчас что-то необыкновенное.

Он зашагал через дорогу, тяжело опираясь на палку и не оглядываясь.

В кирпичном здании управления он сразу утонул в толпе суетливых, деловых людей. Они носились по коридорам, по лестницам, толкали его, и бритые лица их были озабочены, нервны. Где-то хрипло кричал человек и ругал кого-то с безнадежной злобой. На лестнице у стены стояли два инженера (бритые усы и тщательно подстриженные бородки) и, подозрительно оглядываясь, тихо и негодующе критиковали какой-то проект.

Мартын Мартынович поднялся на второй этаж и столкнулся с седенькой, бедно, но чисто одетой старушкой с маленьким румяным лицом, с веселыми глазками и вздернутым носиком.

Она изумленно ахнула и стала у него на дороге:

— Ой! Как вы сюда попали?

— А разве пути здесь заказаны? — сухо спросил он, обходя ее с удивлением и опаской.

Старушка засмеялась, подхватила его под руку и потащила в сторону.

— Я поражена: какие у вас могут быть дела в нашей суматошной жизни?

Мартын Мартынович никак не мог вспомнить, кто такая эта жизнерадостная старушка: он никогда не встречал ее в городе. Но старушка, несомненно, знала его как близкого знакомого: в ее бойкой фамильярности была дружеская простота и искренняя радость.

— Простите, — вежливо предупредил он ее, — вы, очевидно, ошиблись: приняли меня за другого...

Старушка беззаботно отмахнулась от него сухонькой ручкой и насмешливо оглядела его.

— Ну, вот еще!.. Вы же здешняя знаменитость... Я — Софья Мартыновна, к вашему сведению... Тезки по отцу... Здесь я в роли председателя культкомиссии рабочкома и член редколлегии строительной газеты... Вот и познакомились...

И она засмеялась, очень довольная своей речью. В ней было что-то очень привлекательное и милое —

и наивная искренность, и молодое лукавство, и неудержимая прямота...

— Впрочем, я знаю, зачем вы пришли... Ваша страсть... настоящая, человеческая...

— Страсть?.. — изумился Мартын Мартынович и растерянно затеребил бородку. — Мне шестьдесят семь лет. Какая там страсть?

Софья Мартыновна вознегодовала. На жухлых щечках ее появились красные пятна, а в глазах заблестели искорки.

— Нет, нет, Мартын Мартынович! Страсть — это чудесное свойство всех одухотворенных людей. Страсть — это идея, воплощенная в чувство, в поведение. Вы это сами знаете... Впрочем, не будем спорить. К делу! Сейчас вы ничего не добьетесь. Люди у нас заняты суровыми планами: они строят корпуса, домны и всякие циклопические сооружения. О деревьях и цветниках они пока не думали — некогда. Напишите-ка лучше в нашу газету статейку о необходимости озеленения соцгорода. Покрепче напишите: благоустройство города и озеленение — это первоочередная забота о культуре быта. Идите туда, вон в ту дверь: там — замнач.

Она жарко и без передышки сыпала словами, хватала его за рукава пальто, за пуговицы, наступала на него, и от этого Мартыну Мартыновичу было неловко и приятно. Он любовался ею, слушал внимательно и улыбался тепло, хотя и сдержанно.

— Что тут важно, Софья Мартыновна? Детишки играют... Сор, глина, ямы, грязь, пыль... От этой сплошной глины и пустырей можно провалиться в тартарары — в канаву. То же самое — озеро... Ведь, видите ли, можно рай сделать...

— Ах, что вы мне говорите! Я очень хорошо знаю... Люди не понимают благодеяний до тех пор, пока сами не претворят это в дело своих рук...

Она подтолкнула его к двери напротив.

— Входите смелее. А за статьей забегу к вам дня через три... Не беспокойтесь, я знаю, где вы живете...

Ждал он приема у замнача долго. Перед ним была очередь человек в пять. Всё это были люди строитель-

ские,— должно быть, инженеры и всякие ответработники. Разные по виду были люди: и седые, почтенные старики, и молодые непоседы. Всем было скучно, и они коротали время в тихом невнятном разговоре. Молодые шептали друг другу, вероятно, анекдотики и смеялись. Но смеяться и перешептываться надоело: они вздыхали и отчужденно задумывались. Старики были терпеливее и скуку принимали как необходимую обязанность. Когда звонил телефон, все оживлялись и с любопытством следили за разговором секретаря — молодого человека, прилично одетого, с тихим, холодным голосом.

Мартын Мартынович смотрел в окно, и ему казалось, что у него стынет и глохнет душа: за окном было мутное небо, свинцовое озеро в глинистых берегах и неисчерпаемые отвалы рыжей земли с забытыми на них ворохами старых досок, бревен и щепок. Галки, махая крыльями, как тряпками, летели куда-то толчками, без цели и желания. И Мартын Мартынович почувствовал ужас перед мертвой силой человеческого безразличия. Он сам ощутил в себе холодное отупление в часы покорного ожидания.

Наконец секретарь прошел в кабинет, а когда вышел, показал на дверь головой и с холодной вежливостью пригласил Мартына Мартыновича:

— Пожалуйста. Можете.

Мартын Мартынович, сохраняя степенность, вошел в большой кабинет. За большим столом сидел чисто выбритый, в сером костюме человек с узким лбом и тяжелыми щеками. Под пенсне краснел маленький клювик. Замнач осторожно снял пенсне, встал и ожидающе заулыбался. Гостеприимно и дружелюбно он протянул руку Мартыну Мартыновичу и заговорил непринужденно, по-приятельски:

— Милости прошу!.. Пожалуйста!.. А я, представьте, в толк не возьму, кто может быть с докукой из старого города... Извините, летчик Подсосов — не родственник вам?

Мартын Мартынович промолчал: он почувствовал, что отвечать на этот вопрос ему не следует.

Не переставая улыбаться, замнач радушно показал на кресло.

— Погодка-то какая, а? Не весна, а элегия... под сурдинку, что называется... хоть бы скворцы свистели, да мы их выгнали... Куда там скворцов, мы скоро и ваш город ссвырнем, дай срок!.. Впрочем, страшен сон, да милостив бог... А сердце сердцу весть подает... Вот я как раз думал о вашем богоспасаемом городишке: в молодости, студентом, здесь меня на улице казаки нагайками отстегали... так, за здорово живешь...

Он засмеялся и обнажил бугристые десны с двумя золотыми зубами. Он вскидывал плечами от смеха и переступал с ноги на ногу. Но глаза его, остренькие, не смеялись, а щурились и украдкой ощупывали Мартына Мартыновича.

— Итак, чем могу служить?

Он рыхло упал в кресло.

— Да, да, чудесные мысли... — горячо согласился он, когда Мартын Мартынович изложил ему свой план озеленения города. — Превосходное предложение. План широкого масштаба... Ха, старики-то какие!.. Смелее и жизнерадостнее молодых... Вот построим заводы, спроектируем окончательно соцгород, тогда и размахнемся. А сейчас... — Он с сожалением вздохнул и пожал плечами. — А сейчас... ну, что я вам скажу?.. У нас еще руки не доходят. Мы еще не закончили сооружений первой очереди. Нас хлещут и в хвост и в гриву. Вот завод комбайнов мы должны сдать в эксплуатацию к первому июня, а из-за всяких прорывов и неполадок едва ли он будет готов к осени.

Мартын Мартынович смотрел на замнача, и его раздражало странное подмигивание левого его глаза.

Лицо приветливо улыбалось, тенорок разливался с тепленькой задушевностью, точно этот человек был очень рад встрече с Мартыном Мартыновичем, как со старым другом, которому хочется сказать все, что накопилось на сердце.

Но своим подмигиванием и улыбочками этот уютно сидящий в кресле человек как будто давал понять Мартыну Мартыновичу, что он насквозь его видит, что

его планы озеленения — только игра словами, что с такими пустяками не приходят к руководителям гигантских предприятий, что у него, у Мартына Мартыновича, есть какие-то более серьезные темы для беседы.

— Но ведь социалистическое государство и создано для того, чтобы люди с наименьшими жертвами создали новую систему жизни.

Замнач пристально вгляделся в Мартына Мартыновича, и глазки его заиграли смехом.

— Мы с вами прожили большую жизнь и умудрены опытом. Действительность не терпит ни сказок, ни песен. Будьте любезны идти прежде всего на жертвы и не требуйте наслаждений!..

— Но жертва жертве рознь, — гневно возразил Мартын Мартынович. — Есть жертвы, которые приносятся с наслаждением, как высокое проявление личности.

Замнач не обратил внимания на его слова, — похоже было, что он совсем их не слышал. Подмигивая, поблескивая золотом зубов, он изливал свои мысли Мартыну Мартыновичу с горячим увлечением, вскидывал длиннопалые руки и опять бросал их на стол.

— Программа личного поведения дана, предписана, и так называемая творческая инициатива определена и регламентирована. Извольте-с выполнять, перевыполнять. Для нас существует один категорический императив: железный план и график.

Замнач встал и, не стесняясь, подтянул штаны на кругленький живот. Он раз за разом пристально поглядел на Мартына Мартыновича, снял пенсне и пошлепал им по ладони. Этим жестом он явно показывал, что больше ему говорить не о чем.

Мартын Мартынович яростно дергал бородку и задыхался. Этот благовестник механической системы смеялся над ним.

— Позвольте-с! Это же теория... бесчеловеческого процесса... во имя... во имя какого же идеала?.. А где же мечта и творчество?

Он говорил косноязычно, обрывая, проглатывая слова.

Замнач надавил кнопку звонка и сразу стал холодным и официальным.

— Мечта и творчество — продукт календарного плана. Это — то, что мы называем оптимальными возможностями. Мы с вами, дорогой товарищ Подсосов, должны понять, что романтический век ушел вместе с нашим прошлым. Век машин, электричества и суровой организованной дисциплины рождает не поэтов, а холодных и трезвых инженеров, экономистов и рационализаторов. Предоставим последним поэтам хоронить своих мертвецов.

В дверях показался секретарь и молча стал в бесстрастной позе ожидания.

— Просите следующего!

Замнач подмигнул и протянул руку Мартыну Мартыновичу.

— Мое почтение... Очень рад, очень рад...

Он быстро выпрямился и, как показалось Мартыну Мартыновичу, взглянул через его плечо ослепшими глазами. Лицо его застыло, как маска.

— Прошу-с!

Навстречу Мартыну Мартыновичу шел, наклонясь вперед, длиннолицый инженер, подстриженный ершиком.

Мартын Мартынович шагал торопливо, высоко подняв голову и размахивая палкой. Лицо его было сурово, брови сдвигались, поднимались и хмурились то изумленно, то гневно. Всю дорогу он бормотал что-то в бороду и гмыкал. Домой он не пошел, а направился по заречным увалам в парк. Лес дымился вдали, а над ним чернели своими китайскими пагодками ели. По опушке щетинилась молодая поросль. Эта поросль сама, без участия Мартына Мартыновича, родилась уже в советские годы. И он радовался и гордился, что земля плодовито, как мать, каждый год покрывается новой зеленью. И как ни стараются окраинные жители рубить и ломать эти деревца, они еще пуще и упрямее ползут на пустыри и луговые околицы. Лес, оборванный, изломанный, обшарпанный козами, все-таки неудержимо идет навстречу свалкам и глинистым оврагам. Трава уже ярко щетинилась по

обе стороны дороги, и всюду горели на восковых стебельках желтые одуванчики. Из мохнатых почек вербы уже выползали зеленые листочки. Солнце то жарко вспыхивало, то скрывалось за облаками, и на его белый круг можно было смотреть свободно. По бурьянному полю, в зеленых и бурых пятнах, быстро скользили тени облаков, и в солнечном сиянии зелень вспыхивала ярко и переливалась золотом. Седые и грязные клочья прошлогодней травы поднимались с земли навстречу бегущим теням, а пролетающие тени подметали их и уносили с собою.

Пахло прелой землей и зеленью травы, и если бы дул ветерок со стороны леса, Мартын Мартынович услышал бы запах весенних почек и новорожденных листьев.

Он свернул с дороги направо, в молоденькие заросли осины, березы и ивняка. Бархатно-седые сережки ивы роились на ветру и сияли шелковым пухом. Зеленые бутончики листьев высовывались, как из раковин.

Флейточками перекликались какие-то пичуги. Близко и далеко робко трещали сухие ветки, и гулкий шорох плавал в глубине леса, как шум дождя. И эти шорохи, флейты и шум разливались волнами — звонко, гулко, глубоко. Где-то крякал и бил клювом дятел — не один, не два — много дятлов, а может быть, это лес откликался одному десятками перестуков. Где-то недалеко ворковали горлинки. Мартын Мартынович очень любил этот весенний аромат в парке: и осенним горьковатым тлением пахнет, и хмельным дыханием первой травы...

Мартын Мартынович шел в глубь леса, в толпу белых берез и мшистых дубов, и не мог остановиться. И чем дальше он шел по мокрой коричневой листве, тем грустнее ему становилось. Кое-где в ямах и густых зарослях молодых лип синел зернистый снег, прикрытый прошлогодними листьями, как кружевом. Мартын Мартынович задумчиво останавливался (мешала одышка), оглядываясь по сторонам, и слушал свое сердце. Из кустов выскочил заяц и большими

прыжками бросился наутек, вскидывая кургузым задом.

Мартын Мартынович вышел на широкую аллею и присел на гнилой столбик бывшей когда-то скамейки. Она развалилась, гнилушка от досок валялась здесь же, засыпанная листьями и седым бурьяном, а новую никто не догадался сделать. Кому она нужна? Лес был беспризорным и дичал. Люди приходят сюда толпами, и по лесу идет треск и скрип. Им весело, они поют песни, смеются, и в разных местах рычит патефон. Зелень они не уносят домой: она вянет у них в руках, и они бросают охапки наломанных веток и топчут их. Однажды Мартын Мартынович набрел на группу парней и девушек — должно быть, служащих. Все одеты были прилично, а у девушек были искусно завитые волосы, ярко краснели ногти и губы. Молодые люди наклоняли длинные ветви и ломали их. Этого безобразия не переносил Мартын Мартынович — у него замирало сердце и перехватывало дыхание.

— Друзья мои, зачем вы калечите деревья? Это же дикое варварство.

На него обратили внимание только тогда, когда он подошел уже близко. Женщины изумленно оглядывали его. А один парень засунул руки в карманы брюк и нахмурил брови.

— Вам, собственно, что от нас угодно, гражданин?

— Я убедительно прошу вас прекратить обламывать деревья. Смотреть невозможно.

— А вы не смотрите. — Молодой человек подошел к нему и угрожающе вытаращил глаза.

— Вы поймите... Ведь люди тратили силы, чтобы насадить эти деревья... охраняли их с любовью... А вы этого не знаете и знать не желаете...

Мартын Мартынович помнил только один момент: другой парень, в голубой майке, могучий, как атлет, с маленькой бритой головой, подошел к нему, улыбаясь, и повернул его за плечи.

— Продолжайте дальше свой путь, старичок, и не оглядывайтесь.

Он долго переживал эти обиду: несколько дней не выходил из дома, вздыхал и бродил по садику, как больной.

Плыла отовсюду тишина в шепотах, шелесте, перестуках и флейточках — та лесная тишина, таинственная и живая, которая волнует душу невнятными тревогами и воспоминаниями.

...Да, шестьдесят семь лет — это уже ворота кладбища. Но жить хочется, как в юности, — глубже хочется жить, смелее, потому что мечта сейчас — не утопия, не сновиденье, а творческий замысел и реальная цель. Лишь была бы вера в свои силы и бодрость духа. Что ж, пусть жизнь прожита, но эта его жизнь в неизвестном, захолустном городке была честной и одухотворенной. Он делал дело жизни, и лес разводил на здоровье и радость людям, и детей учил и воспитывал — направлял их на борьбу за счастье. Многие из них унесли с собою благодарную память о нем, как о друге, кое-кто и сейчас пишет ему горячие письма, а иные заходят мимоездом, чтобы пожать ему руку. Вот Володька только не балует его письмами и давно к нему не показывается. Конечно. он очень загружен работой, женился, своя семья... нет свободного часа. Правда, он однажды приглашал его переселиться к нему, но Мартын Мартынович решительно отказался: он — не беспомощный инвалид, он может работать, он убежден, что еще пригодится народу. Его помощь нужна и сейчас, пусть о ней никто не догадывается: он до конца дней будет ухаживать за деревьями и сажать новые.

Давно это было, а как будто вчера. Вот здесь, по этой аллее (тогда она была еще молоденькой, прозрачной, и парк засаживался только четвертый год), он с Надей гулял под руку. До сих пор не угасает в памяти очень теплый летний вечер. Солнце только что зашло за этот тонкоствольный лесок, и небо ослепительно горело оранжевой пылью. Длинные барашки облаков пылали снизу ярчайшими языками пламени. Белокурые волосы Нади, пышные, шелковые, пылали так же ярко, как эти облака. И, милая, родная, с задушевным голосом и доверчивыми глазами, она

казалась ему святой, с сияющим нимбом. Тогда она сказала ему:

— Мне почему-то кажется, что я умру раньше тебя и, может быть, молодой. Но умру я с сознанием, что ты будешь жить хорошо. Подумай: четыре года назад здесь были голые пустыри, а теперь... сажать деревья ради деревьев — пустое дело. Но у тебя чудесная цель: воспитание человека. Примеру твоему последуют другие города. Вся наша страна зазеленеет, и люди станут лучше, богаче, дружнее...

Эти ее слова потрясли его. Просто сказала, раздумчиво, с внутренним каким-то озарением, точно ей открылось что-то долгожданное, о чем она думала постоянно. Тогда она была беременна Володькой. Может быть, эта беременность волновала ее такими неожиданными и странными мыслями? Ведь говорят, что беременные молодые женщины часто толкуют о смерти, как будто мечтают о жизни. Говорят о ней грустно, но улыбаются. Так говорила и Надя: и ее слова были нежны и певучи, точно она о любви своей говорила. Но он испугался и с болью в голосе сказал, крепко сжимая ее руку:

— Перестань, Надя! Этого ты не должна и не имеешь права говорить. Нам не дано знать, когда умрем, но пока живем, будем стремиться к тому, чтобы жизнь была значительной и достойной.

Она кротко ответила, улыбаясь:

— Но, Мартын, я и говорю о жизни. Достойно жить — значит достойно умереть: хорошо, гордо закончить себя... победоносно...

Он с негодованием и ужасом зажал ей рот, а она лукаво посматривала на него и смеялась.

Первый их ребенок умер, и после этого она жила с неугасаемой и кроткой печалью.

А после того, как родила Володьку, умерла, точно всю свою жизнь отдала ему. Но скорбь и какую-то вину перед ней Мартын Мартынович нес в себе все эти годы.

Парк вырос и стал настоящим лесом. Правда, он небольшой, — каких-нибудь пять десятин, — но он густой, в молодых зарослях, и под ногами уже не го-

лая глина, а мягкая трава. И когда поднимается ветер и несет облака пыли по дорогам, лес шумит, как грозовой ливень. Хорошо смотреть, когда березы машут космами своих плакучих ветвей, а осины трепещут листьями и брызжут целыми фонтанами искр. Но сосны — такие величавые, бархатные, спокойные...

По выходным дням и революционным праздникам сюда идут вереницами горожане — рабочие, служащие — и блаженствуют до позднего вечера. Лес гремит песнями, смехом, музыкой. Многие лежат на траве, полуголые, и молча смотрят на вершины деревьев и на синие клочки неба.

Горсовет давно собирался оборудовать здесь площадки для игр, разбить цветники, провести водопровод для фонтанов, — одним словом, хотел устроить парк культуры и отдыха. Но до сих пор из этих намерений ничего не вышло. И парк остается беспризорным: деревья ломают хулиганы, по ночам окраинные жители рубят молодняк на дрова и пасут коз в зарослях. Он не мог с этим бороться и переживал острое отчаяние.

Мартын Мартынович сидел долго среди этого лесного безмолвия и чувствовал душой, как шевелятся, шепчут, пробуждаясь, деревья, кусты и травы. А может быть, это ворошат прошлогодними листьями насекомые, воскресшие от солнца... И верно: на кучке хвороста, на полусгнивших веточках толпятся, тесно прижимаясь друг к другу, божьи коровки, красные, с двумя черными точками на спине, и их спинки похожи на личики. Они медленно шевелятся, толкаясь, и нежатся на солнышке.

Очень далеко за городом перекликались гудки паровозов и устало пыхтел пар. На строительстве тревожно завыла сирена. Оттуда, пересекая аллею, над вершинами деревьев испуганно летели галки. Где-то ссорились сороки, вереща, как трещотки.

И среди этой тишины город мерещился, как далекое прошлое. Как странно: с каждым годом этот город становился менее знакомым, как будто удалялся от него. Хорошо и больно чувствовать свое одиночество. Здесь он будто у себя дома: каждое дерево —

родное, и каждое из них — как будто веха в его жизни. Теперь он никому не нужен, забытый человек в отставке, с насмешливым прозвищем «Зеленая радость». Все, что мог, он уже совершил в былые годы. Что ж, и это хорошо: всякий живет, как может, насколько вложено в него сил. Впрочем, он тоже будет жить, жить после себя — этот парк и бульвар в городе будут расти каждое лето и шуметь своими листьями. Ведь подлинная слава не в блеске и не в восторженных криках, а в сознании хорошо выполненного личного назначения. Крики умолкают, людям надоедает кричать одно и то же, а блеск всегда тускнеет и гаснет. И единственные хранители славы — вдохновенные деяния человека. Бесславие — это бесследность существования.

Изредка и неожиданно навещали его бывшие ученики. А однажды, летом прошлого года, съехались сразу пять человек. Они пришли к нему на квартиру все вместе. Двое из них были скромные учителя. Оба были в сапогах и длинных рубахах, подпоясанных ремешками. Оба с обветренными лицами, с крестьянскими бородками. Двое других — инженеры на металлургических комбинатах Украины, преждевременно поседевшие, но по-юношески веселые и разговорчивые. Они принесли с собою свертки с провизией и шампанским. А пятый был сухощавый и маленький человек, который все время задумчиво и молча улыбался. Это был ученый-агроном, известный всей стране, недавно избранный в члены Академии наук.

Ворвались они в комнатку Мартына Мартыновича шумно, радостно и внесли большое беспокойство. Они обнимали, целовали его, засыпали вопросами, болтали пустяки, как бывает обычно при редких встречах близких людей. А он со слезами на глазах, с дрожью в голосе лепетал:

— Спасибо, спасибо, родные, что вспомнили старика...

Они смеялись и, перебивая друг друга, кричали:

— Мартын Мартынович, дорогой! Всегда, всегда помнили и помним... Ведь самые лучшие воспоминания детства и юности связаны у нас с вами... Это вам

спасибо за хорошие дни нашей школьной весны... Счастлив тот, у кого есть лучший из друзей — учитель... А мы как раз из таких счастливых людей...

Он не помнил, какие слова говорил каждый из них: говорили все по-разному, но одно и то же.

Потом гурьбою прошли в парк и там провели целый день. Сколько было разговоров и воспоминаний!..

— Лес наш вырос, и мы выросли... Нет, ребята: мы его переросли... мы старше его на сто лет...

И каждый понемножку рассказывал о себе и хвастался своей профессией. И, конечно, спорили друг с другом о сложности и значительности своего дела. А ученый-агроном молча слушал и задумчиво улыбался. Потом не выдержал и оборвал спор спокойно и решительно:

— Милые мои друзья, каждый из нас любит свой труд и живет им. Это значит, что в каждом из нас горит огонь творчества. Сим победиши, как говорится. Но все мы горим этой любовью к труду и познанию именно потому, что первые искры зажег в нашей душе любимый наш учитель — великий трудолюбец и чудотворец Мартын Мартынович. Из этого — следствие, что истинно прекрасное дело — это дело учителя: искусство воспламенять душу, творить людей — самое трудное и благородное искусство. Мы вот прожили с вами многие годы борьбы, некоторые из нас уже с серебром в волосах, но никогда не забываем нашего Мартына Мартыновича, а встретимся с ним — молодеем и загораемся ярче.

И он сам налил в стаканы вина и, чокаясь с Мартыном Мартыновичем, поцеловал его взволнованно. А Мартын Мартынович так был потрясен, что расплакался навзрыд.

Все растрогались и, подняв стаканы, запели: «Налей, налей бокалы полней...»

Когда Мартын Мартынович возвращался в город и проходил через березовую рощу — любимый его уголок, прозрачный, воздушный, в белизне чистых

стволов, — он увидал группу рабочих, которые выгружали топоры, пилы и еще какие-то инструменты с грузовика. Рядом парнишка разжигал костер и, стоя на четвереньках, дул на огонь. Дым поднимался прямо вверх. Еще издали Мартын Мартынович почувствовал этот смолистый запах дыма. Он сильно встревожился: никогда он не встречал здесь рабочих. Если же привезли их сюда на грузовике с инструментами — значит, они должны что-то делать в этой роще. Может быть, горсовет все-таки решил построить обещанные павильоны? Но почему в лесу, а не на аллеях и не на полянах? Мартын Мартынович задыхался от волнения и страха, и сердце билось у него так больно, что он часто останавливался от головокружения.

Едва волоча онемевшие ноги, бледный, больной, он подошел к рабочим. Рабочие равнодушно поглядывали на него и, разговаривая между собою, продолжали выгружать инструменты и парусиновые палатки. Инструменты падали на землю и звякали железом. Рыжий парнишка у костра, осоловелый от дыма, уставился на него с любопытством. Пожилой человек, с угрюмым скуластым лицом, с клочковатыми усами, в серой кепке, надвинутой на лоб, сердито обернулся и нехотя зашагал к Мартыну Мартыновичу.

— Вы чем тут, папаша, интересуетесь?

— А вот любопытствую: что вы хотите здесь делать?

Угрюмый человек — должно быть, десятник — вглядывался в него исподлобья. Он ткнул кулаком в усы и неохотно ответил:

— То есть как что?.. Площадку расчищать будем.

— Позвольте-с... для чего же в лесу площадку?

— Ну, во-от тебе!.. Какой странный человек!.. Строительство будет... Стадион!.. На десять тысяч человек... Понятно?.. Воображаете, какая махина?..

Десятник снисходительно улыбнулся, и из-под усов показались длинные редкие зубы, а на дряблых щеках зашевелились толстые складки.

— Но позвольте... Это парк, культурное насаждение, а не лес... Эти березы я когда-то сажал вместе с ребятишками...

Десятник посуровел и насупился:

— Это нас не касается, папаша... Решаем не мы с вами... Не только у нас головы на плечах... И критикой нам нечего заниматься... вот-с!..

Он надвинул кепку на нос и пошел мимо рабочих к грузовику.

Мартын Мартынович, потрясенный, побрел в глубь рощи.

В городе он зашел на телеграф и послал в Москву такую депешу Владимиру:

«Приезжай на помощь. Рубят березовую рощу».

Он побрел по бульвару: надо отдохнуть, прийти в себя. К старости он стал слаб на слезу: как взволнуется, так и плачет. Бывает, что плачет и от воспоминаний. Вот и сейчас: послал телеграмму и не удержался — заплакал. Вытирая глаза платком, он опустился на скамейку. Прохожие смотрели на него с удивлением и оглядывались: почему этот сухопарый старик, в дореволюционной шляпе, плачет?

Так сидел он долго и плакал. Вдруг около него тревожно крикнул девичий голосок:

— Что с вами, Мартын Мартынович? Что случилось, дорогой?

Он испуганно поднял голову. Перед ним стояли две девушки в белых беретах, в легких пальто. Он узнал в них тех комсомолок, которые недавно подбежали к нему в сквере, а потом провожали его. Он невольно улыбнулся и отодвинулся на край скамьи. Девушки наклонились над ним и с изумлением вглядывались в его лицо. Толстушка Агния смотрела на него молча и сердито, а черноволосая Наталья хоть и улыбалась, но была поражена.

— А мы несемся и видим: Мартын Мартынович сидит и плачет... — говорила она встревоженно. — В чем дело? Что случилось? Несчастье, что ли, какое?

Агния грубовато ответила ей:

— Да он совсем больной. Черти! Бросили старика и — никакой заботы...

— Не обо мне забота, девушки... нет...

Он встал и, не переставая улыбаться сквозь слезы, протянул им руки.

— Может быть, я многого не понимаю... Но я сорок лет вместе со школьниками, а подчас и с родителями их, насаждал бульвары, скверы и этот парк на околице. Это стоило больших трудов и борьбы с косностью, с пережитками и предрассудками обывателей. Я был молод, полон силы и веры в будущее... И вот-с... Извольте-с... Березовая роща сейчас вырубается...

— Как вырубается? — возмущенно крикнули девушки. — Это — ерунда... Кто вам сказал?

— Приехали рабочие с топорами, с пилами... Место, ведь видите ли, облюбовали... будто бы для какого-то стадиона...

Девушки переглядывались и недоверчиво ловили его взгляд.

— Подождите, Мартын Мартынович... что-то не так... — рассудительно сказала Наталья. — Мы знаем хорошо: стадион будет построен... Мы сами боролись за него... Но, уверяю вас, что строиться будет он не в березовой роще... об этом и разговора не было...

— Но почему же... почему бригада рабочих в самом центре березовой рощи?.. Их послали рубить, расчищать место для строительной площадки... Это — факт, милые девушки... непреложный факт... Я уже и сыну послал телеграмму...

Агния решительно и зло подхватила под руку Наталью и рванула ее за собою.

— Пойдем, Наталья! Надо бунтовать, черт бы их побрал...

Наталья горячо схватила его пальцы и пожала их.

— Мартын Мартынович, вы, пожалуйста, не волнуйтесь... Мы сейчас все разузнаем... Это какое-то недоразумение. Вечером мы известим вас...

Он улыбался и молча смотрел на девушек с умилением и скорбью. С замирающим сердцем прислушивался к себе. Что-то новое и странное совершалось в нем — обрывалось дыхание, немели ноги и руки и пронизывались острыми иголками. Казалось, что пройдет несколько мгновений — и он упадет здесь же на бульваре и больше не встанет. У него закружилась голова, и он, с трудом владея собой, грузно сел на скамью.

Домой он еле добрался: часто останавливался на тротуаре, чтобы отдышаться, и не замечал людей, которые быстро шагали ему навстречу и, толкая, обгоняли его. Но как только он отворил калитку, понял, что в комнату к себе войти не может: не сделал чего-то очень важного, неотложного. Он застыл у калитки, страдая от бессилия вспомнить: что же, собственно, он должен был сделать, куда пойти, кого увидеть?.. Мысль об этом была яркой и жгучей, когда он был на телеграфе. Но потом она как-то внезапно погасла. Очень странно, в тот момент, когда мысль эта охватила его (если бы вспомнить, если бы возвратить ее!.. такая простая и гневная мысль...), он ощутил прилив бодрости, решимости, энергии. Но уже в дверях, сталкиваясь с людьми и негодуя на них за грубое пренебрежение друг к другу и к нему, старому человеку, он сразу ослабел, и мысль эта потухла... И тут же нахлынула на душу огромная печаль...

От калитки его оттолкнула полная женщина, с синими отеками под насмешливо-злыми глазками. Она несла две полных вязаных сумки с продуктами. Мартын Мартынович встречал ее часто на дворе, зычно-крикливую, и знал, что зовут ее Марьей, но не интересовался ею, питая к ней враждебную антипатию.

— Кой черт на дороге-то стоишь... идол старый!.. Дай ходу женщине!..

И оставила калитку открытой. А во дворе, не оборачиваясь к нему, широкозадая, мясистая, кричала во всю глотку:

— Наплодили бездельников... Пенсионеры!.. Ишь словечко-то какое выдумали!

Мартын Мартынович со строгим лицом степенно пошел по тротуару обратно в город.

«Ей тесно жить, этой женщине... Она только существует, жадно существует... И радость человеческую уже пропустила через мясорубку. Осталась одна страсть — еда и приобретательство... Мещанство особенно безобразно и подло в наше время...»

Он долго брел по тротуару, держась около стен домов, чтобы не беспокоили его прохожие. Шел

он без цели и направления, с одним мучительным желанием найти утраченную мысль. Пожалуй, надо пройти на бульвар, потом к телеграфу — его тянуло именно туда: может быть, она опять воскреснет в мозгу.

«Как я стал забывчив!.. Стар... должно быть, умру скоро...»

Из-за угла, гулко отбивая шаг, вышел на площадь отряд красноармейцев с винтовками на плече. Они высоко выбрасывали ноги и энергично били подошвами по мостовой. Мартын Мартынович остановился и сразу ощутил внезапную легкость в теле. Он с удовольствием смотрел на шагающих красноармейцев, на ритмические размахи их рук, на здоровые лица и чувствовал, как сердце свежеет у него и начинает биться спокойнее. Вдруг красноармейцы грянули какую-то веселую песню в такт своим шагам, и площадь от этого как будто стала многолюдной и взволнованной.

За сквером желтели четыре колонны горсовета с государственным гербом на карнизе. И как только Мартын Мартынович увидел эти колонны, он сразу вспомнил, что именно сюда, к председателю Букрееву, он и решил пойти с этим своим гневным протестом.

Он поднялся на второй этаж и, держа шляпу и палку в одной руке, со старческой важностью вошел в приемную предгорсовета. Два пожилых человека ждали очереди на прием. Они скучали, и небритые их лица казались сонными. Секретарь в коричневом френче, краснолицый, с веселыми глазами, разбирал какие-то бумаги, курил папиросу и плаксиво морщился от дыма. На Мартына Мартыновича он не обратил внимания и даже не поднял головы, когда он подошел к столу и требовательно заявил:

— Я должен видеть предгорсовета по срочному делу. Доложите, пожалуйста.

Секретарь притворился глухим и молчал.

— Вы меня слышите?

Кто-то из сидящих сострил:

— А вы его за ухом почешите...

Секретарь не обратил внимания и на эту шутку. Мартын Мартынович ослабел, и у него забилось сердце. Он беспомощно постоял несколько секунд и вздохнул.

— Товарищ Арбузов, — недовольно пробасил кто-то сзади Мартына Мартыновича, — нельзя же так... Старый человек... распорядков не знает... Помочь надо... объяснить толком...

Секретарь поднял голову и взглянул мимо Мартына Мартыновича играющими глазами. За дверью кабинета председателя кто-то залился визгливым хохотом, а потом несколько голосов гулко и глухо заговорили все вместе. Позади тот же голос, который посоветовал Мартыну Мартыновичу почесать секретаря за ухом, с веселой завистью пояснил:

— Букреев ликует... жизнерадостная душа... прямо гармонист по характеру... легко с ним работать...

— Работать-то легко, — заметил кто-то недовольно, — только плясать под его гармонию трудно...

Секретарь вдруг пошлепал себя по щекам ладошками, поднялся и потянулся. Потом сунул в руки Мартына Мартыновича клочок бумажки и с насмешливой фамильярностью приказал:

— Ну-с, гражданин, напишите, кто вы и по какому делу. Немножко посидите, помечтайте, пока дойдет до вас очередь.

Мартын Мартынович ждал с час и очень устал. Ему казалось, что за это время он передумал очень многое, но никак не мог потом вспомнить, о чем думал. Мысли путались, переплетались, роились, потухали и опять вспыхивали, но в голове была только туманная канитель, а в сердце — изнуряющая тоскливая боль. Несколько раз его охватывала дремота; в ушах стоял шмелиный звон, комната кружилась колесом, и головы людей плавали в воздухе, как мыльные пузыри. Но он сидел с суровым достоинством, замкнутый, и всем казалось, что он действительно пришел сюда ради какого-то большого дела. На обычных просителей, обиженных, мелочных, которые приходят сюда с личными претензиями, этот высокий и сухощавый старик не похож. Секретарь время от

времени поглядывал на него в прищурку, озадаченный каким-то вопросом, потом не выдержал и спросил с досадой:

— Вы, уважаемый, не папаша ли будете летчика Полесова?

Мартын Мартынович, вероятно, не слышал вопроса секретаря и ничего не ответил. Секретарь пожал плечами и почему-то усмехнулся.

Мартын Мартынович вошел в кабинет предгорсовета с таким же достоинством, как и в приемную, хотя от долгого и томительного ожидания чувствовал себя совсем немощным.

Товарищ Букреев, кругленький, малорослый, бритый с затылка до подбородка, с пухлыми щеками и с детским капризным ртом, встретил его стоя.

— Извините, что заставил долго ждать: жгучие, неотложные дела... Оперативность прежде всего... Здравствуйте! Садитесь, пожалуйста, и выкладывайте...

Он сел и вдруг широко открыл глаза, и Мартын Мартынович понял, что эти серые глаза не видят его, что председатель думает о чем-то своем, что ему осточертело возиться с посетителями.

— Предварительно я хочу вам напомнить, товарищ предгорсовета, — с некоторой торжественностью начал Мартын Мартынович,— что я тот самый человек, который всю жизнь сажал деревья в городе. Учительствовал здесь много лет, и сотни людей прошли через мою школу...

— Да, да, я знаю... — перебил его товарищ Букреев, играя пальцами. — Слышал о вас... хотя о сыне вашем, конечно, больше...

По своему характеру Букреев был, очевидно, экспансивный, жизнерадостный парень: он беспокойно возился на стуле, и щеки его, и лукавые глаза, и задорный нос мелькали перед Мартыном Мартыновичем, как у непоседливого ученика, которому до смерти надоело сидеть в классе и слушать скучный урок.

— Так вот-с, видите ли... город утопает в зелени... и каждое дерево связано с человеком, который его сажал. Знаете ли вы, с каким трудом связана была за-

салка парка? Это была борьба не только с пустырями и глиной, но и с темнотой, с косностью, с уездным бытом. И вот, когда этот парк стал гордостью населения и единственным местом здорового отдыха, вы совершенно бессмысленно распорядились рубить самую чудесную часть леса—березовую рощу. Имею ли я право решительно протестовать против этого возмутительного действия?

Предгорсовета сочувственно кивал головой и с веселой улыбкой играл своими пальцами.

— Не только имеете право, но обязаны... На вашем месте я всесветный скандал бы устроил...

Мартын Мартынович опешил. Президиум вынес постановление о вырубке березовой рощи, а предгорсовета призывает бунтовать против своего постановления. Сочувствуя гневу Мартына Мартыновича и одобряя его протест, товарищ Букреев или не понимал, о чем идет речь, или потешался над стариком.

— Разрешите задать вам один вопрос, товарищ предгорсовета?

Товарищ Букреев с радостью устремился к Мартыну Мартыновичу и приветственно поднял руку.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Подсосов!.. Сделайте одолжение!..

Мартын Мартынович покашлял, подумал и пристально поглядел на Букреева. Этот взгляд чем-то встревожил предгорсовета, и веселая улыбка исчезла с его лица. Он откинулся на спинку стула и деликатно предупредил:

— Только я вас прошу не распространяться, а, как говорится, закругляйтесь... (Он взглянул на часы.) Заседание у меня минут через пять... Сегодня это третье заседание!.. Устал зверски...

Мартын Мартынович потух и печально вздохнул.

— Можно обойтись и без вопроса... Спасибо, что выслушали... Я понимаю...

И он медленно встал. Букреев как будто испугался, что Мартын Мартынович сейчас уйдет, и сам встал.

— Ну, что вы, что вы!.. Я готов слушать вас до конца... Спрашивайте, пожалуйста!..

И Мартын Мартынович видел, что предгорсовета и тяготился им, и опасался грубо оборвать беседу.

— Скажите, товарищ Букреев, было ли в вашей жизни такое дело или, скажем, такой поступок, которым вы бы гордились до сих пор и от которого получили бы высшее удовлетворение?

Товарищ Букреев выпрямился и с крайним изумлением уставился на Мартына Мартыновича. Он высоко поднял рыжеватые брови, а потом недовольно насупился.

— То есть конкретно?..

— Я задаю конкретный вопрос... очень человеческий... Скажем, борьба, которая бы вытекала из вашего поведения, из души, так сказать... и цель этой борьбы определяла бы всю вашу жизнь...

— Допустим, что это было,—улыбаясь, неуверенно подтвердил Букреев. — Что же вы хотите сказать?

— Хорошо-с. И вот эта борьба дала результаты: вы победили, достигли цели... Но вдруг, в один печальный момент, некие люди, без всякого основания, уничтожают плоды вашей борьбы... уничтожают самым головотяпским образом...

Товарищ Букреев похолодел, и в глазах у него блеснула неприязнь. Он прищурился и с недоумением несколько раз ощупывал и лицо и фигуру Мартына Мартыновича. Почесывая ногтем мизинца висок, он внушительно заявил:

— Вы должны знать, товарищ Подсосов, что интересы трудящихся являются решающим фактором нашей политики. А вы протестуете потому, что дело касается вашей личности...

— Не моей, нет!.. — крикнул Мартын Мартынович, поднимая руку. — Прошу оставить в покое мою личность...

Но Букреев продолжал с насмешливой улыбкой:

— Слышать такие протесты от отца Героя, которым гордится наш народ, просто неприлично. Роща, роща!.. Роща сама по себе — чепуха, стоеросовая бесполезность, если она не играет роли в осуществлении государственных нужд. Ради социалистической реконструкции города не только какую-то там рощу, но,

если потребуется, принесем в жертву и не в пример бо́льшие ценности.

— Но если нет необходимости жертвовать даже рощей?

Букреев заложил руки за спину, вскинул голову и засмеялся.

— Я понимаю, у каждого свой чирей чешется, но у нас с вами разные взгляды на вещи. Хотя мы вас уважаем и ценим, но часть рощи все-таки вырубим. Где же надлежит быть стадиону, как не в роще, согласитесь?

Мартын Мартынович отяжелел и сгорбился. Он медленно пошел к двери, но у порога остановился и строго сказал:

— Я должен вам заметить, товарищ Букреев, что дармоедом я не был никогда, а по советской земле хожу с сознанием заслуженной чести. Уж если на то пошло, то вы оскорбили не только меня, но и летчика Подсосова.

— Это каким же образом? — весело крикнул Букреев, но Мартын Мартынович махнул рукой и вышел из комнаты.

В конце коридора кто-то положил руку на его плечо.

— Какой вы обидчивый человек, товарищ Подсосов! — засмеялся Букреев. — Ну, что вы хотите доказать? Вы ничего не доказали. Горсовет хочет сделать трудящимся города большой культурный подарок... А вы против этого... Ведь так же?

— Я против уничтожения культурного достояния...

Букреев потер ладонью бритую голову и опять засмеялся.

— Так чем же я оскорбил летчика Подсосова?

— Владимир Подсосов сам сажал эту рощу...

— Ну, так он с удовольствием же будет аплодировать нашему решению, — обрадовался Букреев. — Уж будьте уверены, что он не одобрит вашего странного протеста. Впрочем, я очень рад, что познакомился с вами... К тому же очень люблю беспокойных людей... Не сердитесь же, товарищ Подсосов... то есть поймите,

что есть вещи, которые шире и выше наших с вами желаний...

Мартын Мартынович величественно дотронулся пальцами до полей шляпы и пошел к выходу.

«Возмутительно то, что он по-своему прав, — в негодовании думал Мартын Мартынович, шагая по тротуару и постукивая палкой, — и, хотя истина на моей стороне... знаю, что со мной истина... я не в силах доказать ему... Он смеется над тем, что кажется мне неотразимым...»

Когда Мартын Мартынович вспоминал свою прошлую жизнь, он не находил ни одного пустого дня. Даже воскресенье и праздники были так же хлопотливы и шумны, как и дни школьных занятий. Приходили ученики с лопатами и гурьбою, во главе с ним, шли в школьный сад, или на бульвар, или в городской сквер. Он не поучал детей, а рассказывал им интересные истории о том, как растения стремятся к верной дружбе с человеком. Считается, что самый преданный друг человека — собака, но если изучить сложный и сказочный мир деревьев и цветов, то самыми прекрасными друзьями, кормильцами и врачевателями являются «неподвижные братья» — растения. Они доверчиво отдаются во власть человека и быстро приручаются. Родина человека — лес, и когда человек сошел с дерева и стал обрабатывать землю, лес пошел за ним. И в культуре своей человек уже сам стал воспитывать и облагораживать породы яблок, груш, слив... Незаметно Мартын Мартынович приучал ребят любить растения. Он видел, что дети становились умнее, благороднее, и среди них крепче завязывались дружеские связи. Ребята уже с юных лет проникались мыслью, что они готовятся для большой общественной работы, что в знании и в деятельности — весь смысл человеческого счастья.

А в самой школе тоже была неустанная работа: в мастерских готовились приборы для физики и математики, наглядные пособия, составлялись гербарии, переплетались книги, ставились спектакли, и много лет

смешанный хор славился как лучший в уезде. Двое певцов в Большом театре вышли из их хора. А известный теперь ученый-садовод — один из тех юнцов, которые когда-то копались вместе с ним в саду и в парке.

В этот вечер, сидя в своей комнатке, Мартын Мартынович вспоминал прошлое, и ему было грустно: вот жил когда-то, работал, готовил людей к труду, а труд преображал в радостную борьбу. Он жил хорошо, нелицемерно, потому что мог работать и дышать только в ощущении широкой свободы. А свободу он знал только в деятельности, в борьбе. Это сознание воспитывал он и в детях. Ребенок, взволнованный трудом, уже становился гражданином.

Почему же сейчас он, Мартын Мартынович, принужден влачить свое существование на «покое»? Что значит быть пенсионером? Это значит быть «человеком в отставке». Ведь он несет в себе богатый опыт, знание людей, у него есть силы для работы и для борьбы, а его «отставили»: стар, ненужен, не может вместить в себя новой действительности... Уволили его деликатно: выразили ему благодарность за «самоотверженную работу» и выхлопотали пенсию. Чиновники и некоторые молодые учителя возненавидели его и свирепо травили за противодействие модным в то время экспериментам в школе — разным «дальтонпланам», «комплексным системам», «проектным методам» и так далее. Он считал их скороспелыми, не проверенными на опыте, вредными для детей и чуждыми советской системе образования. И его отставили, как человека консервативного, тормозящего дело реконструкции советской трудовой школы. Он остался только вместе со своими деревьями и прослыл чудаком, «Зеленой радостью». Но до сих пор он не мог согласиться с теми людьми, которые дали ему отставку: до последнего часа он считал себя не только годным к работе и нужным для школы, но и мастером, который способен передать свой опыт молодым учителям и поднять их до уровня художников своего дела. Его не приглашали ни на одно совещание при районо, ни на одно учительское собрание. А когда он решил од-

нажды пойти на районную конференцию, его не допустили без мандата. Он оскорбился и не стал хлопотать о пропуске.

За эти годы он мечтал написать книгу о своей многолетней учительской деятельности; это была простая, но поучительная история о том, как он изучал душу ребенка, как искал пути и средства, чтобы направить его в жизнь, развивая в нем навыки самодеятельности и укрепляя упорство, настойчивость в достижении цели. В этой книге он хотел показать, что только труд и борьба облагораживают человека, а постоянное совершенствование в работе и пытливость делают человека подлинным творцом. Долгие годы педагогической работы и живого общения с детьми разных возрастов и для него самого были богатой школой: он сам учился, воспитывался, рос и богател духовно. И он решил, что если он напишет эту книгу, он выполнит последний долг перед обществом. Нельзя оставаться в долгу у жизни: тяжело будет умирать. А нужно умереть с улыбкой, чтобы преждевременно не закрыть глаза от стыда. Книгу эту он писал по ночам, в тишине, наедине с собою, как исповедь. Он покупал ученические тетради и писал медленно, старательно, без помарок, четким каллиграфическим почерком. Об этой своей литературной работе он сообщил на ушко только Владимиру и смущенно просил сохранить и опубликовать рукопись. Владимир, как и ожидал Мартын Мартынович, очень серьезно отнесся к его признанию:

— Замечательно, папаша: такую книгу ты давно обязан был написать. Страшно интересно. Она у тебя выйдет. Не беспокойся — будь уверен, что я выполню все твои указания.

И в каждом письме (а писал он редко) спрашивал, как подвигается у него работа. Это сочувствие сына очень бодрило и поощряло Мартына Мартыновича.

Пытался он работать и в этот вечер, но тетрадь расплывалась перед глазами, в сердце была невыносимая тоска. Он задыхался, ходил по комнате и со

скорбью смотрел на портрет Нади над столом. Потом выходил на верандочку. Тьма города была пустой и тяжелой, а небо — мутное, беззвездное. Во флигеле напротив окно скучно туманилось оранжевым отблеском от невидимого абажура. Мартын Мартынович возвращался в комнату и ложился на кровать. Но едва только закрывал глаза, голову наполняли бредовые видения, уродливые, страшные, бесформенные — какие-то клочки, обрывки бронзовых теней, которые налетали на него из мрака, накаленного далеким заревом. Он опять вставал, опять выходил на верандочку и опять долго ходил по комнате. И ему до слез хотелось, чтобы кто-нибудь вошел к нему — хотя бы любой человек с улицы — и нарушил бы этот его невыносимый покой одиночества...

«Почему бы вот Клавдии Николаевне не зайти?.. Взяла бы да и поругала меня за то, что я был к ней невнимателен в школе...»

В эту минуту он услышал стук в дверь и знакомый девичий голос:

— Мартын Мартынович, можно к вам?

Перед ним стояли знакомые девушки — Наталья и Агния.

— Милости прошу... очень рад...

Девушки огляделись и сконфузились.

— Вы извините, — торопливо предупредила Наталья. — Мы прибежали к вам только для того, чтобы обрадовать вас...

— Все хорошо! — перебила ее Агния. Она горела румянцем, смеялась и ликующе притопывала около Мартына Мартыновича. — Ух, и горячо было... как чертям в бане...

Наталья тоже смеялась, но укоризненно качала ей головой.

— А вы садитесь, садитесь, дорогие мои!.. — ласково бормотал он. — Очень вы меня уважили...

Но девушки не сели: должно быть, они так переволновались, что до сих пор не могли успокоиться. Если врываешься к человеку с радостью и этой радостью хочется хорошо его взволновать — можно ли в эти минуты сидеть спокойно? Хотя Наталья и сле-

дила за собой и старалась казаться уравновешенной, но и она не смогла сладить со своим порывом поликовать вместе с Агнией.

— А у вас очень приятно... — сказала она, оглядывая комнату. — Зелень... словно оранжерея...

Потом подошла к лимонному дереву, обрызганному белыми цветами, и понюхала их.

— Какая прелесть!.. Неужели, Мартын Мартынович, вырастут лимоны?

— К Новому году — обязательно...

Агния тоже наклонилась над восковым бутончиком.

— Понимаете, пахнут!.. И лимоном и пирожным...

Мартын Мартынович ласково улыбался. Какие они обе разные! И похожи, как сестры... И ему чудилось, что в комнате стало как будто светло и нарядно, даже стены как будто отодвинулись дальше...

— Знаете что, Мартын Мартынович?.. — вспыхнула Наталья. — Разрешите нам заходить сюда... чтобы тоже ухаживать за этими лимонами... Или так... без всяких... просто следить, как они наливаются...

— Очень хорошо!.. Мне будет только радостно.

Агния уже стояла перед портретом Нади и пристально вглядывалась в него. Рассматривала она его как-то странно: шагнет вперед и постоит, опять шагнет и опять постоит.

— Это кто же у вас, Мартын Мартынович?

Лицо на фотографии было обычное русское — круглое, с большими опечаленными глазами, с чуть вздернутым носом и крупным ртом, но в этом лице таилась такая доброта, что оно казалось прекрасным.

— Это жена моя... — грустно ответил Мартын Мартынович. — Умерла молодой. Родила Володю и умерла...

Наталья тоже подошла к портрету и долго не отрывалась от него. Обе девушки помолчали, вздохнули и повернулись к старику с растроганными лицами.

Мартын Мартынович с удовольствием наблюдал их, и ему было приятно слышать их голоса, видеть их молоденькие лица. Наталья, с румяной смуглинкой, должно быть знала, что она миловидна, и немного рисовалась. Агния же, крупнотелая, налитая, похожа

была на деревенскую девушку, которая недавно приехала в город, вела себя откровенно и размашисто.

— Очень, очень вы меня растрогали... — повторял Мартын Мартынович, потирая руки. — И вести такие хорошие... Теперь я спокоен...

— О наших похождениях, пожалуй, и рассказывать сейчас не стоит... — улыбаясь исподлобья, точно испытывая старика, сказала Наталья. — Как-то не хочется. Да это и не важно: дело сделано, всё в порядке.

— А мне охота рассказать, — простодушно призналась Агния. — Люблю похвалиться, когда удача.

Наталья шепнула ей с досадой:

— Перестань! Не надо тревожить старика...

Мартын Мартынович сел, давая понять, что он готов слушать их, что им тоже следует сесть, если они желают побеседовать с ним. Наталья села на табуретку, а Агния взяла стул, наклонила его к себе спинкой и оперлась коленкой на сиденье.

— Ну, что ж говорить, Мартын Мартынович? — сдержанно улыбнулась Наталья. — Поволновались, погорячились много, а событий-то все-таки мало. Ну, сначала забили тревогу в комитете комсомола, потом помчались вместе с секретарем в райком партии.

— Да ты что? — рассердилась Агния. — По-твоему выходит, что ничего и не было... Ну, Наталка!.. Ведь это черт знает что! И дрались, и бунтовали, и людей на ноги поднимали...

— Ну, положим, не так уж было бурно и свирепо... У тебя — страсть преувеличивать.

— А у тебя — страсть преуменьшать. Ведь мы сейчас только из райкома... не остыли еще.

— А когда ты остынешь, Агнюша? — усмехнулась Наталья. — С тобой и зимой жарко.

— Какая, подумаешь, хладнокровная... — обиделась Агния. — Будь добра, не кокетничай... Хоть перед дедушкой-то не притворяйся...

Наталья покраснела и отмахнулась от нее. Чтобы скрыть свое смущение, она с серьезным видом сообщила:

— Как и нужно было ожидать, Мартын Мартынович, секретарь горкома очень близко к сердцу при-

нял всю эту историю. Он даже Букреева вызвал. Правда, он тонко повел свою линию: сначала говорил о стройке, о всяких городских делах, а потом, как будто между прочим, заметил, что постройка стадиона — это большая наша культурная победа. Но в городском парке ему как будто не место: парк — небольшой, он должен быть заповедником. Букреев распалился и с энтузиазмом доказывал: «Стадионы Москвы — в парках. Москва показывает нам пример, и мы тоже построим наш стадион в парке. Мы поспорим с самой Москвой...» Секретарь даже встал от удивления: зачем же, мол, в парке, да еще в самом любимом месте горожан — в березовой роще? Букреев стал расписывать и мечтать, как прогремит он со своим стадионом в роще по всей стране. Тут секретарь спокойно и внушительно заявил, что рубить рощу — это сумасбродство, что стадион нужно строить в другом месте, а лес превратить в парк культуры и отдыха. Как сейчас вижу: стоит он — смуглый, бронзовый такой, коренастый — и не спускает глаз с Букреева, — серьезный, а сам будто потешается над ним. Букреев забегал, раскричался, запротестовал: «Не позволю вмешиваться в мои функции... Я сам отвечаю за свои действия, а по указке не работаю...» И особенно разъярился, когда неделикатно вмешалась Агнюшка...

— А что? — подхватила Агния. — Я от души сказала ему: «Вы сглупили, товарищ Букреев, и вас надо здорово раздраконить... Вы решили вышибать культуру культурой... А к чему это ведет?»

Наталья встала, поправила берет на голове, пригладила пальцами волосы и решительно заключила:

— Одним словом, история с хорошим концом. Секретарь шлет вам привет и просит передать, что березовая роща будет в сохранности.

Она выразительно взглянула на Агнию, кивнула головой на дверь и протянула руку Мартыну Мартыновичу.

— Вот мы и сдержали свое слово. Теперь вам беспокоиться нечего.

Мартын Мартынович вспомнил о чем-то и в ужасе ударил себя ладонью по лбу.

— Да что же это я?.. а? Какой бестолковый... Забыл, совсем забыл...

Он засуетился, бросился в дальний угол, в темный куток.

— Уж я сделаю вам отдарочек...

Вернулся он с кучей желтых крупных яблок в обеих руках. Лицо его сияло от удовольствия.

— Ну-с... Вот-с, ведь видите ли... Зимняя антоновка... свеженькая, ароматная, собственной съемки... из моего сада. Держите, держите...

Мартын Мартынович высыпал яблоки на стол, и они со стуком рассыпались в разные стороны. Он опять хотел пойти в свой угол, но девушки запротестовали:

— Не сметь, Мартын Мартынович!.. Хватит... Вы хотите, чтобы мы к вам больше не ходили, да?

Мартын Мартынович остановился и протянул им руки.

— Хочу, хочу... Знаете ли вы, девушки мои, сколько вы мне радости и молодости принесли в это мое логово?.. Разве вы не видите, как душа моя празднует?

Девушки переглянулись и заторопились.

— Пошли, пошли... Спите хорошо, Мартын Мартынович.

— А я с вами, знаете...

Он подошел к вешалке, но Агния быстро сняла его пальто и заблистала зубами от смеха.

— Пожалуйте ваши руки, дедушка.

— Ой, ой, внучка! Я к этому не привык...

— Без разговоров, дедушка...

— Вы куда же это, Мартын Мартынович? — удивилась Наталья, подавая ему шляпу. — Неужели вздумалось вам провожать нас?

— А почему бы и не тряхнуть стариной? — пошутил Мартын Мартынович. — Впрочем, я хочу на телеграф пройти. Взбудоражил я сгоряча Владимира своей телеграммой. Надо отбой дать. Отбой, отбой... Он меня первый не похвалит...

Агния стала перед ним в угрожающей позе, с озорным лицом.

— А я вам не позволю, дедушка... Никакого отбоя.

Наталья смотрела на нее и смеялась.

Мартын Мартынович изобразил ужас на лице.

— О! Дело принимает крутой оборот... Моя защитница превратилась в грозного неприятеля... Как же быть? — обратился он за помощью к Наталье. Наталья смеялась.

— Да-с, дедушка. Не позволю-с. Владимир Мартынович должен приехать по вашему вызову, и он приедет.

Она вдруг схватила его за плечи и поцеловала в бороду. Потом откинула голову, взяла его руки и встряхнула их.

— Ну, не давайте ему отбоя, Мартын Мартынович. Ну, дорогой, хороший... Ведь ему ничего не стоит приехать сюда... А для нас — это событие... Понимаете, как это важно?

Наталья нахмурила брови. Она хотела прикрикнуть на Агнию, но не выдержала и отвернулась, сдерживая смех.

Мартын Мартынович как будто колебался: не угашая улыбки, он смотрел на Агнию, думал о чем-то и дрожащей рукой теребил бородку. Агния не отрывала от него блестящих глаз и нетерпеливо подпрыгивала на носках. Когда Мартын Мартынович перевел глаза на Наталью, которая как будто безучастно рассматривала растения на окне, он опомнился, шагнул в угол и взял свою палку.

— Нет, голубчик, не могу... Права не имею... Я хочу, дорогая девушка, только исправить ошибку... А уж если он сам захочет посетить нас, мы только будем счастливы.

Агния надулась, махнула рукой и сердито буркнула:

— Ну, и сказке конец...

Наталья быстро повернулась к ним и пошлепала в ладошки.

— Хорошо, Мартын Мартынович. Правильно.

На улице было очень тихо — по-ночному глубоко и пусто. Только где-то далеко позванивало пианино да

покрикивали гудки машин. На вокзале шипели паровозы и толкались вагоны.

Девушки взяли под руки Мартына Мартыновича и некоторое время все шли по тротуару молча. Мартыну Мартыновичу было хорошо с ними: милая и сердечная их теплота будто ласкала его.

— Да-с, — печально вздохнула Агния. — Да-с... Вот и сказке конец...

— Когда ты будешь трезвой, Агния? — строго сказала Наталья. — Надо же размышлять над своими поступками...

— Ах, отстань ты, Натка, со своими поучениями. Размышлять, размышлять... Что же, тебе никогда и помечтать не хочется?

Мартын Мартынович пожал ей руку.

— Да, да, внучка... Надо, надо мечтать...

Утром Мартын Мартынович получил телеграмму от жены сына: «Владимир в дальнем полете». Мартын Мартынович бережно сложил телеграмму и спрятал ее в ящик стола — присоединил к пачке писем Владимира. Эта пачка, перевязанная шпагатиком, была особенно ему дорога. Время от времени он вынимал ее и перечитывал письма, написанные фиолетовыми чернилами на простой бумаге. Он вспомнил Веру — жену сына, — очень маленькую женщину, белолицую, с черными кудрями до плеч, прыткую хохотушку. Она не понравилась ему: слишком уж наивной казалась, пожалуй легкомысленной, обидно легковесной для Владимира. Но она была приветлива и ласкова с Мартыном Мартыновичем, а Владимир, очевидно, любил ее, и этого было достаточно.

За окном тянулись кверху ветви сирени с раскрытыми бутончиками первых листьев и кашкой соцветий. Над сиренью чисто синело небо и очень тихо плыли округлые, тугие облака. Кружились и беспокойно летали голуби. Близко в садике посвистывали скворцы, на дворе едва слышно кричали ребятишки, и очень далеко, на строительстве, как ветер, пела сирена. И в эти моменты Мартыну Мартыновичу

хорошо было знать, что там, за городом, в недостижимые дали уходит великая страна, что всюду идет огромная жизнь, полная дерзновенных дел и подвигов. И в океане этих дел Владимир совершает смелую, трудную работу, которая требует находчивости, выдержки, силы воли и самоотвержения. Его знает вся страна и гордится им. И Мартын Мартынович вспомнил о своей молодости, о Наде, сгоревшей так рано, и думал о том, что он — старик, что скоро и он уйдет из жизни. Нет, он тоже жил хорошо, в честном, скромном труде, не ради личных целей и выгод, а ради общего блага — работал, боролся по мере сил и способностей своих, любя свое дело и наслаждаясь им. Так, вероятно, любит труд всякий вдохновенный художник. И, думая о сыне, он плакал и улыбался от счастья. И он представлял себе, как Владимир, высокий, тоже сухощавый, твердо и уверенно стоял перед ним в костюме летчика, заложив руки за спину, и смеялся весело и самоуверенно, хорошо зная себе цену.

Вот в эти счастливые мгновения сердце изнемогало у Мартына Мартыновича, и его вдруг охватывал смертельный ужас: вдруг оно оборвется... Он тихонько, будто украдкой, вставал со стула и осторожно выходил в сад и жадно вдыхал свежий воздух. Ему становилось легче, и недавний ужас казался уже постыдной слабостью.

Он оделся, опоясался ремнем, засунул за пояс топор и, взяв железную лопату, пошел в рощу.

Там долго бродил он по опушке, в молодых зарослях березняка и осинника. Несколько раз углублялся в лесную гущину, но возвращался со страхом в сердце: ему казалось, что он слышит тяпанье топоров и хрипенье пил. Березовая роща выходила одной стороной к выгону, и белая толпа стволов с густыми свисающими космами сверкала на солнце, точно была объята пламенем. Стройные, высокие, пестреющие темными пятнами и полосами, стволы будто шевелились, трепетали и сквозь сизый дымок поблескивали перламутром. Солнце пронизывало их даже в самой чащобе, и в этом ливне света стволистые дали казались

воздушными и кротко-задумчивыми. Мартыну Мартыновичу вспоминались летние закаты, когда березы горели алым сиянием, а в листьях роились вихри искр. И в эти минуты дышала та загадочная тишина с призрачными шорохами, с робким пересвистом птичек, когда хочется остановиться и грустно слушать самого себя.

Мартын Мартынович не выдержал и пошел к тому месту, где вчера рабочие сгружали инструменты. За зарослями вербы и ивняка он увидел острую вершинку парусиновой палатки и синий дымок от костра. Он остановился и замер. Некоторое время он прислушивался, затаив дыхание, но около палатки было тихо: не то люди спали, не то разбрелись по домам. Но ему почудилось, что полянка стала шире и светлее. Дальше он не мог идти: было страшно встретить усатого десятника и рабочих с топорами и увидеть срубленные березы. Он торопливо зашагал назад и не замечал, как хлестали его по плечам и по лицу холодные пряди тонких ветвей и кусты зеленой вербы.

На опушке он выкопал несколько березок и липок, связал их веревкой и, вскинув на плечо, пошел по прошлогодней тропе вниз, к речке.

Далеко за городом заботливо покрикивали паровозы, а на горизонте мазали небо бурые дымы, которые поднимались из труб электростанции. По прошлогодним бурьянам и свежей пашне расхаживали грачи и долбили землю. Они поднимали клювы, настораживались, неуклюже взмахивали черными крыльями и отлетали в сторону. Город лежал на холмах и издали казался большим. Сплошной стеной краснели и зеленели крыши, а внизу, по долине, щетинился голыми ветвями бульвар. На широком холме бывшая соборная площадь тоже затушевана была деревьями. Несколько высоких колоколен, без крестов и без колоколов, облезлые, чумазые, казались сконфуженными. А когда-то они самодовольно звонили и утром и вечером, и звон их, бархатный и гулкий, волнами плыл далеко по полям. К югу летел двухмоторный пассажирский самолет, поблескивая алюминием, и пел низким колокольным звоном.

И опять Мартын Мартынович вспомнил о сыне: он — в дальнем полете и вот так же, где-нибудь над тайгой или тундрой, плывет высоко и смотрит в мутную даль. Может быть, он в эту минуту думает о нем... Смешно, наивно было посылать ему телеграмму... Если бы Владимир получил ее сам, ему было бы стыдно за своего отца: что́ ему какие-то срубленные деревья в роще, когда он должен пробиваться сквозь густые арктические туманы, среди ледяных пустынь, неожиданно встретиться с ураганом и бороться со смертью?.. Или, может быть, в эту минуту он без посадки пересекает Сибирь, направляясь на Камчатку, к Берингову проливу... И Мартын Мартынович почувствовал себя ничтожным среди этих полей со своими маленькими мыслями о древонасаждении, о какой-то культуре быта в своем городишке и на стройке. Чувствуя себя немножко больным, он опустился на траву и, задыхаясь, опять замер от ужаса: с сердцем у него творилось что-то страшное...

Уже за полдень он добрался до первых домов соцгорода. На берегу озера зеленела трава, зеленела она и в воде и таяла в ее глубине. Этот берег опускался к речке полого, без оврагов и обрывов, и трава до самой глубокой осени была свежей и бархатной. Летом эти луга цвели ярко и пестро: с весны было больше желтых и белых цветов, в середине лета прибавлялись синие, голубые, оранжевые. Теперь эти луговые склоны холмов были залиты озером, и больше они никогда уже не увидят солнца. И оттого, что широко разлилось озеро (вода сейчас кажется густой, свинцовой после истлевшего льда) и на былых холмах построены большие кирпичные дома, этого заречного лугового места уж нельзя узнать; было жаль спокойных и тихих увалов, где в солнечный день играли огоньки цветов и высоко пели жаворонки.

Но и это зеленое прибрежье было во многих местах изрыто, и размытые кучи глины ползли к озеру желтыми потоками. Эти потоки застыли, высохли; сквозь них уже пробивалась трава, одуванчики и листья мать-мачехи. Сор и свалки старых досок, реек, пучков рваной арматуры, чурбаков тянулись баррика-

дами между домами и озером и даже валялись на берегу, смытые сюда, вероятно, весенней водой...

Мартын Мартынович решил сделать первые посадки шагах в двадцати от берега, повыше, — чтобы линия бульвара шла ближе к озеру. Он выбрал из свалки несколько реек, покрытых грязью, вынул топор и сделал колышки. Потом начал вбивать их в землю. Прибежали трое мальчишек, стриженных под машинку, одетых налегке: грязные рубашонки были заправлены в штанишки. Все были босиком, и ноги их уже успели огрубеть. Старший из них, лет двенадцати, с лукавыми глазами, засунув руки в карманы, сердито спросил, будто был недоволен появлением Мартына Мартыновича:

— Вы чего это здесь строите, дедушка?

Двое других стали рядом с ним и с захватывающим интересом следили за взмахиванием топорика.

— А вот, дружок, сажать деревья буду. Помоги-ка мне, родной. Вот тебе топор и два колышка: вбей-ка их, один — дальше, другой — ближе.

И серьезно обратился ко всем:

— Вы, граждане, как думаете? Ведь, пожалуй, неплохо будет, если мы с вами насадим здесь бульвар?

Старший сдвинул брови и решительно ответил:

— Какой же может быть разговор!

И когда взял топор, вдруг хорошо улыбнулся: должно быть, топор ему очень понравился — он внимательно и радостно осмотрел его со всех сторон, потрогал пальцем лезвие и погладил по блестящей стали. Оба мальчика тоже протянули руки и с завистью глядели на это редкое сокровище: топорик был маленький, аккуратненький, как игрушка, но настоящий, деловой топор.

— А ну, дай подержать... Слышь, Володька!.. — жалобно попросил один из них, безбровый, с малюсенькими глазками и острым носиком.

— Отваливай!.. — грозно осадил его старший. — Не с твоим носом...

Младший, лет десяти, смугловатый, даже не пытался предъявить своих претензий; он, очевидно, признавал авторитет Володьки бесспорным. Мартын

Мартынович не торопил их: он знал, как привлекают детей инструменты и с какой радостью ребятишки выполняют всякое дело, которое для них интересно и требует ответственности. Так, бывало, весело и шумно работали школьники, когда сажали деревья. Он с удовольствием смотрел на этих парнишек и знал, что они уже не отстанут от него — будут ждать его завтра, каждый день и выбегать навстречу ему в назначенный час.

— Ну-ка, ты... Гришка!.. — скомандовал Володя безбровому мальчугану с малюсенькими глазками. — Забирай колышки!.. Пашка!..

Они быстро проложили две параллельные линии шириною в пять метров и вбили колышки на три метра друг от друга.

Мартын Мартынович отмеривал веревкой расстояние между колышками, а Гришка втыкал их. Потом Мартын Мартынович отошел назад, к первому колышку, Володя с топориком в руках — к последнему, и когда Мартын Мартынович целился, выравнивая линии, Гришка и Пашка вынимали колышки и втыкали их, где нужно. Володя весь ушел в эту процедуру и командовал больше, чем Мартын Мартынович:

— Левее! Правее!.. Еще! Ладно, живет!..

И когда Мартын Мартынович стал копать ямку, Володя забеспокоился: он с товарищами вдруг оказался без работы. Мартын Мартынович нарочно не тревожил их: ждал, как они поведут себя. Лопату Володя не потребовал у старика: он не имел на нее никакого права. Но Гришка не выдержал и льстиво попросил Мартына Мартыновича:

— Дедушка, дай покопать... Тебе — трудно, а мне — ничего...

Володька пришел в ярость и заорал на него:

— Ну, ты... огурец!.. Нечего тебе вмешиваться!.. Валяйте оба за лопатами... В момент чтобы были обратно... Ну! — И он поднес кулак к носу Гришки.

Мартын Мартынович укоризненно покачал головой.

— Ой, ой, Владимир! Не ожидал от тебя такой жестокости... Ты понимаешь, всякое дело требует большой выдержки и вдумчивости. Ежели мы будем

командовать и туркать друг друга, путного ничего не сделаем... Нехорошо.

Володя упрямо насупился.

— А что он лезет? Я не лезу, а он не понимает, дурак...

— А я, брат, не согласен с тобой: по-моему, он предложил помочь мне. И я ему благодарен.

— Ну, ладно... — угрюмо согласился Володя.

— Итак, договорились. Очень хорошо. А теперь — о деревьях. Запомни, что это не просто вещи, а живые существа. Они нуждаются в ласке и уходе. Это не шутки — перенести деревцо с родного места на новую почву: оно будет болеть, пока не врастет в новую землю и не укрепится...

Гришка и Пашка уже перебежали дорогу, стараясь перегнать друг друга. Мартын Мартынович снял пальто и положил его на землю. Чувствовал он себя очень утомленным: хотя и отдыхал минут десять, когда пришел сюда с деревцами, но сердцебиение и перебои не прекращались. Дрожали руки и ноги, и смутный ужас не покидал его ни на секунду. Володя уже завладел его лопаткой и торопливо, с горячим нетерпением нажимал на нее босой ногой и вонзал в землю.

— Ты не так рьяно копай, Володенька, — запаришься.

— А я люблю делать быстро... Другие возятся, как свинята рылом, а я сразу... чтобы горело...

— Это хорошо, когда работа горит... Но тут важен прием и расчет, чтобы не растратить попусту сил. Труд должен быть продуктивным и доставлять удовольствие. Учишься?

— Ага! В четвертом классе. У меня только два «посредственных», все — «хоры».

— «Посредственные»—долой, Владимир. Ты человек сильный и должен знать себе цену. Способный человек обязан быть всегда впереди. Как ты думаешь, ошибаюсь я или нет?

— Да я сам эти «посредственные» терпеть не могу. Только придешь домой — сейчас же мамка запрягает по хозяйству: то воды принеси, то козу паси, то дров

наколи, то с ребенком сиди... до черта работы... Ну, и стараешься деру дать, как сейчас...

— А папаша твой?.. Не поддерживает?..

— Что — папаша! Он — электромонтер. Он и дома-то почти не бывает... С мамкой у них постоянная склока.

В былые годы Мартын Мартынович терялся в таких случаях. Дети рабочих кожевенных заводов и мещан были измотаны, изуродованы семейным бытом: они хулиганили, дрались, курили с восьми лет. Отца-пьяницу или мать, забитую и обозленную на весь свет, ругали грязными словами и всегда ждали выволочки. Были ребята, которые стеснялись ходить вместе со своими родителями, считая ниже своего достоинства появляться с ними: где-нибудь на бульваре или в сквере увидят школьные друзья, будут издеваться и травить их. Однажды они довели до слез его Володю. Володя всегда выходил в город вместе с отцом, и безнадзорные ребятишки, должно быть от зависти, прозвали его «мартышкой» и однажды помяли где-то на улице. Он не назвал ребят из боязни, что с ними жестоко расправятся, но дело выяснилось после того, как Володя, выведенный из терпения, сам отколотил двух парнишек: разбил им носы и насажал синяков. Мартын Мартынович стал захаживать в гости к родителям и терпеливо изучать семейную обстановку, в которой жили ребята.

И, слушая Володю, он вспомнил жалобы Клавдии Николаевны:

«Как же можно осуществить самодеятельность, если школа не имеет ни свободного часа, ни свободной комнаты и учителя заняты по десяти часов в день...»

Прибежали Гришка с Пашкой, но с одной лопаткой. Мартын Мартынович показал им, как нужно копать ямы: верхний слой земли надо откладывать в одну сторону, а нижний — в другую. Они терпеливо проследили всю его работу до конца и после этого стали сами копать свои ямки.

Мартын Мартынович встревожился: никогда он еще не уставал так сильно, как сейчас. Он вспотел и

задыхался. Сердца не было: казалось, что оно сразу исчезло бесследно, а вместо того был страх пустоты. Он надел пальто и сел поодаль на бревно. Кружилась голова, тошнило, в глазах носились какие-то незнакомые призраки. Около него стоял Пашка и со страхом смотрел на его лицо.

— Ничего, ничего, Паша, — жалко улыбнулся Мартын Мартынович. — Мне немножко дурно... Это пройдет. Сейчас мы с тобой деревца будем сажать... Сейчас, сейчас.

Кое-как Мартын Мартынович довел дело до конца: все саженцы он посадил в два ряда и привязал каждый из них к колышкам.

— Ну, ребятки, это — ваши деревья. Это вы их посадили. Охраняйте их строго. И ни в коем случае не допускайте к ним коз и свиней: они погубят их. Назовем этот начатый нами бульвар вашим именем: «Бульвар трех товарищей». Я и завтра приду в это время.

— А мы других ребят приведем... с лопатками...

— Вот это совсем хорошо.

— Мы проводим вас, дедушка, до самого города... Можно?

— Нет, вы уж идите по домам. Надо ведь и матерям помочь... Надо, надо, ребятки...

Но ребята все-таки проводили его за плотину.

По дороге он несколько раз останавливался, прислонялся к заборам и со страхом озирался вокруг. Кто-то подходил к нему, спрашивал о чем-то, но он ничего не понимал и слабо отмахивался. Дома он кое-как снял пальто, но шляпу не мог положить на полочку, и она упала на пол. Через силу снял башмаки, обул валенки и, не раздеваясь, лег на кровать. Сердца по-прежнему не было, а вместо него томил ужас пустоты и тьмы. Он сейчас же забылся, и кровать плавно закачалась под ним, как зыбка. Владимир, в шлеме, стоял перед ним, обнажая белые зубы в улыбке, и смотрел доверчивыми глазами, как в детстве. Наплывая, как на экране, он наклонялся над ним с изумлением здорового человека. Потом растаял в тумане, и все исчезло. Колыхалась уже не только

кровать, но и вся комната, и звучала глухими стонами, точно где-то под полом ритмически бил по слабо натянутой струне шерстобит. Потом эти волны принесли Надю... Она смотрела на него, как сквозь дымку, с улыбкой страдания — с той мучительной улыбкой, которая мерцала у нее перед смертью. Где-то далеко пел девичий голос в лесу:

— ...в дальнем полете... в дальнем полете...

Зыбка останавливалась, его подбрасывало на постели, и сердце опять билось гулко и больно. А в ушах пел замирающий голос в лесу:

— ...в дальнем полете... в дальнем полете...

— Вы больны?.. и один? Надорвались, упрямец?.. И плачете?..

Жизнь прожита, но не кончена. А закончить ее надо не сконфузившись. Он немножко устал, а весна — как морской прибой: она накрывает его волнами и уносит в зеленую глубину. Эта весна началась у него сближением с молодежью и детьми. Слезы сладостны в радости: прошлое живет в душе и сияет глазами Нади, а Володя — в дальнем полете... И девушки — Наталья и Агния — так чутко коснулись его души... Несколько деревьев посажены им вместе с ребятишками, как в былые времена... Молодое растет...

— Ну, кажется, у вас дело серьезное... — встревожился около него знакомый голос. — Надо вызвать врача.. Умрете, и никто не заметит...

— Что? Кто это торопит меня умирать?.. Клавдия Николаевна?..

Мартын Мартынович в негодовании поднялся, опираясь на локоть, и мокрыми от слез глазами оглядел комнату. В ногах у него стояла та прыткая старушка, которая встретила его в управлении строительства.

— А, это вы? Софья Мартыновна!.. Извините... Я прилег, знаете... отдохнуть немножко... Весна изнуряет стариков...

— Но опасного нет? Не скрывайте! Передо мной прошу не деликатничать.

Она с юркостью девочки схватила стул и подкинула его к кровати. Села она тоже ловко и быстро,

но сразу же опять вскочила и просеменила к диванчику. Из старенького портфеля она с лихорадочной торопливостью выдернула газету и, не переставая говорить, опять подбежала мелким шажком к Мартыну Мартыновичу и села на стул.

— Летела к вам сломя башку — обрадовать, раздразнить, взбунтовать ваши весенние мечты... Что же это вы, Мартын Мартынович, греховодник!.. Видела, видела... уже успели воткнуть деревца... Кустарничаете, молодой человек... Сам, своими силами... И где! — на гигантской стройке... в соцгороде!.. Вы с ума сошли... Впрочем, это чудесно...

Она с торжеством ударила сухонькой ручкой по газете, взмахнула листом с запахом свежей краски и рассмеялась звонко, как молодая. Курносенькая, с черными блестящими глазами, седенькая, румяная от беготни по улицам, она дружески откровенничала, как свой человек:

— Знаю, знаю... не написал, не успел, хлопотал..., деревья сажал... а потом надорвался... Нетерпелив, как ребенок... Весна опьянила... А я вот нате-с!.. накатала статейку... Тогда же после нашей встречи... В редакции переполох устроила... А сейчас тарарам подниму... О посадке настрочу, как о событии. Ваше фото пожалуйте... Без разговоров, Мартын Мартынович, без церемоний!.. Не извольте жеманиться и кокетничать своей скромностью... Вы знатный человек города... не говоря о том, что вы — уважаемый родитель Героя.

— При чем же здесь родитель Героя, извините-с?.. — раздраженно пробормотал Мартын Мартынович. Он болезненно поморщился и закрыл глаза.— Я жил, отвечая сам за себя, и, ведь видите ли, по совести вырабатывал программу личного поведения...

Ему было трудно переносить жизнерадостное беспокойство этой старушки: он явно был болен и хотел тишины. Софья Мартыновна и угнетала и возбуждала его: ее внезапное появление было и тягостно и приятно. Если бы она сейчас испугалась, что потревожила его, он был бы доволен, но был бы и обижен: без нее ему стало бы еще хуже. Она явилась в эти

дни очень кстати, будто заполнила какую-то пустоту в душе.

Он сел на кровати и спустил ноги. Голова была тяжелой и чужой, и трудно было держать ее на плечах: что-то бултыхалось в ней и гудело. И тело было тяжелое и вязкое. Страх в сердце не проходил. Слезы заливали глаза от беспричинной скорби. Серенькое, низкое небо в окне ослепляло и мутило тоской. Он вздохнул со стоном и на миг почувствовал, что в эту секунду он неизбежно должен упасть.

Софья Мартыновна вскочила в негодовании и ужасе.

— Культурный человек, а не заботится о себе. Ложитесь обратно! Без разговоров! Нельзя валяться в пиджаке и валенках.

И когда Мартын Мартынович с испугом хотел оттолкнуть ее, она оглушительно, как ему показалось, закричала:

— Нечего стыдиться: вы — не юноша, и я — не невеста. Подчиняйтесь, ежели вас учат уму-разуму.

И она бесцеремонно, но очень бережно и ласково сняла с него пиджак, фланелевую рубаху, валенки, чулки, выдернула из-под него теплое одеяло и неожиданно поцеловала в лоб. Этот поцелуй потряс его, и он опять заплакал. Стыдясь своих слез, он жалобно улыбнулся:

— Вот... дожил: хлюпиком стал, ведь видите ли... Безобразие какое!

— Ну, ну... какой там хлюпик! Прожил большую жизнь, а поплакать как следует не довелось. Вы — только хороший человек, поэтому и слеза у вас открытая. Мне тоже хочется иногда поплакать... только характер у меня воробьиный: некогда, непоседа... И потом я — соль: боюсь растаять. Действуйте! Я отвернусь. Снимайте свои панталоны...

Эта искренняя забота о нем молодой старушки, так неожиданно влетевшей в его жизнь, и встревожила и растрогала его. Он привык к своему одинокому житью, но в своей комнатке, опрятной и кудрявой от зелени, с своими думами и мечтами, с ночной заботой над повестью своей жизни, он не знал одино-

чества. Мир прошлого сливался с настоящим: за окном пробуждался сад, город каждое лето зеленел липами и кленами и шумел о его молодости; фруктовый сад в школе, березовая роща за городом хранили родной образ Нади. В стране много людей, которые помнят и любят его, и Володя, его сын, — в дальнем полете, он несет в себе лучшие его мысли и могучую любовь к жизни.

И он не удивился, что эта Софья Мартыновна, неизвестная до сих пор женщина, пришла к нему как сердечный друг. Доверчиво и с уважением влетели к нему и эти милые девушки — Наталья и Агния...

Софья Мартыновна стояла у окна спиной к нему и нервничала.

— Ну? Готово?

— Прошу вас, Софья Мартыновна, — смущенно пригласил он ее. — Все это — лишнее. Я, ведь видите ли, все равно скоро поднимусь: это не болезнь, а маленькое переутомление... Да и поволновался немножко.

Софья Мартыновна уже сидела на стуле около его кровати и снисходительно слушала его, как ребенка. Ее блестящие глазки с ласковой насмешкой следили за его лицом.

— Не оправдывайтесь... и не ерепеньтесь, пожалуйста! Глупо сахарить селедку... Вы мне скажите лучше — намерены ли вы и завтра кустарничать так же, как сегодня?

«И чего она в душу залезает?... — раздражаясь, подумал он. — Как будто интеллигентная, а грубиянит...»

Он закрыл глаза и помолчал, чтобы успокоиться, но Софья Мартыновна укоризненно заключила:

— Одержимый вы человек...

— Если люди по тупости и по невежеству своему вырубают рощи, — прохрипел он, поднимая голову и опираясь на локоть, — и если некие наши начальники бездушно рассуждают о планах, игнорируя людей, — я буду сажать деревья сам...

Софья Мартыновна добродушно засмеялась и похлопала ладошкой по его плечу.

— Не злитесь, пожалуйста. Неужели вы не чувствуете, дорогой мой, что я за это именно и люблю вас... за ваше человеческое упрямство.

Он опять опустил голову на подушку и закрыл глаза.

Софья Мартыновна смотрела на него недовольно, строптиво, но в глазах ее играли лукавые искорки.

— Но один в поле не воин, как говорится, Мартын Мартынович... Хотя Карлейль и Лавров утверждали иное, но...

— Оставьте Карлейля и Лаврова... Я сделал свое дело и горжусь этим. Всякое растение требует своей почвы... В лесу и ветла — светла...

— Не дразните, пожалуйста... и без намеков. Лежите спокойно...

— Какие неожиданные бывают встречи! — слабо улыбнулся он. — Вот, например, вы, Софья Мартыновна... Знаю, что хорошая душа. Но живете-то как?.. бобылкой?..

Софья Мартыновна изумленно вскинула голову, широко открыла глаза и стала сердито затискивать бумажки в портфель, потом швырнула его на стол и сорвала лиловую шляпенку с седых волос.

— Какая там бобылка! Очнитесь! Семьи нет, да. Я забыла, когда убежала от мужа, лесничего, который требовал, чтобы я была для него преданной собакой. Впрочем, свою охотничью собаку он любил больше, чем меня. Он был скорее похож на лешего и оставлял меня одну, а я любила живую человеческую жизнь. Все это банально и неинтересно. Была и на империалистической войне и на разных фронтах гражданской с первых боевых дней Красной гвардии. Ну, конечно, большевичка. Все? Больше вопросов нет? — спросила она шутливо.

— Как же это вы... боевая такая... и в какой-то строительной газетке?..

— Голубчик! Разве у нас можно затеряться? Что вы говорите!

Она заботливо поправила одеяло и подушку и ожидающе помолчала, зорко осматривая стол и стены. Потом вспомнила о чем-то, щелкнула паль-

цами и опять взяла свой портфель. Она выхватила оттуда маленький пузырек и с радостной вспышкой в глазах ткнула его к лицу Мартына Мартыновича.

— Вот, извольте. Как кстати! Валидол. Две-три капли на сахар. Быстро успокаивает сердце. Для меня это — целительный бальзам. Ну? Тоска? Гнетет? Где у вас сахар?

И, не дожидаясь ответа, вскочила, бросилась к шкафу, позвякала посудой, и в пальцах ее, как у белки в лапках, замелькал белый кусочек. Она поднесла его Мартыну Мартыновичу на блюдечке.

— Держите!

— Этого я не выношу, — угрюмо буркнул он, но блюдечко покорно взял.

— Держите! — строго крикнула Софья Мартыновна. — Не капризничайте! Ругаться буду.

В пальцах ее задрожала пипетка и исчезла в горлышке пузырька.

— Сосите!

Горьковатая влага разлилась по языку мятной прохладой.

— Все. Завтра забегу к вам.

Утром, как обычно, Мартын Мартынович встал в семь часов и, хотя чувствовал некоторое недомогание, заторопился в рощу, чтобы успеть в этот день посадить в соцгороде еще десятка два деревьев. Вчерашний день был неудачен: он не рассчитал времени — вышел поздно, пришлось спешить, и он чересчур переутомился. Расстояние от парка до соцгорода не так велико: пять километров для молодого сердца и здоровых ног — прогулка в удовольствие. А Мартын Мартынович потратил на это часов шесть: пока добрел, пока бродил по роще, пока выкапывал деревца, пока дотащился до набережной, с отдыхом, с сердечными перебоями... Сейчас он решил поберечь себя: идти медленнее, не уставая, как совершал свой обход городских насаждений.

На столе лежала газета, которую, очевидно, вчера оставила Софья Мартыновна. Он взял ее и сразу

увидел крупный заголовок: «Энтузиаст древонасаждения». Энтузиаст! В этом слове он вдруг почувствовал фальшь. Оно оскорбило его даже своим начертанием: в нем была явная насмешка. Сейчас, когда он испытывал сердечную неурядицу, а недомогание обостряло нервную раздражительность, этот крикливый шрифт как будто издевался над ним. При чем тут древонасаждение и пронзительное слово «энтузиаст»?

Он бросил газету в проволочную корзинку под столом и очень сурово поглядел на стул, где вчера сидела Софья Мартыновна.

Он неторопливо оделся, засунул за пояс топор и веревку, взял свою многолетнюю спутницу — лопатку с короткой отполированной ручкой — и вышел, тщательно заперев дверь.

Небо было на редкость синее, с одинокими клубастыми облаками, а воздух чистый, легкий и ослепительно горел солнцем.

В саду, на дорожке аллеи, играли в классы две девочки, прыгая на одной ноге. Одна девочка одета была в теплое сизое пальтишко и белый пушистый капор, другая — патлатенькая — в какую-то бедненькую разлетайку. Гологоловый мальчик бросал камешки в деревья и свистел. Девочка в капоре требовательно покрикивала на него:

— Женька, не сметь бросать камни — ушибешь деревья.

— А я — в синиц... и мне не указывай.

— Кому говорю, Женька! Синицы — полезные... А камни ветки поломают. Должен понимать — мужчина! Веткам так же больно, как и тебе.

Мальчишка со всех ног бросился бежать по аллее.

Мартын Мартынович подошел к девочке и погладил ее по капору.

— Очень хорошо, дружок. Надо садик оберегать: он — ваш, общий.

Девочка недружелюбно посмотрела ему в глаза и холодно заявила:

— Зачем вы меня гладите? Я — не собачка. Я сама знаю, что делать. А Женька — хулиган: он

такой же, как мать, — грубый и некультурный... Это — Марьин сын...

А Марья уже высунулась из окна флигеля, толстолицая, злая, и кричала на весь двор:

— Женька! Иди домой, гадина! Картошку надо чистить... А ты не очень-то распоряжайся, барышня... И вам, гражданин пенсионер, нечего совать нос в ребячью игру... Связался черт с младенцем!

Мартын Мартынович поспешил выйти на улицу.

«Страшная женщина... У нее потребность коверкать жизнь... Какая отвратительная вражда к людям!..»

И он почувствовал, что сердце у него замерло, остановилось и ему стало трудно дышать. С верхушки обрызганной зеленью осины, вытягивая шею, кричала ему навстречу ворона: ур-ра! А ей вторил старьевщик татарин с пустым мешком через плечо:

— Бер-ром старья-а!

И у него это выходило странно и смешно:

— Дер-ром царя!..

Переулок был тихий, малонаселенный, и по краям дороги вдоль тротуаров всегда росла трава. И дома были старинные — деревянные, с мезонинами, со ставнями и резными наличниками. Еще в первые годы революции этот переулок был назван, взамен Ивановского, переулком Меринга, а параллельный ему — Задворный — переулком Шопена. И жители, которые никогда не слышали этих имен, ахали, хлопали себя по бедрам и негодовали:

— И чего это выдумали!.. Век жили в Ивановском да в Задворном, родились здесь, выросли, а теперь вот получай Мерина... Вывеска-то какая!

Здесь жили молочницы и рабочие-кожевники. Почему-то в этом районе было много древних старух, похожих на монахинь. Шатровая колокольня без колоколов, с двумя ярусами продухов, поднималась невысоко в толпе крыш; на восьмиконечном кресте сидели галки, и это напоминало известную картину Поленова «Московский дворик». Стояла солнечная тишина, и казалось, что трехоконные фасады домов улыбались и вздыхали радостно: ну, наконец-то весна!

И им отвечали близкие и далекие петухи. Где-то, должно быть в центре города, дружно и старательно пели красноармейцы, и эта заглушенная далью песня звучала красиво и бодро. Пахло влажной, теплой землей, навозным перегноем и травой.

Из открытого окна кирпичного дома на противоположной стороне сквозь тюлевую занавеску вдруг вырвались на улицу гнусавые, косноязычные и вихлявые звуки джаза. Визг, завыванье, писк, кваканье и пьяный смех ошарашили Мартына Мартыновича, как пощечины. Он даже как будто оглох от потрясения и инстинктивно сжал кулаки.

С судорогой в лице, задыхаясь, он широкими шагами пошел по тротуару, звякая лопаткой по кирпичу.

«Почему так заразительна пошлость? — с возмущением думал он. — Джаз — музыка бездельников. Она враждебна нашей душе — не наша. Но она, как дурман, отравляет нашу кровь и мозг».

Под видом культурного обслуживания радиоузел по целым дням выбрасывал из репродуктора на город этот мучительный «спотыкач». Прекратил он это свое безобразие только после протеста школ и публичной библиотеки. Но время от времени радиоузел подчинялся чьей-то команде, и на город опять обрушивалась саранча.

Душу Мартына Мартыновича угнетала смутная тоска, похожая на тяжелое предчувствие. Эту тоску он ощущал еще во сне и встал с мучительным беспокойством: откуда такая странная тревога? Что случилось? Не произошла ли катастрофа с Владимиром? Такая же гнетущая тоска смяла его один раз в жизни — перед смертью Нади. Точно так же он проснулся от глубокого душевного беспокойства и не мог найти себе места: он был убежден, что должно произойти с ним что-то ужасное. Тогда Надя, изнуренная последними часами беременности, смотрела на него удивленными глазами и говорила тихо, покорно, со страдальческой улыбкой:

— Мартын, не беспокойся: все совершится так, как надо... Ты мучаешься больше, чем я...

А на другой день она умерла.

Теперь это глухое предчувствие беды было так тяжело, что Мартын Мартынович как будто ослеп и оглох.

Тяжелая тревога за Владимира не выходила из головы. Он в дальнем полете... Неужели погиб? Владимир! Володя мой!..

Навстречу ему ковыляла «эмка».

Но кто бы это? Из городских людей некому здесь кататься на машине: на «эмках» ездили только ответработники, да и то по центральным улицам.

Когда машина поравнялась с ним, он хмуро покосился на нее и хотел пройти мимо. Но открылась дверца, и Софья Мартыновна быстро выскочила из кабины. Лиловая шляпка лихо съехала на ухо.

— Куда это вы, Мартын Мартынович? Не терпится? Сорвались с постели, беспокойный вы человек...

Она бросилась наперерез и с гневом протянула к нему свою руку, точно хотела схватить его.

— Постойте, постойте, упрямец!..

«Ужасно навязчивая женщина!.. — возмутился Мартын Мартынович. — Она, кажется, решила взять меня под опеку...»

Он неприязненно встретил ее нахмуренным взглядом.

— Да вы с ума сошли, Мартын Мартынович!.. Умный больной обязан лежать. Кто вам позволил встать с постели и шляться с этой паршивой лопатой по городу? Долой, долой!.. Садитесь в машину! Я доктора вам везу...

— У вас, Софья Мартыновна, очевидно, страсть ссориться с людьми... — усмехнулся он, звякая лопатой и сверля ею кирпич. — Вы, должно быть, следуете правилу всех сердечных людей: самоотверженная забота требует насилия. Со мной у вас этого не выйдет. Спасибо за участие, но доктора мне не нужно. Я здоров.

Она вскипела и закричала на всю улицу:

— Вы кого хотите обмануть? Меня? Вы не знаете, с кем имеете дело. Еще не было такого хитроумного

Одиссея, который бы объехал меня на вороных... Ведь я вас насквозь вижу: на вас лица нет. Пожалуйте садиться, иначе я действительно употреблю насилие...

На другой стороне улицы остановились прохожие — бородатый мужик и беременная женщина с ведром воды. Они с веселым любопытством глядели на сердитых стариков. Бледный бритый человек, с заспанным лицом и пузатым портфелем, толкнул Мартына Мартыновича, недружелюбно пробурчал что-то и прошагал мимо. Шофер смотрел из открытого окошечка кабины и скалил зубы.

Мартын Мартынович очень спокойно предупредил:

— Не кричите, я не глухой.

— Вы глухой, потому что невменяемый, а невменяемый потому, что одержимый... Вы совсем больной, а упрямо отвергаете это...

«Неудовлетворенный инстинкт жены и матери...» — догадался Мартын Мартынович, и эта мысль смягчила его. Он взял ее за руку и потянул к себе.

— Успокойтесь. Спасибо за участие.

Потом дотронулся до шляпы и пошел дальше.

— Нет, это возмутительный человек!.. — в отчаянии вздохнула Софья Мартыновна и с минуту не отрывала глаз от его высокой, немного сгорбленной фигуры. Она хотела побежать за ним, но споткнулась на шагу и крикнула:

— Мартын Мартынович, садитесь: я подвезу вас к вашему парку...

Он отрицательно махнул рукой и не обернулся.

Но Софья Мартыновна подкатила к самому тротуару и открыла дверцу.

— Садитесь без всяких разговоров! Ваша скромность будоражит улицу.

Мартын Мартынович неожиданно остановился и молча направился к машине.

— Хорошо. Согласен.

В углу кабины сидел молодой, белолицый и большеносый человек в роговых очках, в пальто с поднятым воротником и в задранной на затылок кепке. Он

не обратил внимания на Мартына Мартыновича и не пошевелился, когда Софья Мартыновна энергично втиснулась между ними. Седенькие ее волосы выбивались из-под лиловой шляпки и лезли на щеки и глаза. Она добилась своего и была довольна: этого упрямого человека все-таки она затащила в машину.

— Кустарь-одиночка... — ворчала она. — Не можете понять, что в наши времена это смешно и жалко. Что вы сделаете со своим топориком и лопатой?.. Чтобы засадить огромные пространства, надо организовать многолюдный труд...

— Пока вы организуете этот труд, пройдет не один год. А человек, ведь видите ли, хочет жить по-человечески. Надо уважать человека. Уважение к человеку не откладывается в долгий ящик.

— Это не конкретно... — заспорила Софья Мартыновна. Она, очевидно, очень любила поспорить. — Вы должны слышать, как рвутся бомбы в Китае и в Европе... Это и к нам приближается... А вы хотите занять людей посадкой березок...

Он с пристальным недоумением повернул к ней лицо и несколько секунд смотрел ей в глаза, как будто хотел удостовериться, действительно ли она глупа, или обмолвилась сгоряча.

Он отвернулся и сердито проворчал:

— У меня Владимир — летчик и всегда готов к бою. А я, нуте-с... каждый день воспитывал любовь к родине... Не словами, нет-с... И деревца, посаженные человеком, способны зажечь душу самоотверженной нежностью к своей земле. Жаль, что вы этого не постигли... большевичка!

Он поднял плечи, съежился, и обвисшие поля его шляпы легли на воротник пальто. Он больше не желал разговаривать.

Мимо мелькали деревья бульвара, и непрерывным зеленым потоком струилась чахлая акация вдоль низенького заборчика. Над деревьями толпой кружились галки, садились на верхушки и дрались. Их веселый гвалт был хорошо слышен даже сквозь шум машины. По аллеям бульвара и по тротуарам группами и по одному шли школьники. Было тепло, парно,

и ребятишки бежали налегке, а некоторые даже в рубашках, большинство без картузов. Ну, конечно, мальчишки озоруют: дерутся, играя, мнут друг другу бока, борются до изнеможения (они не могут без этого). Двое схватили за шеи друг друга и, красные от напряжения, топтались на тротуаре. Они толкнули проходящих девочек. Одна из них с возмущением ударила кулаком и того и другого. Они оторвались друг от друга и ошарашенно поглядели на девчат, которые звонко смеялись.

Проехали безлюдную площадь. Колонны исполкома горели на солнце, будто желтомраморные, и казались выше и стройнее, чем всегда. В центре, в круглом сквере, несколько женщин копали землю на рабатках и разрыхляли граблями клумбы.

«Хорошо, очень хорошо... — похвалил их Мартын Мартынович. — Весенние работы с землей — как инстинкт перелетных птиц, которые вьют гнезда. Самое чудесное беспокойство. Вот и у меня — привычка это или инстинкт жизни?.. Почему я не думаю о смерти, которая уже на шаг от меня? Не потому ли люди боятся смерти, что боятся жизни, то есть того, что связано с жизнью, — страданий, мук, болезней и, главное, совести?..»

Софья Мартыновна говорила словоохотливо и горячо, но он вежливо молчал, не слушая ее.

— Вы несомненно больны: на вопросы не отвечаете и невозмутимо молчите, как бог.

— Извините. Меня тревожит весна.

— Юноша какой, подумайте!

Доктор сидел в углу и скучно посматривал в окно. Он был недоволен и дулся.

— Не злитесь, доктор! — насмешливо приказала она.

Мартын Мартынович сердито пробурчал:

— Вы обманули его. Больной угрожающе вышел навстречу ему во всех доспехах жизни. Врачевать старость — нелепо.

Она с возмущением завозилась между ними, точно хотела вскочить и сесть кому-то из них на колени.

— Скажите пожалуйста! Он еще издевается, торжествует, бесстыдно философствует. Но не верьте ему, доктор: он и в последний свой час будет кричать «ура»...

— Вот именно! — усмехнулся Мартын Мартынович.

Доктор неожиданно засмеялся, снял очки, и глаза его вдруг оказались очень красивыми, по-женски грустными.

— Вижу. Мое участие совершенно излишне. Такие больные мне нравятся.

И сразу опять стал хмурым и замкнутым. Он надел очки, вынул платок и высморкался. Нос его от этого как будто разбух и стал устрашающе огромным. Но заговорил он смешливо, с беззлобной издевочкой:

— Самые лживые люди — это пациенты. Ни один больной не скажет скромной правды о себе. Даже самые искренние и правдивые люди подчиняются этому психозу лжи. Бахвалятся своими несуществующими болезнями, играют, как плохие актеры, клевещут на себя. И чем больше наврут, тем больше довольны. Но как они боятся и обижаются, когда врач не находит у них желанных болезней! Они готовы возненавидеть его на всю жизнь. Врач принужден жить среди врагов, которые множатся каждый день.

— Вы рассказываете злые анекдоты, — сердито изобличила его Софья Мартыновна. — Вы людофоб.

— Нет. Терапевт.

— Это что же — лучше или хуже?

— Опасная профессия.

— Не ту песню поете, милый доктор, — рассердилась Софья Мартыновна. — Не ваши микстуры нужны людям, а вы сами... Понимаете? Вы сумейте прежде всего душу человека врачевать. Неправда, больной вам не врет, а ищет у вас только поддержки. Вот почему, доктор, вы сами себя не лечите, а идете к коллеге... Не бесполезно, если обратитесь за помощью и ко мне... Да! Да!

Мартын Мартынович теребил бородку и усмехался:

— Софья Мартыновна — врач по призванию, а пошла не по своей дороге.

— Я и вас вылечу... лучше всякого терапевта.

— А меня-то все-таки вытащили, — засмеялся доктор.

— Конечно! Для большей внушительности... и ради торжества вашего авторитета.

Лицо у Мартына Мартыновича осунулось и стало бледным.

— Я выйду, товарищи. Ехать больше не могу.

Врач внимательно посмотрел на него и дотронулся до плеча шофера. Машина остановилась.

Доктор нырнул в открытую дверцу и через секунду уже высаживал Мартына Мартыновича.

— Вам уставать нельзя, больших переходов не делайте. Я обязан не оставлять вас без надзора, но лучший ваш врач — воздух и разумная свобода. Вы сами знаете, как вести себя.

Мартын Мартынович, не простившись, тихо, точно ощупью, побрел по дороге к лесу. Он не слышал, как Софья Мартыновна кричала испуганно:

— Его надо домой, доктор. Он обязательно упадет.

Тошнило, гудело в голове, и замирало сердце. Глухой и слепой, шел он как будто в пустоте, и ему чудилось, что он несется с крутой горы и никак не может остановиться. На самом же деле он шагал, как дряхлый старик, шаркая башмаками по накатанной колее, едва поднимая лопатку и опираясь на нее всем телом. Он задыхался и хватал воздух открытым ртом.

Он не слышал, как подъехала сзади машина, не слышал и голоса Софьи Мартыновны. Остановился он только тогда, когда чья-то рука вцепилась в ручку лопаты.

— Мартын Мартынович, голубчик, я вас не могу оставить в таком состоянии: поедемте, дорогой. Вы сами же хорошо понимаете, что вам плохо. Ведь не уйдут же от вас ваши деревья.

Мартыну Мартыновичу была невыносима эта странная назойливость. Ему нужно было остаться одному в тишине и весенней глуши леса, молча почув-

ствовать небо, тихо плывущие облака, ощутить всегда зовущий запах молоденькой листвы, травы и перегноя, птиц послушать и ни о чем не думать. Он знал, что там, наедине с собою и с весной, он будет здоров и бодр. Он поглядел на Софью Мартыновну с судорогой в лице. Должно быть, глаза его были страшны, потому что Софья Мартыновна сразу отпрянула от него.

Дорога из города вела прямо в березовую рощу. Собственно, это была не дорога, а широкая межа между городскими огородами, заросшая бурьяном. От нее на всем протяжении отходили параллельными линиями и с той и с другой стороны узенькие тропы. В разных местах стояли распряженные телеги. Наклоняя головы и помахивая ими, лошади тащили плужки, а за плужками, торопясь и спотыкаясь, семенили люди. Утро было теплое, прозрачное: отчетливо видны были даже лица пахарей. Справа щетинилась молодая поросль на опушке рощи. Грачи перелетали один за другим по бороздке вслед за плугом и долбили рыхлую землю. Солнце грело горячо, и воздух был такой ослепительный, что больно было смотреть и на небо, и на поля. Летали со звоном золотые мухи. Трава на дороге была густой и нежно-плюшевой, и чудилось, что по ней пролетают огоньки пламени. Всюду горели одуванчики, звенели и смеялись навстречу Мартыну Мартыновичу. Это заливались высоко в синеве невидимые жаворонки.

Мартын Мартынович остановился отдохнуть и посмотрел назад. Вот он — недалеко, в голубой дымке — старый, родной город, с облезлыми колоколенками без колоколов, с двумя пожарными вышками. Он похож больше на деревню, чем на город. Только на холме, над густым засевом деревянных домов, стоят трехэтажные желтые здания с колоннами на фасаде — постройки восемнадцатого века, — да по склонам, вдали друг от друга, — казарменные здания с многочисленными окнами.

Он, Мартын Мартынович, врос в этот город, пустил глубокие корни. Этот же город взял у него и счастье его молодости — родную Надю, — и Надя

завещала ему всю любовь его отдать детям и растениям. Детство и юность горожан проходили среди шелудивых домишек, на навозных улицах, где бродили свиньи и куры, или на пустынных околицах. Небольшой лес был далеко — верст за двенадцать. Лес в окрестностях давно вырубили, и о нем не осталось никаких воспоминаний. Только отдельные зеленые острова сохранились в бывших помещичьих усадьбах, да и те продавались на вырубку и постепенно истреблялись. И вот за всю свою жизнь Мартын Мартынович один с своими учениками каждую осень и весну нанимал на свои гроши подводы, ездил в лес и привозил саженцы. Враждебно встретило это новшество мещанское население. И когда Мартын Мартынович захлопотал вместе со школьниками, его встретила зловещая вражда. Деревца, посаженные на широкой центральной улице, кем-то ломались или вырывались, а по ночам пьяные хулиганы бросали камни в школьную его квартиру. И только ребятишки спасли эти первые насаждения — это был их труд, и они впервые в своей жизни почувствовали, как дороги их душе эти деревца: в их зеленом шуме, в жизнерадостном их росте они узнали свой человеческий рост.

В годы гражданской войны много деревьев было вырублено и на улицах, и в сквере, и в роще. Это было вполне понятно: топливный голод, недалекий боевой фронт, бесхлебье, разрушение обывательских гнезд, жестокая борьба с внутренними врагами — все это было страшной неизбежностью, как восстание новой жизни, как мучительный и величавый пафос новой правды, утверждающей себя в страданиях и самоотверженной борьбе.

Навсегда осталась в памяти зима девятнадцатого года. Его школа была превращена в военный лазарет. С фронта привозили раненых красноармейцев, полураздетых, с обмороженными ногами и руками. У многих была гангрена. Но Мартын Мартынович был потрясен невиданным энтузиазмом этих юношей: ведь Деникина отбросили и погнали к югу...

Люди были обречены: им ампутировали ноги, руки, гангрена косила их каждый день. В школе стоял труп-

ный запах, было очень холодно, и вместе с Володькой мерз в своей квартире и он, Мартын Мартынович. Врачи и санитары носили халаты поверх овчинных шуб: у всех у них были застывшие, суровые, почти грозные лица. Забор около школы уже сожгли, но фруктового сада не трогали. Мартын Мартынович охранял его сам. Не трогали и пирамидальных тополей вокруг участка. Эти тополи он выписал когда-то с Украины и дорожил ими так же, как яблонями.

Проходил он как-то по коридору и услышал надорванный крик:

— Белякам теперь — каюк, братишки! Не видать им нашей Москвы!.. Народ свое берет... Эх, и жизнь будет, товарищи!..

Мартын Мартынович остановился в дверях и увидел обросшего русой бородой человека, с лицом мертвеца. В глазах его горело счастье.

— Не выдюжу, товарищи! Мочи моей нету, братцы, — безнадежно стонал где-то рядом слабенький, почти мальчишеский голосок.

— Потерпи, братишка!.. Недолго терпеть... жизнь-то какую построим!.. свободную, родную!.. для себя, братишка... Трудиться будем да радоваться!..

Эти ликующие крики в комнате смерти так потрясли Мартына Мартыновича, что он пошатнулся, припал спиной к косяку двери и заплакал: должно быть, ослабел за годы кровопролитий и бедствий. И тот же веселый голос, переполненный восторгом, крикнул:

— Чего ты рыдаешь, папаша? Смеяться, «ура» кричать надо, а не унывать...

Мартын Мартынович выбежал на двор и, весь в слезах, позвал сторожа, взял топор и пилу. В этот день они срубили и спилили половину тополей и штук десять яблонь. Школу сторож стал топить каждый день. Но веселого голоса Мартын Мартынович уже не слышал: красноармеец умер два дня спустя.

...Он не заметил, как вошел в лес, как продирался сквозь заросли. Остановился только в тот момент, когда тонкая ветка жгуче ударила его по лицу. Он сел на трухлявый пень, с почерневшей щетинистой

древесиной, и положил у ног лопату. Пахло грибами, болотом и прошлогодними листьями. С одной стороны, сквозь стволы и поросль, сиял солнечный воздух. Яркие пятна на коричневом перегное и на зеленых листьях травы горели, как огонь, а кружево ветвей ослепительно сверкало искрами. Они роились, взлетали и падали, как живые. С другой стороны стволистая глубина была сумеречной и задумчиво-суровой. Оттуда — чудилось Мартыну Мартыновичу — смотрели на него мшистые лица и серо-зеленые дремучие глаза. Листья деревьев распустились, окрылились и размножились за эти сутки. Где-то далеко трещали ветки и шла какая-то воркующая возня. Далеко и близко перекликались флейточки. С визгливым хохотом пролетела большая птица. Какая глубокая живая тишина! Так и кажется, что шевелятся истлевшие листья и обломки веток и по ним пробегает волнистая рябь. Паук торопливо носится, как по воздуху, между тонкими ветвями ольхи (как она попала сюда?) и плетет свои сети очень ловко, очень уверенно, со страстью отдаваясь своей чудесной работе. Куда ползет сизая жужелица, прихрамывая на все ноги и нащупывая путь длинными усами? Эти дебри еще не изведаны, а она знает, куда влечет ее властная сила инстинкта. Вот и он, Мартын Мартынович, всю жизнь неустанно, со страстью совершал свое дело — растил и воспитывал людей, сажал и ухаживал за деревьями, сам учился жить — работать, бороться и мыслить. Бессмертие человека — в делах его, совершенное — совершается в новых рождениях. Вот он, лес, разросся, раздвинулся, стал сумеречно-многоствольным, и в нем — свои большие свершения. И здесь он, Мартын Мартынович, связан с каждым деревом, с каждым листочком и со всем миром этой лесной стихии. Здесь не только лес, но и его жизнь с молодых лет, здесь — тень его Нади, детские годы Владимира и всех питомцев — людей, которые боролись в революциях и строят новый трудовой мир.

Он встал и пошел к березовой роще. Только сейчас понял, что думал о ней непрестанно. Она манила его,

не давала ему покоя, а он боялся, что не выдержит, если увидит белые трупы деревьев.

В том месте, где третьего дня возились у грузовика рабочие, сейчас было пусто. От костра осталось черное пятно и прибитая к земле трава. Полянка стала шире и светлее. Вдоль опушки, наваливаясь друг на друга лохматыми вершинами, лежали срубленные березы, и их стволы блистали серебром на солнце. Пахло смолистым ароматом свежей древесины. За копнами еще голых крон торчали пни: срезы были красные и мокрые от сока, точно обливались кровью.

Мартын Мартынович остановился, припав спиною к дереву, и тупо смотрел на поваленные березы. Вчера душа его бунтовала от гнева, а потом нахлынула скорбь. Пришли вечером девушки и принесли с собой радость. Они были такие весенние и простенькие. Знали ли они, что такое раздумье и печаль? А в старости есть вопросы, которые им неведомы. Мерцают эти девушки далеким прошлым, а в душе — только суровая покорность. И откуда-то, из далеких лет, слышится голос Нади:

Острою секирой ранена береза...

Она пела эту песенку, когда гуляла в роще.

Он не помнил, что с ним было в это время, — отдыхал ли он бездумно, или лежал без памяти, или бродил по лесу. Это был странный, безвременный покой, похожий на сон или обморок. Вывел его из этого бесчувствия внезапный дождик. Воздух был по-прежнему солнечный, по коричневым и зеленым холмам ползли пепельные тени, и озими блистали на солнце золотом, а в тени темнели густой зеленью. И было странно, что крупный дождь сверкал ослепительными вихрями и дрожал радугой над густой порослью. Он шумел, как ветер в лесу, и иголками вонзался в шею, в руки, и бил, как горох, в спину и поля шляпы. Листочки на деревьях трепетали, как крылышки. Хорошо запахло землей и горьковатым ароматом древесного сока. Дождь прошел так же внезапно, как и начался, и солнце после этого стало как будто жарче.

Влажный аромат плыл волнами — то густо, до головокружения, то исчезал и сменялся запахом дождя.

Мартын Мартынович выкапывал деревца, должно быть, давно: он сам удивился, что рядом на траве лежал ворох тонких березок и липок, с очищенными от земли корнями, а под ними вытягивалась вдвое сложенная мокрая веревка. Он ходил от дерева к дереву, выбирал подходящее и начинал торопливо окапывать его, врезал лопату на весь штык. Хотя он и задыхался, и обливался потом, но работы не прерывал до тех пор, пока не вынимал деревцо вместе с комом земли. Стряхнув ее, он осматривал мочку корней, осматривал почему-то пристально застывшим взглядом, потом долго стоял, напряженно думая и прислушиваясь к себе. Пальто у него было мокрое, и с полей шляпы капала желтая вода.

Он связал сноп деревцев и поднял за веревку мохнатую папаху корней с крошками земли. Вместо того чтобы тащить его волоком, взвалил на плечо. Опираясь на лопатку, он пошел через заросли мелколесья. Казалось, что этот тугой и влажный сноп толкал его при каждом шаге и густая метла тонких веток подхлестывала его сзади...

Острою секирой ранена береза...

Он почему-то не останавливался, не отдыхал, а торопился, не разбирая дороги, — шел напрямик, через пашни и незапаханные прошлогодние поля с остатками гнилой картофельной ботвы и торчащих серых кочанов. Вдали пересекала речку бетонная плотина с красным железным мостом, а под ним, посередине, снежным водопадом бушевала вода. Налево, за холмом, в долине алели крыши и кирпичные стены домов, а за ними громоздились до самого горизонта длинные корпуса зданий в лесах, бетонолитными и высокими мачтами кранов. На той стороне зеленели прибрежные луга, а за лугами, очень далеко, мчался крошечный автомобиль, похожий на жука, и позади него рыжим дымом клубилась пыль. Небо было мягко-

голубое и теплое, и облака, сырые и тяжелые, медленно плыли поодаль друг от друга из-за города в сторону строительства. Поля были по-весеннему тихие и грустные, и воздух переливался жаворонками. Очень высоко, у самых облаков, парили два коршуна, и было похоже, что это кружились два крошечных самолета.

В каком дальнем полете Владимир? Он никогда не говорил о цели своих полетов, не хвалился своими подвигами. Когда Мартын Мартынович был у него в Москве, он рассказывал отцу о своих приключениях, посмеиваясь, пожимая плечами, точно трунил над собой. Много у него было страшных опасностей, и Мартын Мартынович слушал его рассказы угрюмо. Но никак не мог забыть одного события: Владимир летел вдоль берега Ледовитого океана в сплошном тумане. Самолет обледенел. И вот перед ним мгновенно выросла темная тень — отвесная стена утеса. Через несколько секунд он мог бы разбиться вдребезги. Но он круто взвивается в высоту, дает газ и вертикально летит в бездонную мглу, будто в густом молоке.

— Признаюсь, папаша, немножко струсил, — встряхнув головой и смущенно улыбаясь, сказал Владимир, расхаживая по комнате. — Впрочем, у меня выработался какой-то птичий инстинкт... В последнюю секунду всегда подчиняешься странному критическому спокойствию, и руки уверенно действуют, без всякой ошибки, с математической точностью.

— Я земной человек, Володя, — заметил Мартын Мартынович. — И я с ужасом думаю, что ты каждый день можешь рухнуть... и превратиться в мешок с костями.

Володя, по обыкновению, блеснул хорошими зубами в улыбке, и эта заразительная улыбка всегда сияла целомудренным здоровьем и наивной непосредственностью.

— Если бы вдруг мне такое опасение закралось в душу, папаша, я немедленно оставил бы самолет навсегда.

Мартын Мартынович встал от волнения, дрожащими руками взял со стола бинокль и подошел

к большому окну. Вплоть до горизонта Москва громоздилась океаном крыш.

В Володе он чувствовал что-то неуловимо милое — от Нади — и в то же время незнакомое, подавляющее, непонятное и чужое. Ему казалось, что в сыне есть что-то трагическое. Когда же в день отъезда домой он робко намекнул ему об этом, Владимир весело засмеялся.

— Это неверно, папаша. Я любопытен до неиспытанного. Счастье можно переживать, но исчерпать его нельзя. Мне вот нестерпимо хочется опоясать земной шар по разным направлениям. Тогда бы я мог сказать с удовлетворением: я знаю свою планету. Но даже и не это важно. Нам надо быть неотразимыми для врага. Мои питомцы показали себя на Востоке молодцами.

Не туда ли направил свой дальний полет Владимир?

...Пологий и широкий склон, в лывинах и длинных взгорках, сползающих к речке, весь покрыт был прошлогодними пашнями, сизыми, с сединкой, длинными полосами свежей пахоты, а выше, к горизонту, и дальше, к соцгороду, — солнечным бархатом весенней травы. Речки не было видно: она пряталась в густых зарослях ольхи и лозняка. Копны их ветвей уже дымились прозрачной зеленью, и чудилось, что эти зеленые рои листьев волнуются и поют, как пчелы. Вверх по склону плывет в призрачном блеске жаркое марево. Как странно! Слезы сами собою заливают глаза: небольшое волнение или растроганность — и он плачет, как женщина...

Внезапно он увидел Владимира. Он бежал к нему налегке, без гимнастерки, без картуза, и радостно махал руками. Хорошо было видно, как он смеется, как раздувается у него оранжевая рубаха (в детстве он очень любил рубашки яркого цвета). Издали он казался маленьким, почти мальчиком. За ним бежали еще двое таких же малышей, а дальше торопилась группа мужчин и женщин. Они тоже махали руками, словно приветствовали Мартына Мартыновича.

Он остановился с замирающим сердцем и сразу же понял, что это галлюцинация. Удивительно! Почему

он поверил этому видению?.. Значит, он действительно болен. Нужно было отлежаться сегодня, отдохнуть, а не упрямиться, не обманывать себя. Дрожали ноги, не хватало воздуху, и мутный ужас сжимал сердце до безнадежности. Он боялся, что каждую секунду может потерять сознание.

Да, это — Володя, но Володя вчерашний — тот парнишка, который так старательно помогал ему сажать деревца на набережной. Он бежит к нему навстречу и радуется, что увидел дедушку.

— Володенька!.. — крикнул Мартын Мартынович, но голос его прохрипел едва слышно, как стон.

И вдруг на него нахлынула густая тишина, как туман: не слышно было ни дыхания, ни ударов сердца, ни звона крови в ушах. А небо неправдоподобно превратилось в необъятный водоворот, и на него трудно было смотреть: кружилась голова, тошнило... Склон увала стекал к нему вязкими волнами, а ноги потеряли опору и стали погружаться в зеленое месиво, как в трясину. В скорбном отчаянии он протянул руки вперед, точно хотел найти какую-то опору. Тугая связка соскользнула с плеча и упала на землю. И в этот миг голос Агнии вскрикнул с сердитым сожалением:

— Вот и сказке конец!..

Потом все исчезло — растаяло в зеленой мгле, и сам он погрузился в душную пустоту. Будто сквозь сон, почувствовал он, как его подхватили под руки, как кто-то вытер платком его лицо. Ему стало легче и свободнее. Пришел он в себя от говора и хлопотни целой толпы. Когда прошла дурнота и он осмотрелся немного, увидел рядом с собой Софью Мартыновну и несколько юношей, которые смотрели на него с удивленными и озабоченными лицами.

— Ну, упрямец, опамятовался?.. — с радостной дрожью в голосе крикнула Софья Мартыновна, заглядывая в его лицо. — Вот и отлично!.. Ведь я же знала, что это ваше путешествие добром не кончится...

С холма спускалась «эмка».

1940

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

Великое, святое слово: мать...
Н. А. Некрасов

Даже в тот день, когда Наталья Степановна получила страшное извещение о гибели Сони, она не выбыла из строя: как обычно, она явилась в школу точно за четверть часа до урока с тяжелым портфелем, пожала руку учительницам и села за стол. За тридцать лет учительства привычка к точности, исполнительности, к чуткому ощущению времени (она даже не нуждалась в часах) превратилась у нее в инстинкт.

Маленькая, тощенькая, седенькая, подстриженная под польку, с узеньким бледным личиком, с тоненьким твердым носиком, с волосатой родинкой на подбородке, с коричневыми очень горячими глазами, всегда печально строгими, она молча, заботливо, неторопливо, тщательно перелистывала свою тетрадь в клеенчатой обложке и внимательно читала записи всех дел, которые нужно было выполнить сегодня. К ней относились уважительно и как-то мягко, робко и разговаривали с нею вкрадчиво и виновато. Даже директор школы, опытный, хотя и молодой педагог, товарищ Косяков, немного заносчивый и грубоватый, обращался с нею осторожно, одергиваясь и беспричинно улыбаясь. Наталью Степановну знали в городе все школьные работники, считали ее выдающейся учительницей и часто

приходили к ней за советом. А ученики души в ней не чаяли и, уходя из школы, уносили нежную память о ней на всю жизнь. В классе она никогда не повышала голоса, а дисциплина всегда была у ней превосходной.

— И как вы только добиваетесь этого, Наталья Степановна? — изумлялись товарищи.

Она улыбалась грустными глазами и тихо отвечала (она вообще говорила тихо):

— Взаимным пониманием... любовью. Без любви нет и понимания.

— Но как же все-таки?

— Да разве это объяснишь словами? Педагогия — искусство... очень душевное искусство.

Так товарищи и не могли добиться от нее никакого толку. Но редкий ее урок не посещал кто-нибудь из них, чтобы насладиться умной задушевностью ее работы с ребятами. Это было не преподавание, а сама жизнь: самый простой вопрос, даже ничтожная мелочь приобретали в беседах ее с учениками огромный жизненный смысл. И всем было ясно, что дети сохранят в своей памяти и своем сердце одну важную истину: надо свою жизнь оправдать, а оправдать ее возможно только постоянным любимым трудом, который должен не только выполняться, а создаваться, чтобы каждое дело было связано с личностью, как ее прекрасное выражение. Назначение человека — горячо воплощать себя в делах, а всякое свое дело доводить до конца.

Самый красивый и яркий человек в жизни — это борец, который не робеет перед препятствиями и врагами, а обязательно добивается победы. И школьные работники забывали себя на ее уроках и взволнованно чувствовали, что все эти дети — и мальчики и девочки — будут до конца жизни правдивыми людьми, жизнерадостными и вдохновенными тружениками и, может быть, выдающимися героями и творцами. В ее уроках ничего не было нового: методика была самая обыкновенная, все дидактические правила были налицо, но все это шло не преднамеренно, а дышало глубокой, вдохновенной жизнью и трогательной простотой.

В классе, среди ребят, Наталья Степановна жила так же искренно, всей своей душой, как всегда и во всем.

У нее была дочка, Соня, золотая кудряшка, румяная, большеглазая, веселая, звонкоголосая. Ее можно бы было считать шалуньей и дерзкой на язык, если бы это было пустым озорством. Но она не стеснялась говорить правду в глаза всем, вплоть до учителей. Случалось, что она вставала во время урока, когда учительница нервничала, кричала на ребят и грозила выслать кого-нибудь из класса:

— Зачем же вы кричите и злитесь? Вы сами виноваты, потому что несправедливы. А несправедливы потому, что сейчас не понимаете ни нас, ни себя. Вы меня извините, пожалуйста, но я хочу, чтобы мы вас уважали.

Если кто-нибудь из учителей или учительниц жаловался Наталье Степановне на Соню, она с тихой улыбкой и грустным сожалением спрашивала:

— Неужели Соня могла оскорбить вас?

— Она говорила дерзости.

— Из озорства? Чтобы унизить вас перед классом?

— Не думаю. Но нельзя же, Наталья Степановна, перед учениками ставить учителя в неловкое положение.

— Видите ли... — задумчиво говорила она, — не знаю, как вы, но я считаю, что правда всегда похожа на дерзость. Даже народная мудрость говорит, что правда глаза колет. Не всякий из нас обладает мужеством прямо смотреть правде в глаза. Соня воспитана в правде и очень к ней чутка.

Обиженные отходили от нее смущенными и недовольными: им казалось, что Наталья Степановна поступает непедагогично, оправдывая свою дочь. Поэтому и отношение к ней было разное: одни не любили и боялись ее, другие почитали ее и считали идеальной учительницей.

В этой школе она работала без перерыва четырнадцать лет, и в этой же школе застигла ее и война.

Соня только что кончила десятилетку и в первый же день начала военных действий просто и спокойно сказала матери:

— Я, мама, иду на курсы сандружинниц и поеду на фронт.

Наталья Степановна помолчала, борясь с собою, но так же просто ответила:

— Если ты находишь, что это голос твоей души, иди, Соня. Но прежде всего подумай: выдержишь ли все трудности и ужасы, и сможешь ли отвечать за себя.

— Мама, разве ты сомневаешься во мне? Мы с тобою всегда были согласны, что правда — непобедимая сила, что истинная красота человека и его назначение — в борьбе за правду и справедливость. Ничего, мама, не беспокойся обо мне: я умею отвечать за себя. Если что случится,— я умру без конфуза... тебя не подведу, милая мама...

Они не плакали, и этот день для них был таким же обычным, как и все прежние дни.

Жили они в небольшой комнате большого и старого коммунального дома. Комната была светлая, с двумя кроватями, белыми и опрятными, с двумя столами — обеденным и письменным, за которым они вдвоем и работали одновременно. Соня не помнила, когда умер отец, но в этой комнате она выросла и была счастлива любовью к матери, считая ее лучше всех на свете.

Соня уехала на фронт еще летом. Уезжала она радостная и гордая. В военном обмундировании, новая, необычная, она пылала счастьем. Ее большие серебристо-голубые глаза, открытые и чистые, как прозрачные роднички, так и не угасали в сердце Натальи Степановны. Часто она видела их перед собою до иллюзии живыми и реальными. Время от времени Соня присылала торопливо написанные карандашом открытки, бодрые, полные любви и нежности. Потом наступили месяцы глухого молчания и безвестности. Наталья Степановна по-прежнему была спокойна, по-прежнему с молчаливым трудолюбием работала в школьной библиотеке или в учительской вместе с заведующим учебной частью. По-прежнему лицо ее, в мелких морщинках, было задумчиво и сосредоточенно, и так же, как прежде, она улыбалась в разго-

ворах с товарищами с умненькой печалью в горячих глазах, всегда уставших и очень добрых. Но в них появилась какая-то новая жизнь: затрепетала в их глубине тревога, и на мгновение вспыхивал не то страх, не то мучительный вопрос.

И когда ее спрашивал завуч Симочкин, коротконогий, толстенький человек с красным лицом и выпуклыми глазами, какие известия от Сонечки, Наталья Степановна отвечала неохотно и, к его удивлению, с холодной вежливостью:

— Пока молчит.

— Что же это она, неладная? Фронт фронтом, а забывать мамашу нельзя.

Наталья Степановна с рассеянной улыбкой заключала разговор:

— Значит, так надо.

Каждый день в учительской собиралось несколько старых и молодых учительниц и говорили о продкарточках, о хлебе, о картошке, о том, что долго не выдают масла и мяса, что на рынке вздуваются цены. Наталья Степановна сидела в сторонке за работой и молчала, далекая всем, ушедшая в себя. Иногда вкрадчиво спрашивали ее:

— Как живете, Наталья Степановна?

Не отрываясь от работы, она равнодушно отвечала:

— Хорошо.

— Ну, какое там хорошо! Разве вы — исключение? Впрочем, вы ведь одинокая.

Она поднимала седенькую голову и оглядывала учительниц с кроткой печалью в теплых глазах.

— Почему же? Я не одинокая и не исключение. А жаловаться мне, право, не на что.

Одна молоденькая учительница из младших классов, Оля Давыдова, комсомолка, румяная толстушка, всегда застенчивая и изумленная, до слез влюблена была в Наталью Степановну. Она смотрела на нее с обожанием и слушала ее, как внимательная ученица. Когда Соня уехала на войну, она старалась каждый день встретиться с Натальей Степановной, терлась о ее плечо и умоляющим голосом спрашивала:

— Наталья Степановна, родная, можно вам помочь?

— В чем же, Оленька? — ласково удивлялась Наталья Степановна. — Ты бы вот лучше почитала педагогическую литературу да придумала, как увлечь ребят самодеятельной работой. Если есть у тебя вопросы, затруднения и все такое, давай обсудим вместе.

— Ах, не то!.. Я просто хочу... так... вместе с вами побыть. Ну, хотя бы к вам на дом зайти.

— Оленька, я очень рада, приходи когда хочешь.

— Какая вы замечательная женщина, Наталья Степановна!

— Ну, брось ты это, Оля, брось!.. — с тихой строгостью обрывала ее Наталья Степановна и с веселой лаской обещала: — Вот придет весна — поедем в деревню на полевые работы.

— Жаль, Сони нет, Наталья Степановна. Вместе бы... Как хорошо бы было!

— Соня — на других полях, более ответственных и трудных.

— И ведь очень опасных, Наталья Степановна, — всегда под огнем... Это не всякому под силу. — И Оля шептала в отчаянии: — А меня не взяли... «Вы, говорят, должны детей учить, воспитывать патриотов, а не воевать».

Наталья Степановна одобрительно кивала и тихо улыбалась.

— Значит, так надо, Оленька. Правильно.

А ночью Наталья Степановна сидела перед столом и перебирала вещички, которые принадлежали Соне. Эти реликвии были историей жизни ее девочки с самого ее рождения. Вот старый золотой медальончик с портретом Сони, когда ей исполнился только годик. Наталья Степановна раскрывала его и долго смотрела на кудерку золотых волосков: эту кудерку она отстригла в тот же день и положила в медальончик. Восемнадцать лет хранятся эти золотые волосики в матово-золотом гнездышке, по-прежнему живые, трогательно младенческие. Они улыбаются и лепечут ей: «мама» — то первое слово, которое Соня уже уверенно и ликующе научилась произносить в те дни. Слезы

нежности заливали глаза Натальи Степановны, и медальончик расплывался в них и таял, как в тумане. Она вытирала глаза, и медальончик опять оживал и твердел в ее пальцах. И ей казалось, что эти волосики пахнут горячим тельцем, еще неотделимым от ее сердца. Тогда Соня ползала по полу, цепко держалась за стулья и училась стоять и переступать голыми ножками. И тогда же она впервые захохотала звонко и восторженно, когда увидела бабочку-крапивницу, которая, трепеща крылышками, порхала над ее кудрявозолотой головкой.

Наталья Степановна бережно, как драгоценность, вынимала из маленького сундучка с художественной деревянной мозаикой — подарок бывшего ученика, теперь председателя исполкома в области, где было много искусных кустарей, — младенческую рубашечку Сони, крошечные туфельки, соску с широким кружком и колечком, ее простенькие игрушки и раскладывала все это на столе. И ей чудилось, что они еще пахнут молочным тельцем Сони. Наталья Степановна вспоминала, как Соня лежала на ее коленях и пристально, со смехом в глазенках, смотрела на нее. Соска дрожала на ее языке, и девочка как будто открывала в лице матери что-то очень забавное и новое и пела с наслаждением:

— Д-д-д...

И это было очень смешно.

Потом появлялись на столе бумажки с крупными каракулями Сони — первые ее опыты в письме, ее кривые, беспомощные рисунки — домики с дымком в виде спирали, лошади, люди, и первые книжечки, которые она читала вслух. Дальше шли тетрадки с ее школьными работами, и по этим тетрадям видно было, как росла и крепла Соня год от году.

И всегда вспоминалось событие, когда характер Сони проявился ярко и остро. Ей было лет тринадцать. Училась она отлично, и работа давалась ей как-то очень легко. Добивалась она не только работоспособностью, но какой-то внутренней силой, похожей на интуицию. Как бы ни было трудно и скучно задание, выполняла она его быстро, с живым увлечением,

точно открывала в нем какую-то особую, скрытую поэзию. Сядет, бывало, к столу, раскроет тетрадь, книжки, вздохнет, сделает над собой усилие, устремит глаза вверх, подумает и вдруг улыбнется, как будто вспыхнет у нее внутри огонек. Заскрипит перо по бумаге, и под песенку, не отрываясь, быстро закончит она свое сочинение, а потом удовлетворенно, с горящими глазами, скажет:

— Хочешь, прочту тебе, мамочка?

А решала задачи по математике упорно, со странным раздражением, и никогда не было случая, чтобы она отступала перед трудностью и приходила в отчаяние. И если Наталья Степановна видела, что задача не дается и от этого глаза у Сони делаются злыми, а верхняя губенка покрывается потом, мать осторожно пыталась прийти ей на помощь.

— В чем у тебя затруднение, Соня?

— Мамочка, не мешай. На то и задачи, чтобы решать их. А это всегда трудно. Ты же сама внушаешь, что всякое дело нужно доводить до конца.

Наталья Степановна растроганно смотрела на нее и улыбалась. То, что говорила Соня, это говорила она, Наталья Степановна. Соня повторяла ее слова, но в устах девочки они звучали по-новому — молодо, задорно, убежденно.

Так же убежденно и пылко вела себя Соня и в школе, и это не нравилось некоторым учителям и учительницам: им казалось, что она очень уж умничает.

Событие это было как будто незначительным в школьном быту, но оно сильно взволновало всех школьников и учителей, потому что главным действующим лицом была в этой истории Соня.

В ее классе учился один парнишка — Паша Запалкин, всегда всклокоченный, неряшливый, с вызывающе грязным лицом и руками. С учителями он постоянно держался нахально, точно мстил им за что-то. Особенно изводил он молодых учительниц, которые, по неопытности, выходили из себя и, красные от отчаяния, кричали на него и часто выгоняли из класса. Он скалил зубы, и озорные глаза его хохотали в ответ на

гнев учительниц. Сидел он позади Сони, и когда она оборачивалась к нему, он лукаво подмигивал ей и ликовал. Учился он неплохо — очень способный был мальчишка, — но каждую четверть по поведению у него стоял «неуд». Он был страстный игрок в орлянку и на переменах вовлекал в нее ребят. Его глаза в эти мгновения хищно горели. Его вызывал к себе директор, и он выходил из его кабинета бледный, со злостью в зрачках. Однажды он привел в класс лохматую дворняжку. Когда ребята стали гнать ее, он бросился на них с кулаками. И отступили они от него не потому, что он мог избить их, а отбросило их его лицо: оно осунулось, посерело и стало страшным. Всем показалось, что он мог в этот миг убить их. В другой раз он принес в школу причудливо и тонко сделанную мельницу — всю ажурную, в бесчисленных переплетах фермочек, с крыльями из фанеры, с хорошенькими колесами и шестернями. Перед началом занятий все вышли на улицу, и на ветру мельница весело замахала крыльями, заиграла шестернями, залепетала зубцами и подшипниками.

На удивление всем — и ребятам и учительницам — Соня сдружилась с ним: из школы шли они вдвоем, а утром встречались, радостно улыбаясь друг другу. И это удивление сменилось неприязнью к ним некоторых учительниц. Особенно ненавидела их одна пожилая, костлявая, длинноногая учительница математики Шаброва, с красным, в кровавых жилках лицом, с длинным носом и маленькими глазками. Шагала она широко, по-мужски, и длинная юбка всегда путалась в ногах. Когда в классе становилось шумно, она прицеливалась глазами и нервно покрикивала:

— Соня! И ты, Запалкин! Нельзя ли оставить интимные разговоры?

Ученики чутко настораживались.

Соня, возмущенная, вставала.

— Нельзя ли, Екатерина Николаевна, освободить и меня и Запалкина от преследования?

— Что, что? — ехидно переспрашивала Шаброва, приложив раскрытую книгу к уху. — Вы хотите доказать, что это вас не касается?

Соня резко отвечала:

— Я не доказываю, а отмечаю, что никогда не стерплю несправедливости.

— А еще что скажете?

— Больше ничего, кроме просьбы быть справедливой, чтобы не терять к себе уважения.

— Вы чрезмерно дерзкая девочка, — жалила ее Шаброва, и у нее вскипала слюна на губах.

А Паша бормотал сзади с презрением:

— Да брось ты эту швабру, Сонька!..

— Почему же? — вскрикивала Соня, оборачиваясь к Павлу. — Хорошая учительница обязана быть хорошим человеком.

Шаброва подходила к ним, и нос у ней становился фиолетовым, а глаза острыми, как иголки.

— Повтори, Павел, что ты сказал.

Павел вызывающе вставал и грубо рубил:

— Не повторю.

И вот вскоре произошло то событие, которое чуть не разразилось катастрофой. Соня подарила Павлу автоматическую ручку — черную, глянцевую, с золотыми ободками, и ей было очень радостно, когда она увидела, как глаза его засияли счастьем. Он крепко пожал ей руку и сказал просто:

— Я этого в жизнь не забуду. Я давно о такой ручке мечтал.

В тот же день пропала у одного парнишки такая же ручка. Этот толстенький черномазый Сережа даже как будто заликовал от пропажи и крикнул на весь класс:

— Это кто же слямзил у меня автомат? Найду ворягу — морду разобью.

Дежурный по обязанности доложил о пропаже Шабровой.

Тихий, усердный ученик со странной фамилией Бляха встал и на жесткий ее вопрос с кроткой радостью сообщил:

— Эту ручку я видел в руках Запалкина.

Павел встал и, красный от негодования, спросил его:

— Значит, по-твоему, украл эту ручку я?

Бляха трусливо замялся:

— Не знаю. А ручку видел я у тебя.

Тут встала и Соня, но Павел сердито усадил ее.

— Подожди, и до тебя дойдет очередь. А пока мне охота нарубить дров.

И опять спокойно обратился к Бляхе:

— Ежели ты сказал, что видел в моих руках эту ручку, значит ты хотел указать на меня, как на вора. Так? Отвечай прямо.

Класс замер. Бляха побледнел и умоляюще смотрел на учительницу. Шаброва ободряюще кивнула ему головой.

— Говори смелее, голубчик. Истина дороже всего.

Соня не стерпела и крикнула:

— Что же ты, Бляха, не говоришь всего? Только ли у Запалкина видел ты эту ручку?

Бляха хрипло дополнил:

— Ручку я видел сначала у Сони, а она передала ее Запалкину.

— Ого, выходит, уже два вора!.. — весело крикнул кто-то из учеников.

Павел неторопливо вышел из-за парты, подошел к Бляхе и шлепнул его по щеке.

— Клеветников бьют. А пока получи авансом.

И, улыбаясь, пошел на место.

Все сорок человек вскочили с мест и растерянно смотрели в сторону Павла и Бляхи.

Кто-то крикнул негодующе:

— Безобразие — драться в классе!

А кто-то одобрительно засмеялся:

— За дело!..

Шаброва распорядилась:

— Запалкин, оставьте класс, а на перемене — к директору.

Соня вышла из-за парты и заявила:

— Запалкин не выйдет из класса. Ручку подарила Запалкину я: это моя ручка. Запалкин только дал пощечину лгуну. Павел, дай ручку. — Она подошла к нему, взяла ручку и протянула ее Сереже. — Это твоя ручка? Если твоя — значит, я воровка.

Сережа взял ручку, осмотрел ее и возвратил Соне.

— Нет, это не моя. На моей ручке условная метка.

Шаброва настойчиво потребовала, чтобы Павел вышел из класса. И когда он, гордо подняв голову, пошел к дверям, следом за ним пошла и Соня.

— Я тоже не желаю оставаться в классе.

И она вышла за дверь, как победительница.

Вспоминая об этой маленькой истории из жизни Сони, Наталья Степановна улыбалась сквозь слезы. Так было всегда. Соня любила повторять с глубокой верой:

— Правда неугасима; правда горит даже в свалках мерзости.

— Но правда трудна, — шептала Наталья Степановна, не отрывая глаз от медальончика, повторяя слова, которые она когда-то говорила Соне. — Правда не всякому по плечу. Правда побеждает только в борьбе, Соня, а борьба — это страдания, муки и часто — самопожертвование.

И звонкий голосок Сони звучал, как живой, в ушах матери:

— Конечно же, мама! Ведь революционеры шли за правду на каторгу, на виселицу, не боясь ужасов. Они даже пели песни. Понимаешь, мама, я чувствую, что и я способна собой пожертвовать за правду.

— Ты еще девочка, Соня, и не переживала еще никаких испытаний. То, что ты говоришь, — это детская романтика. Борьба за правду поглощает человека целиком. А ты любишь жизнь, солнышко и себя.

— Да, да, мама! — восторженно кричала Соня. — Потому что ненавижу ложь. Я, мама, буду геологом или химиком. Любимые мои женщины — это две Софьи — Перовская и Ковалевская — мои тезки.

Откуда у нее, подростка, рождались эти мысли? И удивительно, что эти мысли у нее претворялись в поступки, в поведение. Вот хотя бы эта прямота в столкновениях с учителями, это благородство в истории с ручкой и это упорство в самостоятельном решении трудных задач. Откуда у нее эта гордость и самолюбие? И внутренний голос отвечал Наталье Степановне: это — от тебя, это она впитала с твоим молоком. Ты создала ей идеал хорошего человека. Хороший

человек — это правдивый, совестливый человек, а такой человек увлекателен, как сказка, как мечта.

— Девочка моя, дитя мое! — шептала Наталья Степановна, задыхаясь от слез. — У тебя еще и жизни не было, а ты вспыхнула и сгорела.

И душу раздирал нечеловеческий крик:

— Соня повешена! Повешена!..

Одинокая среди ночной тишины, Наталья Степановна рыдала, уронив голову на милые вещички Сони, и надолго застывала, замирая от отчаяния. Она судорожно сжимала в пальцах и рубашечки, и игрушки, и тетрадки Сони, и пальцы ее коченели и мертвенно скрючивались. И вместо сердца была сплошная рана. Были мгновения, когда она вдруг леденела, проваливаясь в пустоту, и когда приходила в себя, пристально смотрела на свои пальцы и медленно разжимала их.

В прихожей и кухне щебетали соседки — молоденькие жены служащих Госбанка. Одна, ярко-рыжая, конопатая, юркая, надоедно болтливая, жирно красила губы и ногти, выбривала брови и тонкой дугой высоко рисовала другие, черные, вызывающе фальшивые. Чтобы скрыть веснушки, она густо покрывала лицо розовой пудрой, но замазать их не могла и от этого страдала. Другая, высокая, узколицая, с острым подбородком, с пышно взбитыми волосами, обесцвеченными перекисью водорода, держалась важно, презрительно щурилась, говорила неохотно, рассеянно, с небрежной снисходительностью, а Натальи Степановны совсем не замечала. В эти трагические для Натальи Степановны дни они как будто нарочно кричали громко о своих дамских нуждах и злословили о приятельницах. Когда в газетах появились статьи о Соне, которые сообщали потрясающие подробности пыток и казни ее, а потом появилась фотография, где Соня висела на веревке, эти дамочки попрятались у себя в комнатах и замолчали на время.

В газетных строках Наталья Степановна до галлюцинации ясно слышала звонкий, надорванный муками голос Сони:

— Я умираю молодая, но я страшно хочу жить. Мои палачи не только не потушат моей жизни, а еще

более ярко зажгут ее. Истребляйте, вытравливайте чудовищ на нашей земле. Расскажите, товарищи, как я умирала — стойко, гордо умирала.

Стояла она на табуретке, полуголая, босая при трескучем морозе, окровавленная, вероятно обмороженная, закоченевшая, вся избитая, а дюжий палач-солдат с засученными рукавами намыливал веревку. Это видение ослепительно вспыхивало, как последнее пламя свечи.

В школу и на квартиру приходили молодые люди — корреспонденты и фотографы с лейками. Одни улыбались и держались очень осторожно и почтительно. Другие деловито распоряжались, не справляясь у нее, желает ли она говорить и позировать. Какой-то расторопный парень в бриджах и синем беретике жизнерадостно и властно объявил:

— Ну-с, Наталья Степановна, запечатлеем вас для истории. Сядьте свободно, непринужденно, и, пожалуйста, лицо... Лицо должно быть фотогеничным.

Этот развязный молодой человек из Союзфото оскорбил и возмутил ее до помрачения. Она отказалась позировать, и он ушел обиженный.

Сидела она в учительской и просматривала свежие письменные работы учеников. По почерку отмечала она характер и настроение каждого. Она видела перед собою внимательные и тревожные их глаза и чувствовала в настороженной тишине класса их внутренний трепет. Ее невыразимую боль под обычным спокойствием и вдумчивостью они воспринимали чутко и мучительно. Ни возни, ни шепота не было слышно, и если кто-нибудь по забывчивости лез в парту, его с сердитым испугом толкал локтем сосед.

И в учительской встречала она необычную тишину и робкие взгляды, мутные от сострадания. Все — и дети и товарищи — как будто постоянно подчеркивали, что она должна жить только ужасом и своим горем. «Какие они странные! — думала она. — Они подавлены моим несчастьем и искренно сострадают мне, но не хотят, чтобы я с обычной заботливостью делала свое дело. Они желают гордиться горем товарища. Их школа стала самой известной в городе, и они говорят

при встречах со знакомыми: «Мать Сони — у нас».

В школу приходили делегации комсомольцев и приносили ей цветы, учителя и учительницы других школ присылали представителей, выражали ей соболезнование и превозносили героизм Сони. «Она для всех нас — высший образец истинной патриотки...» Потом каждый день на ее имя стали приходить письма и от организаций, и от девушек, и от бойцов, и от рабочих. Эти письма сыпались на стол кучами, и читать их уже не было времени. Она застывала и, сцепив зубы, закрывала глаза, чтобы не видеть лиц и глаз, которые жадно ловили каждое ее движение.

В газетах напечатали ее портрет рядом с портретом Сони — той родной Сони, когда она была еще ученицей. Соня смотрела с газеты широко открытыми, радостно удивленными глазами, с задорно поднятым носиком, и улыбалась счастливо. А счастлива была потому, что жила.

Подробно описывалось, как Соня попала в окружение, как ее отряд с боями прорвался из огненного кольца с большими потерями, как она с группой бойцов блуждала по лесам и попала в отряд партизан, как ходила в разведки, как ее полюбили и берегли колхозники в занятых немцами деревнях. Ее выследил предатель, и на дороге, когда провожали ее девчата, гитлеровцы схватили ее вместе с этими девчатами. Больше она их не видела. Ее раздели почти донага, били до потери сознания. Офицер допытывался у нее, где партизаны, много ли их, какое у них вооружение. За предательство обещал ей свободу и возвращение на родину. Она молчала, как немая, и, истерзанная, иногда улыбалась презрительно, со жгучей ненавистью в глазах. И эта улыбка обезоруживала и приводила в ярость офицера. Он бросался к ней с кулаками, бил ее по лицу, по голове, бросал на пол, топтал ее, но ни крика, ни стона не слышал он в эти минуты. Тяжело дыша, близкий к припадку от отчаяния, он садился к столу и орал на солдат. Они тоже ее били, потом выбрасывали на двор, на мороз, прямо в сугроб, а когда она от жгучего холода приходила в себя, ее опять

тащили в избу и опять терзали — рвали волосы, жгли свечками, взрывали кучки пороха на лбу, на груди, на животе. Издевались с хохотом над ее девичьей стыдливостью. И опять встречали только немое молчание. И опять офицер видел на лице ее только брезгливую гримасу, полную страдальческой ненависти.

Старик, хозяин избы, лежал на печи. Он мучился и стонал. Потом не выдержал, заплакал, как ребенок, слез с печки и упал на колени перед офицером. Он лепетал, молил о пощаде, стучал лысой головой об пол.

— Ваше благородие!.. Ведь дитё... молоденькая... девушка... Зачем такие муки?.. Лучше меня, а не ее. Ваше благородие!..

Офицер пихнул его в голову сапогом и отбросил в сторону. Он кивнул на него солдатам, они бросились к нему, выволокли за ноги на двор и застрелили.

В избу вошли солдаты и стали у двери. Офицер приказал им поднять Соню и поставить на ноги. Она была босая. Он отдал какое-то распоряжение и вышел из избы. Соня не могла стоять: она упала, но ее опять вскинули сильные руки. Потом оба солдата потащили ее па улицу и повели по накатанной дороге, босую, в лохмотьях. Водили ее долго. Ноги невыносимо жег мороз, а потом боль стала тупеть и исчезла, но ног своих Соня уже не чувствовала.

Рано утром ее притащили на площадь. В морозном тумане она увидела мутную толпу колхозников и колхозниц. Избы таяли в этом тумане, и их оконца были слепые от инея и леденели от ужаса. Соню, окровавленную, с всклокоченными от побоев волосами, опухшую, с темными обмороженными ногами, поставили на табуретку. Она собрала последние силы и крикнула громко, всей грудью:

— Товарищи! Мстите зверям, бейте гадов, палачей и убийц на каждом шагу! Не давайте им жить. Они издеваются над нами, насильничают, терзают, грабят, расстреливают, вешают не от силы, а от слабости, от страха! Я умираю, но радуюсь, что скоро опять настанут дни счастья и свободы. Прощайте, родные!..

Из-под ног ее вышибли табуретку. В толпе рыдали женщины. Кричали дети. Тело Сони повисло, голова судорожно задергалась и свернулась набок. Лицо ее с открытыми глазами стало синим и пристально смотрело на толпу, точно Соня еще продолжала призывать людей к мщению. Все это рассказали в газетах свидетели ее мук и гибели.

Однажды Наталья Степановна не нашла в учительской обычной почты. На другой день тоже газет не было. Учителя сделали вид, что сами удивлены неаккуратностью почтальона, но она догадалась по их странной торопливости в движениях и необычным ласковым голосам, что они притворяются: они сговорились и спрятали от нее и школьные и ее газеты. Она усмехнулась и оглядела всех с печальным упреком. Товарищи растрогали ее своим наивным участием: милые, они хотели оберечь ее от лишних мук и боялись, как бы с ней чего не случилось. Какие чудаки! Ведь не только газеты сообщали подробности гибели Сони: об этом уже кричит радио на площадях и в квартирах (ведь у нее тоже есть репродуктор!), разговаривают люди на улицах и в трамваях. Разве можно скрыть от нее то, что знают уже все, о чем гремит воздух и кричат ребятишки в школе?

Как-то шла она домой с потрепанным портфелем в руке, — шла быстро, будто торопилась на очередное важное дело. В этот день она с удивлением замечала, что ей предупредительно уступали дорогу и с жадным любопытством вглядывались в ее лицо. Даже шаловливые мальчишки сходили на мостовую. Снег был золотой от далекого и низкого солнца, в воздухе искрился жемчужный туманец. Люди дышали паром. Несколько мальчат катались по тротуару и по мостовой на коньках. Кто-то из них вдруг громко предупредил товарищей: — Смотрите, эй, ребята!.. Мать Сони идет!

Все сбились в кучу и, не отрываясь, глядели на нее, как на необыкновенного человека. Один из них, румяный, курносенький, щелкая и скрипя коньками, подошел к ней и простуженным голосишком робко спросил:

— Тетя, вы ведь мамаша Сони?

Она погладила его по щеке и ответила:

— Да, родной, Соня — моя дочь.

Мальчик, пораженный, с завистливым уважением выдохнул:

— Вот героиня, это — да!

— Соня, милый, не думала, что она героиня. Она умерла так же просто, как жила.

— Спасибо вам, тетя...

— За что же, голубчик?

— А так...

Мальчик совсем сконфузился и быстро откатился от нее на своих коньках. Когда Наталья Степановна оглянулась, она увидела, как он что-то возбужденно говорил ребятам, которые пристально смотрели ей вслед. Она нежно улыбнулась им и пошла дальше. Слезы заливали ей глаза.

Этот уральский город был городом индустриальным. Заводы окружали его широким кольцом и сами представляли собою города. Но он был все-таки — не Москва, и Наталью Степановну, прожившую здесь большую часть своей жизни, могли знать очень многие из горожан. Эвакуация с запада предприятий и учреждений увеличила население раза в три. Закрыты были клубы, очищены все большие здания, даже часть школ и институтов превратили в госпитали, заняли заводскими цехами, а квартиры горожан тесно уплотнили. Вселяли несколько людей даже в одну комнату. И ей казалось, что в городе никого уже не осталось из старожилов, а все эти толпы на улицах полностью захватили город и внесли в прежнюю скромную и мирную жизнь крикливую, вызывающую суету. Но почему-то ее, Наталью Степановну, не трогали. Не уплотняли и ее соседей, служащих Госбанка.

Домой Наталья Степановна приходила только поздно вечером. Но целый день ей мучительно хотелось остаться одной, в тишине своей комнатки, в которой еще продолжала жить и озарять ее своими веселыми, откровенными глазами Соня, — побыть вместе с ее родным призраком и перебирать ее вещички. А когда она приходила домой и включала лампочки,

ей вдруг становилось страшно своего одиночества.

Наталья Степановна садилась за стол, раскладывала перед собою тетрадки учеников, раскрывала и свою тетрадь, где намечала план учебного дня в разных классах, — все делала так же, как и многие годы изо дня в день, и со стороны никто не заметил бы, что смерть Сони нарушила этот деловой распорядок ее домашней жизни. Такой же обычный порядок соблюдала она и в школе, и многие учительницы были изумлены ее поведением.

— Неужели она может работать и заниматься в эти минуты такой чепухой, как тетрадки? Ведь не шутка — так ужасно потерять единственную дочь!

Однажды учительницы обступили ее и стали убеждать, чтобы она взяла отпуск: ведь безумно в ее состоянии надрывать последние силы!

Она улыбнулась и дрогнувшим голосом ответила:

— Спасибо вам, дорогие, за участие и дружбу. Я чувствую, что вы меня любите. А в отпуск я не пойду. Наоборот: работа для меня — это жизнь.

У нее затряслись губы, и она вышла из учительской. Оля Давыдова все время смотрела на нее не отрываясь, с нервной тревогой в лице. Она бросилась за нею и уже в коридоре, перед толпою учеников, стала целовать ее и в щеки, и в глаза, и в губы.

— Родная вы моя!

Оля стала провожать ее из школы домой, держа под руку и прижимаясь к ней. А потом жалобно попросила ее позволить зайти к ней в комнату. И лицо у нее было такое страдальческое, что вот-вот она заплачет. Наталья Степановна впервые засмеялась и подтолкнула ее к двери.

— Ну, разумеется, Оленька, заходи! Что это тебе взбрело в голову, что я не желаю? Ведь я же хорошо чувствую, что ты меня любишь. И я ведь люблю тебя, родная...

И по вечерам в тишине комнаты они разговаривали о Соне: вспоминали случаи ее школьной жизни, ее слова, походку, смех, шалости, и в их представлении

она была какой-то особенной, не такой, как другие, почти идеальной.

Оля так волновалась, что у нее глаза заливались слезами, хотя и вздрагивал подбородок от улыбки.

— Как я хотела бы быть на ее месте! Такой же быть, как она. Я все-таки хочу на фронт поехать... Мне стыдно и мучительно быть в тылу...

Наталья Степановна поглядела на нее проверяющим взглядом, и на переносье у нее прорезались две вертикальные морщинки.

— И не выдумывай, Оленька! — со строгой лаской обрывала она ее. — Ты и здесь можешь так же хорошо работать. Ты воспитываешь новых людей, а это очень ответственное и важное дело. Не всякий на это способен.

И Оля поражалась: она ни разу не видела, чтобы Наталья Степановна плакала от горя. Когда она говорила о судьбе Сони, то становилась жестковатой, повелительной, и глаза делались сухими, горячими и глубокими.

Оля стала очень часто приходить к ней вечерами «учиться учить и воспитываться воспитывать», как говорила она, краснея. И Наталья Степановна подробно, до мелочей знакомилась с ее планами, конспектами, спрашивала, как она поведет урок по русскому языку (Оля была словесница), как будет прорабатывать материал по грамматике, по объяснительному чтению, какие примеры приготовила она для беседы, на что должна навести детей, чтобы они увлеклись, воодушевились, сами кстати рассказали события из своей жизни и помечтали бы о своей борьбе, о целях, о радостях побед.

— Надо, чтобы каждый из них был уверен в своих силах и способностях, — говорила Наталья Степановна, прикрывая сухими ручками страницы Олиной тетради. — Надо, чтобы в каждом из них вспыхнул огонек беспокойства. Идею надо зажечь в них на всю жизнь... по примеру самых лучших и дерзновенных людей нашей страны. В нашей работе одно важно, Оленька: помочь ребятам найти свою идею, как живой образ их жизни, чтобы она захватила их навсегда и

разгоралась, как пожар. Тогда и трудности, и жертвы, и неудачи, и поражения в борьбе не поведут к разочарованиям, а еще более воспламенят их, обогатят мыслью и опытом, возбудят жажду знания и укрепят их характеры. Нужно, чтобы даже тяжелые жертвы, доходящие до трагизма, сознавались и переживались ими как предчувствие победы, как гордость за свою личность и за свою судьбу. В этом и есть условие всякого творчества, а в творчестве, как тебе известно, Оленька, весь смысл человеческой жизни.

Оля видела, что Наталья Степановна говорила не ей, а себе: она глядела мимо нее невидящим, темным взглядом. Оля не мешала ей и слушала ее молча и настороженно, как будто не слушала, а подслушивала ее. В эти минуты Наталья Степановна открывалась ей всей глубиной своей души и становилась прозрачной, простой и несложной. Это о себе она говорила, о своей прожитой жизни, о своих страданиях, о Соне, о материнской своей судьбе. Да, ей, Наталье Степановне, есть чем гордиться: она прожила свою жизнь хорошо, и ее не за что упрекнуть. Сколько людей воспитала она за многие годы учительства, и все ее помнят, все хранят к ней любовь и благодарность! Много на фронте командиров и политработников — бывших ее учеников, много начальников оборонных предприятий и инженеров. За эти дни получила она кучи писем от них, и Оля помогала разбирать и прочитывать их. И она видела, как слезно сияли глаза Натальи Степановны.

— Я не одна в своей беде, Оленька. Видишь, как много у меня родных людей... Это большое счастье, Оленька... Если любишь жизнь и свой народ по-настоящему, никакие жертвы не убьют души. Нет, тогда душа вспыхивает ослепительно. На это не всякий способен, но на это способна всякая мать.

Оля знала, что Наталья Степановна пережила когда-то еще одну страшную трагедию, о которой принято было молчать. Она и удивлялась ее способности выносить тяжелые удары и втайне боялась ее. Эта милая маленькая старушка (а ведь ей было только 55 лет) несла в себе такую силу и

такую грозную правду, что в глубине души Оля трепетала перед нею. А рассказывали про эту ее трагедию так.

Наталья Степановна жила в этом уральском городе с молодых лет. Здесь она испытала счастье любви, когда каждая улица, каждый дом, каждое дерево и куст сирени в сквере у древнего пруда пели ей милые песни и улыбались ей с ликующей завистью. Вода в широком разливе кипела вихрями солнечных вспышек, а волнишки плескались о камни вековой плотины, как будто бежали к ней толпами и смеялись. Здесь же она познала первые желанные муки рождения ребенка и таинственный смысл новой, неведомой раньше, тревожной жизни матери. Мальчик болел дифтеритом, она металась от ужаса перед грозной тенью смерти. Она рыдала, не спала ночей, и ей казалось, что она неизбежно погибнет вместе с ребенком. Мальчик выздоравливал, и она чувствовала себя самой счастливой матерью на свете. Она приходила в школу, и класс утопал в солнце и радости. Тогда и детишки и учителя казались ей чудными, необыкновенно красивыми и добрыми. Мальчик рос здоровым, крупным, любил исследовать каждую вещь — игрушку, чашку, книжку, плошку с цветком — и обязательно разбивал, рвал, терзал на части. Отец, мужиковатый, рябой, с мускулами борца, веселый человек, который любил посмеяться, пошутить и делал всё приплясывая, очень любил мальчишку и после каждой его проказы ласково шлепал его по задику и кричал:

— Молодец, Гришка! Чтобы познать вещь, надо ее разрушить, чтобы познать мир, надо разоблачить его. А чтобы защищаться, надо драться.

Мальчишка рос драчуном: на дворе и на улице часто слышался рев, — это Гришка учил кого-нибудь из своей ребячьей дружины. Мать очень огорчалась и бежала водворять порядок, а отец хохотал и пророчил:

— Ни черта! Растет правильно парень... При хорошем пути он станет бесстрашным борцом за правое дело...

Потом разразилась империалистическая война, отца мобилизовали, и Наталья Степановна не видела его три года. В гражданскую войну он приехал в свой город бравым полковым командиром и коммунистом, но смеяться и приплясывать перестал, и в мужицком лице его появились какие-то суровые черты. Наталья Степановна сразу поняла, что он целиком отдался кровавой и беспощадной войне с врагами. Потом он опять исчез на несколько лет и возвратился домой с двумя орденами Красного Знамени, но без руки, без глаза, со шрамами на теле, с тяжелыми последствиями гнойного плеврита.

Наталью Степановну отозвали из школы и поручили ей руководство школьным подотделом. Отрываться от ребят, от любимого дела, от повседневных творческих исканий было очень тяжело: душа не лежала к чиновничьей работе, да и организатором она не считала себя хорошим. Теперь у нее уже совсем не оставалось времени для воспитания своего мальчика. В школе он вел себя отвратительно, пропадал где-то по суткам и свел дружбу с безнадзорной шайкой уличных хулиганов. Ее просили из школы обратить на него особое внимание: в классе он отбился от рук, с учителями не считается, дурно воздействует на учеников, разлагает школьную дисциплину, а однажды ворвался вместе с бандой хулиганов и избил несколько ребят. Она волновалась, бежала в школу, домой, но парня не находила. С работы она приходила поздно и заставала его в глубоком сне. Будить его она не решалась, а утром он исчезал незаметно. Но когда она пыталась разговаривать с ним, он угрюмо и зло замыкался и молчал или смотрел на нее с наглой улыбкой простака, который ничего не понимает. Потом уходил так же молча, как будто издеваясь над ее бессилием. Она звала его со слезами отчаяния и горя, но он даже не оборачивался, задрав на затылок кепку.

Отец дома тоже не бывал: он работал в ЧК, дневал там и ночевал. А когда заезжал к себе на квартиру, о мальчике не беспокоился.

— Ничего нет страшного. Вы просто не понимаете его: не умеете направить его энергии по должному пути. Он бушует, как весенняя вода.

— Так помоги эту энергию направить, как нужно. Вы, вероятно, скорее поймете друг друга. А я чувствую, что он не уважает меня и презирает мою беспомощность. С другими детьми я умею находить общий язык, а с ним чувствую себя безоружной и глупой.

— Что ж, как-нибудь я его возьму в работу. А ты не беспокойся очень: бешеный возраст — четырнадцать лет. Перебесится — образумится.

Но однажды отец привез его ночью из изолятора. Оказалось, что с бандой безнадзорников он связался с воровской шайкой и участвовал в налете на квартиру какого-то нэпмана. Вся банда была в масках. Хозяев связали, квартиру ограбили и под угрозой смерти заставили нэпмана отдать им деньги. Но всю шайку быстро накрыли, а его сдали отцу на поруки. Отец впервые говорил с ним строго, угрожающе, но парень видел (это чувствовала и мать), что отец тоже бессилен совладать с ним. Они мало знали друг друга и были совсем чужие. Парнишка молчал так же, как с матерью, и смотрел на него с тупым нахальством идиота. И Наталья Степановна леденела от ужаса: перед нею был непримиримый враг. На другой день он похитил деньги, серебряные ложки, кое-что из вещей и исчез из дома. Угрозыск не обнаружил его нигде. А за это время отец был изрублен в далеком районном селе, куда он отправился для ликвидации кулацкого бунта.

В год гибели отца появилась на свет Соня. Наталья Степановна опять возвратилась в школу и была как будто счастлива. Но она уже стала другой: молчаливой, вдумчиво-сдержанной, замкнутой, со скорбно-правдивыми глазами, которые казались странно холодными в своей сосредоточенности и горячими в темно-коричневом блеске. С учителями и учительницами она держалась обособленно, но все чувствовали ее присутствие, и каждое ее слово было бесспорным и авторитетным. А на стороне злословили: учительница она хоть

и талантливая, а вот сына своего воспитать не смогла, — чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу! Вот пример, когда теория не совпадает с практикой. Тогда в ходу было слово «ножницы», и кто-то кстати пристегнул эти «ножницы» к ней.

Но это было только маленькой местью ей за отчужденность и замкнутость: ее педагогический опыт и исключительное уменье владеть классом очень ценили все учителя города.

Мысли о сыне жгли ее постоянно. Она считала и себя и мужа виновниками его гибели. Она была уверена, что Гриша или убит, или находится где-нибудь в трудлагере. Отец любил его и часто говорил:

— Парень был сильный, с большой волей, но выбрал себе роль преступника и авантюриста. Обязательно вор и бандит. Если попадется мне в руки, расстреляю как собаку.

И вдруг он, пропавший сын, пришел к ней внезапно ночью. Она обомлела и прислонилась к стене у входной двери, чтобы не упасть. Прилично одетый молодой человек, высокий, чисто выбритый, причесанный до глянца, улыбаясь золотыми зубами, без стеснения взял ее под руку и ввел в комнату. Он усадил ее в кресло, в котором она обычно любила сидеть, а сам уверенно сел на стул против нее.

— Жив? ты... пропавший?.. — пролепетала она. — Откуда? Воскресший мертвец...

А он, с сильными челюстями, большим лбом, хищным носом и нагло-умными глазами, смотрел прямо на нее не отрываясь и проговорил странно манерным тенорком, проникновенным и певучим:

— Ну, мамочка милая, здравствуй! Заклинаю тебя простить твоего блудного сына. Знай, я искупил свою вину перед вами: тружусь, служу, пользуюсь большим доверием.

И протянул ей обе руки.

— Я не прощу себе, что принес тебе так много огорчений.

Наталье Степановне стало страшно: его слова, его нежный тенорок, протянутые к ней руки и весь он, густо пропахший одеколоном, — все это было чужое,

ненастоящее. Было почему-то невыносимо видеть его перед собою: неужели это ее сын, Гриша, которого она мучительно любила когда-то? Он остался в памяти как жгучая и незаживающая рана, как ее вина и обида. А этот молодой человек навязан ей случаем как самозванец, как жуткий двойник. У мальчика Гриши были красивые уши с маленькой сережкой — нежной мохринкой — на мочке левой раковины. У этого — тоже. И это все, что осталось от погибшего сына, который сохранился в воспоминаниях только ребенком. Наталья Степановна сидела неподвижная, немая, с мучительным предчувствием: этот чужой человек в образе сына послан как возмездие, как неотвратимая беда. Зачем он пришел? Он ограбил ее душу и вместо скорбной любви вызвал гнев и презрение. Душа холодела, и в сердце осталась только неугасимая тоска — устранить его со своей честной и чистой дороги, как преступника и предателя. Он опозорил и ее честь и честь отца, который пожертвовал жизнью за счастье людей. Отец был растерзан озверевшими людьми, которые цеплялись за проклятое прошлое. Это прошлое еще жило в кулацких избах и трущобах преступного мира. Сын утонул в этой трясине, затянутый туда бандами отверженцев. И он обрек ее на душевные пытки и страдания.

Соня сидела в углу за ширмочкой — читала книгу. Вероятно, она почувствовала, что матери угрожает какая-то опасность: она быстро вышла и стала рядом с нею, готовая к защите.

— Это, конечно, моя сестренка? — спросил гость и призывно протянул руку. — Ну, ну... иди сюда! Познакомимся, будем друзьями, сестричка.

Она не двинулась с места и враждебно сдвинула брови.

— Я вам не сестричка, — резко ответила она. — И друзьями мы не будем.

— Вот так раз! Почему же?

— Потому!.. Оставьте нас, пожалуйста!

— Строгая женщина... — засмеялся он и лукаво подмигнул матери.

Наталья Степановна тихо и гневно сказала ему:

— Как видишь, между нами — пропасть. Взять у нас тебе нечего, а дать ты нам ничего не можешь. Сделай хоть одно одолжение — уезжай отсюда как можно дальше... и бесследно...

Он ушел растерянно и покорно, но в каждом его жесте были наигранность и фальшь.

Об этом событии не говорилось ни слова. Только иногда Соня пытливо и молча поглядывала на мать, и в глазах ее, милых, прозрачно-голубых, Наталья Степановна видела вспышки ненависти и непримиримой вражды — не к ней (это знала Наталья Степановна), а к нему, который незримой тенью стоял перед ними.

Потом стало известно, что он был схвачен как организатор шайки хищников и вредителей.

Наталья Степановна пошла к начальнику НКВД и рассказала ему о сыне, о своих муках, о страшной гибели отца, о внезапном приходе молодого человека, чужого, жутко фальшивого, который оставил после себя только черную тревогу и ужас.

Начальник, очень высокий человек с бледным лицом, внимательно и вдумчиво выслушал ее, помолчал немного и спросил:

— Но вы, конечно, не знаете, что это за человек?

И он кратко сообщил ей, что сын ее долгое время проводил в тюрьмах как преступник-рецидивист, потом находился в трудлагере. Там он как будто переменился — показал себя с лучшей стороны. Его освободили и помогли найти работу на золотых приисках, как способному мастеру. Он завоевал доверие. Но в результате — ловкий обман, тяжкое преступление против государства.

Наталья Степановна сидела, убитая горем, и мяла дрожащими пальцами носовой платок.

Лицо ее высохло еще больше и было строгим и скорбным. Глаза ее горели сухим жаром, и в них застыло страдание.

— Я пришла к вам как мать... Не могу я... Как мать — не могу нести это проклятие... За что же эта кара?.. Неужели этот ужас на всю жизнь?..

Начальник с удивлением насторожился.

В молчании оба пристально смотрели в глаза друг другу, и в этой тишине, полной смятения, оба поняли, что дальше говорить было не о чем. Оба встали одновременно, не отрывая глаз друг от друга. Начальник вышел из-за стола, пожал ей руку и повел к двери.

Прощаясь с ней, он проникновенно сказал:

— Ваша жизнь и жизнь вашего мужа — прекрасная жизнь. Не омрачайте своей души бесплодными думами. Пусть не тревожат вас никакие призраки.

Все это — в прошлом. Это пройденная полоса страданий, это уже навсегда перевернутая страница.

Ночи были мучительны: Наталья Степановна ложилась спать в свой обычный час, а утром вставала минута в минуту в половине седьмого, не справляясь с часами. Долголетний режим приучил ее к точности и чуткости ко времени. Инстинктивно чувствовала она конец урока в школе, инстинктивно распределяла и разрабатывала материал урока и знала, на какой секунде нужно переходить от одной темы к другой и держать детей в постоянном действии, не утомляя их внимания. В дни войны воображение ребят тревожили события на фронте, партизанская борьба, зверства фашистов в оккупированных областях, героические подвиги наших летчиков, танкистов, разведчиков, снайперов. Надо было и уроки перестроить по-другому — насытить их волнующим содержанием переживаемых дней. Вместо рассказов и статей из хрестоматии Наталья Степановна ввела чтение корреспонденций, очерков и рассказов из газет. Она проводила беседы о патриотизме, о храбрости, о бесстрашии, о гневе и ненависти к врагу. Читали и беседовали о детях, которые самоотверженно и находчиво работают в тылу у фашистов как разведчики. И она видела, как сильно переживают школьники все боевые эпизоды, как горят их глаза от восторга перед героями и от хорошей зависти к их доблести, выдержке и уменью истреблять

врага. Некоторые ребята даже вскакивали с мест и вскрикивали:

— Я бы тоже был хорошим разведчиком... и никаких бы пыток не забоялся. Эх, меня там нет, Наталья Степановна!

Она проводила беседы о работе тыла. Читали очерки и статьи о соревновании сталеваров, токарей, фрезеровщиков. Говорили о победах стахановцев своего города, которые прославились на всю страну. Беседовали о работе ремесленников и заводских учеников и об их трудовых успехах. Оказывалось, что некоторые из этих ребят уже завоевали славу отличных мастеров. Выходило, что и здесь, вдали от фронта, можно и нужно быть героем и бойцом, что и отсюда можно и нужно громить врагов. И они, мальчики и девочки, каждый день и каждый час могут воевать с фашистами так же геройски, как бойцы фронта: принять участие в создании, например, танковой колонны уральской молодежи, писать письма бойцам на фронт, посылать им подарки или вот весною и летом поехать на полевые работы в деревню. Война и служение фронту — это не праздник, не карнавал, а напряженная, тяжелая работа, полная испытаний, может быть лишений. Не всякий может вынести эти трудности. Для этого нужно быть горячим энтузиастом, любить свою родину, свой народ, гореть огнем ненависти к людоедам-фашистам, которые хотят, чтобы и они — вот именно все сидящие в этом классе — были их рабами. И опять со сверкающими глазенками, с побледневшими лицами мальчики и девочки наперебой восклицали:

— Какие там трудности, Наталья Степановна! Нам ничего не страшно... Организуемся... обязательно включимся... сегодня же...

В школе было хорошо: Наталья Степановна сама волновалась, чувствовала прилив бодрых сил и была уверена, что и она живет не напрасно, что и она может указать верный путь в жизнь этим маленьким гражданам, что они каждый день выходят из стен школы иными, чем были вчера, более сильными духом и бога-

тыми в мыслях и чувствах. Она воспитывала борцов и деятелей.

Но в своей комнате по ночам она переживала непереносную тоску. В комнате соседей, как обычно, шла своя безмятежная жизнь. Щебетали и смеялись женщины. Каждый вечер к ним приходили гости — молодые, веселые приятельницы, красногубые, с растрепанными волосами до плеч. Они играли в домино или в карты. Должно быть, игра захватывала их и была полна забавных неожиданностей. Взрывы хохота, изумленные восклицания, восторженные споры влетали в комнату Натальи Степановны и не давали ей покоя.

У Натальи Степановны замирало сердце от отчаяния, и ей хотелось плакать. Она одевалась и выходила на улицу. Мостовая и тротуары постоянно покрывались свежим снегом. На мостовой виднелись вспаханные колесами машин колеи в ухабах, а на тротуаре льдисто поблескивала протоптанная дорожка. Над белыми крышами мутно туманилось зарево от огней на далеких заводах, а над центром города вспыхивали зеленые молнии. Дул снежный ветерок с запада, со стороны пруда, но воздух был терпкий от легкого морозца, пахло свежим снегом и дымком от березовых дров. Наталья Степановна поднималась вверх по переулку, на гору, на широкую площадь, где стоял старинный собор с высокой колокольней без креста, с ободранным куполом. Когда у нее было особенно тяжело на душе, она бессознательно поднималась на эту площадь и тихо бродила по дорожкам сквера. Отсюда город расстилался внизу, спускаясь беспорядочным засевом крыш и прямыми улицами и полого поднимаясь на другие склоны. Трепетали огни в окнах домов, а далеко за городом, на заводах, ослепительными созвездиями играли пронзительные лучи фонарей. Там и день и ночь делали танки, оружие и снаряды для фронта. На вокзале заботливо вскрикивали паровозы, внизу рявкали машины, и откуда-то, должно быть с площади горсовета, глухо доносились волны радиоконцерта из Москвы. Площадь эта тоже старинная: когда-то это был центр города. Здесь вы-

строены были лучшие дома именитых уральских золотопромышленников. Эти дома виднелись даже с далеких окраин. Внизу громоздились деревянные избы с резными фасадами и скромные каменные особнячки, дальше толпились деревенские лачуги с ветхими надворными постройками, и сверху видно было, как грязно, неуютно, безрадостно и жутко в этих полуразрушенных дворах и свалках истлевшего дерева. А палаты былых властителей Урала гордо и величаво красовались над городом, как форум. И белые палаты эти действительно были прекрасны. Особенно красив и роскошен был дом, который занимал всю северную сторону холма. Главное здание в стиле ампир стояло на западном углу площади, с колоннадой и на улицу и на площадь, а на восток весь квартал занимала длинная пристройка в пилястрах и с зеленым куполом над крайним зданием, похожим на церковь.

Наталья Степановна очень любила смотреть на этот величаво-спокойный дом, и ей казалось, что эта классически стройная красота поет, как музыка. Ей чудилось, что она не только смотрела на это вечно молодое и жизнерадостное архитектурное создание, но и слушала его. Она вспоминала романы и повести Мамина-Сибиряка о страшных хищниках девятнадцатого века со звериными страстями, о кровожадной и свирепой их борьбе за золото, об их безумных оргиях, о чудовищной эксплуатации народа, об исступленном их покаянии в своих богатых моленных, сверкающих золотом и драгоценными камнями. Искусство, хотя бы оно и выросло в крови и страданиях, остается чистым и непорочным искусством. Оно живет, а хищники и разбойники погибли — исчезли навсегда. Живет нетленно то, что создано вдохновенной душой, — вечна и неувядаема человеческая правда и красота.

Наталья Степановна часто гуляла здесь с маленькой Соней, которая летом порхала за бабочками и пряталась в зарослях сирени и жасмина, а зимою каталась на салазках по пологим спускам. Отсюда был виден весь пруд, огромный, как озеро. В зеркальной

воде отражались облака, вечерние зори и такие же богатые дома с колоннами на том берегу. Теперь это было ровное белое поле, которое хорошо было видно даже ночью. Оно было исполосовано ленточками дорожек, по которым длинными цепочками шли люди с той и с этой стороны.

Наталья Степановна долго бродила по скверу вокруг площади и думала только о Соне. Образ сына хотя и появлялся перед нею, но сразу же исчезал, как чужой, как проклятый ею давно. Он не тревожил ее: он погиб так же бесславно, как и жил, и так же справедливо, как справедлив был и ее гнев. В душе она чувствовала себя отомщенной: она вынесла ему свой приговор как мать. Правда матери — беспощадная правда, и месть ее — самая беспощадная месть. Но Соня стояла перед нею как живая, с золотыми кудрями, с широким румяным лицом и звонким смехом юношеского счастья в синих умненьких глазах. Вспомнилась ее жгучая ненависть к неожиданному брату. Она не знала его, но сразу каким-то внутренним чутьем догадалась, что этот молодой человек — ее смертельный враг. Она ничем и никак не могла доказать своей правоты, и ей не надо было доказывать словами свою непримиримую вражду. Она ощутила его нутром, и этого было достаточно. Чувствовала она и душу матери и без рассуждения отнеслась к нему жестоко и откровенно.

— Мамочка, — говорила она потом, — он и близко не должен подходить к нашему дому и не имеет права называть тебя матерью.

— Ну, откуда у тебя такие быстрые решения, Соня? Ты ведь не знаешь его — в первый раз видишь. Может быть...

— Ничего не может быть, кроме зла. Не убеждай меня: я очень хорошо знаю, кто он такой. Я вся... вся его чувствую. Ведь и ты не хочешь, чтобы он жил такой на свете.

— Какие ты ужасы говоришь, Соня!

— Ничего не ужасы, а чистую, честную правду. И, пожалуйста, не притворяйся, ведь ты же мое зеркало... А что думаю я, то думаешь и ты.

Мать с удивлением вслушивалась в ее слова и открывала в ней что-то новое, не детское. Она смеялась, любуясь ею, смущенная неотразимой правдой Сони, и делала вид, что девочка забавляет ее своей наивной мудростью.

— Ну, не смеши, Соня! Откуда у тебя такая прозорливость? Прямо ясновидящая!

— Не хохочи, пожалуйста, мама! — сердилась Соня. — Тебе же не хочется смеяться, потому что вовсе не смешно то, что я говорю.

И вдруг бросалась ей на шею, целовала ее в губы, в щеки, в глаза и нежно бормотала:

— Мамочка моя! Любимая моя! Радость моя! Я тебя так люблю, так люблю!.. И знаешь, я все, все вижу в твоей душе... Я, может быть, такая же старенькая душою, как ты... Нет, правда, не смейся. Это очень серьезно.

Вспоминая об этих давно ушедших часах, Наталья Степановна плакала, улыбаясь, и чувствовала Соню совсем живой, слышала ее голос, точно девочка шла рядом с нею. И сразу же невыносимо больно замирало сердце, и она останавливалась, готовая упасть от отчаяния. Столбы виселицы, а внизу, на снегу, лежит Соня с веревкой на шее, с закинутым лицом, с растрепанными волосами. Она спокойна, точно заснула, только милые детские губы застыли в улыбке, как в те секунды, когда вспыхивала в ее головке какая-то неожиданная мысль.

Ее крик слышали все колхозники, которых согнали на место казни. Они не могли не слышать его, задыхаясь от рыданий и от яростного бессилия помочь ей.

Рассказывали, что в избе, куда бросили ее мучители под надзором двух солдат, старушка хотела отогреть ей обмороженные ноги и руки. Она склонилась над нею, поцеловала и, вся в слезах, прошептала ей:

— Ласточка моя! Молоденькая какая! Зачем безо время пропадаешь?

И Соня будто бы ответила ей с улыбкой, как святая:

— Нет, бабушка, за правду всюду умирают вовремя. А ты, ежели будешь жива, расскажи обо мне, бабушка. Я не погибаю, нет! Я буду жить в сердцах наших людей веки вечные. Значит, моя смерть нужна для родины. Не забудь, бабушка, передать, чтобы мама моя не горевала: она поймет меня.

Пусть этого не говорила Соня, пусть старуха была создана воображением бойцов и колхозников освобожденного села, но Соня сказала бы именно так.

Были мгновения, когда Наталья Степановна в своем одиночестве вдруг ощущала Соню около себя, с левой стороны, как она ходила с ней обычно. Призрачно чувствовалась ее живая рука и милая игра ее пальцев. Она инстинктивно ловила глазами Соню, и ей чудилось, что она улыбается ей в снежном полумраке и ласково кивает головой.

— Девочка моя! — шептала Наталья Степановна дрожащими губами. — Соня моя родная!..

Однажды вечером, возвращаясь из школы, она проходила мимо огромного здания, где помещался госпиталь. Окна были ярко освещены, и на перламутровых от мороза стеклах мелькали пепельные, четкие тени голов и плеч. Подчиняясь внезапному порыву, она, будто вспомнив о чем-то важном, торопливо возвратилась к парадной двери и вошла в обширный вестибюль с колоннами и матовыми фонарями.

Военный человек строго спросил ее:

— Вам кого надо?

— Мне бы комиссара.

— Приема нет.

— Но комиссар-то здесь? Ну, хотя бы врач или дежурная сестра...

— Вообще сейчас, гражданка, нет доступа в госпиталь. Завтра пожалуйста. А лучше позвоните.

Подбежала молоденькая медсестра в белом халате поверх шинели, смуглолицая, с блестящими черными глазами и густыми черными бровями, толстогубая, похожая на цыганку. Она показала белые зубы

в улыбке и с веселым изумлением всмотрелась в лицо Натальи Степановны.

— Я помогу вам, товарищ. У вас какое-нибудь экстренное дело?

Девушка понравилась Наталье Степановне, и она тоже ей улыбнулась.

— Я вижу, что так вы не пустите, — сконфузилась она и, поколебавшись, тихо сказала: — Я мать Сони Сухояровой. Я получила письмо от одного лейтенанта... Селиверстова...

Медсестра безмолвно раскинула руки, и лицо ее с восторгом и тревогой устремилось к Наталье Степановне. Даже военный человек улыбнулся и приложил руку к шапке.

— Вы бы так и сказали, товарищ.

— Мать Сони!.. — пораженная, протянула медсестра. — Мать той Сони...

Просторный вестибюль показался сначала Наталье Степановне безлюдным, пустой была и широкая мраморная лестница. Только сверху доносились далекие перепевы голосов, призрачные трели баяна и, как всплески волн, шорохи людского движения, похожие на ливень разрядов в репродукторе. Но на изумленный вскрик медсестры, точно на призыв, выбежали из-за колонн и откуда-то из-за углов и выступов несколько девушек, тоже в белых халатах, и тесно окружили Наталью Степановну.

Наталья Степановна с благодарностью чувствовала, как осторожно и любовно эти молоденькие медсестры поддерживают ее под руки, чтобы ей легче было подниматься по лестнице. Та девушка, которая подошла к ней первая, крепко прижимала ее руку к себе и говорила живо, взволнованно, будто торопилась наговориться сразу. Она была уже счастлива оттого, что идет бок о бок с ней, держит ее руку и чувствует таинственное сердце матери.

— У меня мама осталась в Москве, — говорила она, задыхаясь от нетерпения. — Она отказалась выехать осенью, — куда ей одной ехать в далекий путь да еще с эшелоном? У ней одна жизнь — я и брат.

Софрон работает на заводе Ильича. А я — студентка мединститута.

— Мы ведь тоже все студентки... — не вытерпела сообщить бледная высокая девушка с другой стороны.

— Только из разных мест, — добавила девушка сзади. — Я, например, из Киева. Все время была на фронте.

— Ну да, мы все с фронта, — подтвердила первая девушка. — И все раненые. Вот выздоровели и работаем медсестрами. Знаете, — радостно засмеялась она, — меня ведь тоже зовут Соней. Я и в боях была... на Калининском... Вынесла пятнадцать раненых с оружием. Ранило осколком два раза. Правда, легко, и это — пустяки... Все время надоедаю начальству, чтобы меня опять на фронт... Комиссар у себя? — звонко спросила она высокого юношу со значками лейтенанта.

Он молча кивнул головой и быстро побежал вниз.

Соня скрылась за дверью и сейчас же вышла оттуда с военным человеком, чисто выбритым, очень бравым на вид. Он улыбнулся и поклонился Наталье Степановне.

— Мы очень рады, что вы посетили нас. Товарищ Селиверстов как раз сегодня чувствует себя хорошо, но все-таки очень слаб. Серьезное у него ранение. Можно побеседовать с ним этак... минут десяток... не больше, а то наш врач очень строгий. — И приказал Соне: — Проводите! Только, пожалуйста, одна.

— Есть, товарищ комиссар, — вытянувшись, четко ответила Соня.

Остальные медсестры с сожалением поглядели на Наталью Степановну и нехотя пошли обратно. Комиссар почтительно обратился к Наталье Степановне:

— На обратном пути, если у вас будет возможность, не откажите зайти ко мне.

Наталье Степановне понравился этот строгий порядок и подтянутость. Она почувствовала, что и люди, и их дело, и вещи твердо и уверенно поставлены на свои места. Всюду блестела чистота, и даже воздух был на редкость прозрачным и лучистым.

«Может ли здесь больной уйти в одиночество? — спросила она себя и без колебаний ответила: — Нет! Здесь все как будто пронизывается одним током, как в замкнутой цепи».

Соня провела ее в соседнюю комнату, попросила раздеться и сама надела ей халат. И в белом халате лицо Натальи Степановны помолодело, но стало еще более печальным.

В просторной палате, утопая в чистом белье, лежали больные. Бледные, утомленные страданием, они смотрели сосредоточенно в ничто, и по их впавшим глазам видно было, что им хотелось только одного — тишины и душевного отдыха. И эту тишину охраняла для них белоснежная пожилая сестра, массивная, важная и сердитая на вид. Она с тревожной подозрительностью встретила Наталью Степановну на пороге палаты, но на улыбку Сони ответила доброй улыбкой матери.

— Нам нужно, Ирина Петровна, к Селиверстову,— заискивающе сказала Соня, —так показалось Наталье Степановне.

— А, к Селиверстову? —неожиданно мягко и тепло ответила сестра. — Ему сегодня лучше, Сонечка. Читает. Два раза спрашивал, не звонила ли женщина, которой он посылал письмо.

— Вот эта женщина и пришла, Ирина Петровна.

— Пройдите, пройдите! Вы его очень обрадуете,— обратилась она к Наталье Степановне, вглядываясь в нее с любопытством.

Селиверстов лежал налево в углу. С русыми мелкими кудрями, широким деревенским лицом, чисто выбритым, с лихорадочными глазами, очень внимательными, он встретил женщин без удивления и как будто равнодушно. Он отложил на столик книгу и молча показал на стул около кровати. Сестра уже несла другой стул, для Сони. Но Соня отрицательно покачала головой и незаметно подмигнула пожилой сестре: пусть, мол, они останутся одни, не будем их стеснять.

— Я сразу догадался, что вы мать нашей родной Сони.

Голос у него хотя и болезненно срывался, но был звучный, мужественный и привлекательный. Лицо его было бледно, со страдальческой худобой, но умная лукавинка в горячих глазах играла ласково и радостно.

Наталья Степановна наклонилась над ним и поцеловала его в лоб. Он отвернулся и закрыл глаза. Она села около него на стул, не отрывая от его лица глаз, залитых слезами.

Обе сестры незаметно вышли из палаты, хотя дверь осталась открытой. Эта деликатность была приятна Наталье Степановне. Кровати стояли в два ряда, и больные лежали тихо и, казалось, были безучастны к появлению посторонней женщины. Но Наталья Степановна, оглядывая головы на белых подушках, заметила, что каждый из больных встречается с ней внимательным взглядом. А один молодой паренек даже болезненно улыбнулся ей.

Селиверстов взял руку Натальи Степановны и положил ее к себе на грудь, накрыв ее горячей ладонью.

— Я очень хотел увидеть вас, Наталья Степановна, очень хотел. Боролся с собой: нужно ли? не нанесу ли вам удара? Но решил, что я обязан... Мы с Соней дали слово друг другу: или она, или я, если кто-нибудь из нас выйдет из строя, лично увидеть мать того или другого... Обязательно увидеть и рассказать, чтобы душой коснуться... В письме этого не передашь... Солнышком она была для всех нас... ее просто обожали... Многие потом навзрыд плакали. Ее у нас не Соней звали, а по-своему — Светланой. Бывали очень тяжелые дни: отходы, боевые неудачи, потери — все это очень больно переживали бойцы. Но стоило, бывало, явиться к ним Соне, с ее бодрой и яркой душой, с милым смехом и шуткой, и на сердце становилось светло и весело.

— Как же это случилось с ней? — робко спросила Наталья Степановна, и робость ее была только боязнью — как бы не разрыдаться.

— В окружение попали, в кольцо. Держались и пробивались две недели. Это было страшное испытание для многих из нас. Кое-кто пал духом,

закрадывалось в душу отчаяние. Но Соня, как всегда, была жизнерадостна... «Ничего, товарищи! — звенит, бывало, ее голосок, — пробьемся! Не только пробьемся, но и победим». И никто не видел, чтобы по лицу ее хоть на миг пробежала тень тревоги и раздумья. Точно живой луч пронизывал всех, и все чувствовали себя уверенно, легко, и никто не сомневался в победе. Везде ее ждали с нетерпением, и каждый мечтал о ней, у каждого в душе была хорошая песня. Даже тяжелораненые, казалось, переставали страдать, когда она была с ними, а умирающие улыбались, держа руку ее до последней минуты.

Селиверстов сам улыбался и не выпускал руки Натальи Степановны, прижимая ее к груди.

— Спасибо вам за нашу Соню. Она часто вспоминала о вас, а однажды, перед последней атакой, сказала мне: «Со мной мамочка, и мне ничего не страшно».

Селиверстов замолчал и опять закрыл глаза. Веки его дрожали, и ресницы были влажны. Не то он устал, не то взволновался, вновь переживая прошлое, но Наталья Степановна чувствовала, что не может нарушить его молчания, что эти минуты для него очень значительны. Она смотрела на него с нежностью и благодарной любовью. И не замечала, как из глаз ее текли слезы. Больные внимательно прислушивались, и лица их на белизне подушек были строги и задумчивы.

— Страшный был этот наш последний бой, — сдавленным голосом, с болью заговорил Селиверстов. — Немцы все туже и туже сжимали кольцо. Таяло наше подразделение каждый день и каждый час. И снаряды уже были на исходе, и голод изматывал силы. Мы решили прорваться во что бы то ни стало. Ударили мы на самое слабое место противника. Ночью это было, в проливной дождь. Нам одно оставалось — только быть смелыми. Впереди была жизнь, позади — плен и гибель. Оглушили мы немцев внезапностью и дрались с остервенением. Действовали и огнем и штыком. Это был страшный рукопашный бой во мраке. И мы прорвались. Но прорвались не все.

И вот тут-то наша Соня до конца осталась верной себе: ни одного раненого не хотела оставить на поле боя. Я изумляюсь до сих пор, как она успевала, откуда у ней брались силы, чтобы выносить раненых бойцов. Это мог сделать только человек чудовищного бесстрашия, спокойствия и какой-то нечеловеческой ясности. И когда мы с боями продвинулись вперед и углубились в лес, многих мы не досчитались. Раненых несли на себе. А через месяц я узнал о ней... о гибели Сони. Я дрался и шел вперед вместе с бойцами, не замечая ни пуль, ни разрывов снарядов, с одним только жгучим чувством — уничтожать, истреблять поганое зверье, которое сожрало нашу Соню — нашу Светлану. И в часы отдыха или в минуты, когда оставался один, я вынимал ее письма и перечитывал сотни раз.

Селиверстов застыл в изнеможении, и лицо его покрылось смертельной бледностью.

— Голубчик мой, родной мой, больше не надо...— попросила Наталья Степановна.

Она встала и наклонилась над ним. Он обнял ее и прижал ее лицо к своей щеке. Щека была мокрая и горячая.

— Подождите, не уходите, — прошептал он. — Прошу вас — еще немножко... Я не кончил... Вы как будто исцелили меня...

Его руки упали на одеяло. Наталья Степановна погладила его волосы, вынула платок и вытерла ему слезы. Он судорожно схватил ее платок и настойчиво потянул к себе.

— Дайте мне этот платок. Выздоровлю, возвращусь на фронт, буду хранить его.

Она молча оставила платочек в его руках и с рыданиями опрокинулась на спинку стула.

Больные так же тихо, не шевелясь, лежали на своих койках и пристально смотрели в их сторону. Только один из них, очень худой, со страдальческими глазами, ушедшими в себя, покашливал и крутил головой, точно его душило.

Селиверстов вынул из-под подушки измятое письмо

и безмолвно протянул Наталье Степановне. Она взяла его так, точно оно обожгло ей пальцы. Ей почудилось на мгновение, что она сейчас потеряет сознание. Невыносимая боль пронизала ее сердце, и оно вдруг остановилось и угасло.

Соседний больной, со страдальческими глазами, приподнялся, опираясь на локоть, и крикнул:

— Сестра! Помоги, сестра!

Наталья Степановна испуганно вытянулась и встала со стула.

— Что с вами, милый? Вам плохо? Я помогу вам.

Больной упал на подушку и ничего не ответил.

В палату вбежала Соня, а за нею вошла и пожилая сестра.

Наталья Степановна, судорожно сжимая письмо в руке, опять наклонилась над головою Селиверстова. Он смотрел на нее горячими глазами и улыбался, и в этих его глазах и прекрасном лице была такая любовь к ней, такое обожание, что Наталья Степановна, ослепленная, почувствовала себя маленькой перед ним, слабенькой, как ребенок.

— Вы придете... — с улыбкой сказал он. — Вы будете приходить... Вы поможете мне скорее... скорее подняться на ноги...

И когда она вышла в коридор, лицо ее было опять спокойным и величаво-светлым. Шла она твердо, высоко держа голову, и медсестре Соне показалась она совсем другой, чем в те минуты, когда она встретила ее в вестибюле, а потом провожала в палату. Она даже не могла найти слов для разговора с нею: что-то появилось в лице и в фигуре Натальи Степановны торжественное, властное и гордое.

— Этот Селиверстов очень тяжело ранен... — смущенно, как будто оправдываясь, сообщила Соня. — В живот ранен... Опасную пережил операцию.

— Он выздоровеет, — уверенно и твердо ответила Наталья Степановна, — такой человек не может не выздороветь.

— Да, врачи теперь очень надеются.

— При чем тут врачи, голубка? Его жизнь теперь независит от врачей. Он еще не утратил своей любви —

не отомстил еще полностью. А это — сильнее смерти.

Пожилая сестра вздохнула:

— Ах, как много сейчас страданий!..

— Что ж... без страданья нет и жизни.

Сестры тревожно переглянулись и замолчали.

Госпиталь она посещала два раза в неделю и долго беседовала с Селиверстовым и с медсестрой Соней. Селиверстов поправлялся и день ото дня становился свежее и светлее, точно Наталья Степановна каждым своим приходом вливала в него каплю живой воды. Когда она подходила к его кровати, он улыбался и протягивал к ней руки.

— Знаете, Наталья Степановна, — сказал он однажды растроганно, — я жду с нетерпением вашего прихода. И если бы вы вдруг не пришли, я был бы несчастлив.

Она целовала его и нежно говорила:

— Я счастлива, что вам лучше. Вы быстро встанете на ноги.

Он гладил ее руку горячими пальцами и шутил:

— Я неугасим. Теперь я запылаю еще сильнее...

— Это я знаю, — серьезно соглашалась Наталья Степановна. — И любовь у вас стала глубже, и ненависть острее.

— Да, да! Очень верно. Как я буду мстить!.. Я буду мстить в тысячу раз беспощаднее... за Соню... за вас... за себя... за всех... Демоны прошлого бессильны против будущего.

Наталья Степановна иногда заходила в городскую библиотеку, в читальный зал, и просматривала там свежие центральные газеты. Теперь особенно дорога ей стала «Комсомольская правда»: ведь это газета Сони, Соне здесь было посвящено несколько номеров. «Комсомольская правда» подробнее всех рассказала о последних ее днях и ей, матери, посвятила несколько трогательных строк. Она называла ее «труженицей». Что ж, она действительно прошла большую трудовую жизнь — честно прожила, хорошо, совестливо, скромно. Все знали ее и встречали молчаливыми поклонами, и если были заняты все места, кто-нибудь вставал и

предлагал ей стул. Особенно старались проявить к ней свое чувство девушки.

Однажды она увидела на стене несколько новых портретов: между Пушкиным и Лермонтовым и ниже, в виде звезды, очень заботливо и любовно развешаны были простенькие, вырезанные из газет и иллюстрированных журналов портреты молодых девушек, героинь Отечественной войны. Все эти портреты под стеклышками были окантованы черной бумагой. А внизу в виде венка изгибались вверх две сосновые ветки с лучистыми пучками темно-зеленых хвой. И в самом центре этих известных стране девушек была свежая фотография Сони (она снялась перед отъездом), а ниже рисунок пером — Соня стоит под виселицей и кричит в толпу колхозников. Часть этой толпы видна вдали справа. Здоровенный немец, вероятно, намыливает веревку, а его поддерживает за зад другой немец, но этого немца нет на рисунке, а только его руки с растопыренными пальцами. Сбоку нарисовано полнемца с чалмой из украденной шали на голове. Он замахивается палкой на Соню.

Этот рисунок сначала потряс Наталью Степановну. Она молча, разбитым шагом подошла к нему, и на мгновение ей стало дурно. Рисунок был сделан старательно, но неумело: должно быть, кто-то из комсомольцев с мучительной ненавистью и мстительным вдохновением сидел над этим рисунком не один день. Она услышала, как сквозь сон, испуганные голоса и беспокойство позади и около себя. Чья-то рука хотела снять со стены рисунок, но Наталья Степановна сжала эту руку и прошептала строго и решительно:

— Не надо! Оставьте! Пусть видят все, как она умела умирать.

И ушла из читальни, как будто больная и сразу постаревшая. Позади себя она оставила тревожное безмолвие.

Эта зима была на редкость сурова, даже для Урала. Воздух был промороженный, звонкий, как стекло, и обжигал, как огонь. Низкое солнце всегда

было мутным и оранжевым, и город окутывался пепельной мглой. С севера дули колючие ветры, и люди, даже тепло одетые, коченели от холода. Снег на улицах скрипел и визжал под ногами, свистел под полозьями саней, под колесами машин, и стены домов были покрыты белым бархатом инея, а окна зеленели растушеванными узорами. Деревья на бульварах, в скверах, во дворах старых особняков пушились густой белой хвоей.

И в эти морозно жгучие дни и ночи завод строил новые цехи, достраивал на скорую руку недостроенные соседние здания. День и ночь рабочие, инженеры, служащие, становясь в две шеренги, веревками тащили во двор, в кирпичные здания, тяжелые станки и массивные части машин. На улице эти станки и глыбы металлических деталей и оборудования громоздились беспорядочными свалками. И Наталье Степановне казалось, что люди не справятся с этой массой металла, как бы они ни суетились, как бы ни старались своими силами втащить в кирпичные и деревянные «коробки» и собрать там эти многотонные детали. Но рабочие с веселым воодушевлением впрягались в канаты и с бодрой уверенностью, упрямо тащили тяжести в ворота, в двери с криком: «Пойдет! идет! пошла-а!» И эти глыбы катились по кругляшам и скрывались во тьме зданий.

Наталья Степановна останавливалась и наблюдала за работой людей, зараженная их трудовым возбуждением и упорством. Оборудование, грязное, пыльное, покрытое ржой, подвозилось по железнодорожной линии, проложенной от вокзала прямо по улице, и рельсы исчезали за воротами, во дворе завода. И было странно видеть в центре города, на одной из шумных улиц, целый товарный состав, нагруженный станками, железными фермами, балками, трубами, электромоторами и разным металлом, похожим на искалеченный лом. Паровоз пыхтел, выбрасывая тугие белые клубы пара, и медленно тащил за собой платформы. Улица становилась необычайно тесной, и было жутковато и приятно смотреть на осторожное движение вагонов,

хотелось подойти поближе к паровозу и погреться около него. И когда поезд входил в широкие ворота и останавливался наполовину на улице, к вагонам бросались толпы и выгружали и машины и всю эту путаницу из металла прямо на землю. Появлялся маленький кран, поднимая стальные глыбы на тросах над вагонами и опуская их на мостовую. По толстым доскам рабочие и служащие спускали большие и маленькие детали. Пустой состав уходил обратно, и люди непрерывно, и днем и ночью, как муравьи, тащили веревками и неуклюжими во́ротами тяжелые машины. Тут же рабочие и инженеры — и молодые и старые — волочили по снегу на широких броневых листах громоздкие станины.

Наталья Степановна, забывая себя, смотрела на эту многолюдную хлопотню, на оживленный труд веселых людей в овчинных шубейках, в своих выходных пальтишках. Они смеялись, кричали, дружно пели: «Идет-пойдет! Идет-идет!» — и, отдыхая, терли руками уши, щеки и носы. К ее удивлению, вся эта невообразимая махина металла исчезла с улицы через полмесяца, а через месяц завод уже работал, как и другие старые заводы. В местной газете она прочла заявление рабочих и инженерно-технических работников о включении их в новогоднее социалистическое соревнование. И таких заводов в городе и в его окрестностях были целые десятки.

«Удивительные люди! — думала Наталья Степановна, наслаждаясь необычной легкостью и странной радостью в душе. — Какая сила, какая могучая вера в свою правду! Они никогда не отступят ни перед чем. Возможно ли эту махину быстро перебросить из таких далей, возможно ли было стройно и быстро собрать эти тысячи машин и всяких приспособлений и пустить в ход? А вот всё сделали возможным. Нет, такой народ нельзя победить, нельзя поработить и уничтожить! И Соня, моя Соня — вместе с ними, с этими бесстрашными родными людьми, такая же сильная, такая же бесстрашная, с бессмертной правдой в душе».

Так, по утрам, когда она шла в школу, и по вечерам, возвращаясь домой, она останавливалась около свалок металла и, забывая себя, смотрела, как без устали работают эти люди — рабочие, инженеры, комсомольцы и старики. На ее глазах одежда их быстро изнашивалась: инженеры и служащие в первые дни одеты были прилично — в хороших теплых пальто, в теплых кепках, у некоторых были каракулевые шапки, но через несколько дней пальто становилось грязным, засаленным, в дырьях, из которых торчали клочья ваты. И лица как будто старели за эти дни, — обветренные, обмороженные, обросшие волосами, они суровели, ожесточались, но бодрость и воодушевление становились крепче и мужественнее. У некоторых в глазах появилось что-то вроде угрюмой радости или злобного торжества. И всегда среди этих молодых людей хлопотал, покрикивая, седоусый старик в длинном ватном пиджаке и курносых валенках. Красное лицо его было исполосовано крупными морщинами. На тяжелом носу с широкими ноздрями сидели простенькие очки, очень старенькие, с маленькими овальными стеклышками. На этого старика Наталья Степановна обратила особое внимание. Он почему-то тревожил и привлекал к себе.

— Нельзя так, ребята! — хрипло кричал он, юрко подбегая к артели, где звякали ломы, трещали рычаги и дрябло рокотало железо. — Что вы, что вы делаете? Какое же это обхождение с машиной? Пылу много, а уменья нет. Так можно все станки искалечить. Монтаж, друзья, это труднее, чем воспитывать ребенка. Это не легче, чем обращение с техникой на войне. Ритму побольше да любви и нежности, вот! Эх вы, инженеры, технологи! Учиться надо, навыкать надо и молодежь примером и наукой воспитывать...

И Наталья Степановна видела, что молодые инженеры смущались и, пристыженные стариком, переглядывались сконфуженно.

Старик исчезал в толпе и начинал что-то объяснять и копаться около машины. Все замолкали, наклонялись, внимательно следя за его работой.

Наталью Степановну заметили и стали недружелюбно поглядывать на нее. Однажды к ней подошел высокий, узколицый и длинноносый человек, должно быть инженер, в пальто, подпоясанном веревкой, и с злой вежливостью спросил:

— Вам что здесь угодно, гражданка?

Наталья Степановна растерялась и в первое мгновение не знала, что ответить.

— Я уже не раз замечаю вас, гражданка, на этом месте и считаю, что глазеть вам здесь нечего. А чтобы понять вашу назойливость, я должен позвать охрану и проверить ваши документы.

— Пожалуйста, — оправившись, ответила она. — Если угодно, я готова хоть сейчас...

И она раскрыла свою сумочку.

— Я понимаю... — И она улыбнулась. — Я понимаю... Оттого, что я стою здесь, вам кажется это подозрительным.

Инженер сдержанно усмехнулся.

— Всякое бывает... и люди бывают всякие.

— Это верно. Но я думаю, товарищ, что враг не стал бы так назойливо, как вы говорите, глазеть на вашу увлекательную работу. Враг, мне кажется, постарается не вызывать подозрений. У меня же просто потребность душевно участвовать в вашем труде.

Инженер с недружелюбной хитринкой в глазах ответил:

— И враги всякие бывают. Одни из них могут вести себя так же и говорить то же, что и вы.

Наталья Степановна протянула ему паспорт и профсоюзную книжечку.

Но в это время старческая рука, вся в синих жилах, испачканная ржавчиной и маслом, отвела ее руку, и Наталья Степановна увидела перед собой того бодрого старика с седыми усами, который привередливо распоряжался в бригаде.

— Спрячьте, гражданочка, и на него не обижайтесь. Он у нас сердитый насчет бдительности, а человек хороший и технолог отличный.

— Я не обижаюсь. Бдительность сурова, но не оскорбительна.

Технолог насмешливо покосился на старика.

— Ты, дядя Миша, всегда охотник вмешиваться в психологию.

— Когда мы на юге завод выдирали с корнем, с кровью — сами ведь строили, — оба слезами обливались. Все — дорого-мило, каждая гайка, каждый болтик. Сокровище души. А теперь каждый из нас свирепую ревность проявляет.

Инженер рассмеялся.

— Тебя, дядя Миша, хлебом не корми, лишь бы дали случай пофилософствовать.

— Я полсотни лет в труде, — зафилософствуешь! Гражданочка-то недаром минуты свои забывает. Это хорошо. Нельзя мешать человеку в эти минуты, Сергей Никитич.

Но Сергей Никитич, испытующе вглядываясь в лицо Натальи Степановны, все-таки спросил ее:

— Сказать-то, однако, и не лишнее бы: кто же вы такая?

Наталья Степановна с готовностью ответила не ему, а старику:

— Я учительница здешняя. Вот работаю тут уже тридцать лет.

Инженер смутился и протянул ей руку.

— Вы извините и не сердитесь. Сами понимаете: оборонный завод. Строили мы его на юге, отдавая душу, не щадя сил, и сами же разрушили, а здесь вот каждая деталь кажется дороже жизни. Вы не глядите, что мы здесь возимся, — завод уже заработал, и идут боевые машины. А у него — сыновья на войне, и один уже...

Сергей Никитич вдруг испуганно спохватился, украдкой взглянул на старика и быстро закончил другим голосом:

— Если пожелаете, заходите к нам, поглядите, как оживляем эти мертвые машины.

Дядя Миша поднял руку к усам, с удивлением посмотрел на рукавицу, потом быстро снял ее и опять надел. Он вскинул седые брови, но они сразу же упали на очки. Одна из них судорожно вздрагивала.

Инженер сердито приложил варежку к теплой кепке и быстро зашагал к толпе рабочих.

А старик стоял и улыбался, всматриваясь в морозную мглу над домами. Он забылся, не то от старческой усталости, не то от раздумья.

— Простите, — с мягкой грустью сказала Наталья Степановна, — я оторвала вас от работы. Да и сама спешу. Бывает, что минута владеет человеком. В душе случается какой-то наплыв... не знаю, как это выразить... когда воля вдруг замирает... Я иногда ночью брожу одна по городу.

У старика задрожали усы, и глаза залились слезами. Он снял очки и вытер рукавицей веки.

— Ваш уральский морозище вышибает слезу. У нас, на юге, такого перца не бывает.

И с суровой проницательностью уставился на Наталью Степановну.

— Вы мать. Теперь душа матери в мятеже.

— У меня дочь была на фронте...

И впервые она почувствовала такую слабость, что у нее потемнело в глазах и задрожали ноги.

— До свиданья! — прошептала она, улыбаясь сквозь слезы, и протянула старику сухую руку. — Должно быть, людям дано понимать друг друга только через страданье... Слова только мешают...

Он снял шапку и осторожно подержал в своих грязных и заскорузлых пальцах ее белую руку в синих жилках. Хрипло, с надломом в голосе, он недовольно предупредил:

— Когда придете, спросите мастера Михайлу Буракова. Это — я, но в обиходе — дядя Миша. А ваша фамильица?

— Сухоярова... Наталья Степановна.

— Та самая Сухоярова?.. Будем знакомы.

Дядя Миша как будто остался равнодушным к ней, и оттого, что он никак не выразил своих чувств, ей было приятно. Им обоим незачем было удивляться друг другу, когда в душе у них была одна и та же боль.

Наталья Степановна шла по улице торопливо,

шевелила губами и смотрела в пространство, как слепая.

В цех она пришла дня через три, в ближайшее воскресенье. Дядя Миша встретил ее на том же месте, где был в прошлый раз. Улица была уже чистой, и свежий снег покрыл засоренную площадку. Бураков сурово и молча поздоровался с ней и так же молча повел ее под руку в ворота. Он сердито буркнул что-то человеку в тулупе и, не останавливаясь, поднялся вместе с нею по бетонным ступеням на широкую площадку, а потом ввел в ночной полумрак корпуса. Ослепшая от снега, Наталья Степановна сначала ничего не видела: в глазах плавали только огненные клочья. Она ощутила огромную темную пустоту, и в этой пустоте раскатисто звякало железо, свистели и скрежетали какие-то режущие инструменты, где-то далеко звенел металл, как на точиле, и в разных местах оглушительно брякали тяжелые молоты. Голубые вспышки частыми молниями озаряли высокое пространство цеха, и клубы дыма зажигались и дрожали над черными силуэтами бесчисленных станков и разных приспособлений. Издали это нагромождение причудливых машин казалось ночным городом, как в окулярах бинокля.

— Вот монтируем, ставим все на место, — ворчливо говорил дядя Миша, поддерживая ее под локоть, — а их, этих самых деталей, и всякой всячины многие тысячи. Вы не оступитесь, Наталья Степановна: здесь кучи разных неудобных для вас вещей. Гляжу вот на эту штуковину — видите, какая она тяжелая и фигуристая? — и чувствую: в ней моя жизнь, дыхание мое и ужасы этих месяцев. Значит, и этот час и все будущее мое — в ней. Ежели бы она могла говорить, она завыла бы от проклятья врагу. Мы, старики, страшнее горим, чем молодежь, потому что больше испытали, больше раздумья было, больше мук. До тех пор, пока везли, а потом собирали, сердце чернело, как уголь. Я заболел даже: задремлю здесь, в цеху, а паренек мой, сынишка, лейтенант, кричит: «Какой же тут сон, папаша! Торопись! Не замечаешь разве, как кровь моя на тебя брызжет?» Погиб он, когда я в дороге был,

когда сюда эти машины вез. И верно, гляжу и на каждом станке и инструменте кровь его вижу. Старуха-то в покое меня оставляет, но однажды, после нашей беседы с вами, вот в этих дверях встретилась, — встретилась и головой укоризненно качает. Конечно, все это от думы и от беспокойства. Дремлешь на ходу. Мою старуху-то вместе с жильем разбомбило. Видите, монтируем... хорошо, успешно монтируем. Но ритму не хватает... да и самоотверженность хлещет через край: всё больше нутром штурмуем — не экономным мастерством. Так с горячими бегунами бывает: нажмет, начнет отхватывать на весь пыл и мах, глядишь — на полпути весь и выдохся. А надо так, чтобы и огонек и ледок вместе уживались.

Всюду стояли на свежих бетонных площадках токарные и фрезерные станки. Около них возились чумазые рабочие. В проходах и возле станков громоздились части машин, еще грязные, промороженные. Электромонтеры проводили кабель и провода. Но рядом станки уже весело крутились, играли серебряным блеском и лоснились теплым глянцем. Синяя стружка дрожала спиралями, и резцы легко сдирали ржавую кожу с металла. Шум, скрежет и всплески рокотали в пространствах цеха. Молодые рабочие, женщины и ребятишки внимательно и пристально склонялись над резцами и с ловкой уверенностью крутили какие-то колесики, передвигали какие-то рычажки. Каскады мутной воды смешивались с ослепительным веером огненных брызг на карборундовых дисках. Круглолицая молодая женщина в шапке, сдвинув брови, проводила дядю Мишу и Наталью Степановну неодобрительным взглядом. Что-то шипело у нее под руками, и струною пел мотор. Вдали, сквозь широкие арки, видны были частые вспышки голубых молний, и на фоне дымного дрожащего сияния огромными памятниками четко чеканились силуэты каких-то неизвестных для Натальи Степановны машин. На подмостках у этих машин тоже хлопотали люди. Около новых кирпичных стен сверкали штабели собранных снарядов, длинных стволов пушек, а на столах — куча красивых латунных деталей. Около них стояли девушки, проверяли

их и укладывали в порядок. Торопливо, навстречу друг другу, шли озабоченные рабочие и инженеры.

Наталья Степановна не раз бывала на заводах своего города. Но ей казалось, что здесь она впервые ощущала лихорадочное напряжение, особую торопливость и волнение людей. Она испытывала даже неловкость и смущение оттого, что она лишняя здесь, досадно ненужная, что своим праздным любопытством мешает этим людям работать и отрывает от большого и срочного дела дядю Мишу. Ей было особенно совестно в те минуты, когда к нему подходили рабочие и работницы и, не обращая на нее внимания, беспокойно требовали у него разъяснений или тревожно сообщали ему о каких-то неудачах. Он ворчливо разъяснял, сам недовольно спрашивал или подходил к станку, который устанавливали рабочие, и минуту-две возился вместе с ними. Это огромное нагромождение машин — и пущенных в ход, и еще холодных, неподвижных, но уже оживающих, — эти толпы людей, охваченных волнением труда, эти громы, лязг и скрежет металла, вспышки молний, каскады искр, сверкание стружек и этот многолюдный труд, когда чувствуешь, как бьются человеческие сердца, — все это подавляло Наталью Степановну, и она ощущала себя здесь жалкой старушкой, а школьную работу ничтожной, семейной возней.

— Вот мы мимо молодайки прошли, — наклонившись к уху Натальи Степановны, с одышкой сообщил дядя Миша. — Заметили? Бодрая бабенка, не унывает. Что ж... молодость... Для молодости и беда — как вода: с перышков горошком скатывается. А ведь у ней... горя-то столько, что и нам, старичкам, в оторопь. Двоих детишек фугасами разнесло, и косточек не нашли. Славные такие были ребятишки. Эвакуировались с заводом. А недавно и муж погиб на фронте. Но работает... хорошо работает, примерно. Хоть и находит на нее: станет столбом, замрет — ничего не видит, не слышит и не чувствует. Подбегут к ней девчата, и так с ней и этак... Кричат: «Плачь, Зоя,

плачь! Насильно плачь!» Что ж... и в горе смешно бывает.

Наталья Степановна остановилась и задержала рукою дядю Мишу.

— Можно мне подойти к ней?

Старик молча повернул обратно.

Молодая женщина, немного скуластая, с очень большими глазами, смотрела навстречу старику с ожидающей улыбкой. Вблизи глаза ее показались Наталье Степановне опаленными, точно женщина недавно плакала.

Дядя Миша кротко, словно боялся сделать ей больно, сказал:

— С тобой, Зоя, дорогуша, хочет познакомиться Наталья Степановна Сухоярова.

Зоя, не отрываясь от станка и не прекращая работы, с застывшей улыбкой ответила:

— Я сразу вас узнала. По портрету. Вы мать Сони Сухояровой.

Наталья Степановна сдержанно и душевно, с пристальной нежностью в глазах, предупредила ее:

— Я не могла пройти мимо вас.

— Я тоже, может быть, не прошла бы... На улице остановила бы. Война всех окропила кровью.

Она с любовью взглянула на старика, но сказала по-прежнему равнодушно:

— А вот он, дядя Миша, отец мне родной...

На несколько секунд она оторвалась от станка и окаменела: лицо ее мгновенно осунулось и посерело. Так и казалось, что Зоя сейчас пронзительно закричит и упадет на пол. Но она медленно повернулась к Наталье Степановне и жестко проговорила:

— Мы никогда не забудем... до гроба не забудем... Душа горит... Обуглилась я вся от горя... Мать не может забыть... и никогда не простит... На фронт рвалась, к партизанам, только там и нашла бы себя...

Дядя Миша погладил ее по плечу, но сказал с суровым упреком:

— А это что, по-твоему? Мы-то с тобой для

фронта — навоз? Если бы мы не работали здесь, что сказали бы нам бойцы и партизаны? Не хотелось бы, Зоя, говорить тебе этих слов.

— Знаю, дядя Миша, понимаю... Работаю за троих, за пятерых... Но, дядя Миша! Меня как будто отбросило взрывной волной — от них, от моих мальчиков, от Коли... Тоска у меня, дядя Миша... Я вот стою здесь, а душа задыхается...

Дядя Миша затеребил усы и внушительно заворчал:

— Да ты-то одна здесь, что ли, такая? Вот она — тоже мать. А возьми нашего технолога, Сергея Никитича: молодой, сильный, ему бы артиллеристом быть, а ведь здесь находится — при заводе; нельзя ему оставить завод — дезертиром будет. И хорошо сделали, что нахлобучку дали, когда он о фронте замечтал: твое дело быть здесь! Трудовой фронт — это такой же боевой участок. И заявили: ежели ты как командир производства, как технолог увеличишь выработку оружия и боеприпасов в несколько раз, ты достоин будешь такой же славы и награды, как герой войны. А ведь у него тоже горе. Ты сама знаешь какое. В его душе рана не заживет во всю жизнь. — И дядя Миша с дрожащей улыбкой похлопал ее по плечу: — Ничего, ничего, Зоенька! Ты — не одна, ты — в нашей родной семье. И я тебе — отец, верно: сердце мое вместительное.

У Зои затрясся подбородок, и она задохнулась от рыданий. Плакала она молча, и слезы лились из ее глаз обильно.

И потом, уже при выходе из цеха, Наталья Степановна крепко пожала руку дяде Мише и сказала ему, как родному:

— Славный вы человек... дядя Миша...

А он просто, с лукавинкой в умных глазах, согласился:

— Не плохой человек, не возражаю. Жил честно. Конечно, много вмятин и всякого норова... потому — жизнь помяла здорово.

Весною Наталья Степановна поехала в Москву,

куда ее вызвали на антифашистский женский митинг. Устроилась она с уральской делегацией, которая везла подарки бойцам. Она решила проехать с делегатами на фронт — посетить могилку Сони. Поезд с подарками направлялся именно в те места, где погибла Соня.

Провожала ее только одна Оля Давыдова. Свои уроки Наталья Степановна передала ей, и Оленька обрадовалась до слез.

— Родная моя, — захлебываясь от счастья, выливала она свои чувства, — для меня это самая большая награда. Вы цените меня, считаете достойной... Это для меня — труднейший экзамен. Я выдержу, выдержу его. Я буду работать, думая о вас каждую минуту.

В школе считали ее глупенькой и экзальтированной, но Наталья Степановна знала ее лучше всех: Оля была только очень жадной к работе. Ей всегда казалось, что делает она меньше всех, и каждый свободный час переживала мучительно. Когда хвалили ее, она расстраивалась: ей чудилось, что над ней издеваются, потому что она была убеждена, что работает плохо, неумело, беспомощно. На переменах она в смятении бросалась к Наталье Степановне и спрашивала испуганно, так ли она провела ход урока, верно ли использовала материал, достаточно ли она возбудила активность учеников. И подробно рассказывала, как это она делала.

— Только, пожалуйста, критикуйте меня, Наталья Степановна, беспощадно, — самолюбиво просила она, вся краснея от тревоги.

— Все хорошо, Оленька. Верно. Что ты волнуешься, голубчик?

— Верно, да? Больше мне ничего не нужно.

Но и школьной работы ей было мало. У нее была ненасытная жажда деятельности: то она организовывала кружки самодеятельности, то рьяно собирала подарки для бойцов фронта, то бегала по госпиталям и устраивала там какие-то занятия с ранеными красноармейцами. Книги она поглощала страстно и завистливо вздыхала:

— Ах, почему я не умею писать? Я чувствую, что смогла бы выразить страшно много мыслей и чувств.

К этой девушке Наталья Степановна привязывалась с каждым днем все ближе и теплее. Казалось уже, что Оля своей ясной простотой, сердечной непосредственностью входила в ее душу, как родная. Но Оля была не похожа на Соню и не могла заслонить собой ее образ. Они обе жили неотделимо одна от другой, но каждая по-своему. В своей тоске по Соне, в мучительных видениях ее страдальческой смерти Наталья Степановна испытывала иногда странное чувство к Оле: она нежнее привлекала ее к себе, и в то же время сердце ее отравлялось враждой к ней. Она не раз замечала, как Оля, встречаясь с ее взглядом, пугалась, съеживалась растерянно и виновато отводила глаза в сторону и страдальчески замирала. Она не знала, что делать с собою, дышала с трудом, слова застывали на языке.

Наталья Степановна видела это ее мучительное смятение, и ей почему-то была приятна беспомощная растерянность Оли.

«Чем эта девочка лучше Сони? — проносилось у нее в голове. — Она вот живет, а Соня погибла страшной смертью... У меня отняты и сын, и дочь, и муж — трагически отняты. Почему именно мне выпала на долю такая судьба? Может быть, возмездие за сына?»

Она думала об этом часто, и сердце обливалось кровью. Но душа протестовала против этих мыслей. С горячей надеждой прислушивалась Наталья Степановна к этому внутреннему голосу и спорила с собою:

«Нет, каждый сам за себя отвечает в жизни. Тот погиб как преступник, раздавленный правдой. А отец и Соня умерли во имя правды. Правда — это борьба. Жить правдой, то есть человеческим счастьем, свободой, — значит до смерти ненавидеть врага правды — преступника, палача, кровопийцу, злодея, насильника, поработителя. И смерть за эту правду — святая смерть. Это — не смерть, а бессмертие. Чтобы честно умереть, надо честно жить. Смерть есть достойный

конец жизни. Надо уметь умереть, потому что надо уметь жить. Так жила и умерла Соня. И смерть ее взволновала народ, укрепила его волю к беспощадной борьбе и раскалила ненависть к врагам. Нужно стыдиться эгоизма матери».

Эти мысли изнуряли Наталью Степановну, и она уже давно перестала спать но ночам.

Оля простилась с ней бурно. Она обнимала ее и обливалась слезами.

— Об одном умоляю вас, родная Наталья Степановна, — пишите мне каждый день... Хотя бы два слова... иначе я подохну от тоски.

Но Наталья Степановна знала, что Оленька сегодня же с головой уйдет в работу и забудет все на свете.

Наталья Степановна волновалась всю дорогу, думая о том, как она будет искать родной могильный холмик, как почувствует близость Сони, как будет украшать эту могилку и как возьмет щепотку Сониной земли и повезет с собою.

Делегация была многолюдной, и ей отвели отдельный мягкий вагон. А так как в делегации был и дядя Миша, Наталья Степановна устроилась с ним в одном купе. Старик был очень доволен и тоже волновался: ведь на этом фронте у него отличается в боях сынок-танкист Петруха, как отличался стахановской работой в механосборочном цехе тракторного завода. Свои стахановские навыки он перенес и на поле боя.

Старик хотя и сурово хмурился, но в стальных его глазах сверкали искорки радости. Усы у него шевелились от усмешки, когда доносился дружный смех и шумные разговоры молодежи из дверей других купе.

Двое молодых рабочих, которые занимали верхние места, обычно пропадали у соседей, и в купе оставались только дядя Миша и Наталья Степановна.

Без своей засаленной кепки дядя Миша был проще и как-то ближе. Серые свои волосы, уже редкие и какие-то вялые, он часто причесывал маленькой расчесочкой, и Наталья Степановна не могла смотреть на него без жалости.

Что переживает он один, по ночам, когда приходит в свой угол? Домик, где жил он многие годы, где

вырастил своих сыновей, разнесло в пыль, и нельзя было собрать тел его старухи и невестки — жены Петрухи, только что родившей девочку. Другая невестка, жена погибшего сына, осталась в немецком плену.

Наталья Степановна смотрела на дядю Мишу и чувствовала, что никто не может понять душу старика так, как она, и знала, что и он понимает ее сердечнее и глубже, чем другие. О своем горе они ни слова не сказали друг другу во всю дорогу, но сроднились с первого же дня. Они наперебой ухаживали один за другим, с наслаждением угощали друг друга и колбасой, и маслом, и рыбными консервами. Почти каждую ночь Наталья Степановна просыпалась от смутного беспокойства и при синем свете видела, как дядя Миша заботливо поправлял на ней одеяло и осторожно накрывал ее ноги своим длинным теплым пиджаком. Наталья Степановна отмечала, что он не смыкал глаз, что его терзает бессонница и он не находит покоя от своих дум.

Двое парней на верхних полках похрапывали в крепком, здоровом сне, и им как будто не было никакого дела до двух стариков, проживших большую, трудную жизнь. Целый день они в соседнем купе играли с другими товарищами в козла или в преферанс, безалаберно спорили, хохотали, пели песни, хвалились достижениями на своих заводах, ругали бюрократов-снабженцев, железнодорожников, проваливающих поставки, генералов, не способных воевать.

Наталья Степановна поднималась, опираясь на локоть, и ласково убеждала старика:

— Дядя Миша, родной! Нельзя же так мучить себя: надорветесь вы, милый. У меня есть снотворное — выпейте.

Он садился на свое место, вздыхал и говорил глухо:

— Я никогда этим не ремонтировал себя. Никакой доктор не дает здоровья душе. Аптека не властна над мозгом и сердцем. А организм сам себя монтирует великолепно. У нас, стариков, думы, как дрожжи: всегда мозги наши в броженье. Старость — это итог сраже-

ния: или капитулировать, или наступать. Я всегда был за наступление. И буду наступать до самой смерти.

— Как хорошо вы говорите, дядя Миша! Сильный вы человек.

— Не тебе это говорить, Степановна. На твоем месте другая бы искалечилась или с ума сошла, а ты вот меня, дуболома, в стыд вводишь. Жизнь-то твою я хорошо знаю.

— Откуда вам знать ее, дядя Миша! Жизнь моя — обычная, маленькая, скромная.

— Весь город знает твою жизнь. Голову свою должна ты гордо держать, Степановна.

В вагоне с первого же дня он стал звать ее Степановной и сразу же дружески и уважительно перешел на «ты».

Дни стояли на редкость солнечные, горячие, с чистым молодым небом и тугими белыми облачками. Мимо окон вагона зеленой метелью пролетали полянки, усыпанные золотыми одуванчиками, плыли густые заросли бурых лесов. Они были еще голые, без листьев, угрюмые, но по-весеннему потные. Вдали, на взгорьях и увалах, они бархатно щетинились и дымились сиреневым туманцем, и всюду темно-зелеными кудрями хвои красовались над мелколесьем стройные сосны. И там, на склонах гор, и здесь, на увалистых равнинах, громоздились руины разрушенных скал и свалки гигантских камней — зеленых сиенитов, серых песчаников и гранитов, коричневых глыб железняка. Сверкая на солнце извилистыми лентами, пролетали под грохочущими мостами мутные и прозрачные речки. Сияли озера в широких долинах, пустынные и холодные.

Наталья Степановна подходила к открытому окну в коридорчике вагона, подставляла свое лицо под тугую струю воздуха и вдыхала легкую его свежесть и пряный аромат новорожденной травы и влажной земли.

Над лесом и горами играл нагретый воздух, и каменные скалы и вершины мерцали зеркальными переливами. Солнце было где-то над крышей вагона, но

все горело и блистало опаловым сиянием. Какая бурная и радостная весна!

Свой город уже таял, как сон, и о нем не думалось, а впереди — много неожиданных перемен и неизвестных, но волнующих событий. Но важнее всего было одно, от чего замирало сердце, — это могила Сони, маленький холмик земли, уже осевший от растаявшего снега.

Подходил дядя Миша и ворчал, причесывая расчесочкой свои жиденькие волосы:

— Строили, созидали двадцать лет, думали, решали, планы составляли, сколько гигантов возвели... вот именно здесь, среди бездонных богатств... а железная дорога — однопутка. Какой была она при царегорохе, такой и осталась. А край-то какой, ух! Железо, уголь, алюминий, руды всякие — голыми руками загребай. Горе наше великое! Живем полголовой, глядим одноглазьем. Любим больше — шала-бала, а на деле выходит — камбала. Кузницу сделали, а про выход забыли. Мыслимое ли дело такую индустрию без путей оставить! Да тут нужно было двадцать двухпуток проложить да электричками весь Урал заплести. За осень и зиму здесь сотни заводов обрели новую жизнь, а выход — как для верблюда игольные уши... Видишь, Степановна, как нас, дураков, война-то уму-разуму учит! Что говорить: героизму и энтузиазму у нас много, этим бессмертен народ наш, только ведь и героизм-то как и паровоз, без рельсов — не ходок. — И сердито огрызался сам на себя: — Критикую! Потому и критикую, что сердце болит, душа перегорает. Страна-то моя? Труд-то мой? Кровь-то моя?

И вдруг улыбался, шевеля седыми усами, растроганно вглядываясь в окно.

— Природа-то какая — благодать! Такой природы на нашем черноземе нет. Леса, горы, озера. Побродить бы здесь, подумать... Даже издали душа омолаживается. Труда-то здесь сколько нужно! Сколько дано человеку! Красив человек среди природы в труде своем...

Однажды Наталья Степановна все-таки попыталась разговориться с ним о его сыновьях, но старик

нахмурился и уколол ее своими пронзительными глазками.

— Помолчала бы ты о детях, Степановна. На то и дети на свете, чтобы горел свет, как лазоревый цвет. Все родители живут в детях своих. Одно скажу: почтенная и грозная обязанность — быть родителями своих детей. Ты сама это лучше всех знаешь. В этом оправдание человека.

— А если дети — преступники, если они враждебны нашей жизни и разрушают ее?

— Казни своим справедливым гневом. Вот. Что есть выше своей справедливости? Что страшнее грозы матери? Ты родила не напрасно: кровь и муки твои — благословение младенцу для жизни. За тобой — народ, не для себя ты его родила. Ну-ка, — оживился он, — чайку бы, что ли, попить?..

Так они доехали до самого фронта. На одной станции, с разрушенным депо и сожженным пакгаузом, вагон их поставили на запасный путь, а военные люди посадили их в машины и повезли на передовую линию. Товарные вагоны с подарками остались пока на путях, а с собой делегаты взяли несколько небольших ящиков. Наталью Степановну посадили только вдвоем с дядей Мишей. Вместе с шофером сел малорослый крепенький комиссар с двумя кирпичиками. Когда он знакомился с ними, он щелкнул каблуками и сочно заулыбался во весь большой рот. Зубы у него были крупные и белые. Назвался он Ивановым.

Наталья Степановна спросила его, озираясь и снизив голос:

— Скажите, товарищ комиссар, мы уже в тех местах, где были немцы?

— А конечно же... — веселым фальцетом пропел он. — Не только здесь, но и ближе к Москве километров на сто. Отбросили, гоним, тесним понемножку.

— Значит, этот пакгауз и депо они сожгли и разрушили?

— Точно. Зато здесь уложили их целые горы. Видите, вон там, за путями, пустырь? Туда их в ров стащили и закопали.

Уже в машине она коснулась пальцем его плеча и с дрожью в голосе спросила:

— Скажите, товарищ Иванов, далеко будет та деревня, где погибла Соня Сухоярова?

— А это отсюда километров пятнадцать, — с веселой готовностью отозвался он, стараясь повернуться к ней. Он, очевидно, не догадывался, почему спрашивает о Соне эта пожилая женщина. — Как же! К ее могиле как к святыне ходят: каждый обязательно зайдет и положит то самодельный цветок, то ленточку, а то и живые цветы из города. А один скульптор даже приклеил к дощечке обелиска мраморную пластинку с ее портретом.

Наталья Степановна вцепилась пальцами в спинку сиденья, к которому прижимались плечи Иванова, и даже приподнялась с своего места.

Дядя Миша бережно, но настойчиво усадил ее обратно.

Здесь тоже были густые леса, как на Урале, но больше елей с тяжелыми бахромами темно-зеленой хвои, точно вылитых из меди. Родные, задушевные березы толпились по обе стороны дороги и приветливо улыбались своими белыми стволами. Было тепло, солнечно, по-весеннему задумчиво, пахло молодой травой и разбухающими почками. Но Наталье Степановне жутко было смотреть на этот лес: он как будто пережил страшный грозовой ураган. Всюду, в зарослях, лежали друг на друге сломанные деревья, и торчали расщепленные стволы, и вершины были срезаны, как гигантскими ножницами.

— Видите? — весело разъяснял Иванов, показывая рукою на лес. — Как градом выбило. Это был такой металлический ливень, что осколки лежали на земле сплошным слоем.

По обочинам дороги — в канавах, на полянках и среди деревьев — громоздились развороченные черные танки, грудами лежали сгоревшие автомашины, обломки металла, колеса от пушек, разорванные и

заржавленные гусеницы, изуродованные тягачи и кучи железного лома. Широкие круглые ямы — воронки от авиабомб — сверкали водой и близко и далеко от дороги. Часто мелькали красные обелиски со звездочкой на вершине, со свежими белыми дощечками и четкой черной надписью. На других дощечках, прибитых к столбам, Наталья Степановна без труда прочла: «Стой! Минировано!»

И особенно жутко было на сердце, когда проезжали через сожженные деревни. Стояли только одни русские печи, с разинутыми ртами и высокой трубой. Среди черных углей, головешек и покрытых матово-сизой чешуей обгорелых бревен перламутром блестело на солнце сплавленное в комки оконное стекло. Пережженные чугуны, горшки, ведра разбросаны были всюду, и от этого почему-то было особенно тягостно. Кое-где по этим пепелищам сиротливо бродили оборванные старики и старухи, и кое-где такие же старики, склоняясь над бревнами, взмахивали топором — должно быть, опять строили себе избу на родном месте.

Дядя Миша с удовольствием вглядывался в этих стариков и с восхищением покрикивал:

— Ведь вот какие упрямцы! Строят!

В шуме и дребезге машины вздыхал глухой, могучий гром. Должно быть, где-то далеко стреляли пушки.

Машина быстро обгоняла грузовые кургузые машины, окрашенные в грязно-зеленый цвет, доверху нагруженные снарядными ящиками и клетками с пузатыми бомбами.

— Гостинцы фашистам! — хвалился Иванов, кивая головою на грузовые машины. — Ваших рук дело. Хорошие гостинцы, любо-дорого!

Дядя Миша угрюмо пошутил:

— Мы-то на гостинцы не скупимся: каждый месяц подбрасываем вам вдвойне, втройне, да еще с гаком. А почему вот вы нас гостинцами не радуете? Плохо, плохо воюете.

— Это как же так плохо? — всполошился Иванов. — Вы едете по земле, с которой прогнали немцев

мы и уничтожили их видимо-невидимо. Ведь на полтораста километров шуганули! А Калуга? А Медынь и Юхнов? А Тула и Подмосковный бассейн? Умеем драться и умеем бить. Этот враг — свирепый учитель. Он берет миллионной ордой рабов и массовым кулаком техники. Но он не разбил у нас ни одной армии. Разве территория решает дело?

И он улыбнулся, показывая белые зубы.

Дядя Миша хмуро ворчал:

— Что вы мне говорите: территория! Свиное рыло добирается до сердца и до желудка. — И опять грубовато пошутил: — Адвокат вы хороший, товарищ комиссар, а не убедительный. И самокритика у вас не гордая: больше оправдываетесь. Давайте-ка соревнование объявим: кто лучше дерется — мы или вы?

— Идет! — весело крикнул Иванов. — Принимаем вызов. Не знаю, как на других фронтах, а мы будем бить и гнать фашистов.

Наталья Степановна рассеянно слушала этот спор: она не интересовалась им. Но ей казалось, что дядя Миша напрасно обижает комиссара — этого симпатичного юношу. Работать на заводе — это одно дело, а воевать, быть бойцом и командиром в кровавом урагане, в смертельных схватках с врагом, находиться под градом пуль, снарядов, бомб, под натиском танков, бронемашин и авиации и самим создавать для врага огненный ад — это другое дело. Надо обладать огромной волей и выдержкой, чтобы постоянно бороться со смертью и смерть обрушивать на врагов. Нужен огромный героизм, огонь гнева, ненависть и ярость, чтобы быть высоким мастером в смертельной буре сражения. Ей представлялось это сплошным ужасом, леденящим кошмаром, понять который она была не в силах. И Соня в этом сверхчеловеческом ужасе казалась необыкновенной и непостижимой.

Она всматривалась в сожженные деревни, в черные, мертвые сады, провожала глазами печи с высокими трубами, этих одиноких стариков и женщин, которые пришли на свои пепелища, чтобы опять свить себе гнездо, и думала: жизнь истребить невозможно, русский человек никогда не погибнет. История его

полна страданий, но страдания только закаляли его душу, и он, как стальная пружина, выпрямлялся и был неотразим и страшен. Смерть склоняла перед ним свою кровавую косу.

Машина быстро поднялась на холм, спустилась в долинку, и Наталья Степановна опять увидела черные пепелища с печами и сожженными садами. Направо громоздились руины каменных домов — груды кирпича и обвалившихся стен, высокие здания с развороченными железными балками в середине, в мусоре обвалов, полуразрушенная церковь с черными дырами вместо окон и дверей. Свернули налево и неожиданно очутились в улице, совсем не тронутой ни пожарами, ни разрушением. Деревянные домики с резными наличниками, с палисадниками смотрели жизнерадостно своими оконцами и как будто лукаво усмехались: а вот мы все-таки не сгорели, все-таки живем по-прежнему, крепко и уютно! Каменные двухэтажные дома среди них стояли строго и хозяйственно. Но ворота всюду были открыты, и во дворах стояли машины, ходили красноармейцы в пилотках. Недалеко, около кирпичного особняка, толпились бойцы. Когда подъехала передняя машина, все окружили ее, ко второй машине тоже бросилось несколько человек. Иванов распахнул дверцу и выскочил из кабины легко и бойко. С той и с другой стороны распахнулись дверцы, и Наталью Степановну подхватили двое молодых командиров. Один был сухощавый и высокий, с энергичным, горбатым носом, другой — коренастый, низкорослый, румяный, с озорными глазами. Оба были обветренны и пахли лесом. Они повели ее под руки к группе других, пожилых командиров, которые с приветливым любопытством подвинулись ей навстречу. Очень высокий богатырь, с лицом интеллигента, сдержанно отрекомендовался, пожимая ей руку:

— Бригадный комиссар Ясновский. — И добавил тепло и почтительно: — Мы рады, что видим вас у себя. Мать Сони Сухояровой — родной, дорогой нам человек.

Наталья Степановна спокойно и тоже сдержанно ответила:

— Спасибо вам. Приехала вот... побыть у ее могилки.

— На ее могилку каждый день приезжают люди: молодежь, конечно, — все, кому посчастливится приехать на фронт. Вы сами увидите, как украшена ее могила. Соня живет и сейчас так же ярко, как и при жизни. Нет, изумительно живет. Здесь происходят волнующие сцены: здесь люди дают пламенные клятвы быть такими же, как Соня, бесстрашными борцами, беспощадными мстителями. И эту клятву они выполняют беззавстно.

Пока военные знакомились с делегатами и перекидывались с ними короткими разговорами, Наталья Степановна отошла в сторону: хотела несколько минут остаться наедине с собою. Под ногами у нее была земля Сони. Этим воздухом дышала Соня много дней, в этих лесах она проводила свои зимние дни. Здесь всюду живет ее тень, и голос ее еще не замолк под этим небом. Так и казалось, что она выбежит неожиданно и крикнет звонко и радостно:

— Мамочка, родная моя!

Делегацию угостили очень вкусным обедом. За столом никаких речей не было, и это очень понравилось Наталье Степановне. Разговор был общий. Военные рассказывали о боевой обстановке, о подвигах отдельных бойцов и командиров, о зверствах фашистов в захваченных деревнях, о партизанских делах, о том, с каким напряжением и трудом приходится бороться с гитлеровцами за каждый населенный пункт. Делегаты говорили о заводах, о своих победах, о соцсоревновании, о фронтовых бригадах. Дядя Миша больше молчал и исподлобья поглядывал на делегатов: в его остреньких глазках поблескивали лукавые искорки.

После обеда опять сели в машины и поехали дальше — в ту деревню, где была могила Сони. Немцы от этой деревни находились в тридцати километрах. Оттуда все время доносился глухой, далекий гром. Этот гром и тревожил и манил к себе Наталью Степановну.

Дорога была плохая: весенняя вода превратила насыпь в трясину. Сплошным настилом лежали

бревна, и машина плясала на них, покачиваясь с боку на бок. Дядя Миша хмурился и ворчал:

— Строили дорожки для мирного удовольствия, а о войне не думали. Понаделали ловушек для пушек. Сколько вы здесь танков и артиллерии утопили? — ехидно обратился он к Иванову, который опять сидел вместе с шофером.

Вместо Иванова ответил остроносый шофер:

— Тут километров на сорок сами бойцы пушки-то пузом таскали. Ее, эту трясину, сколько ни бути, все равно прорва будет. Один раз грузовики с боеприпасами ехали и влипли. Бойцы на себе снаряды несли двадцать километров. Русского человека этим не испугаешь: и снаряды доставили, и бой выиграли. Вот как!

И он засмеялся, очень довольный своим рассказом.

— Вот то-то и есть, — ворчал дядя Миша, — силы-то измотали и пузо надсадили, а техника загрязла.

Шофер, ликуя, крикнул победоносно:

— А вы представляете, папаша, сколько этой немецкой техники мы заполучили? Все оставили и драпа задали. Ни проехать, ни пройти на много верст — вот какие горы вооружения оставили. На пузо у них таланту не бывает.

И он, довольный, опять засмеялся.

«Какие они все веселые и бодрые!» — думала Наталья Степановна, и ей было легко и приятно с ними.

Неужели они так привыкли к опасностям, к крови, к боям, к страданиям и смерти, что сердца их уже не замирают от ужаса? Очевидно, эта непонятная и страшная для нее действительность — для них рабочие будни, трудовой быт, и люди здесь веселятся и ссорятся, смеются и огорчаются.

Иванов рассказывал ей за обедом, как один красноармеец после долгого и тяжелого боя стал разуваться и обнаружил, что голенища у него разорваны пулями и осколками мин. Он страшно расстроился и долго ругался: «Сукин ты сын, собака, морда фашистская, все сапоги испохабил! Я их за эти сапоги, как гнид, давить буду!» А ему кричат товарищи: «Чего ты, друг, на сапоги любуешься? Иди на перевязочный —

раненый ведь, в кровище весь». Он огрызается: «Чего там кровища... гляди, братцы, что он с сапогами мне понаделал. Меня-то починят, а вот сапоги-то гады в рогожу обратили». Сам Иванов смеялся, рассказывая этот анекдот, а ей совсем не было смешно. Ей казался этот рассказ неправдоподобным, но она поняла одно: на фронте люди привыкают ко всему и теряют чувство страха. И смерть так же не смущает их и не мутит сознания, как и в мирной, обыденной жизни.

И опять вспомнила она старика на пепелище, который трудолюбиво обтесывал топором бревна — готовил венцы для нового сруба. Очаг у него на месте: стоит исконная русская печь с высокой трубой, и над челом темнеет еще многолетняя копоть. Как паук, у которого бурей порвало паутину, упрямо плетет на том же месте новую мережку, так и этот старик неустанно возится над бревнами, чтобы на тех же камнях построить новую избу. Он не думает о том, что могут опять прийти фашисты и опять сжечь его жилье, что и его могут они убить. Он знает одно — он на своей земле, на дедовском месте, здесь жили и умерли его родители, здесь родился и жил он сам, здесь каждый аршин его земли освящен его трудом, и поля, распаханные и засеянные его руками, дадут ему свой урожай. Кончится война, придет его сын, и они опять будут трудиться для будущего. Бессмертен такой народ, и неистребима могучая сила его жизни. Никакие бедствия не могут раздавить его, и это немецкое нашествие, несущее гибель и разрушение, потонет в собственной крови.

По дороге бесконечным потоком ехали на фронт машины с оружием и боеприпасами. Машины следовали одна за другой на некотором расстоянии. Обогнать их было невозможно. Это был гигантский конвейер, который двигался и день и ночь беспрерывно. В лесу тоже стояли машины, и, сливаясь с лесной чащобой, ходили между деревьями красноармейцы.

Вдруг, точно по сигналу, машины впереди начали сворачивать с дороги и одна за другой скрываться в лесу. Легковые машины, в которых ехали делегаты и командиры, тоже съезжали с пологого съезда и

рассыпались в разные стороны, исчезая в зарослях голых деревьев. Иванов и шофер переглянулись и свернули с шоссе вслед за передним грузовиком. Комиссар, улыбаясь, предупредил:

— Не пугайтесь, товарищи. Придется отдохнуть в лесу. Немножко побеспокоят немецкие самолеты. Не совсем приятное удовольствие, но... мы уже привыкли. Мы скроемся в лесу, и немцы нас не заметят. Я вас, Наталья Степановна, в блиндаже укрою.

Но она спокойно и просто ответила:

— Не заботьтесь обо мне, товарищ Иванов: я не боюсь.

Дядя Миша толкнул ее в плечо и усмехнулся в усы.

— Нас, стариков, трудно испугать,—верно, Степановна! Страхи-то обливали нас в жизни, как ливни.

Машины разъезжались по лесу и скрывались в зарослях. Когда Наталья Степановна вышла из своей «эмки», она увидела невдалеке, в голых кустах, другие делегатские машины и несколько человек, которые уходили в глубь леса. Где-то очень далеко над лесом плыл волнообразный вой — не то пели заводские гудки, не то телеграфные провода. Ни тревоги, ни беспокойства Наталья Степановна не заметила в лицах Иванова и шофера. Они переговаривались о чем-то тихо и скучно. Шофер открыл капот и начал копаться в каких-то мелких частях двигателя, а Иванов пригласил взмахом руки Наталью Степановну и дядю Мишу и повел их по мокрому перегною в заросли.

— Могут и мимо пролететь, — утешал он их с улыбкой. — А бывает, покружатся-покружатся и — обратно. Или так: сбросят бомбы на дорогу, чтобы разворотить ее, потом по лесу прогуляются.

Между стволами деревьев Наталья Степановна неожиданно увидела землянку, покрытую хворостом и землей. Около нее стояли военные и несколько делегатов. Командиры рассказывали им что-то забавное, делегаты смеялись. Внезапно что-то засвистело и зашипело в воздухе; этот свист несся с падающей быстротой и жуткой пронзительностью. Все бросились

в землянку. Иванов с серьезным и похолодевшим лицом приказал дяде Мише и Наталье Степановне зайти в блиндаж. Он не успел закончить фразу, как необъятный взрыв ударил Наталью Степановну и в голову, и в грудь, и в ноги тупой и горячей волной и мгновенно вызвал что-то вроде тошноты. Она инстинктивно нагнулась с замирающим сердцем.

— Ничего, ничего, не бойтесь! — ободрил ее Иванов и подхватил под руку. — Это далеко. Давайте-ка зайдем в блиндажик: там безопаснее.

Но Наталья Степановна уже оправилась и увидела, как дядя Миша, помолодевший, злыми глазами пристально смотрел вверх.

— Где же наши соколы? — набросился он на Иванова. — Почему пропустили этих бандитов? Валить их надо, чертей... валить рылом в болото!

Иванову, должно быть, показалось очень смешным озлобление старика, он весело расхохотался.

— Не беспокойтесь, наши соколы свое дело знают.

И вдруг скомандовал строго:

— Скорее, прошу вас, в блиндаж.

Опять раздирающий душу свист и вой, мгновенно и страшно приближающийся, — и опять необъятный взрыв и горячий, упругий удар воздуха, пронизывающий мозг и внутренности. У Натальи Степановны дрожали ноги и руки. Ей показалось, что лицо ее опалилось. Лес ревел, дрожал и волновался, точно живой. Свист, взрывы, удары воздуха уже не прекращались, и тело тоже ныло, сжимаясь в судорожный сгусток. В сердце тоскливо останавливалась кровь. Но страха Наталья Степановна совсем не испытывала. Ей не хотелось входить в блиндаж: как-то стыдно было прятаться. Она только крепко держала руку дяди Миши и стояла, не отпуская его от себя. Чувствовала, что и ему нет охоты входить в землянку.

«Этот вой и взрывы переживала и Соня, — думала Наталья Степановна, — переживала много дней. Была под градом пуль и мин, в рукопашных сражениях... в ночной тьме...» — вспомнила она рассказ Селиверстова.

Когда Иванов настойчиво потребовал, чтобы они укрылись в блиндаже, Наталья Степановна сухо ответила:

— Оставьте нас, пожалуйста. Прошу вас.

— Но поймите, очень опасно: осколки разлетаются далеко — могут ранить или убить.

Наталья Степановна не ответила и стояла бледная и строгая. Дядя Миша, обнимая ее, отошел с нею в сторону, в густой кустарник, и они сели на ствол упавшей березы.

«Земля Сони и сейчас потрясается взрывами. Я стою на этой земле. Она стонет и волнуется, как море. Этот лес, эту дорогу и, может быть, эту березу видела Соня. Возможно, что она тоже сидела тут. где сижу и я. Она смотрела прямо в глаза смерти».

Оглушительный свист и рев разразился прямо над головою Натальи Степановны. Ей почудилось, что бомба летит прямо на нее, но душу ее объяло тихое и ясное спокойствие. На мгновение она услышала далекий и писклывый крик дяди Миши:

— Держись, Степановна!.. Их, ты!

Двойной, потрясший землю взрыв взметнул лес перед Натальей Степановной. Почудилось, что лопнула земля и воздух завизжал и запел, как разноголосые струны. Наталью Степановну сильно отбросило назад. Она схватилась за дядю Мишу и прижала голову к его плечу.

— Ничего, ничего, Степановна! — бормотал он, обнимая ее. — Выдержим!.. Те — в норке, а мы — на горке. Однако где-то рядом садануло.

Из блиндажа выскочил Иванов и еще двое военных с испуганными лицами и подбежали к ним.

Через час машина опять понеслась по дороге, подпрыгивая на бревнах. Ехали недолго и остановились в маленькой деревеньке. Она уцелела от пожара, но избы казались слепыми: ни одного стекла не было в окнах. Кое-где около изб стояли красноармейцы, но не видно было никого из колхозников. И когда Наталья Степановна всмотрелась в эти слепые избы, она увидела, что в стенах выпилены широкие

дыры, а с некоторых изб снесены щепные крыши, эти крыши лежали рядом, изуродованные и разбитые.

— Огневые точки немцев, — пояснил Иванов. — Тут у них пушки стояли. Все эти пушки и разное вооружение мы у них полностью захватили.

Все вышли из машины и собрались около избы. Подтянутый командир, с красным лицом и выпуклыми насмешливыми глазами, отрывисто и хрипловато отвечал комиссару Ясновскому:

— На месте. Точно. Все готово. Полковник Крупнов, — отрекомендовался он Наталье Степановне, приложив руку к фуражке, когда ему представил ее Ясновский. — Очень рады. Вы вдохновите бойцов на новые подвиги. — И по-приятельски обратился к Ясновскому: — Ну, пошли? — Потом опять повернулся к Наталье Степановне: — Тут недалеко, на братском кладбище. Вон у этого лесочка.

Но это был не лесочек, а настоящий большой лес, который начинался сейчас же за деревенскими усадьбами белой толпой берез. Наталью Степановну вел под руку Ясновский. Рядом тяжело шагал дядя Миша. Толпа делегатов и военных, разговаривая о недавних боях, шла позади.

День был горячий, прозрачный, с очень чистой небесной синевой. Лес в коричневой дымке густо сплетенных ветвей, с разбухшими почками, дрожал в волнах марева. Пели жаворонки в солнечной вышине, далеко куковали две кукушки. Поля на увалах уже жирно зеленели озимью. Всюду по молодой траве рассыпались золотые одуванчики. Пахло влажным перегноем и мятой.

Поднялись на пологий взгорок и по протоптанной траве свернули влево, к опушке березовой рощи. Трава светилась вокруг и переливалась золотом. Наталья Степановна увидела отряд бойцов в пилотках. Они стояли плотной стеной и, должно быть, ждали гостей. Наталье Степановне стало неприятно: очевидно, у могилы Сони решили устроить что-то вроде митинга. Значит, в эти неповторимые для нее минуты, когда сердце нуждается в одиночестве и молчании, она должна была говорить перед ними. Почему эти

люди так не чутки к ней как к матери? Почему скорбь ее и это огромное душевное ее событие они хотят превратить в демонстрацию? Она взглянула на Ясновского и встретила его тревожный взгляд, и в этом взгляде она почувствовала, что он знает, что происходит в ее душе.

— Вот что, Наталья Степановна, — сказал он задумчиво, — мы здесь останемся, побеседуем с делегатами, а вы идите по этой дорожке. Она приведет вас к Соне. Вы пройдете поодаль от бойцов. Они, видите ли, тоже посещают эту могилу. Почитают и заботятся о ней. Потом и мы подойдем. Ведь и делегатам необходимо побыть там. Соня-то ведь не только принадлежит вам одной: она дорога всему народу.

Наталья Степановна со слезами благодарности молча подняла на него глаза. Он пожал ей руку и остановился.

— Идите, это совсем недалеко. Тропа только туда и ведет.

Он повернул назад и вместе с делегатами и командирами свернул к кучам земли и глубоким канавам — прошлогодним укреплениям немцев.

Дядя Миша тоже отстал, угрюмо постоял немножко, глядя вслед Наталье Степановне, потом медленно зашагал за комиссаром. Наталья Степановна оглянулась, и ей стало больно, когда увидела скорбно согнутую спину старика. В тот же миг она почувствовала, что к этой родной и страшной могиле одна она дойти не сможет. Как только она осталась наедине с собой среди этой зеленой пустыни и ощутила грозное ожидание берез с их многоствольной глубиной, она сразу ослабела и у нее онемело сердце. Ах, если бы сейчас была с ней рядом Оленька!

— Дядя Миша! — упавшим голосом позвала она его. — Пойдемте со мной, пожалуйста. Мне что-то трудно.

Старик как будто ожидал, что она позовет его, и быстро, с радостью засеменил к ней.

— Ну, чего ты, Степановна? Не теряйся, дружок! — ласково заворчал он. — У нас дух должен быть крепкий. Отчаяние да слезы сейчас не к месту.

Он взял ее под руку.

Кружилась голова, и перед глазами проходили темные волны. Лес наплывал на нее, как таинственная туча, и вздыхал, как далекий рокот грома. Должно быть, где-то на боевых рубежах шла артиллерийская канонада.

Соня была тут, совсем рядом, и Наталья Степановна всем существом чувствовала ее близость. Ее призрак был всюду, и близко, и далеко, и мерцал улыбкой счастья. Он светился и обнимал ее, и Наталья Степановна видела золотые волосы Сони, пылающие на ветерке, ее изумленные, широко открытые глаза. Порхали бабочки, как когда-то летом в сквере, и она порхала вместе с ними, размахивая руками, как крылышками. Наталья Степановна не заметила, как очутилась на широкой площадке, среди серебряных берез. Мельком увидела только красный обелиск с белой мраморной плиткой посредине грани и свежий, приподнятый над землей зеленый квадрат, заботливо обложенный дерном, а на нем вороха золотых одуванчиков и искусственных цветов. Несколько венков с красными лентами прислонялись к обелиску. Она упала на могилу, шепча и задыхаясь:

— Соня моя родная! Соня, дочка моя, я здесь... Я с тобой, моя единственная...

И сразу все исчезло.

Дядя Миша опустился на колени и склонил седую голову к могиле. Потом медленно, по-старчески, с торжественно-суровым лицом встал на ноги. Он не тревожил Наталью Степановну: душа матери священна в эти минуты. Вот так же под обелиском лежит сейчас где-то на берегах Днепра и его сын. Эта могила девушки — могила его сына.

Когда он увидел, что Наталья Степановна лежит неподвижно, как мертвая, он осторожно подошел к ней и погладил ладонью по ее седым волосам. Лицо ее беспомощно лежало на прозрачной траве дерна, мертвенно бледное. И как только старик приложил руку к ее волосам, она вздрогнула и с судорожным порывом приподнялась на руках и села.

— Соня! Дитя мое! — с невыразимой нежностью

сказала она и потом твердо и спокойно добавила: — Нет, нет, Соня, я не плачу.

И опять упала, сотрясаясь от рыданий. Дядя Миша не мешал ей. По щекам у него текли слезы и скатывались на усы, и казалось, что он не плачет, а улыбается.

— Ничего, ничего, мать, поплачь, это хорошо... — громко размышлял он сам с собою, всматриваясь в рельефную кудрявую головку девушки на мраморной дощечке. — Слышишь, Соня, как плачет мать? Эти слезы — как огонь: они жгут и испепеляют. Этими слезами пропитана каждая наша пуля, каждый наш снаряд злодеям. Вставай, Степановна! Мы здесь, на могиле, стали сильнее и тверже. Знай, что дочь не умерла, а живет во сто крат сильнее, чем при жизни. Видишь, к ее могиле идет народ — бойцы и молодежь, чтобы почерпнуть живой воды. И ты должна высоко, с гордостью поднять голову, как могучая мать.

Наталья Степановна слышала каждое слово дяди Миши и откликалась на них всей душой: он будто повторял ее мысли и чувства, которые зрели давно. Да и говорил он не так, как говорил обычно, а так, как читал книгу, медленно провожая строки своими старинными очками. Она встала и, продолжая плакать, не отрывала глаз от белого барельефа Сони. Потом наклонилась над ним и прижалась к нему горячими губами.

Нет, плакать не нужно. Она думала только о живой Соне, и сердце ее не соглашалось, что ее уже нет. А теперь Наталья Степановна увидела эту могилу, где лежит ее погибшая девочка. Удар был слишком страшный, и она ослабела до потери сознания. Ее слез никто не видел в городе — ни в школе, ни на улице, ни в квартире. Она заранее знала, что Соня идет навстречу смерти, и у нее хватило сил сказать ей:

— Если ты находишь, что это голос твоей души, — иди.

И когда провожала ее на вокзале, тоже не плакала, но страданье ее, конечно, Соня видела, потому

что брови ее туго сдвигались к переносью. Она крепко обняла мать и, не отрываясь, долго не отпускала ее.

— Милая моя мамочка, умница моя! Ты не плачешь — как это хорошо! И я — счастлива. Я стала сильнее сейчас в тысячу раз. Я буду гордиться тобой постоянно, потому что ты уважаешь меня, веришь в меня и знаешь, что никогда не изменю нашей правде, что бы со мною ни произошло. За эту правду — за жизнь нашу — я и еду бороться. Вот ты не плачешь, а улыбаешься, и я счастлива. Я — вооружена, мамочка, и тобой, я — непобедима.

Она задыхалась от волнения, но в голосе ее была такая сила и убежденность, что Наталья Степановна впервые удивилась ей как человеку: ее девочка без колебания пойдет навстречу всяким испытаниям и не дрогнет ни перед какими ужасами. Она еще подростком чувствовала, что такое правда, и жила, думала, работала, играла, питаясь и дыша этой правдой. И правда эта была у нее инстинктом. Она выросла, много читала, чутко наблюдала людей, и вместе с ее развитием росла и зрела правда. Она никогда не рассуждала о красоте, о честности, о благородстве, о бесстрашии, о человеческом достоинстве, но это воплощалось во всех ее поступках, во всем ее поведении. И вот сейчас она смотрела на нее с белого мрамора, живая, прежняя, и как бы говорила матери: «Я дело свое довела до конца, мама. Я твоя дочь, твое отражение. Ты можешь только гордиться мною. А правда — бессмертна, и я не умерла, а живу еще более прекрасно, потому что живу и в твоем сердце и в сердцах людей».

И Наталья Степановна только теперь почувствовала всю глубину гнева Сони, когда она увидела брата. Она возненавидела его с того мига, когда услышала его голос. Ложь, лицемерие, обман — это были смертельные ее враги. Фашизм был для нее самым ужасным олицетворением лжи, обмана, провокации: это несло гибель людям, это разрушало жизнь, это несло смерть всему, что для нее было дороже всего на свете.

И вот она дело свое довела до конца. Нет, она, Соня, не умерла: она — огонь, который никогда не угаснет.

Наталья Степановна стояла перед могилой, строгая и спокойная. Она уже не плакала, а как будто обдумывала какую-то большую, поразившую ее мысль. Дядя Миша увидел другую женщину — не седенькую старушку с мягкой печалью в глазах, а сильного человека, которого не сломишь никогда и для которого в жизни уже ничего нет страшного. Он не решился подойти к ней, а смотрел на нее с удивлением и тревогой.

Поодаль, на полянке и между стволами берез, стали собираться бойцы, молча и осторожно. Пришли и делегаты. Комиссар Ясновский вместе с полковником Крупновым остановились позади Натальи Степановны.

Она медленно оглянулась и опять застыла, не отрываясь от мраморного барельефа Сони. Вдруг она решительно повернулась и твердо прошла мимо Ясновского и делегатов к толпе бойцов с высоко поднятым лицом. И голос ее прозвучал отчетливо и сильно:

— Друзья мои, Соня была единственным моим сокровищем и радостью жизни. И я, как всякая мать, приехала к ее могиле, чтобы оплакать ее. Но я не плачу, нет: я горжусь, что я — ее мать. Она умерла прекрасно, потому что прекрасна была ее жизнь. Боится смерти трус и предатель, боится смерти лжец и эгоист. Я родилась заново у этой дорогой могилы, и я без колебаний пошла бы с радостью по пути моей дочери. Ее борьба, бесстрашие, сила духа, ее ненависть к врагам нашей правды, нашей жизни — пример для вас. Кто слаб душой, кто еще не нашел себя — пусть придет к этой могиле. Друзья мои, вы молоды, жизнь нашей родины — ваша жизнь, она в ваших руках. Бейтесь с врагом, как билась Соня, ненавидьте врага, как она ненавидела, презирайте смерть, как она презирала, будьте так же бесстрашны, как она. Мстите врагам за ее гибель, потому что вы будете мстить за себя, за своих сестер, за девушек нашей страны, за весь наш народ, за нашу поруган-

ную землю, за оскорбленную нашу честь, за горе и бедствие нашей страны. Я мать, и я благословляю вас на подвиги за жизнь и счастье.

Она подошла к первому же бойцу и поцеловала его, потом возвратилась твердым шагом, приблизилась к Ясновскому и подняла руки. Он наклонился к ней, и она так же строго поцеловала его. И в ее фигуре была такая величавая простота, что все — и бойцы, и командиры, и делегаты — не могли оторвать от нее взволнованных лиц.

Кто-то из бойцов крикнул срывающимся голосом:

— Клянемся нашей жизнью! Клянемся на этой могиле...

В этот же день, обняв, как родного человека, дядю Мишу, Наталья Степановна уехала в Москву.

1942

БОЕЦ НАЗАР СУСЛОВ

(*Из записок раненого политрука*)

...Вот я живу — дышу, радуюсь каждому дню, как ребенок, и впервые в своей жизни до слез волнуюсь от восторга: удивительно прекрасно падает снег. Снежинки роятся, как живые, вихрями, облаками, пургой... И я наслаждаюсь прекрасным — не смейтесь! — весенним запахом молодого снега. Все тает, все растворяется в этом порхающем белом урагане, а снежинки живут, играют, садятся мне на лицо и щекочут нос, щеки, губы. Бежит пестрая собачонка через двор госпиталя, нюхает белый бархат снега, хватает его красным языком. Ворохом падают на мягкую белизну взъерошенные воробьи и с озорным чириканьем начинают купаться в снегу. Проходит озабоченный Авдей в белом фартуке, с лопатой в руке, и на бороде у него клочья снега, как вата. Я слежу за ним и с нетерпением жду его появления на нашем дворе. Ходит он медленно, основательно, без лишних движений и в то же время вольготно. В лице его — этакая серьезная, хозяйственная уверенность и умная осмотрительность, а в маленьких глазках — простодушная хитринка и сметливая лукавинка. Когда проходит доктор, в военной шинели и шапке-ушанке, круглолицый, веселый, всегда насмешливо прищуренный, и покрикивает: «Здорово, товарищ Авдей!» — дворник не-

бережно и снисходительно дотрагивается мозолистыми пальцами до шапки и с натугой отвечает:

— Здравия желаю, Егорий Иваныч, ежели не шутите.

Я люблю наблюдать за Авдеем, — вероятно, потому, что в каждом слове, в каждом поступке, в манере держать голову немного набок, точно он, как петух, всматривается в каждую мелочь проверяющим и оценивающим взглядом, — во всем его поведении отражается мой дружок, боец, мудрейший Назар Суслов. Этот Назар остался в боевом строю и, вероятно, до сих пор дерется с гитлеровцами озабоченно, осмотрительно, вдумчиво, с хозяйской сноровкой крестьянина.

Попал он в наше подразделение из народного ополчения и как-то сразу стал заметным среди бойцов. И не доблестью, не воинским видом, не выправкой, свойственной тренированному красноармейцу, а именно своей деревенской практичностью. В нашей части, среди кадровых бойцов, в строю, в чисто военной обстановке, где каждый подтянут и отличается особым военным изяществом, Назар был каким-то неисправимо мужиковатым, домашним, своенравно честным в своей деревенской простоте. Он был похож на нежданную малограмотную букву в красивой четкой строке скорописи. Был он очень забавен и всегда вызывал у бойцов веселый смех, хотя и выполнял все свои обязанности точно, по уставу. Интереснее всего было то, что он очень старательно отбивал шаг и нес строевую службу исправно. Его ни в чем нельзя было упрекнуть, но странное дело: неудержимо хотелось делать ему замечания. А вот недоволен он был сам: сердито ворчал и укоризненно качал головой, когда видел неисправность, небрежность, вольность у кого-нибудь из красноармейцев.

— Неучетистый парнишка... Мощь-то ведь — в сердце, правда — в душе, а гордость — в бою. У бойца нет отца, кроме военного долга.

На вид ему было лет сорок. Низкорослый, коротконогий, приземистый, ходил он вразвалку, но прытко, бойко, с зоркой озабоченностью. И все знали, что, если Назар шагает мимо, значит, идет по делу: напрасно

он ничего не делал и никогда не болтался бесцельно. Все его поступки были целесообразны, экономны, всегда кстати и к месту. И всё, что делал он, делал ладно, складно, находчиво и изобретательно. Казалось, что у человека сильно развит особый инстинкт одухотворения вещей. Он везде и всегда — и в лесу, и в поле, и на берегу реки, и в вёдро, и в ненастье — чувствовал себя как дома. Его не пугали ни глухие дебри, ни болота, ни боевые ночи, грозящие смертью, ни танки, ни пушки. Он только однажды с уважением стукнул кулаком по теплой броне танка и сказал не то с завистью, не то с сожалением:

— Добра-то сколько! Труда-то сколько!..

Как рачительный хозяин, Назар сокрушался: ведь этот стальной великан может быть в любой час исковеркан и уничтожен. Он любил труд человека и знал цену вещам. Почему-то хотелось, чтобы у него была деревенская бороденка и волосы в кружок, но он и в армию пришел бритым, остриженным под машинку, и я ни разу не видел, чтобы он запускал щетину на лице, и никогда не случалось заметить, чтобы у него была запачкана гимнастерка или шинель или носил он рваные сапогн. Он, вероятно, от природы был чистоплотен, и вся суть его жизни состояла в стремлении к порядку. И всегда, как только он видел красноармейца, тоже деревенского парня, в грязных сапогах или в измятой, пропитанной потом гимнастерке или непричесанного и чумазого, — а на боевой линии это сплошь да рядом бывает, — Назар качал головой, раздражительно цокал языком и недовольно говорил:

— Ты чего это, товарищ, за собой не доглядываешь? Жук ты навозный! В бою, дружок, человек смерти в глаза глядит и должен соблюдать чистоту. Ты за жизнь и честь дерешься: значит, и душа должна быть ясной. Значит, и одежа — опрятной. Понятно?

Все побочные работы — дров нарубить в лесу, костер разложить или воды принести, посуду помыть, картошку почистить — Назар исполнял сам, без всякого приказа. И всегда делал это ловко, быстро, с каким-то присущим ему вкусом и сноровкой. Сидит он, бывало, на пне, чистит картошку, падает лентами

кожура, телесно белая, клочковатая, и кажется, что Назар, склонив голову набок и прищуривая свои маленькие глазки, любуется быстрыми движениями пальцев, блеском ножа и этой дрожащей кожурой. Наш повар Жигалов, с гордым лицом актера (он и раньше был профессиональным поваром), крякал от удовольствия, когда видел за работой Назара.

— Это же, матери его черт, волшебник и чародей. Даже за душу берет, как курицу под крылья.

Жигалов любил выражаться с ораторскими прикрасами.

...Было это в первые месяцы войны. Наши части отступали под бешеным напором немцев. И было горько, клокотала ярость в груди, когда приходилось делать вынужденные отходы на новые рубежи. Нас было мало — кучка в сравнении с ордами фашистов (и откуда только они брались!). Мы лупили их, уничтожали сотнями, тысячами, но на их трупы перли новые, точно механические солдаты. Обычно это была пьяная орава, которая одурело лезла, как саранча.

Однажды в осенний ненастный день, когда нельзя было различить мокрого неба от седых вихрей дождя, наше подразделение укрепилось в густых зарослях мелколесья, вдоль дороги. Все промокли насквозь: шинели и гимнастерки тяжело и холодно прилипали к телу, и каждый из нас ощущал, как густо стекала вода по одежде. Она ползла по спине, по груди, по ногам и смердила кислой размокшей шерстью. Несколько дней непрерывных переходов с боями измучили нас. Смертельно хотелось отдохнуть — заснуть беспамятным сном. Помню, я несколько раз спал на ногах: я ходил, давал распоряжения, с кем-то разговаривал, но вдруг терял сознание, точно не существовал, — все исчезало, и я летел в бездну. И в то же мгновение вздрагивал от внутреннего толчка, точно подбрасывало меня волной разрыва, и это освежало меня. Бойцы падали на мокрую траву, в лужи воды и засыпали. Порывы ветра трепали деревья, и вода фонтанами обливала спящих, но они ничего не чувствовали. А те, кто был на ногах, только крякали и посылали

господа бога в самые неудобные места. Далеко вздыхали пушки, как гром в предгрозье. Кое-где строчили пулеметные очереди, гулко рассыпаясь эхом. И в нашем лесу, и близко и далеко, гавкали мины. Но мы уже хорошо знали, что враг не догадывается о нас, а его самолеты, которые пролетали над нами, не могли нас обнаружить: эта лесная чащоба превосходно маскировала нас.

Наш командир, старый вояка Дубков, сидел на гнилом пне и, накрывшись плащом, внимательно рассматривал карту. Он, как обычно, усмехался с лукавой хитринкой и, когда я подошел к нему, встретил меня прозрачными, налитыми веселой улыбкой глазами. Около него сидел на траве, усыпанный каплями воды, связист Голубчиков и сердито ворчал в трубку телефона.

Назар, который всегда мельтешил в глазах, почему-то исчез, и я решил, что он тоже где-нибудь свалился, пораженный сном.

Наш войсковой разведчик, овчарка Бой, лежал на животе в ногах Дубкова и, навострив высокие уши, мокрый, грязноногий, высунув язык, прислушивался: то настораживался, то улыбался.

— Если наш повар не обманет фашистов, без жратвы останемся, политрук. Как думаешь, обманет стервятников или не обманет?

— Обманет. Жигалов живым не будет, но бойцов накормит.

— Ну, когда живым не будет, не накормит, а значит, и не обманет. Ты, политрук, выражаешься не совсем точно.

И Дубков усмехнулся одной стороной рта. У него всегда раздувались ноздри, когда он улыбался. А когда раздувались ноздри, значит Дубков был в хорошем расположении духа. Это хорошее и несколько ироническое настроение всегда было у него признаком работы мысли.

— Вот в чем дело, политрук. Ты присядь-ка вот рядышком. Надо бы разведочку произвести, а потом...

— Ясно, товарищ Дубков: потом ударить и контратаковать.

— До чего ты прозорлив, товарищ политрук! Обязательно ударить, обязательно контратаковать. Командование одобряет нашу инициативу.

Он задумался и положил голову на руки. Казалось, что он заснул от усталости. Но неожиданно он быстро встал на ноги и засмеялся.

— Ого! Назар-то, оказывается, колхозным строительством занялся. Пойдем поглядим на его труды, политрук.

Назар с большим ворохом зеленых веток за плечами шел недалеко, в зарослях осин и елок. Хотя он был в шинели и пилотке, но совсем не был похож на бойца. Сейчас он показался мне каким-то приблудным, совсем домашним: он нашел свое дело и отдался ему без остатка.

В тылу представляют нашу жизнь на войне сплошным адом, где бойцы постоянно переживают кошмары смерти и ужас кровопролития. Тыловой человек, не нюхавший, что называется, пороха, создает себе о боевой действительности жуткие образы из фантастической романтики. На самом деле жизнь в армии в самые жаркие дни боя идет по-своему просто, хотя и с деловой строгостью, как где-нибудь, скажем, на заводе. Надо только вжиться в этот мир, обвыкнуть, втерпеться. У каждого есть свои обязанности, свои задания, которые необходимо выполнить точно и в срок. В привычку входит ухаживать за туалетом, за винтовкой, за автоматом, за пушкой, как у рабочего за станком или у шофера за машиной. Пришла кухня — все идут к ней со своими котелками. В редкие свободные часы бойцы читают газеты, книжки, проводят беседы. И спят все крепко, не обращая внимания на свист пуль, а когда особенно утомлены, — и на фугасы. Жизнь — везде жизнь, и люди — везде люди. Я провел на войне не один месяц — с первых же ее дней — и должен сказать правду: сначала леденел от страха — очень уж был оглушен ураганом взрывов, ливнем пуль и грохотом танков. Я видел, как падали и умирали сраженные товарищи, слышал стоны раненых и чувствовал себя обреченным. Конечно, это испытали все — не только я один: ведь я рядовой

боец, не хуже, не лучше других. Потом все эти острые ощущения прошли. Быт войны — это тоже быт, только в иной обстановке. Успокоился я и совсем пришел в себя после двух самых обыденных случаев. Действующими лицами были тут они же — капитан Дубков и боец Назар Суслов.

Артиллерия у нас — хорошая и ребята — работящие. Жарили мы по фашистам без промаху. Горячо было, прямо скажу. Били мы по ним часа два без передышки. Дубков с цейсом стоял около своих расчетов и командовал, не отрываясь от бинокля. Я не слышал, а скорее видел его команду: дрыгнет головой вправо или влево и взмахнет рукой — значит, кричит. А пушки со страшным гулом выбрасывают пламя и прыгают назад. Совсем рядом бьют и поднимают вихри земли немецкие снаряды. С визгом летят осколки. Бойцы лежат на земле, расчет расторопно вкладывает снаряды, орудуют запальниками — и как будто совсем не замечают ни разрывов, ни осколков. Дубков же весь ушел в наблюдение и был спокоен и глух к неприятельским минам. Но моментами он вдруг приходил в бешенство от нетерпения, отдирал цейс от глаз и яростно взмахивал рукой. Лицо его вздрагивало от этого взмаха. Бойцы сами заражались его яростью: они быстро и ловко суетились около своих орудий, и пушки как будто сами впадали в бешенство. Не только воздух, но и земля бросала нас в разные стороны. Несколько раз снаряды и мины рвались около Дубкова, и казалось, осколки разили его в упор. А он стоял с биноклем или бросался к орудиям и что-то живо объяснял бойцам и на все эти смертоносные осколки и внимания не обращал.

Назар тоже был как глухой. Он по-деревенски заботливо подносил снаряды, и в лице его, коричнево-красном, с рассудительно трезвыми глазками, я не замечал никакого волнения и страха. Во время этой работы он даже находил секунду высморкаться и вытереть нос.

Вот этот его хозяйственный и расчетливый вид и потряс меня и перевернул всю душу. Я вскочил с земли и сразу почувствовал себя легко. Именно

легко. И я понял тогда, что страх — это не трусость. В минуты страха все существо наполняется непреоборимой тяжестью, точно тебя пришивает к земле, и воздух твердеет, как лед. Сердце замирает, сжимается и, кажется, повизгивает, как щенок. Но трус слепнет, сатанеет и бежит без оглядки от настигающих его пуль, и они все-таки прошивают его. У меня было вместе с острым чувством самосохранения злобное стремление вскочить и броситься навстречу врагу. Назар и Дубков исцелили меня от этого состояния спокойной своей деловитостью и горячей работой. Они как будто поставили меня на ноги и укрепили мой дух. Мгновенно и земля, и небо, и мои боевые товарищи стали бесконечно родными и милыми. В этот миг наша артиллерия замолчала, а Дубков снял пилотку, вытер лицо рукавом и вынул коробку папирос. Назар продолжал работать, точно и боя не было: убирал и укладывал ящики. Потом пошел куда-то в сторону, наклонился, поднял под мышки бойца с окровавленной головой.

Я подошел к Дубкову. Он встретил меня с обычной иронической улыбкой.

Бой кончился, но я еще жил боем: мне чудилось, что пушки еще грохочут, что Дубков взмахивает рукой, что еще рвутся вокруг снаряды и с кошачьим визгом осколки взметают землю. Нужно обладать огромной выдержкой, чтобы сохранять в этом урагане смерти расчетливое спокойствие и вдохновенную деловитость.

— Около тебя, Дубков, сама земля бушевала: осколки так и сыпались, так охапками и разворачивали траву. Этих осколков, вероятно, можно собрать целый воз.

Он с удивлением обследовал своим усталым, но возбужденным взглядом мое лицо.

— Да не может быть!

Мне показалось, что он притворяется и кичится своей неустрашимостью.

— А ты не рисуешься, Дубков? Скажи по правде.

Он как будто только сейчас понял меня и рассердился:

— Ну, голубчик политрук, мне некогда было замечать эти осколки и любоваться разрывами: я был так занят, что и себя не чуял. Надо было дело делать, а не следить за какими-то осколками.

... Итак, Назар с пуча́гой нарубленных ветвей пробирался сквозь чащу молодых осин. Дубков встал и пошел вслед за ним.

— Ведь сам с ног валится, а все о других заботится, — мягко заметил он. — Что-то сооружает. И обязательно соорудит хорошее и уютное. Но заметь, политрук... — Дубков даже остановился, чтобы слова его были для меня особенно значительными. — Заметь, что сооружает он не для нас с тобой, а именно для бойцов. Для него сейчас не существует никаких рангов: он может только служить, а не услужать. Имей в виду, — ты приглядись к нему повнимательнее, — Назар *служит* — не в смысле дисциплинарном, строевом, как раньше в деревне говорили: «служить в солдатах». Нет, для него служить — значит трудиться, отдавать себя делу, работе — всего себя отдавать... потому что он не представляет себе своей личности и собственной жизни без самозабвенного труда. Он даже не замечает, что работает: это у него инстинкт. И этот его инстинкт проявляется в любой обстановке. В часы самого ожесточенного боя он ведет себя так же, как вот сейчас: он *продолжает* свою работу, как муравей. Я его очень хорошо чувствую и понимаю: боевая работа требует тоже мастерства. А мастерство — это внимательность, значение своего дела, спокойствие и уверенность.

Дубков шел впереди и как будто забыл обо мне: он рассуждал сам с собою, точно впервые обнаружил в себе эти мысли и старался разобраться в них и привести в порядок.

Бой продолжался больше девяти часов. Тяжело раненные были эвакуированы в тыл, трупы увезли, а легко раненные, наскоро перевязанные, лежали вместе с другими в разных местах под дождем и спали. Дождь сеялся туманом из низких холодных туч, угрюмых и вязких, и ветер со свистом трепал деревья

и сбрасывал с листьев потоки воды. Она, падая, шумела, как ливень.

Сиповатый голос Назара с негодующим сожалением упрекал кого-то:

— Эх вы, народ-урод! Где вы только родились, какой отец учил вас хозяйствовать?

Сквозь частые стволы осин и ольхи видно было, как несколько красноармейцев, в мокрых шинелях и сдвинутых на ухо пилотках, бросали охапки зеленых ветвей на клетки слег. Эти слеги в виде стропил тянулись между деревьями. Ребята сооружали вместительный шалаш. Они сваливали кучи ветвей вершинами вверх и разравнивали их торопливо, кое-как. Бойцы, с осовелыми лицами и красными глазами, едва двигались. Их ноги прилипали к земле.

Назар положил на высокий ворох свою связку ветвей с целой копной мокрых листьев, подошел к шалашу и стал сбрасывать зелень с клеток.

Бойцы насмешливо следили за ним.

— Ты чего это, в самом деле, разыгрался? — ворчал кто-то из них. — Назар... поехал на базар.

— Этот Назар разгонит весь базар... — угрюмо поправил другой боец, с красным опухшим лицом.

Третий вдруг коварно изобразил ужас на чумазом лихорадочном лице и фистулой спросил испуганно:

— Неужто не по-твоему? Неучетисто? Есть гармонья, а ладов нет? Как-кой ты математик!

— А как же! — очень просто, без обиды, с веселым дружелюбием ответил Назар. — Вы учтите, братки, как она, нужда-то, уму-разуму учит: надо крыть-то комлями вверх да рядками — одно на одно, а снопики-то поверх. Ни одной капли не попадет. А вы водоем делаете. Бойцы-то нас не поблагодарят, когда поток хлынет. Сердце травить нечего — тут дело обоюдное...

Говорил он словоохотливо, ободряюще, с каким-то заражающим удовольствием. И ни признака усталости не заметил я в его торопливых движениях.

Трое красноармейцев принесли еще по вороху зелени и сейчас же сели на них, тяжело дыша, мокрые, распаренные.

Назар брал по пучку веток и укладывал их ловко, быстро, с особым каким-то изяществом и теплотой.

Оба бойца, которые относились до этого очень критически к нему, стали делать то же, что и он, поглядывая, как он рассыпает ветки.

— Изобретательный парень...— усмехнулся Дубков.— Он всех заставит работать без приказа и понуждения.

— И черт его щекочет!—оскалился один из красноармейцев, вытирая лицо мокрым рукавом.— Ни чох, ни сон его не берет. Всегда жадный на работу. И буквально вовлекает. Не стыдом берет, а стихийно...

— Ребятки,— ласковым фальцетом пригласил их Назар,— давайте-ка колхозом!.. Все — за одного, один — за всех. Очень даже хорошо. Осинки шумят — о любви говорят... Отличный барак будет: поспят бойцы, поедят, душу успокоят, а там и опять за работку.

— За работку...— опять ухмыльнулся Дубков.— Это бой-то — работка.

— Это под стать тебе, товарищ капитан,—пошутил я,— ты ведь сам в бою-то — работник...

Дубков промолчал и решительно направился к Назару и бойцам. Все работали молча и упорно. Мы тоже пристали к ним и охапку за охапкой бросали на стропила и раскладывали ветви, начиная снизу. Вторым рядом накрывали первую охапку, и так до самого верха.

Не буду распространяться. Одним словом, этот длинный шалаш человек на сорок мы соорудили очень быстро. А потом сам Назар провожал туда в первую голову всех раненых, кое-кого при общем смехе отнесли на руках: так они и не проснулись.

Для нас с Дубковым Назар совсем незаметно, пока мы обедали (повар все-таки накормил нас обедом), сварганил кругленький шалашик, похожий на стог сена, и с деловой строгостью пригласил нас:

— Под дождем вам не место, товарищ командир и товарищ политрук: от товарищей бойцов предложение — в шалаш ваш пожалуйте...

— В какой это наш шалаш? — с насмешливой строгостью оборвал его Дубков, раздувая ноздри. — Не до шалашей — к следующему бою надо готовиться.

— А там уж все готово: и стол есть, и свечка на столе. Лежаки тоже мягкие.

Мы сидели в сумерках под дождем и дрогли от холода. Забота о нас Назара была дороже ласки матери. Прямо до слез он меня растрогал. А Дубков сердито встал и так же сердито пожал руку Назара.

— Какого ты черта возишься, Суслов, с своими шалашиками? Иди спи, а то ведь совсем глаз не сомкнул. Что от тебя останется к ночи? Подумал над этим?

Назар так весь и расплылся в улыбке. С Дубковым он обращался с некоторой фамильярностью, и если вытягивался перед ним, то делал это для порядка: он блюл дисциплину, как я уже сказал, истово.

— Точно, товарищ командир, подумал. Командир и политрук — одни в ответе за исход в сражении. А бойцы отвечают за командира. Ежели наш командир али политрук в тяжелом ранении — их нужно из боя вынести. А чтобы бой был хороший и труд крепкий, бойцы о своем командире и политруке должны позаботиться. Точно — по уставу, товарищ командир!

Дубков ухмыльнулся и почему-то приложил ладонь к виску.

— Учетисто, Назар... обоюдно.

— Точно, товарищ командир: обоюдно.

— Ну, спасибо, друг: веди в этот самый шалаш. Да иди поспи. Я тебя потом вызову: ты мне будешь нужен. Обедал?

— Было дело, товарищ командир.

...Ночью мы пошли в разведку. Дубков даже рассвирепел, когда я настойчиво потребовал, чтобы эту группу разведчиков он поручил вести мне.

— А ты был когда-нибудь в разведке?

— Нет, не был, но ведь и большинство из этих бойцов не были: они вызвались по своей охоте.

Дубков насмешливо взглянул на меня и с подчеркнутой строгостью ответил:

— Желающих я возвращаю семь из десятка. Не каждого можно посылать на такое дело.

Я возмутился и забунтовал:

— Так ты, Дубков, относишь меня к тем семи непригодным?

Он затянулся папиросой, неторопливо щелкнул по ней пальцем и задумался над картой.

— Нам нужно хорошо разведать, что делается в деревне, — проговорил он, отмечая какие-то места на карте. — Нужно узнать, где у немцев сосредоточены огневые средства. Обязательно захватить языка. Затем...

— Я жду ответа, товарищ капитан.

Он поднял лицо и с удивлением осмотрел меня холодными глазами.

— Давай-ка обсудим план предстоящего боя. Очень четко и своевременно надо обеспечить наше взаимодействие с пехотой и танками. Разведка должна проникнуть в занятую немцами деревню.

— Я ее очень хорошо знаю, товарищ Дубков: я жил здесь одно лето. И окрестности хорошо знаю. Так что едва ли ты найдешь более подходящего человека.

— Ну, довольно, политрук! Я не желаю с тобой расставаться. Пошлю более опытного парня, чем ты. Точка.

Он встал и ухмыльнулся одной стороной рта, но я увидел, что он взволнован.

— Что важно, политрук? Важно одно: хорошо владеть искусством разведчика. А оно все построено на внезапностях, изобретательности, находчивости.

Эти его простые слова тронули меня. Человек каждый день и каждый час находился на волоске от смерти, он знал, что может каждую минуту сложить голову, и, вместо того чтобы думать о себе, он хочет одного — охранить меня от опасности. Чудак, почему он не допускает мысли, что эта опасность здесь так же велика, как и там, в разведке?

Я продолжал настаивать. Тогда он выпрямился и холодно приказал:

— Хорошо. Разведку возглавишь ты, политрук. Сведения должны быть точные: никаких неясностей. От этого, как сам знаешь, зависит успех боевой операции. — И он добавил уже мягче: — Держи около себя Назара Суслова.

Мы сели за столик и стали обсуждать задачи нашей разведки.

...Мой отряд двинулся узкими лесными тропинками. Назар шел впереди, как опытный следопыт, я — за ним, а за мной и все остальные. Шли мы тихо, почти беззвучно по мокрой траве, только ветви шуршали и пощелкивали по нашим плечам да потрескивали влажные сучья под подошвами и чавкала вода. Горьковатый запах осин, прохладный от дождя, плыл вокруг нас фосфорической тьмой. И было похоже, что мы идем куда-то далеко на охоту, и не думалось об опасностях, которые ожидают нас впереди. Было спокойно и легко на душе, и было хорошо от уверенности, что каждый из нас не оставит друг друга в беде, что я сильнее самого себя, потому что сила каждого из бойцов — моя сила. Только в эти минуты молчаливого нашего похода по лесной чащобе я почувствовал весь огромный смысл нашей дружбы. Можно не проронить с человеком ни одного слова, увидеть его в первый раз и все же знать, что он самый близкий, неразрывно связанный с тобою человек, который пожертвует ради тебя своей жизнью. Никогда я, кажется, не переживал с такой полнотой счастливого чувства прочности своей связи с людьми и жизнью, как в те ночные мгновения.

Назар шел вперевалочку, размахивая правой рукою и скосив голову набок. Так он держит голову в те минуты, когда зорко осматривается. Я уверен, что он видел в этой лесной тьме так же хорошо, как днем, и не глазами только, а силою своего зоркого инстинкта.

Где-то высоко, за тучами, трубили самолеты. По хриплому шуму я знал, что это самолеты врага. Куда они летят? Вероятно, на Москву.

Я вспомнил наш разговор с Дубковым в шалаше. Теплилась свечка на столике из ящика и тускло

освещала разложенную карту. Здесь стоял и Назар, дремотно мигая веками. Дубков тыкал карандашом в карту и говорил как будто сам с собой.

— Вот. В Щербатовке надо установить силы врага. Точно определить расположение огневых средств. Ночью немцы неохотно вступают в бой. Узнать, где автотранспорт, танки, боеприпасы. В какой избе штаб. И обязательно языка... Хорошо бы захватить двух. Нам надо бить наверняка, без промаха. Сведения должны быть доставлены до рассвета. Сделать все надо, как говорит Назар, учетисто. — И он добродушно усмехнулся.

— Чего не сделать? — согласился Назар. — Сделаем. Абы дело, а люди оглядистые.

— Ты, Суслов, не хвались, на рать идучи... Немцы, брат, не хуже нас оглядистые.

Дубков подмигнул мне бровью.

— Это точно, товарищ капитан: немцы народ учетистый насчет порядку — как шашки на доске, без часов и на двор не ходят.

— Вот то-то и оно, — строго заключил Дубков и опять начал намечать линии на карте.

Назар неожиданно шагнул к нему и внушительно изрек:

— А вот души-то у фашиста нет, товарищ капитан.

— Чего-о? — удивился Дубков и откинулся назад. Ноздри у него даже побледнели от трепета, а глаза налились золотым смехом.

— Души человеческой нет... — убежденно повторил Назар и угрюмо нахмурился. В маленьких умных глазках его пронзительно сверкнула ненависть. — Он, фашист-то, как волк в стае: дерет и ревет, а подыхает без толку. Нападает и живодерствует, как волк, а околевает, как муха. Без души. Как жить, так и умирать надо уметь хорошо. У нашего русского человека душа большая.

Назар стоял независимо, уверенно. Мне казалось даже, что он чувствовал себя в ту минуту сильнее и выше нас, охваченный той неугасимой мыслью, кото-

рая живет и зреет вместе с судьбой человека и делает его свободным и бесстрашным. Я смотрел на него с почтительным уважением, а Дубков как-то присмирел, и уже не было у него на лице снисходительной усмешки. Он молчал и раздумчиво смотрел на карту, раз за разом попыхивая папиросой.

— Да, это — ядреная истина, — сказал он. — Надо уметь и жить, то есть работать, и умирать уметь... Верно, без души и жизнь и смерть — сущая говядина.

...И теперь в лесной тьме я шел вслед за Назаром и верил в его силу — в мудрую его простую душу и житейскую его находчивость.

Глухая чащоба обрывалась, и мы выходили на полянку. Моросил дождь, и казалось, что тучи спускались до вершин деревьев.

Где-то справа и впереди очень далеко вспыхивали сполохи, взвивались, как метеоры, и вдруг ни с того ни с сего рассыпалась пулеметная очередь. Очень высоко над нами, за тучами, дрябло ныли самолеты.

Назар вдруг остановился. Все застыли на шагу. Он указал рукою влево.

— Немцы, товарищ политрук. Тут — конец лесу. В лес они не ходят.

И верно, я уловил шлепанье шагов и приглушенные голоса.

Надо сказать, что я немецкую речь хоть и с грехом пополам, а понимаю. Читаю бегло, но слухом воспринимаю с натугой.

— Подождите здесь, Суслов, а я проберусь к ним поближе.

Назар промолчал, и в этом молчании я почувствовал неодобрение и недоверие. Не успел я сделать шага, как Назар схватил меня за рукав.

— Автоматик-то надо поспособнее... за плечико. Тут — чащоба, как крапива. Надо разгребать, и ногу вперед и руку вперед. По чащобе не ходят, а плывут. Вместе пойдем.

Он осторожно ткнул меня в локоть и совсем бесшумно пошел в самую густую заросль. Эту заросль я не столько видел, сколько чувствовал. И я опять

удивился: шел я свободно за Назаром и даже веток не ощущал. Откуда у него, хлебороба, такая повадка? Несколько раз он останавливался, прислушивался, опять бесшумно пробирался, без шелеста и треска. Я шагал за ним, как по хорошей тропе. Однажды он все-таки споткнулся и упал, и мне почудилось, что перед ним шарахнулся какой-то зверь и помчался в сторону, ломая ветви.

— Яма какая-то...— с досадой пробормотал Назар. Он плескался в воде и старался выбраться из нее.— По пояс, как в купели...— И он рассмеялся сконфуженно.— Неучетисто вышло... А яме-то как будто здесь и быть не должно... Левее держи!

Мы прошли еще несколько шагов, и я вдруг почувствовал знакомую воздушную пустоту и легкость. Фосфорически мерцала ночная глубина. Небо вспыхивало вдали частыми сполохами. Должно быть, где-то стреляли зенитки. По-прежнему моросил дождь и шелестел, как листья на ветру.

Шаги чавкали совсем рядом, и мне казалось, что немцы идут прямо на нас. Но Назар стоял около меня и шептал:

— По проселку топают. Двое. Мимо нас пройдут. Шагов пять, не больше. Лазутчики, надо быть. Ежели бы поподбористее оглушить их да живьем командиру доставить... Ну-ка, слушай: чего это они шебаршат?

Я прислушался, но не разобрал ни одного слова. Один из немцев вдруг остановился, выругался и хрипло сказал:

— Я дальше не пойду. Я уверен, что русские держат нас на прицеле.

— Вполне возможно. Партизаны прикончили Ганса и Брюшке еще у Минска. Вот так же были посланы, как мы.

Дальше я ничего не мог разобрать, но, несомненно, мы подстерегли хорошую дичь: немцы сами шли в наши руки.

Назар, крадучись, пошел направо, а не прямо на немцев.

— Куда ты? — шепнул я.

— В зад ударим им и — сразу, чтоб они обмерли.

Немцы были, несомненно, во хмелю, потому что голоса у них были нетверды и хриповаты. Опьянило их и чувство свободы: они — одни, и их не подслушивает ни гестаповец, ни офицер. Один из солдат хрипло засмеялся и вполголоса запел игривую песенку. Почему-то я очень хорошо запомнил ее слова, которые он выговаривал четко, с злым отчаянием:

Fischerin du kleine,
Zeig mir deine Beine...

Направив на них автоматы, мы носом к носу стали перед ними.

— Стой! — приказал я по-немецки. — Руки вверх!

— Рус! — в ужасе прохрипел один из них, а другой попятился назад.

— Не думайте сопротивляться... — предупредил я их. — Бежать вам некуда.

Они дрожали и ежились, как в лихорадке: должно быть, леденели от животного страха. Винтовки они бросили послушно, а руки подняли чересчур быстро. Назар обыскал их, снял пояса с какими-то прицепками, опорожнил карманы. Так с поднятыми руками они вместе с нами пошли в лес.

Наши бойцы были ошарашены, когда мы привели с собою немцев: действительно, такая легкая добыча достается редко. Однако факт был налицо. Я отрядил с пленными трех бойцов.

...Если бы люди, которые живут в тылу, прочли эти строки, они не поверили бы: очень уж все просто, обыкновенно, буднично. Ведь война — это сплошной грохот огня, постоянные смерчи снарядов, которые рвутся, вскидывая к небу черные вихри земли, как это показывают на экране кино; это — страшные атаки, когда люди идут навстречу ливню пуль, а в воздухе носятся сотни самолетов и сбрасывают сплошной град бомб. Уже здесь, в госпитале, мне иногда приходилось видеть людей, которые смотрели на нас, раненых, с ужасом любопытства и трепетно спрашивали: «Как вы могли пережить этот ад, зная, что каждое мгновение вы можете быть пронзены пулями?»

Эти наивные вопросы смешили и меня и моих товарищей. Мой сосед по койке, угрюмый и недобрый на вид, молодой капитан, с седеющими висками, с густыми бровями и насмешливым взглядом исподлобья, а на самом деле добродушнейший и веселый парень, обычно острил:

— Людей сводит с ума не действительность, а призраки. Сказки вредны не столько для детей, сколько для взрослых. Люди болеют обычно от мнительности. Советую вам поехать добровольцем на войну, чтобы вылечиться от этого... я бы сказал, тылового отношения к ней.

И от этой шутки капитана посетители конфузились и чувствовали себя обиженными.

Для людей, зараженных недугом романтизма — недугом обывателей, — странно слышать (и они не хотели бы слышать), что в перерывах между боями мы часто разговариваем о наших личных делах — о любимых девушках, о наших ребятишках, вспоминаем их забавные слова и поступки, их шалости, хвалимся, какие они умные да наблюдательные, какие наши жены самоотверженные, а девушки — самые замечательные на свете. Мы мечтаем о том, как после войны опять заживем полной жизнью, как поедем в Крым или в Сочи на курорт. Мечтаем о всяких мелочах: об охоте, о рыбной ловле, о спорте, о книжках, о собаках, о научной работе, об избрании в академики... И ни один из нас ни словом не обмолвился о смерти. Мы просто не думаем об этом. Мы думаем только об ответственных заданиях, то есть — как выполнить их хорошо, с честью, умело, находчиво, хитроумно, без жертв. Мы думаем о том, как бы хорошенько ударить этих фашистских горилл, которые распоряжаются в наших городах и селах, насильничают, мародерствуют, убивают наш народ и поганят нашу землю. Когда мы думаем об этом, наши сердца разрываются от нестерпимой ненависти к ним, и нам неудержимо хочется ринуться на них и уничтожать... истреблять их день и ночь.

...Мы прошли лесом до деревни, где сосредоточены были передовые части врага — его танки, бронема-

шины, пехота, минометные и пулеметные гнезда. Здесь мы должны были точно установить их местонахождение, изучить, что готовится предпринять враг.

Эта деревня была очень хорошо мне знакома: я жил в ней, как на даче, — нанимал комнату у моего приятеля, колхозника. Село было небольшое и тянулось двумя рядами изб вдоль шоссе по обе стороны дороги. Как и все русские деревни, она была похожа на своих соседок: те же бревенчатые избы с трехоконным фасадом, с резными наличниками, с чердачными окнами на переднем скате крыши, похожем на малюсенький мезонин, с глухим, крытым двориком, с тесовыми воротами, с неизменными березками и кустами сирени в палисаднике.

И когда мы подошли к ней из лесу, скрываясь в зарослях ольхи на берегу маленькой речки, слышно было, как трещали мотоциклы, орали неслыханные здесь голоса и жалобно пищали не то котята, не то младенцы. Мимо нас, скуля, прошмыгнула с поджатым хвостом собака. Наверху, по огороду, черной размытой тенью двигался силуэт человека. Это был немец на карауле. Он на минуту застыл на месте и грозно, но с оторопью крикнул:

— Хальт!

Постоял, прислушался и, успокоившись, по-прежнему медленно зашагал вдоль обрыва.

— Это чучело надо снять, — сказал я бойцам.

Все наперебой требовательно зашептали: «Я! я!» — но Назар властно отодвинул их обеими руками и со строгой назидательностью сказал:

— Не всякий охотник дичь берет. Горячкой тут не возьмешь. Укладисто надо.

Он попросил у меня разрешения идти и скрылся в темноте.

Назар долго не возвращался, и я забеспокоился. С двумя бойцами я поднялся к тому месту, где был немец, а остальных оставил в ольшанике и дал им подробные указания, как и что они должны делать при всех возможных случаях.

Назар появился неожиданно и прошептал с обычным спокойствием:

— Есть... готово, товарищ политрук. Через двор прошел, а там старуха сидит, и перед ней — мертвое тело. Двое убитых ребятенков рядом с телом, один—титешный Старуха-то ума лишилась: сидит качается и ничего не чует. Пойдем поглядим, что на улице делается.

Мы пробрались по узкой щели между двумя новыми незаконченными срубами. Прямо перед нами стояли две старых ветлы, как черные копны. Мы сначала опешили: четыре очень высоких вытянутых тени застыли под ветлами, как солдаты на страже. Инстинктивно мы приготовили автоматы. По улице прошла группа немцев с винтовками в руках. Один из них пьяно ругал кого-то и грозил покончить с каким-то Шульце при первом же удобном случае.

Один из бойцов засопел и, сдерживая стон, жалобно прошептал:

— Чего наделали, сукины дети! — И выругался так, что в горле у него пискнуло. — Товарищ политрук, разрешите мне...

Но он не успел выразить своей просьбы: Назар наклонился к моему уху и сказал, обдавая дыханием мою щеку:

— Надо бы обмундирование-то с немца стащить, товарищ политрук: сейчас бы оно было для нас укладисто.

Он будто угадал мою мысль, которая мелькнула у меня в мозгу; я уже хотел послать его снять с убитого одежду, чтобы пройти по деревне — осмотреть укрепления немцев и прислушаться к их разговорам.

— Беги, Суслов... только не мешкай!

Группами проходили солдаты и бормотали не поймешь что. Где-то недалеко гулко загрохотали залпы выстрелов, и мне почудились стоны, завыванье и детский крик. Далеко по дороге глухо хрипели машины, и это было похоже на далекий поезд.

Назар пришел совсем неслышно.

— Наряжайтесь в немца, товарищ политрук.

Я быстро напялил на себя штаны, тужурку, переобулся и навесил на грудь немецкий автомат. Сапоги мои засунул за пояс Назар, а пилотку положил в карман.

— У школы чего-то уж больно неурядисто, — шептал он: — то ли пьяные, то ли порка... Немчура-то сейчас без задних ног валяется, а там, в школе-то, не иначе, людобойня. По мне бы так, товарищ политрук: вы по селу проходочку сделаете, а я с двумя бойцами к лесочку проберусь. Не иначе, старичка колхозника найду — покалякаю с ним. Ну, конечное дело, часовых снимем.

— Обязательно снять, — приказал я, — только очень осторожно. Надо торопиться, а то могут нас обнаружить. Ждите меня в кустах за школой. Не мешкайте: я там буду очень скоро.

Они исчезли во тьме.

С первых же шагов нашего выступления Назар, как говорится, сел на своего коня. А сейчас в деревне он был душой дела и чутьем угадывал обстановку. Он действовал наверняка, и на него без всякой опаски можно было положиться. Если бы даже и всполошились немцы и устроили облаву, Назар был бы неуловим. Но я верил, что он сделает то, что нужно, и сделает хорошо.

Налетел ветер и облил нас дождем. Тела повешенных закачались и, толкая друг друга, завертелись на веревках из стороны в сторону.

Я смело и развязно пошел по улице и даже стал напевать песенку, которую слышал еще по дороге сюда: «Fischerin du kleine...»

Из черной дыры распахнутых ворот вышли трое солдат и с пьяным хохотом быстро пошагали вдоль изб назад от меня. На улице было по-ночному пусто и жутко. Что творилось в этих избах? Какой ужас должны переживать наши люди, не успевшие убежать! Признаюсь, мне было страшно одному. Я шлепал по лужам, ноги мои скользили в глинистой жиже, и она хлюпала и чавкала под немецкими, необычными для меня башмаками. Где-то далеко за лесом небо вспыхивало красным туманным заревом: должно быть, горела какая-то деревня. На фоне этого зарева верхушки елей четко вырезались черными силуэтами.

На мгновение я почувствовал леденящую боль внутри и что-то вроде судороги в сердце. Но удиви-

тельно, я шел широким, уверенным шагом вперед, на площадь, где слышна была какая-то хлопотня, глухие и командные окрики. Прошли по дороге несколько солдат. Они не обратили на меня внимания и спорили о чем-то. Разобрать я ничего не мог, только раза два услышал слово «партизаны». Должно быть, эти партизаны преследовали их, как призраки. Один из солдат громко и заносчиво выругался и крикнул:

— Это басни, ребята. Я расправлялся с ними, как мясник, а они пищали, как поросята.

Ему невнятно ответили несколько голосов, перебивая друг друга, но что они говорили — я не разобрал. Зато первый солдат орал на всю улицу:

— Черта с два! Они все — партизаны. Завтра мы раздавим их в клещах и перестреляем, как куропаток. Русские пока удирают от нас. Утром мы двинем танки с десантом пулеметчиков и автоматчиков. Мы пролетим перед их носом, как на параде, и они даже не увидят, как ребята возьмут их в огненное кольцо. А из опушек леса — шквальный огонь.

— Ты очень много знаешь... — насмешливо проворчал один из солдат.

— А я сейчас из штаба.

— Поздравляю! Участвовал в разработке плана?

— Нет, серьезнее: организовывал ужин для офицеров. Это стоило старухи и девки.

Я слушал их с большим интересом и запоминал каждое слово. Болтливый солдат — самый верный информатор.

Со стороны школы вдруг донесся раздирающий рев и визг и шлепающие удары. Что-то вроде рокочущего вздоха пронеслось по улице, а может быть, это порыв ветра зашевелил деревьями и стряхнул с осенних листьев потоки воды.

Я торопился к школе. Она стояла на площади. Это кирпичное здание с большими окнами строилось при мне. Оно стояло среди широкого двора, обнесенного решетчатой оградой. Тогда же позади школы был посажен фруктовый сад. На другой стороне площади белел давнишний каменный дом, в котором по-

мещался сельсовет, правление колхоза и изба-читальня.

Мутно желтели окна и в школе и в белом доме. Тени прыгали по стеклам — пьяная толпа внутри зданий. И среди этого рева пронзительно кричали женщины. Такие полные ужаса крики бывают в те минуты, когда убивают или насилуют и у жертвы на спасение нет надежды.

На площади густо громоздились грузовики, вероятно с боеприпасами, и легковые машины. Перед школьной оградой лежала груда людей. Заметил я их в тот момент, когда наступил на рыхлое и — сразу почувствовал — мертвое тело. Я наклонился и увидел, что все эти люди валяются друг на друге то в скрюченных, то в каких-то распахнутых позах. Даже во тьме было видно, как белели их мертвые лица. Очевидно, всех согнали сюда, к ограде, и расстреляли. На столбах, где помещался трансформатор, перед забором висели два человека с руками за спиною, в кепках, с опущенными книзу лицами, которые, казалось, пристально всматривались в меня. Эти повешенные как будто жутко шептали: «Смотри, что с нами сделали!» Я не в силах передать, что переживал в эти секунды. Дрожали руки и ноги, и жгла сердце страшная боль: этого злодейства нельзя простить, надо всех этих убийц, которые устраивают оргию в школе, предать самой лютой смерти. Я инстинктивно сжимал автомат в руках, и мне неудержимо хотелось ворваться в школу и перестрелять всех этих пьяных собак.

У церкви с низкой шатровой колокольней полыхали вспышки факелов. Пламени их не было видно, только трепетали красные отблески на облезлой стене колокольни и дымными вспышками поднимались над грузовиками, высоко навьюченными ящиками и пузатыми тюками. Там стонал и мычал человек, а мычанье его обрывало мокрое шлепанье и хриплое рычанье. Чтобы не выдать себя и не возбудить подозрения немцев, я свернул на площадь и издали, в пролет между машинами, увидел, как высокий мордатый детина в пилотке остервенело взмахивал палкой и бил ею по голому телу человека. При каждом ударе

человека подбрасывало вверх, и он кричал глухо, плаксиво, как будто даже притворно. На ногах у него сидел один солдат, а на голову опирался обеими руками другой. Поодаль сбилась в кучу под охраной молоденького солдата с винтовкой небольшая толпа колхозников и колхозниц, стариков и молодых. Все смотрели на порку с помертвевшими лицами, молча и неподвижно.

Мимо прошли трое солдат, но даже как будто не заметили меня. Я круто повернул обратно и быстро зашагал вдоль школьного забора, чтобы пробраться на противоположную сторону, где должен был встретиться с Назаром и бойцами. Странное и новое чувство охватило меня. Я был в нашей родной деревне, где когда-то жил и дышал воздухом ранней весны, гулял в лесу, собирал цветы на полянах. Никогда я не думал, что в эту милую деревню ворвутся фашисты и, как разбойники, будут вешать, пороть и расстреливать людей. Это была наша деревня и — не наша. Она как-то обмерла — не найду лучшего слова, чтобы выразить мое ощущение. Кажется, что ужас физически заливал улицы и парализовал избы. Будто и в черных пятнах окон застыл этот ужас. Но что-то и другое, невидимое, но страшное таилось в этих избах, в пустых улицах, — что-то грозное, неотвратимое.

Я на мгновение остановился от неожиданного вопроса: а что чувствовали и чувствуют люди этой деревни, которые не успели уйти или остались дома, не имея сил оторваться от родного гнезда? Мы, бойцы, в постоянной борьбе с врагами, мы связаны друг с другом, как кольца железной цепи, мы каждую минуту ощущаем не только дыхание, но и душу товарища. У нас нет ни страха, ни ожидания смерти. У нас — только обида, что мы вынуждены отступать — перед кем? перед Гитлером! — и отдавать врагу наши города и села, наши прекрасные леса и дороги. В груди у нас кипят ненависть и жажда мести.

А какую муку пережили эти погибшие люди? Что могло быть ужаснее безнадежного ожидания, когда палачи гнали их на площадь и потом направили на

них дула винтовок? И что может быть позорнее этой гнусной экзекуции у церкви? С ума можно сойти! И я в этот момент почувствовал свое одиночество, оторванность от товарищей. В сущности, я тоже был в ловушке, тоже каждую секунду мог быть схвачен и подвергнут унизительным издевательствам и пыткам, несмотря на то что я нес с собою автомат и гранаты. Я был в своем селе, но в логовище врага. И только привычная, превращенная в инстинкт самодисциплина, выдержка и уверенность, что я не потеряюсь и не дамся живым, делали меня зорким и чутким ко всяким мелочам — к голосам, к теням, к шорохам, к близкому и далекому движению.

В тот миг, когда я остановился, вдруг услышал странную возню около забора, всхлипывающий лепет и воркотню, точно какой-то зверёк заботливо занят был своим неотложным делом. Я приготовил автомат, огляделся, прислушался. По улице шатались пьяные немцы, ругались между собою и хрипло выли песни. У забора я увидел ребенка в коротенькой рубашонке, без штанишек, босенького. Он хватался ручонками за штакетинки и упорно переступал ножонками по мокрой траве. Белая рубашонка прилипла к тельцу, и ребенок, упругий, кругленький, большеголовый, торопливо и уверенно подвигался вперед. Предоставленный самому себе, он упорно искал дорогу к дому, не унывал и, должно быть, уже привык к ночной темноте и пустынности улицы. Он боролся за свое право на жизнь и, несомненно, был уверен, что преодолеет все препятствия. А ведь на него обрушилась ночь со всеми ужасами, и он, маленький, один в мире, среди кровавой войны, не сомневался в своей силе и знал, что дом свой он найдет, что настанет утро и, несмотря на холодный дождь осени, взойдет солнце и запоют петухи, победоносно хлопая крыльями.

Я подошел к нему и хотел подхватить его на руки, но он враждебно насупился и, отмахиваясь ручонками, злым баском огрызнулся:

— Иди! Иди!

Я наклонился над ним и увидел, что рубашонка его, личишко и ручки залиты кровью. Видно, что это

была не его, а чужая кровь. Мальчонка, очевидно, вылез из кучи расстрелянных. Должно быть, оглушенный, он лежал вместе с убитой матерью, а потом, подчиняясь какому-то тайному инстинкту, пополз на четвереньках прочь от смерти, чтобы своими силами бороться за жизнь.

Не теряя минуты, я подхватил его на руки и почти побежал по улице, вдоль забора. Карапуз, к моему удивлению, не заплакал, а внимательно посмотрел на мое лицо и стал бить меня холодной ручонкой по щеке.

Позади школы я не нашел бойцов. По задворкам бежали немцы, — бежали торопливо, точно преследовали кого-то. Мне стало не по себе: должно быть, наших ребят обнаружили и они спасались бегством. Почему же не стреляли немцы? Меня схватила за плечо сильная рука. Минутка была не из обычных. Я уже решил, что попал в лапы какого-нибудь фашиста, который подкарауливал меня. Но Назар почти скомандовал мне хриплым шепотом:

— Товарищ политрук, шагай за мной! — И уверенно пояснил: — Это они на грабеж подались. Чай, хохочут и радуются. Тревоги такой не бывает. А тут я на одного старичка набрел. У него младший ихний командир молоко жрал. Вышел он, а я его — за горло. Ребята скрутили его, обезоружили и — кляп в хайло. Увели к речке. Подбористо сделали: три языка да трофеи. А у тебя как, товарищ политрук? Чего это ты с младенцем-то?

— Возьми-ка этого мальца, Суслов, и передай... ну, старичку своему, что ли... и быстрым маршем к реке.

На берегу речки я натолкнулся только на одного бойца. Боец отрапортовал:

— Наши отошли, товарищ политрук, на второй рубеж. Язык — в порядке, только ослаб от страха — терпеть его срамно.

Я переоделся, а обмундирование немца бросил в речку, но предварительно вынул из карманов всякие бумажки и записную книжку. Подоспел и Назар. Едва мы вошли в мелколесье и соединились с нашими

ребятами, в деревне началась беспорядочная стрельба. Около нас посвистывали пули. Мы длинной цепочкой уходили в лес. Назар, как и раньше, шел впереди. Потом как-то сразу все остановились и сбились в кучу.

— В чем дело?

Назар молча показал рукою куда-то во тьму. Я послал его с одним из бойцов в разведку. Ничего, кроме лесной тишины, шороха дождя и тяжело падающих листьев, я не услышал. Только призрачно, где-то очень далеко, рокотали грузовики да со стороны деревни покрикивали чужие голоса. Стрельба прекратилась. Влажный и пряный аромат осеннего тления плавал в лесу прохладными и теплыми волнами. Я очень любил эти горькие запахи брожения — грустные и задумчивые. Они всегда будили в душе милые воспоминания о юношеских мечтах, о счастье первой любви. И как-то не хотелось верить и примириться с мыслью, что эти родные места и этот лес, в котором я бродил с книгой в руках и дышал сказками моей жизни, теперь опоганены и расстреляны врагами. В глазах мелькали повешенные колхозники, расстрелянные женщины и эта презренная морда огромного фашиста, который лупил палкой по голому телу кого-то из крестьян.

...Гитлеровец стоял в середине группы бойцов, съежившись, со связанными руками, и задыхался от затычки во рту. Он судорожно вздрагивал, обреченно оглядывался. Глухо мыча, он порывался ко мне с выпученными глазами, даже во тьме я видел его белки.

— Вы хотите со мной говорить? — спросил я его по-немецки.

Он нетерпеливо закивал головой. Я вытащил мокрую тряпку из его рта и отбросил в сторону.

— Не расстреливайте меня...— сипло залепетал он, всхлипывая. — Я сообщу все, что знаю. Я не буду лгать: вы можете проверить.

Я спросил у него, что же он может сообщить мне.

Он торопливо стал рассказывать, что их артиллерия стоит за деревней, в зарослях мелколесья, танки

пойдут на рассвете по обоим флангам, а по шоссе средние танки двинутся с десантами пулеметчиков и автоматчиков. Самолеты сбросят десант в нашем тылу.

Это совпадало с словами болтливого солдата на улице. Явился Назар и, прежде чем доложить о своей рекогносцировке, старательно вытер нос.

— Шайка тут человек пятнадцать. А с ней — этакий угодливый мужичок. Должно, географии их учит... переводчик тоже ладный — из беляков, надо быть. Ну, и объяснял им дорожку... Сукина-то сына больно охота живьем взять... а немца ни одного упускать нельзя. Зря ты у немца втулку выбил.

— А у нас есть для него втулка покрепче, — усмехаясь, прошептал один из бойцов, держа наготове автомат.

Я распорядился, чтобы двое бойцов охраняли немца надежно, а его предупредили, чтобы он молчал, как рыба, иначе его немедленно уложат на месте.

— Идем, Суслов!

Так же, как прежде, Назар пошел впереди и так же бесшумно петлял по зарослям, угадывая чутьем самые удобные и свободные проходы. Шли мы, крадучись, осторожно ступая сапогами по мокрой траве. Шум дождя в блеклой листве и порывы ветра, похожие на гул ливня в густых шапках деревьев, так хорошо нас защищали, что, если бы мы шли даже без предосторожностей, все равно нас не было бы слышно.

Назар вдруг остановился и показал рукою вправо, — там пролегала лесная дорога. Но я ничего не слышал, кроме шума дождя и лесных вздохов. Назар и тут удивил меня: с несвойственной ему живостью он зашептал:

— Что же, товарищ политрук, накроем этих гадов? Очень сходно их здесь перекрошить. Да и живьем кое-кого захватишь.

Я решил оставить здесь засаду человека в три, а самим разделиться на три группы. Одна расположится здесь, при дороге, а другая, с Назаром, зася-

дет в зарослях на той стороне, я же с третьей группой пройду немного вперед.

Назар с четверкой бойцов скрылся в лесной тьме, а я с другой четверкой отошел к самому краю просеки и расставил ребят за деревьями.

Из-за деревьев я увидел черные тени, которые двигались одна за другой по дороге.

— Огонь по фашистам! — скомандовал я и первый начал поливать из своего автомата.

Гул и грохот забушевали по лесу. Видно было, как несколько немцев упало. Остальные заметались, а потом по команде залегли. Очевидно, они были уверены, что мы не решимся напасть на них и воспользуемся ночью, чтобы отойти на другие рубежи без потерь. Они, несомненно, были убеждены, что своей наступательной стремительностью, десантами и клещами наводят на нас безумную панику.

— Бери гадюк живьем! — крикнул кто-то из бойцов, и мы выбежали на дорогу.

В этот момент затрещала очередь из автомата с того места, где лежали немцы. На мгновение мелькнули в глазах брызги огненных вспышек, и я помню, что удивился, почему я бегу так долго, бегу будто невесомо, будто по воздуху, и падаю куда-то в черную пустоту — плавно, по длинной траектории.

Потом, когда я лежал в полевом лазарете, с туго забинтованной головой и ногой, я внезапно очнулся от мягкого прикосновения руки к моей груди. Эта рука заботливо и ласково поправляла одеяло. Я открыл глаза и почувствовал, что плачу. Передо мной на табурете сидел Дубков. Он улыбался мне, и у него трепетали ноздри.

— Когда возвращаются к жизни, политрук, не плачут, а ликуют. Поздравляю, дорогой друг, с победой. Чрезвычайно много ценного дала ваша разведка. Особенно языки. Шарахнули вы здорово фашистов!

Я взял его руку, пожал ее и не хотел отпустить. Я плакал и смеялся.

— Ты, товарищ Дубков, родной мой, не ругай меня за эти слезы. Это — от счастья и от горя, что не скоро возвращусь в свою часть.

— Ну-ну... стыдно волноваться воину. Конечно, полечиться придется: голову вот немножко потревожили... да и ногу просверлили. Но мы еще повоюем вместе... Да как еще повоюем!

— Ну, а как Назар?

— О! Учетистый и подбористый парень. По-прежнему заботлив и строг.

Он засмеялся весело, показывая белые зубы.

— А ведь доставил-то вас Назар. Никому из бойцов не уступал. «Вы, говорит, повредите его».

Я закрыл глаза и положил руку Дубкова себе на грудь. Не могу выразить словами, что мучило меня в эти минуты свидания с Дубковым. Стыдно было оттого, что, вероятно, я допустил какую-то ошибку во время боя с немцами. Об этом Дубков молчал, и мне казалось, что он щадил меня в моем тяжелом положении. Тревожно было и то, что в словах Дубкова я слышал подозрительную пылкость, несвойственную ему, и торопливую веселость, точно он хотел скрыть в этой игре что-то самое важное.

— Друг мой, родной Дубков, спасибо тебе... и за милую руку твою спасибо. Но почему ты не договариваешь?

Он наклонился над моей забинтованной головой, и я увидел его зеленоватые глаза, прозрачные и умные, с озорными искорками, и знакомый трепет его ноздрей.

— У тебя, политрук, дурная слабость к лирике слов. Это — порок для бойца. Война имеет свой язык — язык огня и стратегии. Договаривать будут наши пушки и штыки. А крепкий разговор ведут такие люди, как наш Назар.

— Милый Дубков... дорогой друг!

Я поднялся, опираясь на локоть, протянул к нему руку, но вдруг меня ослепила и обожгла молния, и я исчез в бездонной мгле.

Когда я очнулся, мне почудилось, что качаюсь на качелях, утопая в мучительно-огромном колокольном звоне, и эти качели раскачивает белая девушка. Молоденькая медсестра, похожая на мальчишку, держала мою руку в своей теплой и мягкой руке и с радостным удивлением в прозрачно-синих глазах улыбалась мне молча и пристально.

1942

МАЛАШИНО СЧАСТЬЕ

(Из записок специального корреспондента)

...Пурга неслась по площадке волнами и вихрями. Сквозь снежные шквалы грифельное многоэтажное здание заводоуправления казалось туманно-прозрачным. Оно как будто дрожало и отряхивалось. Высоко с края крыши выогой сметало снег. Низкие и далекие корпуса цехов за железной клеткой ограды похожи были на пакгаузы, а за ними темной башней поднималась градирня, окутанная густыми клубами пара. По дорожкам и по холмикам клумб, среди обломков толстых стеблей, неслась лихая поземка.

Потом наступала мягкая снежная тишина. С деловой озабоченностью через сквер и по тротуару, вдоль здания шли люди. Плечи и шапки у них были белые. Мальчишки бегали взапуски по площадке, орали, забрасывая друг друга снежками. Взрослые заражались их боевым весельем: они сгребали руками снег и бросали в мальчишек и прохожих.

Хорошо в эти пушистые дни снегопада идти в непроглядные белые дали и с наслаждением чувствовать, как хрустит молодой снег под ногами. Приятно взять деревянную лопату и расчищать дорожки. Мохнатый снег легко и пышно рассыпается по сторонам, блестит жемчугом. Весело смотреть на воробьев,

которые купаются в пуховом сугробе, трепеща крылышками и обильно обсыпаясь снежинками. Голоса людей кажутся ласковыми и молодыми. Зима.

По дорожке сквера шли три девушки, румяные от снега, в вязаных белых шапочках, в теплых рыжих пальтишках, в синих лыжных шароварах. Одна из них шла впереди, подняв лицо навстречу снегу, и плакала — плакала зло, с негодованием. Подруги заглядывали ей в лицо, пытались взять ее под руки, но никак не могли успокоить. Девушка стряхивала их руки и хотела, должно быть, остаться одна со своим горем. Вероятно, ей невыносимо было слышать их голоса, ощущать их назойливое участие.

— Ну, нельзя же так, Малаша... — ласково упрекала ее белокурая круглолицая подруга. — Я отказываюсь понимать тебя.

— Отстань! — с надломом в голосе оборвала ее плачущая девушка.

Другая тоже пыталась пристыдить ее.

— Это, Малка, безобразие!

— Отстань!

— Но послушай... — опять вмешалась первая. — Вот у Машеньки убили мужа... брат погиб как герой... но она только напряглась, как струна...

Девушка не отвечала. Лицо у нее было широкое, ядреное — этакое сочное русское лицо. Такие лица чаще всего встречаются на Урале — у сильных женщин, которых не согнешь, которые умеют постоять за себя.

Теперь — война, самая жестокая и кровопролитная. У свирепого врага один лозунг: истреблять пленных, уничтожать их мучительной смертью.

Может быть, эта девушка проводила на битву своего жениха — жизнерадостного парня. Проводила давно и каждый день ждала от него весточек. Вероятно, писал он короткие письма, веселые и бодрые, и обещал возвратиться с победой. Должно быть, она читала эти письма подругам и его друзьям и была счастлива: он доблестно дерется с врагом, он жив и полон горячей веры в победу. Он жив и возвратится к ней богатырем и героем. Эти письма горят любовью к ней, они

жгут ее сердце, и, конечно, она носит их с собою, потому что каждой своей строкою они вросли в ее сердце. Где-нибудь в цехе, в дымных грохочущих пространствах, во время обеденного перерыва Малаша лукаво мигнет подругам, призывно кивнет головой и под защитой какого-нибудь металлического великана, вроде гидравлического пресса, бережно вынет растрепанный конверт и скажет:

— Костино письмо... Почитаем, девчата?

А они ахнут от изумления и радости и уткнутся жадными лицами в конверт.

— Да ну? От Кости? Читай, читай, Малочка...

Она, как и в первый раз, читает нетерпеливо, пожирая строчки глазами, задыхается от волнения.

— Но ведь это письмо ты уже читала нам... — неосторожно замечает одна из подруг и немеет от грозного взгляда Малаши.

А другая с радостным нетерпением кричит:

— Ты ничего не понимаешь: такие письма можно читать тысячу раз, как новые!

Так хотелось думать, когда я смотрел на Малашу. О чем она плачет? Такое горе бывает только у девушек, которые уже никогда не увидят своего любимого. Может быть, там, за заводом, в березовой роще, в гуще серебряных стволов, пел им песню о любви хмельной ветерок весны... А июнь, взорванный бомбами и залитый первой кровью, разлучил их: одел его в походную гимнастерку и послал драться за родину, за нее, Малашу, и за свое счастье.

Конечно, она заняла его место и стала токарем. Чтобы сохранить свое счастье, надо вооружить его. А чтобы счастье горело в сердце ярче, надо работать так же хорошо и много, как он... Нет, надо было работать и за него и за себя!

Девушки прошли мимо и не заметили меня. А мне хотелось сказать большое, душевное слово о счастье, которое выпадает на долю юности не каждому поколению, — быть женою героя, который презирает смерть, потому что бессмертно любит жизнь.

Малаша вдруг остановилась и в порыве ненависти крикнула:

— Я никогда ей не прощу этого! Меня еще никто так не оскорблял... Как она смела... как смела!..

Одна из девушек сердито упрекнула ее:

— Ну, будет дурака валять, Маланья. Кровь у тебя взяли? Взяли. Приласкали? Приласкали. Ты хочешь, чтобы у тебя брали каждый день? Глупо. Мы — доноры, а донором надо уметь быть. Чувствуй себя донором каждую минуту, но отдавай свою кровь, когда призовут.

И, вдруг успокоившись, Малаша вытерла рукавом слезы.

— Хорошо. Я поеду сейчас в город. Там уж, конечно, возьмут мою кровь. А если нет, уеду сестрою на фронт.

— Ух, как это у тебя быстро! Фыр-фыр—и готово!

И девушки засмеялись. Малаша оторвалась от них и побежала в ту сторону, где звенел трамвай. Подруги молча смотрели ей вслед до тех пор, пока она не растаяла в белых облаках снегопада.

— Вот уж не ожидала, что у девки душа мокрая,— с обидой проворчала белокурая, а другая с завистливым раздумьем откликнулась:

— Нет, Малка даром слез не льет.

— Надо бы поехать с ней, Шура, а то она такая, что может нарубить дров...

— Ничего, не беспокойся: сейчас ей нельзя мешать. Все равно она доведет дело до конца. Она желает идти не за другими, а впереди. Гордая: никому не уступит первого места. Все борются за две нормы, она объявляет три... А как танцует! Чтобы обязательно растревожить всех... чтобы все ей завидовали.

— А что в этом, Шура, хорошего? Форс один...

— Не трепли языком, Валька,—рассердилась Шура и ласково ударила ее по руке. — Ты сама знаешь, какая она верная: пусть попробует кто-нибудь унизить тебя — ты не успеешь очухаться, а она уже в драку лезет. Возьми последний случай со мной: мне неинтересно, справедливо ли захамил мастер. Важно одно—захамил. А что она сделала? Подлетела к нему,

брови торчком, глаза — угольки: «Вот что, мастер! Извинись перед Шуркой! Сейчас же! Наизнанку тебя выверну. Так-то ты помогаешь работницам во время войны!» А когда он огрызаться начал, пригрозила ему многотиражкой. Струсил—извинился. Надо уметь заставить уважать себя вовремя.

Я прошел мимо них и снял перед ними шапку. Они с удивлением оглядели меня и лукаво переглянулись: что, мол, за вежливый и неожиданный незнакомец? Но вдруг как будто споткнулись и сконфуженно стали перешептываться, потом заулыбались и приветливо закивали головами. Они узнали меня: ведь в цехах завода я бывал каждую неделю.

В вагоне трамвая, в людской толчее, я не нашел Малаши. Кое-как пробравшись на переднюю площадку, увидел ее здесь, слева у двери. Она стояла ко мне спиной и смотрела в окно. На ее плечах, на шапочке пушистыми хлопьями лежал снег. Он был легкий, воздушный, в искрах: дунь на него — и он слетит, как пушинки одуванчика.

Пальтишко на ней было старенькое и легкое, а широкие синие шаровары спускались до самых щиколоток. Руки она держала в карманах пальто, но время от времени быстро вынимала то одну, то другую и потирала лоб и щеки. Стояла неподвижно, упрямо, но чувствовалось, что человек волнуется.

Кроме нас, на площадке были два красноармейца в шинелях и шапках. Один, с лихорадочными, но очень веселыми глазами, опирался на костыли, приподняв и согнув в колене толстую, в теплом чулке, ногу. Другой, смуглый и задумчивый, покачивал головою и страдальчески щурился, точно во рту у него было очень горько. Оба искоса посматривали на Малашу и перемигивались.

Малаша вдруг повернулась к ним с сердитой лукавинкой в глазах.

— Опять закрутили карусели... Кто это вас выживает из госпиталя? Какие это у вас неотложные дела в городе?

Боец с костылями наклонился, брезгливо посмотрел на толстую согнутую ногу и смущенно покачал головою.

— Ерунда, понимаете...

— А что? — участливо спросила Малаша и тоже взглянула на ногу. — Ты, Самойлов, бунтуй... Доктора всегда в оппозиции...

— Кость срослась, все в порядке, понимаете, а вот рана не закрывается. Капризничает.

Маша покраснела и робко спросила:

— А кровь переливали?

— Кровь льется там... — отрубая каждое слово, как заика, проворчал боец с окурышем. — Там она льется... там она и нужна, горячая!

И было больно смотреть на его судорожную улыбку и неестественное качание головы. Боец на костылях — Самойлов — дружески улыбнулся и кивнул на него головой.

— Он у нас — философ. Контузило его, языка лишился, а когда немного оклемался, размышлением стал заниматься. Раньше он у нас был [illegible]сун, певун и баянист. Баян у него погиб при отступлении, сейчас ему новый подарили. Только этот баян — тоже играет с размышлением...

Трамвай зазвонил, дернул, загремел и, поскрипывая, покатил по широкой дуге. Наперерез ему из улицы надвигался другой трамвай, окутанный снежной вьюгой. Снег кружился между нами и тем, дальним, трамваем широким вихрем, залетал на площадку и порхал белым пухом. Малаша смотрела на легкие хлопья снега, дула на них и ловила ладонью.

И было странно, что эта девушка только что гневно плакала.

— Кровь у меня позавчера взяли, а сегодня — от ворот поворот... У Клавы и Шуры брали уж раза по три. А я знаю, что у меня — замечательная кровь.

Она с обидой поглядела на каждого из нас по очереди.

У бойца-философа сильно затряслась голова. Он взял ее обеими ладонями за виски, точно боялся, как бы она не упала. С трудом выдавливая слова, он проговорил, ни к кому не обращаясь:

— Здесь — твоя к-кровь остынет... в баклажке... Г-горячая к-кровь только там, где ж-жарко...

Он отодвинул дверь, взял под руку товарища и с ласковой настойчивостью потянул за собою.

Малаша решительно нырнула внутрь вагона.

— Освободите место для раненых, граждане!

Ее звонкий, повелительный голос покрыл говор толпы, и в вагоне стало тихо. Даже кондукторша оборвала свои выкрики. Сердитый бас неодобрительно отозвался:

— Надо бы, гражданочка, попросить, а не командовать.

Малаша бойко оборвала его:

— Дело не в услуге, а в праве бойца на вашу любовь и заботу.

— Никто не протестует, дорогая гражданка, против права. Я возражаю против вашей формы...

— В такой уж форме уродилась. А если моя форма вам не нравится, я не виновата.

В вагоне засмеялись. Самойлов улыбнулся, подмигивая мне, и с восхищением кивнул на дверь.

— Фронтовая девка!

Опираясь на костыль, он ловко пропихнул себя в дверь.

Малаша опять вышла на площадку и стала рядом со мною, повернувшись к окну. Мимо проплывал сосновый лес, угрюмый, лохматый, с белыми клочьями на хвойных космах. Вблизи и вдали сквозь восковые стволы виднелись каменные и деревянные дома и целые кварталы маленьких коттеджей. Снег падал медленно, густо, мягко и близко за стеклом. Казалось, что весь мир наполнился этими порхающими белыми роями, и они, как живые, кружились и утомленно опускались на ослепительно белую землю. Открылась широкая просека. По снегу, без дороги, запряженная в розвальни, шагала лошадь, с пятнами снега на спине. В розвальнях стоял человек в желтой шубейке и красноармейском шлеме. Просека сразу же таяла в белых облаках снегопада, и сосны призрачно темнели вдали, как клубы дыма. Мелькали черными шестами металлические устои электропередачи. Группа

лыжников, опираясь на палки, прошла мимо, навстречу, в белых шлемах и свитерах. Двое из них смотрели на нас и улыбались.

Малаша приветственно махнула им рукою и засмеялась. Она осмотрела меня с головы до ног, и глаза ее заиграли веселой насмешкой, а длинные ресницы вздрагивали.

— Я видела: вы с подругами моими, кажется, разговаривали... а потом за мной пошли следом. И теперь наблюдаете. Я знаю...

Она вглядывалась в меня исподлобья, усмехалась, и подбородок ее прошивался дрожащими ямочками.

— Вы ошибаетесь, — пошутил я. — Я вас никогда не видел, а чем вы замечательны — не знаю.

— Меня весь завод знает.

— Не слышал. Впрочем, тут боец говорил, что вы будто бы хорошо танцуете... Достоинство — не из блестящих.

— Какое ни есть, а достоинство.

Она засмеялась, и смех у нее оказался мальчишечьим — озорным, порывистым. Зубы у нее были крупные и белые, а вверху между резцами виднелась щелочка. И от яркого румянца вся она казалась налитой здоровьем. Снежинки роями летали по площадке, кружились, падали ей на щеки, на плечи, на губы.

Вагон, похрамывая и грохоча, бежал по белому и волнистому полю. Оно таяло в снежном тумане. Низко летели галки вперегонку с трамваем, выбиваясь из сил. Они были неряшливы, помяты и махали крыльями неумело, неуклюже, с натугой, шарахаясь в сторону. На остановках люди не выходили из вагонов — ехали в город, а около вагона все суетились, толкали друг друга, рвались в самую гущу, точно лезли в драку. На шапках, на плечах и спинах лежали пухлые хлопья снега. Вагон так набит был людьми, что я ощущал эту тесную массу даже на площадке.

Малаша сбила ладонью снег с плеч и пристально посмотрела на свои руки. Потом заговорила просто, доверчиво, точно давно уже знала меня:

— Она, эта тыловая докториха, не чувствует огня в человеке. Потому что у нее у самой нет огня. Смотрит через мое плечо. «У вас, говорит, уже брали кровь... Повремените, говорит, надо проверить ваше физическое состояние». Физическое состояние! А на душу-то ей наплевать?

— А по-моему, докториха ваша права. Ее благодарить надо, а вы бунтуете. Душа-то у нее более чутка, чем у вас. Она отнеслась к вам как друг.

Вагон быстро несся по рельсам, покачиваясь из стороны в сторону. Над мутным полем летели снежные облака. Ветер швырял охапки снега. Малаша отмахивалась и закрывалась ладонью. Она с сердитой насмешкой посмотрела на меня и строго спросила:

— Что такое дружба, скажите, пожалуйста? — И, не ожидая ответа, убежденно определила: — Дружить — это другим жить... дорогим, любимым. Что самое дорогое? Моя жизнь? Нет, другое, ради чего и жизнью с радостью пожертвуешь... кровь свою по капельке отдашь. Отсюда — и подвиги, и чудеса, и верность. Тогда даже нестерпимая потребность отдать свою кровь...

— Вы, должно быть, много мечтаете, дорогая девушка...

— Я об этом только и думаю. На войне — там такая дружба на каждом шагу. Вот, например, в бою тяжело ранило командира. Боец выносит его на себе под ливнем пуль. Когда он уже у безопасного места, его самого ранит. Он обнимает своего командира, улыбается ему и шепчет: «Живи, товарищ командир, будь здоров и бей фашистов без пощады».

С застывшей улыбкой она смотрела мимо меня, в окно, и как будто прислушивалась к себе. На переносье дрожали морщинки, точно она собиралась плакать. Лицо ее вдруг вспыхнуло от нетерпеливого порыва и стало очень привлекательным и милым.

— Я хочу о нашей Стеше вам сказать... Вы ее знаете? Кто ее не знает! Здесь же, на нашем заводе, работала. Сразу же в первый месяц войны на курсы

сандружинниц поступила. А потом на войну отправилась. Провожали мы ее целой гурьбой. Я никогда не забуду ее лица: такое лицо один раз в жизни бывает. Курносенькая она у нас была, щекастая — матрешка такая, а вот стояла она в дверях санитарного вагона, уплывала вместе с поездом, и мне новой казалась, а мы в сравнении с ней — маленькие... И горько было, и реветь хотелось, и обожала я ее в эти минуты... Бегу рядом с ее вагоном и кричу: «Стешенька! Девочка моя! Радость моя!..» А она простенько так говорит мне — наказывает, как старшая: «Ты, Малочка, скажи девчатам, чтобы работали, как никогда, — так работайте, чтобы я и ребята наши на фронте всегда вас чувствовали». Смеется, машет платочком. А я ослепла от слез — ничего не вижу...

Вагон с лязгом остановился в городском предместье. Окутанные душным паром, выходили из двери люди, прыгали с лесенки в пургу.

Над нашими головами шоркнула веревка и звякнула звонком в следующем вагоне, вдали едва слышно откликнулся другой, им отозвался дребезжащий звонок вагоновожатого, и трамвай, кряхтя и посапывая, покатил дальше. Деревянные трехоконные домики предместья зябко ежились. Одни были кривобокие, другие низко сидели на земле и похожи были на кур в гнезде. Окна у них были слепые и сонно мигали сквозь взлеты выоги.

Малаша вздохнула, вспоминая о прошлом. Потом оживилась и горячо заговорила:

— Какая цель — такое и счастье. Додумалась я до этого после истории со Стешей, а потом — когда стала драться за отличные показатели на своем станке. А Стеша на весь Союз прогремела: все газеты о ней писали, портреты ее печатали. И такая же она с газеты смотрела — курносенькая, щекастая матрешка. На кудлатой голове пилотка, одета в шинель, с толстой сумкой через плечо. Так и кажется — кивнет мне головой и улыбнется. Понимаете, голова кружилась, когда о ее подвигах читала. А вот в письмах о своих делах — ни слова. Может быть, писать не горазда, а может

быть, считала, что делами-то своими и хвалиться нечего. «Бои, говорит, идут жаркие, враг, как бешеный зверь, рвется, а мы работаем не покладая рук. Бывает, говорит, и спать не приходится. А вообще, говорит, о себе писать нечего». И просит: «Работайте и вы, девчата: ведь от ваших побед на трудовом фронте зависят и наши победы». Этакие простые слова, а в письме они за душу хватали. Получим такое письмо и в раж приходим: изобретаем, рассчитываем, головы ломаем над рационализацией. Однажды я даже три нормы выработала. И не так мне благодарность директора была дорога, как письмо Стеши, когда я ей о своем рекорде написала. «Спасибо, говорит, родная Малочка, подружка моя дорогая, что ты дерешься за победу вместе с нами. Мы это тоже реально чувствуем». Она это слово «реально» никогда не произносила, как-то не шло оно к ней. А когда мы прочли его в цехе, так я чуть не заревела.

Пассажиры выходили на остановках долго, и вместе с ними вырывались клубы банного пара.

Малаша сорвала с головы шапочку, стряхнула снег. Волосы длинными кудрями упали на лоб. Она отбросила их назад, потом пригладила ладонью. Какое-то тревожное беспокойство чувствовалось в ее движениях — во взмахах рук, в повороте головы, в неожиданно испытующем взгляде. Она опять надела шапочку и, как будто вспомнив что-то забавное, рассмеялась.

— Ах, если бы вы знали! Простенькая наша девчуха, над которой все подтрунивали, которая боялась мастеру слово сказать, перед бригадиром дрожала и считала себя недотепой... Вы понимаете, эта простушка Стеша великим человеком оказалась... Вот этот боец с костылями с ней вместе был, она его и из окружения вынесла на себе — обе ноги раздробило ему, и пуля в грудь навылет. Благодарность ей командование объявило. Так вот он рассказывал, как она этой благодарности испугалась и спряталась за спины бойцов. Тащат ее под руки, а она полумертвая от страха. Милая матрешка, это на нее похоже! Вот

этот с костылями в госпитале даже про нее стихи написал:

Наша Стеша, милая подруга, —
Мать, сестра и нежная слуга.
Не страшна ей боевая вьюга,
Не страшны ей ужасы врага...
Под огнем все раны перевяжет,
С поля боя вынесет, как мать.
Улыбаясь, слово ласковое скажет,
Не забудет и поцеловать...

Рассказывал он лучше, чем сочинял стихи.

Во время боя Стеша переползала от одного раненого к другому, перевязывала раны, шутила, улыбалась, ласково поглаживала рукою по волосам и ободряла: «Ну, что это за рана? Пустяки! Чего стонать-то? А плакать-то зачем?» А боец хватает ее руку, прижимает к себе и лепечет, — лепечет и улыбается сквозь слезы: «Это я, Стеша, от счастья плачу: за такую душу и за любовь такую хочется жизнь отдать». А она смеется и целует его: «Зачем же, говорит, жизнь-то отдавать? Как раз наоборот: сохранить ее надо. Обними меня, товарищ, да прижмись покрепче!» Повернется с ним и поползет.

Мы вышли, хотя мне нужно было ехать дальше. Я охотно подчинился Малаше.

— Мы уж с вами, как давнишние приятели, — сказала она, взяв меня под руку.

— Конечно, — подтвердил я серьезно, — приятели с той минуты, когда я увидел вас в слезах.

Она толкнула меня плечом и засмеялась.

Мы стояли на углу тротуара. Люди торопились куда-то с растерянными лицами. Больше было женщин с «авоськами», с мешками.

Мимо нас медленно прошла молодая женщина в теплой шали. Она плакала, — плакала странно: всхлипывала в платок, украдкой, и вся ушла в свое горе. Шла она, не видя людей, с высоко поднятой головой.

— Вы заметили? — растрогалась Малаша. — Слез сейчас очень много, но редко увидите людей, которые выносят свою боль на улицу. Это — не покорные и не

бессильные слезы... не от отчаяния. Гордость тоже плачет.

Где-то посвистывал милиционер. Звякал звонком трамвай.

Около нас опять очутились оба бойца. Самойлов улыбался и с почтительной нежностью любовался девушкой. Второй продолжал качать головой, точно он окончательно не соглашался с тем, что видел перед собою: ни с нами, ни с уличными толпами, ни с домами, ни с снегопадом, который наискось расчесывал улицу и растушевывал дома и людей.

— А я открыто, при бойцах, плакал... во время боя, — простодушно заметил Самойлов. — Ничего не стыдно было... должно быть, иначе душу выразить не мог.

Товарищ его сильно затряс головой и, заикаясь, раздумчиво проговорил:

— Л-льют слез-зы и бер-резы...

Я еще на площадке заметил, что он говорил, подхватывая слова товарища: точно выражал скрытые мысли своего друга.

— Ну, пошли, товарищи! — решительно пригласила нас Малаша. — Вы в какую сторону? — обратилась она к бойцам.

Самойлов поправил костыли, оперся руками в перекладинки в разлучине и, улыбаясь, сообщил с радостной готовностью:

— А мы с товарищем Колодкиным в госпиталь, — вон в тот, что в сером дворце... фабрика-кухня, что ли, когда-то была. Там — наш близкий друг... лейтенант Мезенцев. Тяжело ему... газовая гангрена... обе ноги. Хоть кости и целы, а человек в опасности. Привезли на днях. Не пускали нас — сознание теряет. Сегодня наверняка добьемся. Хороший парень...

Малаша так взволновалась, что лицо ее вспыхнуло алыми пятнами. Она порывисто бросилась к Самойлову и крикнула на всю улицу:

— Чего же вы молчали? Чудаки вы, ребята! И я с вами...

— Да ведь не допустят. Это — не так просто, Малаша.

— Как это не пустят? Чтоб я не добилась? За кого вы меня считаете? Туда-то мне и надо. Обязательно пустят. Я — донор!

Она настойчиво потянула меня за собой.

— Пошли, товарищи!

Мы с трудом пробрались сквозь людскую толчею и вышли на широкую площадь — всю ослепительно белую от свежего снега. Сквозь густые вихри пурги мутно и угрюмо громоздились высокие дома. Порывы ветра рвали эти снежные вихри и охапками бросали в разные стороны. Снег бил нам в лица, ошпаривал мокрым холодом и залеплял глаза. Глухо звонил трамвай, и где-то настойчиво и требовательно выли гудки автомашин. С ревом и треском пронеслась перед нами по мостовой, играя гусеницами, приплюснутая танкетка с вытянутой назад пушкой в чехле.

— Эх, и убийственная штучка! — заликовал Самойлов. — Побольше бы нам таких машинок! Мы бы немцев-то быстрым маршем осадили назад.

Колодкин отозвался с обычной вдумчивостью:

— Они, эти машинки, тоже — на излечении. Вместе с резервами и мы пойдем скоро теснить и гнать ф-фашистов... кол-лотить! Истреблять!.. Н-не забуду во веки веков... н-не прощу до п-последнего д-дыхания. Д-душа горит... Детишки, детишки! Трех детишек од-нажды видел повешенными на тр-апеции в школе... и с ними учительница... молоденькая такая, милая...

Колодкин схватил голову руками.

— Друг! — очень задушевно сказал ему Самойлов и даже повернулся к нему на костылях. — Молчи, друг дорогой! Храни это в спокойствии... копи для боев. А здесь... здесь это умаляет тебя. Пустой огонь и пепла не дает.

— Что же дальше со Стешей? — спросил я.

Малаша в изумлении набросилась на меня.

— Ну, как не стыдно! О Стеше знает каждый мальчишка на улице. Девочки в Стешу играют в школе, а вы задаете вопросы, как иностранец! Неужели вы не читали о санитарке Бережковой?

Негодование Малаши было основательно: кто же не знал о санитарке Бережковой? Но как-то невдомек

мне было, что Стеша именно та знаменитая Бережкова, о подвигах которой сообщали все газеты...

«Курносая матрешка» была великой женщиной. Стеша обожгла Малаше душу, и она затосковала о подвигах и жертвах. Стеша незаметно, без позы — какая уж там «поза» на войне! — делала свое скромное и трудное дело: помогала раненым под градом мин и снарядов, не думая ни о наградах, ни о славе. Она выполняла свою работу так же старательно, как когда-то на заводе, и очень боялась, как бы ей не сделали замечания. Однажды после боя красноармейцы спросили ее:

— Товарищ Бережкова, скажи-ка, по правде: ведь душа-то в пятки уходит, когда ползешь на передовой линии?

Бойцы — народ веселый: любят посмеяться, подтрунить над товарищем — так, добродушно, без всякого ехидства. Вот, мол, девчонка начнет хорохориться, бахвалиться, рисоваться своим бесстрашием — тут и начнется потеха... Но Бережкова вся съежилась и залепетала, вздыхая...

— Очень даже страшно, товарищи. Замираешь от ужаса, а дело делаешь... Дрожишь вся и даже готова в обморок упасть. Но ведь надо же! Для чего же я на фронт поехала? И вам ведь, товарищи, страшно...

Однажды она попала в такой переплет в разгар боя, что выхода, казалось, никакого уж нет и гибель — неотвратима. Земля взрывалась к небу черными смерчами. Бережкова прижималась к блеклой и смятой траве, терпко пахнувшей осенью, и подползала то к одному, то к другому бойцу. Они стонали, звали ее то вблизи, то издалека, и она, задыхаясь от усталости, чувствовала, что в такие минуты только одна отвечает за этих людей, что жизнь каждого из них зависит от нее, что вот не успеет она спасти кого-нибудь — вынести из урагана смерти — и не перенесет взгляда товарищей, потому что глаза их обожгут убийственным вопросом:

— Как же это ты, Бережкова? Струсила?

И в то же время сознавала, что здесь, среди ле-

жащих товарищей, она сильнее всех, нужнее всех, значительнее всех, что только она решает их участь — жить им или умереть. И это сознание потрясало ее гордостью и грозным приказом из глубины души: не зевай, успевай вовремя!

Она перевязала троих раненых, оттащила их в свежую воронку и поползла к обочине шоссе, где чутким ухом уловила слабый, почти младенческий стон — даже не стон, а плач. Подползла к раненому и стала накладывать повязку. Раненый хватал ее руки и плакал, как младенец. В эту минуту она услышала рев и лязг танка. Подняла голову и увидела, как немецкая машина, стреляя, подпрыгивая, переваливаясь с боку на бок, неслась прямо на нее. У раненого было две связки гранат, а рядом лежал автомат. Бережкова уже знала, как нужно бросать гранаты, и не раз упражнялась в стрельбе из автомата. Танк мчался быстро, и Бережкова видела, как он подпрыгивал и рвался из стороны в сторону. Она уже хорошо знала, что враги заметили ее и нарочно устремились в ее сторону. И в тот миг, когда спасение казалось немыслимым и танк с ревом и лязгом был уже совсем рядом, она инстинктивно рванула на себя раненого и откатилась с ним в сторону. Это одно осталось у ней в памяти, дальше она уже ничего не помнила. Очнулась Бережкова от страшных взрывов и на мгновение отметила, как танк подбросило и повернуло на месте. И опять все исчезло, только смутно, как в кошмарном сне, она ощущала огненный туман, бурю и не то рев сирены, не то вой толпы. Потом опять все прояснилось, и Бережкова открыла огонь из автомата по бегущим к ней немцам. Один из них упал, другой стрелял в нее, но вдруг пустился бежать в сторону, широко взмахивая руками. Когда она совсем пришла в себя, около танка суетились наши бойцы, и в ушах звенела тишина, изнурительная, тревожная, как после грозового урагана.

...— И я твердо решила: поеду на фронт, — горячо заявила Малаша. — Я должна заменить Стешу... обязательно! И если этого не добьюсь, я, кажется, с ума сойду.

— Вы, милая Малаша, глупости говорите, —

упрекнул я ее. — Вы делаете такое же великое дело, как и Стеша.

— Стеша... Стеша уже... понимаете? Стеша уже отработала...

— Как — погибла? ранена?

— Пала смертью храбрых, как в газетах пишут. И, по-вашему, я должна только почтить ее память вставанием?

Впереди костылял Самойлов, и, шагая, отрицательно качал головой Колодкин. Они говорили оживленно, но слова их долетали невнятно, уносились пургой.

В этом госпитале я бывал не раз. Здесь лечились командиры и политработники. И хотя многие из них были прикованы к койкам — тяжело раненные в грудь, в голову, в ноги, в живот, — в палатках раздавался жизнерадостный смех и задумчиво лилась хоровая песня — люди были молоды и хотели жить.

Комиссаром госпиталя был мой приятель, начинающий беллетрист Голобоков, коренастый парень, с обликом цехового рабочего. Близко знал я и начальника госпиталя — врача Благово, неправдоподобно тощего и длинноногого человека, с узеньким бледным личиком, с жидкими седыми волосами и ехидной бородкой, которую он постоянно теребил двумя пальцами. Казалось странным, что говорил он очень тихо, ироническим тенорком и при этом удивленно поднимал брови. А брови у него были странные — длинные, с хвостиками. Военное обмундирование совсем к нему не шло, а «шпалы» как будто его расстраивали.

— Вот-с, извольте-с, — ворчал он, шевеля хвостиками бровей, — шпалами меня нагрузили... Ну, по шпалам я еще могу шагать, а со шпалами... это, извольте-с... не по моей костлявой комплекции.

И он смеялся над своей неудачной остротой.

Голобоков иногда заходил ко мне, оставлял скучные рукописи и трогательно не замечал моего грустного лица, когда я брал у него толстые пачки бумаги. В своих романах и повестях он изображал гражданскую войну, и фиолетовые страницы оглушали меня

«утробными криками» — «ура». Но Голобоков был хороший, добрый парень и относился ко мне уважительно и любовно.

Встретил он нас в своем просторном кабинете, уютно обставленном черной мягкой мебелью. Обоих наших спутников, раненых бойцов, Голобоков уже знал, а перед Малашей расшаркался, заликовал и так крепко пожал ей руку, что она вскрикнула, а потом с сожалением посмотрела на свои пальцы.

— Вот хорошо! вот неожиданность! Ух, как здорово!..

Малаша смотрела на него смеющимися глазами.

Голобоков по-военному повернулся к бойцам и сделал скорбное лицо.

— А к вашему товарищу сейчас нельзя: он очень плох — лежит почти без движения. Благово решил принять меры, иначе дело будет швах. Кровки ему надо побольше... кровки — здоровой, молодой...

Малаша крикнула:

— Вот я и пришла сюда. Узнала и пришла... понимаете? Я вас прошу... возьмите мою кровь...

— Это замечательно! — так же радостно крикнул Голобоков и шлепнул ладонями.

Он был искренний и горячий парень, но слишком несдержанный в своих чувствах. Зная эту особенность его характера, я не совсем доверял его ликованию. Я поспешил успокоить их обоих:

— Давайте-ка, друзья, лучше всего договоримся с Благово: все от него зависит. Товарищам бойцам придется или отдохнуть здесь, или встретиться с их соратником в другой раз.

Голобоков быстро побежал к письменному столу с большим чернильным прибором уральского литья — группа дерущихся лошадей и казахских наездников, которые укрощали их, — и на ходу схватил телефонную трубку.

Улыбаясь, он вежливо попросил Благово пожаловать для экстренного и краткого разговора. Очень осторожно положил трубку и, не угашая улыбки, поощрительно посмотрел на каждого из нас.

— Ну, как? Живем, значит? А нам всё понемножку подвозят. Но какие люди! какие ребята! Видели смерть, а говорят о жизни.

— Ничего нет удивительного, — усмехнулся Самойлов, постукивая костылями. — Я вот никогда, кажется, не был таким жизнерадостным, как сейчас. А ведь находился, как говорится, в объятиях смерти.

— Я всегда был и буду оптимистом, — заволновался Голобоков. — Есть наслаждение в бою... еще Пушкин это утверждал. Я верю только в непререкаемую силу жизни. Моя вера...

Покачивая головою, Колодкин перебил его недовольно:

— Вера — не горючий материал для оптимизма. Оптимизм надо заработать. В этом и есть красота человека.

— Правильно! — крикнула Малаша и даже подпрыгнула от удовольствия.

На площадке вагона Колодкин казался мне незаметным и мало развитым человеком, и говорил он как-то странно — неуклюже, с претензией на мудрость: читал человек популярные брошюрки и заучил газетные фразы. Но сейчас это был другой человек: он внезапно вырос, в лице его вспыхнуло что-то похожее на угрозу. Голова его стала меньше качаться, но встряхивалась порывами. Он занят был какой-то очень острой мыслью, которая жгла его давно, и от этого в коричневых глазах вспыхнул жарок.

— Война учит очень многому... прежде всего познавать самого себя и... смысл жизни...

Дверь нерешительно отворилась, потом осторожно опять закрылась и начала беспокойно подрагивать. Вдруг она быстро распахнулась, и в комнату широко шагнул Благово. Он наклонил пегую голову и поверх очков стал осматривать каждого из нас. Весь белый, он шел, как на ходулях. Густые брови шевелились странно: одна поднялась на лоб, другая опустилась, и хвостики на концах вздрагивали.

— О! народ? Это что, делегация, что ли? Хо, и вы? — почему-то удивился он, здороваясь со мною, и затеребил свою ехидную бородку.

— Вот... пришли товарищи... — пояснил Голобоков, показывая на нас пальцем.

— Факт бесспорный... да-с, вижу, пришли... — подтвердил Благово, вопросительно оглядывая каждого из гостей. — Свидания не будет, товарищи бойцы, — рассердился он. — Можете возвратиться в госпиталь. Прогулка не оправдывается вашей самоотверженностью. Культура требует пользоваться телефоном.

И сухо обратился к Малаше:

— А вам чем обязан, чтобы выразить свое удовольствие?

Малаша смутилась, очень покраснела и некстати засмеялась.

— Да вот пришла, потому что здорова, силы много...

— Резонный ответ. Но какое это имеет отношение к нашему госпиталю?

— Самое прямое... — пересиливая смущение, заявила Малаша.

Казалось, что Благово не на шутку рассердился. Вопросительно посматривая на Голобокова, он как будто готов был накричать на него и выбежать из комнаты. Голобоков, подавляя лукавую усмешку, сдержанно и почтительно ответил:

— Это — заводская работница. Она пришла к нам с хорошим предложением.

Все стояли около Благово, за исключением Самойлова, который играл костылями. Колодкин занят был своими мыслями и, не соглашаясь с ними, отрицательно покачивал головой. Он как будто совсем не интересовался разговором и не обращал внимания на странную борьбу, которая происходила между Благово и нами.

Малаша настороженно следила за лицом, за голосом, за сердитыми движениями Благово. На скулах у нее горели яркие красные пятна, и ноздри вздрагивали от волнения.

Она порывисто схватила его руку и, волнуясь, звонко крикнула:

— Голубчик, дорогой доктор, вот у вас Мезенцев... его надо возвратить к жизни... Моя кровь мгновенно оживит его... Товарищ Благово! Вы должны чувствовать... У меня крови этой больше, чем нужно... Я не уйду отсюда.

Благово впервые улыбнулся. Девушка понравилась ему, но он все-таки хотел сохранить неприступный вид.

— Напрасно беспокоились. У нас достаточно и готовой крови. А потом ваша кровь, хоть и замечательная, может не подойти.

— Уверяю вас, подойдет... Поймите, что я хочу...

— А если хотите, отправляйтесь на донорский пункт.

— Я хочу сама видеть, как моя кровь вливает жизнь в человека... Какой вы нечуткий, товарищ Благово!

Благово был человек опытный: за долголетнюю свою работу он встречался со всякими характерами и неожиданными поступками людей. Он внимательно выслушал Малашу и терпеливо проверил ее пристальным взглядом. Брови нахмурились и круто изогнулись посредине, вскинув хвостики к вискам. В зрачках у него заиграли веселые искорки.

Малаша с сердитой мольбой в упор спросила его:

— Скажите, можно это сделать или нельзя?

— Конечно, можно. Дело несложное.

— Ну и что же? — вскрикнула Малаша и с радостной надеждой опять устремилась к Благово.

Он затеребил бородку и обвел нас вопросительным взглядом.

— Случай любопытный и редкий в нашей работе...

— Это замечательный случай, — подхватил Голобоков. — Я думаю, что надо воспользоваться... Да и желание девушки вполне законно.

Благово смерил Малашу глазами с ног до головы, сделал сердитое лицо.

— Хорошо-с! Пожалуйте со мной.

И, круто повернувшись, широко зашагал к двери.

— Товарищ Благово! — пораженная, крикнула Ма-

лаша. — Какой вы чудесный человек! Так бы и расцеловала вас.

Все засмеялись. Стало свободно, легко, все заговорили сразу и как-то по-новому хорошо почувствовали друг друга.

Малаша ушла с Благово, а мы вместе с комиссаром, в сопровождении хирурга, белокурого и румяного человека, направились в палаты.

В коридоре ходили на костылях больные в серых балахонах. Быстро пробегали медсестры с развевающимися полами белых халатов. Откуда-то издалека доносились стоны баяна. Медленно, задерживаясь на каждом шагу, прошел, с открытой книгой в руке, очень задумчивый, ушедший в себя больной, со спущенными на лоб косичками седых волос. Но, судя по лицу, он был еще юноша.

— Седых у нас много перебывало... — тихо сказал мне Голобоков. — Парень этот трое суток находился в плену, пережил пытки, потом его расстреливали, но он был только ранен и бежал. Какая сила жизни!

В просторной и светлой палате, на кроватях с высокими сверкающими спинками, среди белого постельного белья видны были больничные лица людей. У всех одна нога была поднята и лежала на подставке.

— Рана в бедро, — тоном профессора пояснил врач. — Раздробление костей осколком. Этих осколков мы извлекли уже целую кучу. А теперь стараемся привести ноги в порядок. Они подвешены, чтобы сохранить движение.

Больные с раздробленными коленными суставами дергали рукою шнур, протянутый от задней спинки кровати к передней, и приводили ногу в движение в коленке.

Молодой парень, очень худой, с выщелкнутыми ключицами, лежал на боку и хлебал суп из тарелки на стуле. Глаза у него были свежие и ядреные, как у мальчика, даже белки были с голубизной. Они радостно смотрели на ложку и на нас.

— Товарищ доктор! — крикнул он с восторгом и стал быстро поднимать и опускать голову. — Товарищ

доктор, голова моя победоносно действует — глядите! А вчера пришита была к подушке. Значит, товарищ доктор, всё водворяется на свое место... Поборемся еще, товарищ доктор!

— Поздравляю, товарищ сержант! — с удовольствием поощрил его врач. — Я же не напрасно уверял вас. Лихой был разведчик... — разъяснил он, весело кивая головой.

Сержант, ликуя, бросил ложку в тарелку и засмеялся:

— Выздоровлю — опять пойду в разведку. Разведка — рисковое дело... очень даже интересное... всю душу захватывает...

Рядом с ним лежал такой же бледный, длиннолицый человек с темными волосами на щеках и подбородке и молодыми усиками. Лицо его от этого казалось очень красивым. На обнаженной груди краснел шрам. Из-под белой рубахи тянулась резиновая трубка. Она разделялась стеклянным цилиндром, в котором виднелась водянисто-кровавая жидкость. Человек сухо покашливал. Он не смотрел на нас и молча размышлял о чем-то очень важном. На ликование парня он не обращал внимания. Но было мгновение, когда он чуть-чуть поморщился и нервно пошевелил пальцами. Врач потрогал зажим на резиновой трубочке, жидкость в стеклянном цилиндрике заволновалась, но больной по-прежнему был безучастен и даже не поднял глаз.

Словоохотливый парень, не сдерживая своей радости, бодро поднял голову, засмеялся глазами и указал пальцем на больного.

— Товарищ лейтенант душевно переживает: никак не согласен с болезнью. Страдает, что Гитлера разобьют без него. И верно: мы вроде — на месте, да сердце не на месте...

Больной поднял печальные, странно далекие глаза и задержал их на мне. Что-то вроде улыбки дрогнуло на его лице, и мне почудилось, что глаза его блеснули слезами.

— Гнойный плеврит, — разъяснил доктор и почему-то озабоченно потрогал пальцами его простыню

и одеяло. — Ранение в легкое. Деликатно выражаясь, гнусное ранение.

Глаза больного казались большими и очень добрыми, но в зрачках была такая глубина и спокойствие, такая тоска, что я, потрясенный, не мог отойти от него.

— Ну, лейтенант, сегодня вы чувствуете себя еще лучше, — уверенно сказал ему врач и дружески улыбнулся.

Больной ничего не ответил и закрыл глаза. Веки у него задрожали.

Когда мы отошли, врач шепнул мне тревожно:

— Скверно, когда человек начинает погружаться в себя. Я очень боюсь за него. Прислали ему на днях товарищи письмо с фронта, а он не дочитал, и оно упало на пол. Его надо взволновать какой-то большой радостью...

Около двери лежал юноша с цветущим лицом. Он с упоением читал толстую книгу и улыбался.

Врач остановился перед ним и нахмурился.

— Вам не следует увлекаться чтением, дорогой мой.

— А почему? — не отрывая глаз от книги и не угашая улыбки, ответил раненый. — Замечательная книга.

— Прибыл сегодня ночью, — сообщил доктор. — Осколок раздробил бедро и засел в сплетении артерий. Если не удалить немедленно, большая опасность для жизни.

Больной с сожалением положил книгу на стул и с вызывающей усмешкой в серых глазах сказал:

— А вы и выполняйте свой план, доктор. В чем дело?

— В том дело, видите ли, — смутился врач, — что может случиться... правда, это бывает один раз из трех... может случиться, что и ногу придется отнять.

Раненый смотрел на врача с иронической усмешкой.

— Ежели бы, доктор, на войне мы так гадали, как вы, черта бы полосатого мы погнали фрицев от Москвы. Риск тогда ведет к победе, когда есть вера в успех

дела. А вера теперь, товарищ доктор, строится на расчете.

— А вы не хорохорьтесь. Остаться без ноги не особенно приятно.

Раненый досадливо отмахнулся и сердито нахмурил брови.

— Оставим этот разговор. Не храбрость, а — расчет. Что лучше — остаться без ноги или лишиться жизни? А я вот в себе уверен: без ноги не останусь.

Доктор одобрительно закивал головой.

— Это мне нравится...

— Всё в порядке, доктор.

И раненый опять взял книгу в руки.

Уже в коридоре врач удивленно покачал головой и сделал такое лицо, точно его охватил ужас.

— Вы не представляете себе, какие адские боли переносит он сейчас. А как благодушествует! Читает и даже вступает в дискуссию. Сегодня ночью его сняли с санитарного поезда как опасного: дальше везти было нельзя.

Не обращая на нас внимания, смуглый скуластый паренек, с черными волосами на голове, лежал на кровати и всей палате рассказывал о том, как он дрался с немцами.

— Интересный парень, — прошептал комиссар. — Бурят Доржиев, пулеметчик... Впрочем, тут все один другого стоят...

— Заметьте при этом, — перебил его врач, — весь исполосован пулями и осколками — живого места нет. А своих ран и обмороженных рук и ног как будто и замечать не желает.

— Ну, значит, остался я вдвоем с пулеметом... обыкновенное дело! — рассказывал Доржиев. — А у меня уже два ранения — в бок садануло и в зад. А рядом со мною товарищи мои лежат — Гриша Арефьев и Кузя Галкин. Лежат товарищи: один калачиком свернулся, другой лицом в землю. Ну, в сердце у меня, сами знаете, — черный огонь. А они лезут... Озлился до смерти. В упор чешу... Тут они в снег, врастяжку. Ну, а я — на другое место со своей ма-

шинкой. Обыкновенное дело! Пока они там очухаются, я — на новую позицию, во фланг им. Только они запрыгают с ревом: «Сдавайся, рус!» — а я их градом прочесываю... Прямо я для них — шапка-невидимка. Чесанул я их напоследок... И вдруг...

Доржиев замолк и улыбнулся. Потом тихо и сконфуженно закончил:

— Жиг меня еще раз, жиг еще другой... В голове — красный туман... Ну, думаю, конец... Конец, а сам не согласен... И вот в этот самый момент...

В палате стало так тихо, что слышно было дыхание людей. Мне показалось, что Доржиев всхлипнул, но он как-то бесстрастно и лениво пояснил:

— В этот самый момент... сразу тишина... такая тишина, как будто в пропасть полетел. Очнулся я, и сейчас же — к пулемету. А тут вместо пулемета вот эти мои ордена. Да и очнулся-то в лазарете. Обыкновенное дело!..

...В кабинете Благово, просторном, очень светлом, обставленном с холодной больничной простотой, Малаша встретила нас звонким криком:

— Моя взяла, товарищи! Всё в порядке. А товарищ Благово — отец родной.

Благово сдвинул очки на лоб, и желтые его глазки колюче вонзились в ликующее лицо Малаши, но в зрачках играли веселые искорки.

Он невнятно отдал какое-то распоряжение врачу и подхватил под руку Малашу.

— Вы, дорогая девушка, тоже пожалуйте с ним — туда же...

Малаша сконфузилась, вздохнула и, уходя, засмеялась.

— Жгучий характер... — усмехнулся Благово. — Такая не даст себя обезоружить...

— Ну, и у вас тоже характерец, — уязвил я его. — Всласть помучили девчонку... Что это? Профессиональная привычка?

Он вскинул одну бровь высоко на лоб, а другую вонзил в переносье. Острые глазки его весело смеялись.

— У врачей, как и у писателей, профессиональная слабость — выводить людей на чистую воду. Или, как говорится, за ушко да на солнышко...

Пользуясь хорошим расположением его духа, я попросил у него позволения присутствовать при процедуре переливания крови.

В хирургической палате, просторной, белой, с огромными окнами, полной небесного света, на высоком столе, утопая в белоснежном белье, лежала Малаша, а на другом, низком, — неподвижный больной с мертвенно бледным лицом, с отросшими черными волосами на щеках и подбородке. Он лежал покорный, немой, с закрытыми веками и дышал едва заметно. Малаша смущенно и счастливо улыбнулась мне и вздохнула. Две сестры, с белыми масками от глаз до подбородка, — одна молоденькая, немного раскосая, другая — высокая, пожилая, с усталыми глазами, — приготовляли какой-то аппарат.

— Протяните руку! — ласково и грустно сказала пожилая сестра, и Малаша послушно вытянула левую руку в сторону больного.

Стеклянный баллон с таинственным приспособлением лежал на низком белом столике.

Малаша лежала неподвижно и не отрывала глаз от больного. А он, как в обмороке, вытянулся на столе под простыней, и грудь его поднималась и опускалась медленно и судорожно. Глаза его были полуоткрыты и наблюдали за сестрами с немым интересом ребенка. Потом он с трудом, толчками, повернул лицо к Малаше, открыл глаза и с изумлением проснувшегося человека всмотрелся в нее, как будто не понимая, что происходит.

Благово тихо и деловито бросал пожилой сестре отдельные слова. Белокурый врач взял блестящий наконечник и вонзил его в руку Малаши. Молоденькая сестра держала ее руку, хотя в этом и не было надобности: Малаша даже не дрогнула, она улыбалась как завороженная. Пожилая сестра молча и неторопливо делала что-то с рукой больного.

В баллоне забурлила, запузырилась густая алая кровь.

Малаша, сосредоточенная, прислушиваясь к себе, смотрела на больного широко открытыми глазами. Она старалась уловить в его мертвенно застывшем лице хоть бы призрачное трепетание жизни и ждала с затаенным дыханием. И я видел, что она верила в целительную силу своей крови, что чудо должно обязательно совершиться сейчас же.

В эти секунды в палате была напряженная тишина. Не слышно было даже дыхания людей и шелеста халатов. Каждый миг, как удар сердца, был напряжен ожиданием. Молодой врач подошел к больному и взял его за кисть другой руки, безжизненной, будто парализованной, и стал безмолвно прислушиваться к пульсу. На румяном лице его мелькнула неуверенная улыбка. Он с недоумением взглянул на Благово, а тот, словно ждал этого улыбающегося взгляда своего коллеги, одобрительно кивнул головой.

— Хорошо-с... — пропел он добродушным фальцетом. — Вот и влили эликсир жизни...

Молоденькая сестра торопливо хлопотала над рукой Малаши, а пожилая ласково и мягко приложила вату, смоченную йодом, к руке больного. Малаша пристально смотрела на его лицо и ждала какого-то рокового мгновения, которое бывает только один раз в жизни. В глазах ее сияла радость и темнел страх. Она никого не видела и чувствовала только этого молодого полумертвого человека. И то чудо, которого она ждала, свершилось: лицо больного стало как будто пробуждаться, на щеках призрачно расцветал румянец, веки задрожали, и глаза медленно открылись, свежие, утренние. Он страдальчески улыбнулся и вздохнул:

— Спасибо, друзья!

— Ожил, ожил!.. — тихо, со слезами в голосе вскрикнула Малаша, не отрывая от него глаз.

Благово затеребил бородку.

— Ну-с, каково? Благодарите не нас, а вот эту девицу. Это она настояла, чтобы кровь ее переливали от сердца к сердцу.

Больной повернул к ней свое лицо. Его глаза были очень темные, точно без зрачков, и поблескивали слезой.

— Вы... родная...

Малаша встала и наклонилась над ним. Несколько секунд она молчала и пристально вглядывалась в его лицо. В белом халате и в белой повязке она была похожа на медсестру. В глазах сияло счастье и что-то новое, похожее на печаль.

— Вы чувствуете себя лучше, товарищ Мезенцев?

— Да. Тут не только кровь... другое... душа... Спасибо... за вашу жизнь...

Благово взял Малашу под руку и отвел ее от больного.

— Хорошенького понемножку... А больному предстоят трудные минуты после этой операции.

Сестры забеспокоились. Молоденькая взволнованно выбежала из комнаты, а пожилая проводила Малашу задумчивым взглядом.

Малаша оглянулась, в лице ее на мгновение вспыхнуло смятение: ей хотелось броситься к больному, досказать ему какие-то несказанные слова. Но она смущенно, с мольбой в глазах, робко спросила Благово:

— Можно мне... поцеловать его?..

И опять оглянулась. Больной лежал неподвижно, закрыв глаза, и, казалось, был в отчаянии, что все покинули его.

— Ну, можно же... товарищ Благово?

Русокудрый врач переглянулся с Благово и, улыбаясь, едва заметно кивнул головой.

Через несколько дней я был в цехе, где работала Малаша. В дымных пространствах «коробки» частыми созвездиями горели электрические лампы, окруженные голубым туманом. Машины, горячие и потные, тесными рядами толпились всюду, теряясь в далях, сверкая серебром. Воздух и земля дрожали от гула, и теплые волны дышали в лицо запахом масла и металлической окалины. Казалось, что всюду в этих больших и маленьких механизмах гулко пульсировало сердце, и они

дышали утомленно, как живые. Быстро вращались колеса и диски, судорожно бились и трепетали спирали стружек. Они свивались гирляндами с звенящим шорохом или рассыпались, как драгоценная скорлупа. С визгом летели каскады огненных искр, играя в струях воды. В разных местах над машинами и за машинами вспыхивали молнии. Звонили колокола на плавающих в вышине кранах, несущих на гигантских цепях и крючках стальные листы и болванки. И крики людей, далекие и близкие, пели в гулах и звонах машин.

Всюду, в проходах между машинами, на площадках, исполосованных рельсами, засоренных обрывками сизых стружек и загроможденных кучами блестящих деталей и штабелями шершавого литья, сновали рабочие, работницы, подростки в синих засаленных комбинезонах — одни чумазые, с грязными руками, утомленные, другие — свежие, чистенькие, пахнущие улицей, веселые, бодрые. Крики, смех, далекая команда, в отголосках эха, группы девушек и парней, которые смеялись, спорили, пользуясь свободной минутой, перебранка озабоченных рабочих с воспаленными глазами, спокойные и неслышные разговоры инженеров и мастеров при встречах и неумолкаемый шум и гул моторов и механизмов — все это вихрями гуляло по дымным пространствам цеха, грохотало, пело, гремело оркестром. В этом цехе и день и ночь люди работали, напрягались изо всех сил, перекрывая нормы в несколько раз. Здесь сотни рабочих, парней и девушек, готовили оружие и боевые машины.

В одном из широких пролетов между рядами фрезерных станков выстроились парни и девушки в синих комбинезонах. Все они внимательно смотрели на пожилого сутулого рабочего с угрюмым лицом, в длинном пиджаке, и на низкорослую девушку в неуклюжем мешке комбинезона. Она часто поправляла волосы, которые капризно спускались на уши и на лицо. Она высоко поднимала голову и звонко читала последнюю сводку Информбюро. По голосу я узнал Малашу. Прямо перед нею стояли в ряду и обе ее подруги, которые на днях утешали ее в скверике при первой нашей встрече. Они сдержанно улыбались, лукаво по-

глядывая на нее и украдкой подталкивая друг друга локтями.

У станков стояли чумазые, в засаленных комбинезонах, девчата и парни и сосредоточенно следили за работой резцов. Блестели серебристые спирали, брызгала мутная эмульсия. Каждый был поглощен своей работой, орудовал какими-то рычажками и приспособлениями, снимал обработанную деталь, осматривал, любуясь ею, торопливо вставлял новую и, прислушиваясь, близко всматривался в россыпь сверкающих стружек.

Звонкий голос Малаши выкрикивал горячо и задорно:

— Ну как, ребята? Я за своих ручаюсь. С двух мы шагнули на пять. Будем драться за десять норм. И, честное слово, добьемся. У нас Савелий Осипыч — мастер, отец родной... Он уже не один раз давал по тысяче процентов. Не мы будем, родненькие, ежели не станем тысячниками. Фронтовые бригады идут только под лозунгом: быть тысячниками. И будем тысячниками!

Ей дружески похлопали.

Она победоносно повернулась кругом и, увидав меня, хотела броситься ко мне, но сдержалась и только приветственно подняла руку. Потом опять отвернулась и стала слушать сутулого рабочего в длинном пиджаке, который глухо стал что-то объяснять ей.

Старик говорил хрипловато, дышал со свистом, толстые складки на щеках, по бокам подбородка сурово вздрагивали. Но серые глаза были свежие и умненькие и в них играли пронзительные искорки задора. Говорил он словоохотливо, с ворчливой снисходительностью, как человек, который уже ничему не удивляется и испытал на своем веку все, что уготовано людям. Это был старый рабочий, который прошел через три революции, три войны, а теперь вот переживает четвертую.

— Не забывайте, ребятки, что станок — человеческое создание и требует ласкового обхождения. Ее, машину-то, душа родила... Любовь — это борьба, ребятки... борьба за счастье... А что такое — счастье-то?

Хорошо сделанная жизнь, и ты в этой жизни — мастер. Вот и надо быть мастером жизни. Наши руки не для докуки, а для трудовой науки. И человек не зря носит свое имечко. Чело — разум значит. Какой разум — такой и век. Трудовой-то ум истинно творит. Такого почетного имечка ни в одном языке не сыскать, кроме нашего, русского. Поэтому мы и требования большие к себе предъявляем и по этому самому народ наш великие революции совершает, коммунизм строит, замечательные чудеса делает — и в труде, и в борьбе. Вот, друзья мои, человеки, какого народа вы дети!..

Очевидно, его любили слушать и самого его любили, потому что все с большим вниманием смотрели на него и старались не проронить ни одного его слова.

Был час смены бригад.

Малаша подбежала ко мне и энергично пожала руку. Ее румяное лицо сияло гордостью.

— Ну, каков наш Савелий Осипыч? Замечательный старик. Это — сама история... А говорит-то как! Заслушаешься. Но вы ошибаетесь, если считаете, что он — малокультурный. Он Ленина всего знает, а Маркса и Энгельса с карандашиком читает, да читает уже больше сорока лет... В каторге был... Партизанил в гражданскую...

Она тревожно огляделась, и в глазах ее вспыхнул испуг. Вскинув руку к глазам, она взглянула на часы и сразу же успокоилась. Торопливо, как бы читая отчет, она без интонаций проговорила:

— Мы ведь приходим сюда за полчаса до смены; фронтовую бригаду организовали. Все по-военному, ни одной секунды попусту, ни одного лишнего движения...

— Ну, а как же фронт? Кто же поедет заменять Стешу? — пошутил я.

Глаза ее с лукавым упреком блеснули исподлобья, и она обличительно покачала головой.

— Хорошо стреляете, да плохо целитесь.

Она схватилась за голову и растерянно уставилась на меня встревоженными глазами.

— Ах, если бы вы знали, дорогой мой, какого я человека нашла-а!.. Ну, понимаете, как не радоваться? Кровь-то моя совсем его исцелила. Я же чувствовала;

что в моей крови — бездна жизни, и его жизнь воскреснет и расцветет, как весна... Я три раза ему свою кровь отдавала... И теперь хожу к нему в свободное время. Сижу около него, и наговориться не можем. Нет, вы этого не испытали: я как будто сама живу в нем... И кажется, что дороже его нет никого на свете.

— Какая вы счастливая, Малаша: вы живете сейчас любовью.

Она отпрянула от меня и гневно крикнула:

— Это еще что? Как вам не стыдно!

— Не забывайте, Малочка, как ваш Савелий Осипыч определяет любовь: любовь — это борьба за счастье. Заметьте: борьба! Стеша чувствовала это глубоко.

Малаша задумалась на секунду и вдруг сказала решительно и твердо:

— Чтобы бороться, нужно любить, это — верно. Когда я плакала — я не боролась. Это — от зависти. А теперь мне нет надобности рваться на фронт. Красота человека не в том, что он мечтает о далеком, а в том, что он близкое расширяет до далекого. Это он, мой воскресший командир, сказал. — И улыбнулась, краснея. — Я больше не плачу... на всю жизнь.

— Будете плакать, родненькая, и не один раз. Вы очень хорошо сказали однажды: и гордость плачет.

Малаша переживала праздник в душе и ликовала вся: казалось, что даже тело ее излучало свет.

— Да, да! это я очень хорошо чувствую: любовь — это борьба, борьба за счастье... Какие дни я переживаю!

Она, как медвежонок, побежала между станками и скрылась в их теплой живой толпе.

1942

ОПАЛЕННАЯ ДУША

Я, друзья мои, в трех революциях душой и силой активно боролся. За девятьсот пятый год в трех уральских и двух сибирских тюрьмах отсидел, а из ссылки бежал и работал нелегальным. Только в семнадцатом настоящее имя с почетом мне возвратили, а этим своим именем, откровенно скажу вам, друзья, очень я гордился, потому что Никифор по русскому смыслу есть Победоносец. И мне, потомственному уральскому металлисту, выпала историческая судьба — на плечах своих нести эту победу рабочего класса и в Октябрьскую революцию, и в войну гражданскую, и в наши пятилетки. Хотя папаша, старик мой, и Петром назывался, но крепким камнем не был: в тяжелое для пролетариев лихолетье жил. Как проклятый раб, кости свои ломал на Невьянском заводе, знаменитом демидовском аду, где земля уральская — не земля, а грунт из костей рабочих—дедов наших и прадедов. И неспроста хозяин постукивал тростью и покрикивал на своих крепостных литейщиков: «Вы — грунт земли неродимости», а понимай — «нерадимости», то есть не радетели о барышах его.

Урал свой я люблю, как, к слову, дерево любит свое природное место: корнями врос в прекрасные свои горы, леса и светлые озера. Откровенно скажу, товарищи, Урал мой, край мой родной, красовался передо мною золотом, малахитом, самоцветами. Идешь утречком

на завод — залюбуешься: радугой воздух переливается, душа ликует — не солнышко, а ливень финифтевый. Люблю я наше уральское утро — молодостью сердце охмеляет, и забываешь, что ты уже старик, что жизнь в годах моих уже прожита, что песни-то в душе замолкли и не проснутся — нет! Но наипаче увлечение душе дают наши ночи уральские. Эх, и ночи! Изумруд в серебре, а не ночи. Во многих я местах живал — и на Волге, и в Сибири, — а таких ночей, как наши уральские, нигде не видывал. Не мне вам, землякам, ночи наши расхваливать. С полслова меня понимаете, по глазам вижу. Небо — камень-лазурь, а месяц — золотой самородок. Горы — тихие, увалистые, древние и вещие. Глядишь — без конца они и края. Молчат лесами своими, долинами и речками, а вслушаешься — стонут они от обилия своих недр и ждут, человечьих рук трудолюбивых ждут, множества рук и доблестных умов.

Природу я нашу уральскую очень даже хорошо чувствую, а красоту ее и музыку необыкновенную в волнении ношу, но словами возвеличить не могу — мозолистые мои слова. Это все едино как плачешь, а слез нету. Много почтения природе нашей оказывал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Я лично не раз с ним в молодости моей беседовал. Но прямо скажу, не восчувствовал он по-настоящему уральской природы. Скучная она у него какая-то, неприветливая, чужая, и он ей — как пасынок. Он к ней и так и этак — не подпускает она его к себе, да и на! А почему бы, спрашивается? Сам ведь он, Дмитрий-то Наркисович, уралец, во всех дебрях и поселках живал, а вот изображение не довел до души. Всё будто верно в точности, а поэзии этой, что ли, и нет. Как открытка раскрашенная. Ну, я эту ему мою обиду однажды и выскажи. Выпили с ним, конечно, по малому шкалику. А он мне хитровотенько так и промолви: «Урал, милый юнош, заколдованный: сколь хищники ни грабят богатство его — взять им не дано. Он все свои дебри и красоту свою под семью замками держит. В наших, говорит, лесах даже по весне птички не поют — тишина, как в сонном царстве. Но проснется это самое цар-

ство, и всё запоет и запрыгает. Придет великий народный труженик с открытым сердцем, бескорыстной любовью, — все откроется ему настежь и — засияет рай».

Вы знаете, голуби мои, как я до войны работал. А сейчас по своей токарной и фрезерной специальности я ниже трех норм не спускаю. Ведь труд, друзья мои, ежели он не живоносец, не может быть свободным. Когда труд подъяремный, и человек — скот. Времена эти были для человека — беспросветный мрак. Мы, советский народ, сами себе добыли, сами построили жизнь, и никакая злая сила не сшибет солнца нашего с неба. Вот к чему все мое рассуждение.

А теперь, друзья, подойду вплотную к фактам, — впритир, что называется.

Войну эту с Гитлером я ждал, — нечего греха таить. Ждал и готовился. Внушал я в выступлениях еще в чертовы дни вредительства на наших заводах и в руководстве. Помните, как меня, старика, травили, в ежи брали и даже с завода за ворота выставили? Имена я точно называл. В тюрьму, правда, меня не ввергли, но безумным объявили. И это для меня был козырь. Тогда же я и написал письмо товарищу Серго. Товарища-то Орджоникидзе я и раньше лично знал: в ссылке вместе были. Душа у него была солнечная. Гнездо вредное тогда ликвидировали, а я, как подобает, на завод с новой силой вернулся, будто крылья молодости у меня выросли.

И вот, когда ремесленные школы открыли, да увидел я ребятишек в черненьких шинельках да в брючках аккуратненьких, да как мальчишня стала маршировать да дисциплину соблюдать, — взыграло мое сердце. Наука пошла к станку — ускорение квалификации. Не стал я, конечное дело, ожидать, когда ко мне обратятся насчет обучения школяров, а сам требую у директора: жду, мол, целого отряда вьюнков, обещаю подготовить их, как будущих гвардейцев труда. Мой почин, конечно, подхватили другие мастера по всему заводу. Кому это не приятно! В многотиражке пропечатали, а потом в областной газете.

Я и сейчас как бы заглавный учитель: любят меня, таиться нечего, мальчишня сама дисциплину соблюдает. Бывает инóместо, парнишка заскучает — болтается, в раздумье входит, не клеится у него. Не стерпишь, прикрикнешь на него — молчит, а то и огрызнется. Ну, подойдешь к нему. «Ну-ка, снимай-ка, шкет, картузишко!» Снимет послушно. «Уши есть? на месте?» Думает, что я надрать ему уши хочу. Стыдно, малиновый весь. Возьму его под бочок к себе и говорю на ушко: «В чем трудность-то, сынок? не дается? Нет того дела для человека, которое бы в руки ему не давалось. Выкладывай». Ну, покажешь ему, что и как, последишь, поправишь, в темп введешь. Глядишь — повеселеет парнишка, будто победу одержал. А теперь вон они, эти парнишки-то, какие! фронтовые бригады сбивают да по три, по четыре нормы выгоняют. Нас, стариков, обогнать норовят.

В июне отправили меня на курорт — на Черное море, в Сочи: ноги у меня сильно ревматизм заел. Все крепился: думал, отудобит без курортов. Упал я как-то в цеху, не устоял. А докторам нашим того и надо: на курорт да на курорт! До смерти не хотелось ехать — душа была не на месте: предчувствие разъедало хуже ревматизма. Ежели бы не старуха моя — с места бы не тронулся. Сынку пожаловалась в Магнитку: он, как вы знаете, у меня там с самой стройки работает. Ну, Володька мне телеграмму с приказом: «Папаша, покажи пример молодежи, как беречь здоровье рабочего для родины. Преступно транжирить золотой фонд». Срезал под корень. От стыда и уехал.

Только это мы в Белореченку влетели, сразу же — к окну, и тут же меня будто током оглушило. Народу много — вокзальный народ, и шевеленья много и суеты, люди в этакой тревожной панике. Одна дамочка желтоволосая даже сильно заволновалась у нас в вагоне:

— Несомненно, — говорит, — перед нами недалеко крушение поезда... — И кричит в окно на платформу: — Скажите, — говорит, — почему народ такой испуганный? Крушение, что ли, было, или мы на точке крушения?

Усатый такой казак, в черкеске, в штанах с лампасами, ехидно пришпилил ее глазами и палкой под колеса показал.

— Крушение — это точно, дамочка. Только крушение поезда мира. Гитлер на нас ринулся. Значит, воевать будем на изгон врага и супостата.

Натянул я на свою седую башку кепку, на одну руку пальтишко, в другую — чемоданишко и — ходу! Тут уж не до Сочей было.

В тот же день скорым номером обратно на свой родной Урал укатил. От души говорю, ребята: скорее поезда домой мчался. Ежели бы на самолете летел, сердце-то, может, в одном с ним темпе работало. Стоит, кашляет на станциях этот поезд, как одёр: выйдешь на платформу и — смейтесь, не смейтесь — толкнешь плечом в вагон и лаешься: ну, шагай, шагай, медведь чертов! А главный кондуктор буквально обнаглел: на часики посмотрит, поиграет сверчком своим и в раздумье впадает. Так морду бы ему и набил. Эх, друзья, не по годам было такое мое раздражение! Правду скажу, виду я по внешности не давал, ну а характер свой внутри потешил. Горячий я, гневливый, чистосердечный человек, а в молодости — так совсем крутого кипенья был парень.

Ну, кое-как дотянул до своего завода. И со старухой не стал разговором увлекаться: сейчас же — в цех. А там, вы сами знаете, какая была производственная тревога: молодые ребята, военный элемент, с места в карьер мобилизовались в армию, постарше — в ополчение подались, комсомолки — в сандружину. А в цеха толпой повалили красноармейки, даже матери. Ремесленная мальчишня нагрянула еще больше. Дело не дело, а гвалту было много. Не цех, а школа.

Началось перестроение. Раньше-то ведь мы мирной продукцией занимались: всякую аппаратуру, и большую и малую, электропромышленности производили. С гордостью говорю: своими аппаратами мы все электростанции оснащали. Ух, и красавцы выходили из завода — залюбуешься!

Не совру, ежели сердце свое распахну: куда бы я, скажем, ни приехал, везде я — свой, везде я — род-

ственник. Ведь электроэнергия — коренной оборот нашей жизни, и моя продукция навеки душой моей напиталась. И выходит, друзья мои, что мы с вами тысячи по всей стране памятников понастроили. А радость-то в том, чтобы такие памятники труда при жизни человек себе создавал. Не мертвый камень на могиле, а живой, как орудие борьбы человеческой. Я это к случаю выражаюсь: нужно всем нутром чувствовать, что наш свободный труд любовью нерушим. А любовь-то наша и есть борьба... за счастье борьба. По этому самому и труд наш — всегда молод, и человек год от году отвыкает от старости.

Вот и войну-то эту с фашизмом мы встретили по всей нашей трудовой стране, как борьбу со смертью. И не струсили, не спаниковали: свободный человек мощь свою носит в свободном труде, и его по самому смыслу жизни никак невозможно разбить и победить, какие бы страдания и ужасы ни обрушились на него.

Ну, одним словом, перестроились мы на оборону родины, на вооружение нашей дорогой Красной Армии. Поручило нам правительство очень замечательную и сокрушительную продукцию производить — такую продукцию смертельную, которая от фашиста и праха поганого не оставит.

Конечно, всякая перестройка — это все одно, что роды: всегда с болью происходит. Так было и у нас в цеху. Ночей не спали — новыми станками и всякими приспособлениями вооружались. И вот со своими мальчатами я приступил к делу. На этот счет можно разговор большой вести, но не об этом речь — все мы это преображенье пережили. Самое важное было в другом. Никифор Петров, говорю себе, ты — мастер, ответственный боец. Организуй своих воинственных воробцов и все номера деталей выпускай сверх всяких норм. Объявляй соревнование. Всё мобилизуй: и технологию, и опыт свой, и свой революционный дух большевика. Три революции прошли для тебя недаром. Никогда, кажись, такого боевого вдохновения не испытывал. И вот сейчас удивляюсь: как будто другим я человеком стал — и сильнее, и моложе, и умнее. Стали

мы давать сначала полторы нормы, потом две, три, а сейчас, как видите, и до пяти норм достигаем. Конечное дело, это не предел. Но работа наша — трудоемкая: много тонкой обработки, много мелких процессов.

И вот мой сынок, Володя, политрук, присылает с фронта письмо. Прочитал я это письмо и заплакал от радости. «Горжусь, говорит, тобой, папаша. Продукция твоя чудеса невиданные делает. Обнимаю тебя, как боевого друга, и вызываю тебя на соревнование». Володька-то, а! на соревнование! Событие это было большое для всего завода. Директор, Федор Федорович, лично приходил и благодарил. А потом командование благодарность заводу прислало. И вдруг в печати приказ Михаила Ивановича Калинина: награждение уральцев орденами и меня тоже, старика. Да ведь я и в юности такой весны не видывал. Как же тут не быть молодым? Тут буквально взъярился — телеграмму Володьке: «Принимаю твой вызов и до конца войны норму буду увеличивать, готовлю десятки высоких мастеров».

Развернуть борьбу не успел — новое событие: выбирают меня везти на фронт бойцам подарки от нашего города. В газетах объявили, корреспонденты в цех приходили, два фотографа лейкой щелкали, и портрет мой пропечатали. Вот какая честь!

Прибыли мы на фронт в морозы. Везде леса, как у нас, на Урале, — в снежном обряжении леса, и увалы, и поля в белых сугробах — чистый сахар. И сейчас дрожь пробирает: до чего ужасные разрушения я увидел. Не сёла, не деревни, не города̀, а сплошные развалины да пепелища. Одни печки с трубами торчат, а на черных пожарищах бабы да детишки палками уголь да пепел раскапывают. До того горе их убило, что и на бойцов и на нас никакого внимания не обращают. Эх, никогда я за всю свою жизнь не видал такого бедствия человеческого и такого зверства врага. Всё время слез сдержать не мог. А перед фронтом такое потрясение перенес, что самому хотелось схватить оружие и уничтожать этих кромешных дьяволов. Въехали мы в деревню, а деревня дымом нас

встретила: в разных местах еще полымя полыхало, кучи алых углей по обе стороны дороги. Угарным жаром лицо обжигает, везде — проталины, а мороз такой жгучий, что воздух иголками искрится, а над полями — даже лиловый. И вот остановились мы на площади, а я и выйти из машины не могу — в глазах потемнело, сердце лопается. Посредине площади — виселица, а на перекладине висят восемь человек. Полуголые девушки и старухи качались на ветру и стучали, как деревянные, друг о друга. И тут же на площади целые штабели изуродованных пленных красноармейцев. Долго стояли мы перед ними без шапок, потом упали на колени, поклонились в землю и поцеловали ее, слезами обливаясь. Не могу выразить, что со мной было. Наши товарищи делегаты языка лишились. Особенно ужас душу сдавил, когда я девочку маленькую на этой виселице увидел. Головенка в сторону своротена, ножки и ручки вытянула и глядит на меня пристально мертвыми глазенками и как будто кричит: «Глядите, что со мной сделали. Как надо мной надругались!» Ее-то за что, мерзкие кровососы? Стою и навзрыд плачу. Подходит ко мне старичок древний с березовой палкой, стучит ею по снегу и бормочет:

— Плачь, рыдай, милый человек, это — праведная слеза. А сколь ни плачь — до гроба горя не выплачешь.

И этот же старец, с зеленой бородой, в лоскутном полушубке, махнул нам рукой и повел, опираясь на березовую палку, к развалинам церкви. Там, на снегу и на кучах битого кирпича — целая свалка трупов. Кой-как одетые, лежат друг на дружке как попадя и мужики, и бабы, и парнишки. И вся эта груда людей залита кровью, и кровь корками и комками замерзла, сковала всех в одну массу. Ежели поднять одного человека — все камнем поднимутся.

Видал я виды на своем веку — и полицейские порки, и расстрелы рабочих, и кровавый террор белогвардейский, но такого кошмара никогда и представить себе не мог.

Ну, а теперь, голубчики мои, и о радости поговорим.

Прибыли мы на боевую линию. Оно как будто на первый обзор и обыкновенно всё — никакого беспокойства, никакого шума и даже стрельбы я не слыхал. Ребята — бравые, веселые, одеты тепло на зависть: в шапках, в валенках. В лесу нас встретили — в густом столетнем лесу, — и мне даже уютно стало: лес-то сам весь в белых мехах, а сосны и ели — в медвежьих шубах. Незаметные землянки под снегом, и они дымком дышат. Встретили нас толпой. Ну, бойцов много, ликуют все, смеются, окружили нас, жмутся к нам, как к родным. Обнялись мы с командиром, с комиссаром, поцеловались троекратно, а от бойцов отбою не было — целоваться устали, губы распухли. А это, надо сказать вам, была одна гвардейская часть — вся из уральцев, очень героическая, большими подвигами прославилась. Ребята все ладные, на подбор, славных уральских кровей: горняки, металлисты, матёрых отцов дети. Командир по фамилии Рудаков — потомственная горняцкая фамилия.

Повели нас в землянку, просторную, теплую, с портретами наших дорогих вождей. Сытно нас накормили, напоили чайком. Разговоры начались такие, что отвечать не успевали: похвалили за оружие и допытывались, какие у нас победы и достижения. А так как наш завод оружие-то производит самое страшное и истребительное для врага и очень даже его на фронте любят и бесценно высоко ставят, то я, конечно, первым делом обращаюсь к полковнику Рудакову:

— Товарищ, — говорю,—полковник, дорогой Иван Семеныч, очень, — говорю, — я интересуюсь посмотреть, в какие руки попала моя продукция. Мы на Урале всякое любое оружие для вас делаем, но наша заводская продукция в особенности играет великую роль. Вот я и хочу, Иван Семеныч, узнать, какое обхождение здесь она имеет и как вы ей, этой моей продукцией, фашистов угощаете.

Назвал я ему эту нашу продукцию. А он переглянулся с комиссаром, и оба засмеялись.

— Как же, — говорит, — как же! Эту замечательную вашу продукцию наши бойцы очень нежно любят и называют ее «Раисой Семеновной с гитарой». Мы

как раз настраиваем эту самую гитару для игры. Покажем, покажем, и музыку ее услышите.

Походили мы по землянкам, потолковали с бойцами, встретили землячков, знакомых... Сколько радости было! Всё — расспросы, расспросы: как ребята на таком-то заводе, на такой-то шахте, в таком-то колхозе... А делегаты-то наши из разных мест были. Сами понимаете, сколько волнения и интереса. И всё на одно нажимали: побольше продукции делать... И всё письма суют. Этих писем мы набрали целый портфель.

— Чего, — спрашиваю, — вам не хватает? Какие у вас жалобы?

А они в один голос:

— Душа горит, товарищ делегат, в бой рвемся, в наступление.

Оно и верно: как с такими ребятами не наступать!

Ну, тут я опять к товарищу Рудакову: когда же продукция моя в действие войдет? А полковник показывает свои белые зубы и спокойненько отвечает:

— А мы уже приступили к выполнению плана. Пойдемте со мной на наблюдательный пункт. Но только, кто непривычный, лучше останьтесь.

Конечно, все пошли.

И вот, друзья мои, началось такое дело, что в мыслях у меня не было, чтобы я увидел когда-нибудь в жизни такие события.

С утра артиллерия открыла ужасный огонь по вражеским укреплениям. Командир рассудительно, с большим знанием дела, как очень хороший хозяин и мастер, отдает распоряжение по телефону, огонь туда-то, такой-то прицел! А пушки такой грозовой гром подняли, что я в пылинку обратился. Вижу: танки пошли, а за ними — пехота! Атака началась. Фашисты из пулеметов и минометов режут... И вдруг наши грянули «ура», да так погнали гадючьих детей, что мне, старому партизану, до дрожи обидно стало, почему я не с бойцами, почему не в их рядах. Разве не лестно гнать этих поганых гадов, как наши гвардейцы их погнали?

И в этот же день привелось мне и своей продукцией полюбоваться.

Ну, ребята, скажу вам по совести: не думал, не гадал увидеть такую незабываемую картину. И продукция отличная, и руки замечательные — не руки, а золото.

Дал мне полковник Рудаков бинокль.

— Глядите, — говорит, — Никифор Петрович, вон туда, в лощину, направо, к другой деревне. Там, — говорит, — гитлеровцев до черта... с танками прут... Замечайте, что будет...

И вдруг я обомлел. Такая музыка загремела, такой оркестр адовый, такие молыньи, что душа замерла. Но виду не показываю: бинокль от глаз не отвожу. И вижу, братцы мои: там, где полчища немцев с танками, — землетрясение, вулканы, морской ураган, конца-краю не видно... Дым, пыль, взрывы, полымя... И только отдельные фигурки ползут и разбегаются. И танки заштопорили, и всюду — не снег, а чернота. Потом сразу — тишина, в ушах звенит...

Отнял я от глаз бинокль и обалдело гляжу на товарища Рудакова. А он, как ни в чем не бывало, похозяйски докладывает:

— Эти наши снаряды немцы «черной смертью» прозвали. Спасибо, — говорит, —вам, Никифор Петрович, за отличную работу. Горжусь, — говорит, — нашими земляками уральцами: и дерутся здорово, и работают, как бойцы. Верю, что вы еще покрепче поднажмете. Наш общий военный план мы на фронте и в тылу должны выполнять согласно, четко, ритмично. Будем соревноваться. Так и передайте братьям уральцам.

Не выдержал я, друзья, со слезами обнял его и поклялся ему:

— Товарищ Рудаков, родной! Не подкачаем. Вдвойне, втройне перевыполним.

— Верю, — говорит, — Никифор Петрович, не сомневаюсь: уральцы даром слова на ветер не бросают.

Тут, вижу, начали пленных немцев пригонять — группами и цепочкой. Не поверите: гляжу и не могу хохота сдержать. Точно чёрт за сердце трясет. Одни — в бабьих кофтах, другие — в поповских ризах, третьи — соломой обвязались, штанами, шалями, полушалками,

на ногах пучки сена, соломы, газеты... чего только на себя не навьючили... Маскарад, да и только.

Товарищ Рудаков равнодушно глядит на них, покуривает и отвечает мне на хохот мой:

— Ну, вам это в новинку, а мы уж давно привыкли.

Не стерпел я: ненависть душу замутила, трясенье во всем теле. Прошу:

— Дайте мне, Иван Семеныч, парочку слов им сказать. Гнев меня очень душит.

Сошли мы к бойцам. Дело в лесу было, на поляночке. Подвели мне одного пленного. На башке — чалма из тряпья, на ногах какая-то чертовщина из соломы, не то снопы, не то корзины. Это у них эрзац-валенками называется, а такие эрзацы, видимое дело, ничего, кроме холода, удержать не могут.

Говорю переводчику:

— Задайте этому мозгляку вопрос мой: зачем он на нашу землю вломился и чего хотел здесь получить? И прямо скажите ему: спрашивает, мол, хозяин русской земли, потомственный рабочий.

Переводчик сказал ему мои слова по-немецки, а фриц не то плачет, не то улыбается: рожа обмороженная и вся перекосилась. В глазах — ужас. Бормочет что-то и трясется.

— Не сам, — говорит, — пошел, а Гитлер приказал. Я, — говорит, — солдат и обязан повиноваться без рассуждений.

— Ответь, — говорю, — что́ тебе мирные-то, невинные люди, сукин сын, сделали? Кто есть твой отец, какими делами ты занимался?

Оказывается, мальчишка этот — из рабочей семьи. Штурмовик, эсэсовец. Ребенком в школе завербовали. Вот до чего Гитлер рабочую кровь изгадил. Спрашиваю:

— Жив твой отец?

— Жив, — говорит, — работает, очень больной, а мать — сумасшедшая.

— Хорош подлец, — говорю, — мать до безумия довел, а отца в гроб загоняет. — Спрашиваю: — Отец-то, ежели он честный человек, не проклял тебя, гаденыша?

И тут он впервые взглянул на меня и, как шкодливый пес, виновато бормочет:

— Фюрер запрещает родителям с детьми ссориться. А в концлагере и рабочему подыхать не хочется.

— Ах, ты, — говорю, — падаль паршивая! Ты со своим бандитом фюрером до Урала хотел добраться, так вот я — уральский рабочий, а то, что вы, живорезы, испытали сегодня от нашей черной смерти, это мы, уральские рабочие, вам приготовили. А ежели мало вам этого и не поторопитесь убраться с нашей земли — в тысячу раз больше приготовим... Чего дрожишь и корчишься, фашистская собака, аль холодно? Ну, Красная Армия так вас оденет, что небу будет жарко. Истребим вас здесь всех до единого.

Очень я разгорячился, терпежу не было. Сами знаете, ребята, мой характер: гневливый я, вспыльчивый, откровенный. Плюнул я на эти его пожные эрзацы и ушел.

Вот, товарищи, какие дела. Ведь мы, друзья мои, не только трудимся, но и по-настоящему бьемся за радости нашего будущего, чтобы о всяких фашистах и не слыхать было. Человек я живой души: и пошутить с друзьями люблю, и песенки попеть, а теперь вот в опаленной моей душе ожоги на всю жизнь. Да ведь без этого опаления и ожогов и жизни мятежной нет: бескрылая такая жизнь — один прах и ненастная муть.

1942

МАША ИЗ ЗАПОЛЬЯ

Вот я сейчас — председатель колхоза, а раньше, до войны, простой была колхозницей, за своим мужем жила.

До войны мой Максим — я про мужа говорю — до того активист был, что и о своем хозяйстве, и о родном своем семействе забывал. Он и раньше, молодым, за колхозы головы не жалел — очень даже много трудностей претерпел. Оба были мы веселые, сошлись по любви, и всё нам казалось трын-трава. Потом отслужил в Красной Армии и вернулся молодым командиром. Я и сейчас в грязь лицом не ударю, а девушкой была красивая — певунья, плясунья, озорница, за словом в карман не лезла. И, как там ни говори, умная была. С дурой-то Максим не подружился бы: он очень даже разборчивый. Он и с родителями своими так не советовался, как со мной. Всегда этак погладит по голове, улыбнется и скажет: «Ну и советчица ты у меня! Скажешь — как в рамку врежешь».

Я грамотная, книжки любила читать. Пушкина стихи и сейчас на память знаю, Лермонтова — о купце Калашникове, а Некрасова слезами обливала и на голос пела: «Что так жадно глядишь на дорогу?..» Поешь, бывало: «Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь, будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть...», — поешь, а слезы в три ручья. Мамыньку вспомнишь, как она

горе всю жизнь мыкала и умерла, бессчастная, свету не видавши.

Когда колхоз строили, мы с Максимом очень даже рьяные были. Об этом можно целую книгу написать. Всё было: всякие беды мы с ним испытали — и смерть по пятам ходила, и охотились за ним по ночам...

Ну, да об этом нет надобности вспоминать: было да прошло, было да быльем поросло. Не об этом разговор. А вот как этот год вихрем налетел и закрутил меня перышком, — вот об этом мне и охота рассказать.

Как война-то разразилась, наша деревня словно задрожала вся. Не знаю, как там землетрясения бывают, а мне почудилось, будто и земля, и избы, и лес на косогорах ходуном заходили. Может, это у меня сердце застонало, только почуялся мне гул страшенный, а потом—пустота. Помню, утром это было. Окошки все были отворены, на улице — солнышко, благодать, крапивой пахнет и коноплей. Выбежала я на крыльцо — глазам больно от солнца: все горит и играет, куры гуляют и разговаривают. А соседка наша — старушка Агафья, злая такая староверка, качает зыбку у завалинки под ветлой и угрюмо поет: «По грехам нашим господь посылат велику беду на нашу страну». Бабы где-то заголосили, потом крик, шум, и опять будто все оглохло...

А тут влетает в комату сломя голову Дунярка, дочурка моя, — в лавку за керосином бегала, — размахивает банкой и визжит:

— Маманька, война с немцами!.. Лавочку захлопнули, всех вытурили... Папанька наказывал: сейчас, говорит, приду, пускай мать не беспокоится...

А потом всё как во сне случилось. Очнулась я, когда за околицей Максю провожала Вся деревня, как на демонстрацию, повалила с красными флагами, с знаменами. По дороге — подводы с сундучками, с чемоданами, а по сторонам, по траве и впереди — толпища. Макся шел со мной под ручку и все улыбался и говорил мне:

— Вот и воевать пришлось, Машенька. Бить буду фашистскую сволочь... Ворвались гады, срывают всю

нашу работу... Бить и гнать их надо, иначе — конец нашей жизни... Я даже горжусь, Маша, что родина меня призвала. А тебе спасибо, что не плачешь и меня и себя не срамишь. Ухожу, Маша, и знаю, что себя ты оправдаешь и меня заменишь.

Поднял Дунярку на руки и засмеялся.

— Ну, Дунярка, на тебя — надежда: матери плакать не давай!

— А она, папанька, ни разу не плакала. Она сама говорит: пускай наш папка веселый на войну пойдет.

— Ну, и молодец мамка! А ты расти. И с мамкой крепче вожжи держите. Все заботы на вас свалились.

Дунярка-то маленькая, одиннадцатый годок пошел, а как большая с ним:

— Ты, папанька, о нас не думай: только воюй, а мы здесь все на своих плечах вывезем.

Потом обняла его и заплакала.

А когда я прощалась, думала, не выдержу: сердце оборвалось, всё кругом завертелось. И только одно запомнила — ласковые и строгие слова Макси:

— Я на тебя, Маша, как на каменную гору надеюсь. Писать буду часто. Ни от чего не отказывайся, а сама будь впереди всех. Вы, бабы, народ хороший. Пуще глаза охраняйте колхозное добро, себя не жалейте, а колхоз держите высоко. Я иду воевать, и ты, Маша, воюй храбро...

А я лепечу ему без ума:

— Ты, Макся, и думать не думай. Обо мне не болей. Ни тебя, ни себя не обесславлю.

Ну, и стали жить без наших мужей. В правлении колхоза остались только трое из старых работников, да и то вскорости одного призвали. А остались-то: старик Митрий Калягин, седобородый и весь какой-то заспанный всегда, неразговорчивый и ворчун неистовый. И всё-то приговаривает: «Эх, народ, народ! Федот, да не тот. Ни прясла, ни свясла не свяжут. Всё пропадет недуром. У доброго хозяина — по-другому было». А другой, Нефёд Тихоедов, тоже в седых летах, всё больше цифрами увлекался: сидит со счетоводом, и оба бормочут, до огней колдуют.

В первый-то год кое-как справились: и хлеб собрали, и посеялись. А на другой год, когда мужики поредели, очень даже затруднительно стало.

Предсельсовета у нас был мужик хороший — Павел Петрович. Сухонький, с бородкой реденькой, голосочек тоненький, такой хлопотун, такой гамаюн, что любо-дорого глядеть на него. Он и сейчас у нас председателем. Ух, и знающий! И декреты все и решения партийные помнит и никогда не закричит, не оборвет, а добренько так, чистоплотно, честно и пожурит, и поучит, и шуточкой поиграет.

Правда, были еще мужики, да особой активности ждать от них не приходилось: они и раньше больше помалкивали да за спины прятались.

Рабочая пора настала — хлебоуборка, молотьба, а тракторы на гумне пустить некому, жатку, к случаю, починить — руки не найдешь. Работали в ремонтной мастерской два старика — кузнец да плотник, а толку от них было мало. А тут надо пахать, осенний сев провести. Я еще с начала войны активно в колхозные дела включилась; наказ-то Максима всегда помнила. Бегу к Павлу Петровичу.

Встретил он меня улыбочкой и подле себя усадил.

— Я, — говорит, — заботу твою и тревогу очень даже хорошо понимаю, Маша. Кому, — говорит, — как не тебе наших женщин организовать. Был, — говорит, — я в райкоме партии, и поручили мне выдвинуть тебя в правление колхоза. Ты, — говорит, — и энергичная, и сознательная, и хозяйство знаешь. Женщина сейчас — решающая сила в деревне. Принимайся, — говорит, — за дело, Маша. Пока до выборов введем тебя в правление. Оно не по темпам работает.

Стань я на дыбы, он меня тогда и припер бы:

— А кто дал Максиму обещанье: не обесславлю?..

Дрожу вся, сама не своя.

— Хорошо, Павел Петрович... Только где я силы-то да уменья возьму?.. Надо для этого, Павел Петрович, характер иметь да политику знать...

А Павел Петрович смеется и бородку свою доит:

— Ничего, ничего, Маша, справишься. Ты женщин наших хорошо знаешь и сумеешь их за душу взять. А ежели что — помогу. И район поддержит.

Село наше большое, и хозяйство богатое. До войны наш колхоз миллионером сделался. Поля наши на несколько километров тянутся. Конечно, лесов много, а в лесах — озера, да все рыбные. Работаешь на поле и не нарадуешься: речки звенят, и жаворонки ручейками заливаются. Лес-то у нас все сосновый — стоят сосны махровые, стволы — как свечи восковые, и такой аромат плывет, что буквально вся как во хмелю.

У нас — и школа-семилетка, и библиотека, и кино наезжает, а нынче на уборочной поэты из области были — стихи свои читали. Поэтов я необыкновенными считала — по Лермонтову да Некрасову. А приехали они — девушка одна рыженькая да конопатенькая была, — так, поверите, даже обидно как-то стало: необыкновенности-то в них никакой и не было. Всё картошку ели да молоко пили. Пьют, едят и приговаривают: «Рай земной у вас!..»

Жалко их было, ну а стихи читали хорошо и культурную работу вели благородно. Они про нас в газеты писали красиво, — спасибо им.

Я еще при Максе бригадирство вела. Бригада у меня была молодежная: больше девчата да мои старые подружки. Артельные были бабенки, и все грамотные. Озорные, веселые — на подбор. А работали-то как! Все горело в руках, само солнышко радовалось.

Страшно мне, конечно, было к руководству подходить. Как-никак, а я ведь все-таки за спиной Максима моего была. Ну, ясное дело, с ним, бывало, и советуешься, и всякие деревенские дела обсуждаешь. Хоть он наших женщин очень отлично знал, ну а политику свою все-таки через меня проводил. Скажет: «Маша, ты с своими товарками возглавь соревнование — поведи всех за собой. У тебя сбитое ядро—чудеса можно сделать». А мне было приятно: верит в меня, уважает, не только я жена для него! Заиграет сердце, как голубь, и не ведаешь, откуда сила да огонь берутся... Ох, и время было прекрасное! В эти годы я словно на пять голов выросла.

Дунярка, девчушка моя, еще маленькая была, уход да глаз за ней нужен был, а время и для нее и для работы находила. Ловкая я всегда была да находчивая: на поле с собой ее берешь, на собранье — тоже. А потом мы с учительницами детский сад и площадку устроили. На ясли и детские учреждения я много труда положила: сама во все детали входила. Не столь время тратила на эти дела, сколь на наших матерей, будь они неладные.

Ну, так вот, о правлении колхоза пришла очередь сказать. Явилась я туда — народу пропасть. Сидят правленцы: один со счетоводом, на счетах щелкает и бормочет не поймешь что. Другой, Митрий, ворчит, ругается, корит кого-то и выдает на руки какие-то бумажки. Вижу — пришли и мужики и бабы неспроста. Глаз у меня — прямо скажу, не хвастаясь, — зоркий: сразу вижу, какой черт играет в человеке. В деревне всякого знаешь, и норов его — на виду. Ну, думаю, ежели Маланья Дедова здесь, значит, болтушка — вовсю. Упорная это была баба, непослушная, злая, до конца свою линию вела. Всех нас охаяла и на улице и на поле, а Максю до смерти возненавидела. Перед Павлом Петровичем, как монашка, пела, в пояс ему кланялась, а лицо желтое, глаза лицемерные, как у кошки. И не то чтобы она самосильное хозяйство в былые годы имела или там самовластную жизнь прожила. Плакать ей о прошлом житье-бытье нужды не было. Я еще девчонкой была и не раз плакала от жалости, когда муж ее — такой неудачный мужичишка, пьянчужка, табачник, бездельник — смертным боем бил ее. Баба она была сильная, рослая, ворочала по хозяйству не в пример здоровому мужчине: и косит, и жнет, и пашет, и пятипудовые мешки на плече таскает. Да такого мозгляка, как ее мужичишка, одним бы щелчком она могла сковырнуть. А вот поди ж ты! Бабья душа и сейчас — поперешная, а тогда она была — потемки, недаром такая поговорка в народе веками жила. Терзает ее мужнишка-то, а она будто сама ловит его кулаки да пинки, кровью обливается, коровой ревет и хоть бы ладошкой закрылась. Отольем ее, бывало, водой, подымем

под руки, а она расшвыряет нас и на всю-то деревню лается: «Не ваше дело, не ваша беда...» Вот какая баба! Ну, а когда мужнишка в трезвом виде был — в кулаке держала. Орет на него, туркает и туда и сюда его. Семенит он, носом шмыгает, сутулится, будто боится, как бы она его по башке не нагвоздила. Правду сказать, такой работницы да рачительницы, как Маланья, и по округе не сыскать. Все хозяйство на ней держалось. Гляжу, бывало, на нее и думаю: эх, сжели бы тебя, Маланья, в активную жизнь вовлечь — цены бы тебе не было!.. Не любила она колхозного нашего дела. И хоть в колхозе состояла, а на работы выходила словно из-под палки, чтобы только-только трудодни им засчитали. Он-то был бросовый, бракованный, ни на какую работу не годился — больше навредит, чем выполнит. А она — пускай с рывка, со злобы, ненавистно — ворочала за двоих.

Так вот эта самая Маланья в правленье, в толпеже этом табачном, как у себя на дворе, развоевалась. Руки в боки, глазищи как у ведьмы, стекла дребезжат от горлана.

Увидала меня, тычет в меня пальцем и хохочет:

— Уж не эта ли активистка обратать нас хочет? Да она и лошадь-то охомутать не способна.

Я, конечное дело, ничего ей не ответствовала. Подошла к деду Митрию и заявила:

— Я, — говорю, — райкомом в правление послана. Павел Петрович мне объявил.

— Добро,— говорит, — садись на мое место, а я по хозяйству пройдусь.

— Нет, — говорю, —дедушка Митя, скажи-ка мне: какие ты бумажки людям выдаешь?

— А это, — говорит, — по тяжелому времю, освобождаю на декаду для своего индивидуального хозяйства.

— Как это для индивидуального? А на колхозное наплевать? Да ты, — говорю, — обалдел на старости лет? Кто тебе позволил? От кого директивы получил?

И так меня эта его халатность возмутила, что ходуном все заходило. Куда и робость моя девалась!

— Слушайте меня, граждане колхозники! Бумажки эти самые никакой силы не имеют. Самоуправство Митрия Калягина считаю преступным в наши тяжелые военные дни. Возвращайте-ка их опять на стол. Вы чего это задумали? Куда это годится? На чью руку играете? Сейчас хлебоуборка настала, а вы — по своим логовам? Врагу Гитлеру хотите помогать? А не скажут ли нам партия и бойцы наши: «Вот колхоз «Светлый путь» на темный переходит: работу бросил, хлеб на полях погноил и своих воинов на голод обрек, фронт ослабил, дорогу немцам очистил...» Этого вы, граждане колхозники, хотите? Признавайтесь, кто совесть и честь не потерял!

Вижу, народ как будто засовестился: присмирел, приумолк. Человека два бросили бумажки на стол и продрались обратно, подальше, в самый зад. А Маланья грудь выставила, зубы оскалила, зеленая вся — и ко мне:

— Ишь ты, куда пристяжная повернула! Чего ты забрыкалась-то? Да какая ты для нас распорядительница? У меня тоже муж мобилизованный. Не стращай, — не из пугливых ворон. Ты еще из комсомолок не вылупилась, а нас уму-разуму учишь...

И тут я не сробела, — уж очень нервы у меня разволновались, душа стрункой натянулась.

— А что ты, — говорю, — Малаша, скажешь после этих твоих поступков, ежели мужа убьют? Не опалит ли тебя совесть? Так-то ты мужу своему помогла? Да ведь из нашего села молодой цвет с врагами сражается... и за тебя и за всех нас. Бумажечку-то ты вынудила, да и других в смуту ввела... Ну что ж, валяй, валяй!.. А там, уж извини, пожалуйста, — пеняй на себя, Маланья Кирилловна. И у нас не без хороших, честных людей — у нас и без тебя совестливые найдутся. Смуты мы никак не потерпим... метлой выметем...

Тут она опять было орать начала, да я ее осадила:

— Ты свое слово сказала — можешь уходить с своей фальшивой бумажкой.

На нее прикрикнули, а она только фыркнула.

— Что же я, — говорит, — хуже тебя, что ли, Машка? Чего ты нос задираешь?

— Я тебе — не Машка, — говорю,—и строго стучу рукой по столу. — Меня партия и советская власть сюда поставили. Хуже ты здесь аль лучше — время покажет, а сейчас покамест ты — верная себе: антиобщественный элемент.

Повернулась она и стала через толпу пробираться: вижу, не вышла, а в углу, у двери, остановилась. Лицо злое, мстительное, а по глазам замечаю, как пьяная: за живое ее захватила. Глядит и ничего не видит. Обидно ей — нашла коса на камень, не ждала, не гадала, что такой ей активный отпор будет. Задумалась. Ну, думаю, я знаю, за какое тебя место прищемить.

И тут же с места в карьер обратилась к Митрию Калягину:

— А ты, дед Митрий, не уполномочен порядок в колхозе нарушать: твоя доброта хуже воровства. Ты бы подумал, как силу сколотить в это трудное время, а ты ее по ветру развеял.

И сразу же — благо народ толчется — объявила собранье. Наметили повестку дня: об организации сельских работ, и назначили разных ответственных людей — бригадиров, заведующих фермами и других прочих.

Народ-то у нас не плохой, совестливый, работящий. Землю любит, труд на земле исстари святым почитает. Ну, конечное дело, своя болячка еще дает себя знать: нет-нет — и заноет. Мамона-то единоличная, как старый домовой, в дедовской избе живет: и коровкой мычит, и свинушкой хрюкает, и по усадьбе гуляет. Привычки-то да вековечный уклад, как сор из избы, не выкинешь: с молоком матери впитались. Тут нужно воспитанье да воспитанье, неустанная работа. Не одно поколенье надо воспитывать. Ну да ведь на то и социализм: это трудная, великая работа, это не фокусы. Нам рай, как в библии, боженька не даст, а строится он с борьбой, с муками, с верой. Ну, а ежели создали да почувствовали, что свое, — сами гордятся, очень даже дорожат, видят, что хорошо, и радуются. Чего там говорить! Нашего человека очень даже знать

надо, уметь взять его за сердце да подойти к нему. Власть — дело мудрое, а без души, без сердца власть — это самовластье. Очень даже горько и обидно, что в нашем языке такое слово в обиход вошло.

И вот с того часа я и стала работать изо дня в день. В правлении сидеть мне было без надобности. Нужно было дело делать, а работа не ждала — забот по горло. Первая статья — хлеб надо было косить, молотить да государству сдавать. А массив у нас был огромадный. Потом пахать, к осеннему севу готовиться, а он уж на пороге.

Вторая статья: надо было сено возить, о кормах да поголовье позаботиться. А там — птицеферма и молочное хозяйство. Опытных работников почти что не осталось. А ядро наше женское было маленькое, хоть и крепкое. Я о своих подругах говорю, о бригаде своей. Хоть колхозниц и порядочно было, да многие о торговлишке думали: глядишь — каждая пятая чуть свет летит со жбаном молока, с картошкой, с маслом. Хватаешься за голову и думаешь: как быть, что делать? Горячее время — справимся ли? Что я должна предпринять?

Очень я голову ломала, как красиво дело повести, а время требовало своего, — дня нельзя было терять. Собрала я всех наших женщин, открыли мы совещание. Наши, мол, мужья ушли воевать, а нам наказывали: «На вас, дорогие женщины, надежда: не подкачайте, с делами справляйтесь, помогайте нам своим трудом. Провалите работу, подведете государство — нас под удар поставите, и стыдно нам будет в глаза товарищам глядеть. А ежели погибнем здесь от пули немецкой, вы прежде всего в ответе будете: не накормили, не напоили, рабочих на оборонных заводах заставили голодать, — значит, сорвали производство оружия и боеприпасов».

Две у меня старых подружки были: Варя Коноплева и Анфиса Теплых. Варя, высокая бабочка, статная, по-городски ходила, опрятная, грамотная, ни перед кем не робела, правду-матку в глаза резала. Глаза — большие, задорные, посмотрит — рублем подарит. Характерная была бабеночка. Муж у нее, Терентий, близкий товарищ был Макси с молодости. Оба были

в Красной Армии, оба младшие командиры были, и оба за колхоз дрались. Терентий тоже был в правлении и очень даже увлекался молочной фермой: сам ее организовал. Ну, первым делом я Варю приставила хозяйствовать на этой ферме и передала ей всех коров и телят. А другой — Анфисе, скромной, маленькой и робкой по виду, поручила наш птичник: очень уж она птицу любила — только о курах да о гусях и говорила. Кажется, что даже во сне их каждую ночь видела. У ней у самой куры на загляденье были — всякие разные породы: и леггорны и плимут-роки. Птицеферма у нас богатая — залюбуешься: прямо земля цветет и кипит.

Ну, и вот, созвала я собрание, гляжу и диву даюсь: и Маланья здесь! Сидит позади всех — хмурая, ехидная, почернела вся. Ну, думаю, устроит она нам тарарам. Посоветовались мы с Варей да Анфисой и решили: ежели озорни́чать будет, демагогией заниматься, обрежем ее, чтобы она больше — ни лбом, ни задом. А ежели в молчанку играть будет, — наша, мол, хата с краю, — выделим ее полевым бригадиром. Ведь, правду сказать, слово-то разит тех, кто слушать умеет, а дело любого рано аль поздно охомутает. Выступает Варя и так это веско и убедительно говорит:

— Хлебоуборка у нас теперьча — самое горячее дело. Провалим это дело — позор нам на всю область. А проведем хорошо — уберемся, выполним наш долг перед Красной Армией, поможем нашим воинам фашистов побить, — слава нам и хвала. Для этой ответственной работы я выдвигаю Маланью Кирилловну. Женщина она — хозяйственная, умная, заботливая, всю свою жизнь в труде прожила, всякую мелочь учтет. На нее очень даже можно положиться.

Смотрит на нее Варя своими большими, хорошими глазами, лицо высоко подняла, а Маланья так и застыла вся: озирается, даже как будто осунулась. Женщины наши переглядываются, от такой неожиданности буквально онемели. И вдруг как закричат в один голос:

— Верно, верно!.. Малашу надо... Все голосовать будем...

— Ну, что ж, — говорю, — Маланья Кирилловна не отказывается. Давайте проголосуем...

Только я сказала, Маланья выскочила и сломя голову — вперед, к столу.

— Не желаю! — говорит. — Нет моего согласия. У меня у самой своих делов по горло: и дети и хозяйство...

Дала я ей прокричаться, перегореть, а потом тихонько и спрашиваю:

— Как же это так, Маланья Кирилловна? Потвоему, значит, фашисты пускай наших бьют, пускай наши кладут свои головы, пускай на растерзанье идут? Так, что ли? Пускай люди с голоду умирают, пускай заводы останавливаются? Ты это хочешь высказать?

— Совсем даже не это, — кричит. — Там свое дело знают, а я — свое. Я не воюю. А своих детей и хозяйство по ветру пускать не хочу.

— Вот так раз, — говорю. — Да ежели все женщины у нас в стране закричат, как ты, да все плюнут, что же тогда получится? Подумай-ка. Ведь нас, Маланья Кирилловна, всех на войну мобилизовали, и тебя наравне с нами. Мужей наших призвали, а нам приказали: заменяйте их. Они — на фронте, а мы — в тылу. И разъяснили: и фронт и тыл — это одно. Как будет в тылу — так и на фронте. А женщина сейчас — решающая сила. Каждая женщина сейчас — в ответе. Не желаешь работать, родине помочь, значит, супостата вооружаешь и отдаешь ему наших людей на растерзанье. Разве ты не слышала, как они издеваются и зверствуют в захваченных местах: и расстреливают, и вешают, и пытают, и глаза пленным выкалывают, животы распарывают, наших девушек и женщин бесчестят и всех на голодную смерть обрекают? Значит, ты хочешь, чтобы Гитлер и к нам пришел и здесь такие же зверства натворил? Ведь он на весь мир заявил: всех русских истреблю до одного человека, а которые в живых останутся — рабами сделаю. Вот и скажи ты нам, Маланья Кирилловна: ты этого хочешь? Как же это у нас называется?

Горячо я говорила, без хвастовства скажу, а ежели волнуюсь, так прямо огнем горю. И вот, когда я о му-

ках наших людей сказала, от слез голос у меня оборвался. Вижу, некоторые женщины тоже разволновались. Некие ахают, вздыхают, качают головами, отмахиваются и бормочут:

— И как ей не стыдно! В это время-то... Как это у ней язык ворочается?.. И откуда у нее, поперешной, злость такая?..

А Маланья стоит, как к месту приросла, глаза красные, руки дрожат.

— Ну, что ж, — говорю, — Маланья Кирилловна, можешь уходить. Мы к тебе всей душой обратились, с верой к тебе... а ты вот как повернула!.. Считали, что придет такое время — одумаешься... Время это пришло — тяжелое для нас время, — а ты, однако, не одумалась. Хуже: ведешь себя буквально как предательница. Ведь не знаю, как бы ты себя с врагами повела. Может, и нас бы всех на виселицу отправила?

И как только я это сказала, задрожала она вся, платок с головы сорвала, прижала его к груди, хочет крикнуть и не может: дух захватило.

Как раз в эту минутку вошел Павел Петрович, остановился у двери и прислонился к косяку.

Жду, сердце у меня голубем бьется: боюсь, как бы скандала не вышло. И вдруг — батюшки! — Маланья тихо, как больная, с хрипотой и говорит:

— Зачем же это вы так, бабочки?.. Я — не злодейка какая-нибудь... не вражина... Ну, сбрехнешь когда от тоски... У меня ведь в нутре-то живого места нет... Знаете, как я жила — светлого дня не было... С молодости — в работище, детищи замаяли, муж пил без просыпу... Больная я... бессчастная...

И заплакала.

— Посылайте... буду... Я от работы не отказываюсь...

И пошла, как побитая, на место — так с платком в руке, простоволосая, и пошла. А мы все смотрим на нее, словно громом нас оглушило. Павел Петрович подошел к столу и с улыбочкой проговорил:

— Я Малашу давненько знаю: еще вот этакенькая она была (и рукой от полу на аршин показывает). Женщина она честная, труженица. Ее надо понять.

Жизнь-то у ней неудачная сложилась. Помочь ей надо.

Собраньем этим я очень осталась довольная. И только уж перед самой моей избой сердце у меня заныло. Слышу — соседка-старуха воет под ветлой у зыбки: «По грехам нашим господь посылат велику беду на нашу страну...» Это — стих староверский, заунывный, скорбящий такой, до слез за душу хватает...

И тоскливо стало: вспомнила, как Макся, бывало, приходил домой в это время, веселый, радостный, озабоченный, как хозяин, который все знает, во все вникает, все любит, и ему хорошо, потому что с пользой, с удовольствием день провел. А вот теперь его нет, и где он — неизвестно: сначала писал, а потом ни весточки, ни привета ни ответа на мои письма. Больно стало, что я — одна, что на земле рекой льется кровь, что гибнут страшной смертью на виселицах, под пулей, в пожарах такие простые люди, как я, как эта старуха соседка. Уж ночь наступила, и избы были какие-то угрюмые и жуткие, и огоньки мутненько мелькали в окошках. На небе — ни звездочки. А старуха тихо так да угрюмо вопит, словно рыдает про себя.

В избу свою я вошла кое-как, и ноги отяжелели, и сердце замирало, от предчувствия, будто и на меня наплывает какая-то беда. Только Дунярка душу мою осветила. Вошла я, а на столе — посуда, хлеб и цветочки в стакане. Ждала меня и все приготовила.

— Мама, — кричит, — мама! Заждалась я тебя, мамуленька!

— Аль любишь, дочка?

— Страсть, — говорит, — люблю. Так люблю, так люблю, индо плакать хочется... Вот и на стол собрала, все приготовила, чтоб ты обрадовалась. О папаньке думала: птичкой бы к нему улетела...

И так она растревожила меня, что никак слез сдержать не могла: смеюсь и плачу, прижимаю ее к себе, целую и смеюсь... смеюсь и плачу...

Дни были горячие. Ни минуты нельзя было терять: хлеба ждали уборки дружной, а рук было мало. На эмтеэс осталось только двое трактористов да два

комбайнера. На жатки у нас девчата сели, а на комбайн стал на первое время сам Павел Петрович. Старик старик, а никак не унывал, всё с улыбочкой, с шуточкой.

— Зарежемся мы, — говорю, — с этой хлебоуборкой, Павел Петрович, а с пахотой и осенним севом — того хуже...

А он подмигнет, усмехнется и ласковенько скажет:

— Зарежемся, говоришь? А я верю, что нет: и хлеб уберем и посеемся... Давай поспорим: колоска не оставим, и вспашем и посеем. И выходит, что я больше верю в вашу бабью силу, чем вы. Нехорошо, Машенька, не верить в свои силы: сама себя разоружаешь. А надо так: сделаем! На войне-то, ты думаешь, легче? На смерть идут люди... Кажется, невозможно взять укрепления противника, а дух и уменье невозможное делают возможным.

— Дух-то, — говорю, — может, у нас и есть, да уменье-то где?

— И опять тоже нехорошо ты говоришь, Маша: уменье — от хотенья. Уменью люди учатся. Лишь бы высокий дух был, а уменье — дело наживное. Пока что жатки погремят, — лошади-то кой-какие есть, — тут мы двух зайцев и убьем: тракторные курсы для девчат да подростков устроим. И поедут, заработают, — да еще как!

Не стану рассказывать, как день ото дня мы все хозяйство в свои руки брали. У нас, женщин, сердце не на месте было от заботы и беспокойства. Видишь, хлеба желтые, волны идут по ним, словно к тебе торопятся: жать пора! А сердце им навстречу бьется. Я с детства любила и сенокос и жнитво. Золотая пора, красивая, веселая, хоть работа и трудная. Кажется, по полям-то само солнышко пылает и поет жаворонками.

Дед Митрий, страшное дело, недовольный был, что мы в правленье новые порядки стали заводить: толкучку изничтожили, людей всех по бригадам закрепили, а наряды еще накануне на работах давали дня на два. Деду Митрию и другому, цифролюбу, строгую ответственность поручили: одному — поле, другому —

доставку зерна на ссыпной пункт. Им уже не время было сидеть в правлении да сосать самосад. У деда Митрия глаза стали волчьи, а седая борода да брови так и прыгают.

Смехота была глядеть на него. Ворчит, меня как бы не замечает, к Нефеду обращается, а тот сидит сычом, щелкает на счетах и хмыкает — не поймешь, что думает. Особливо смешно было, когда Митрий из себя выходил, потому что никто его не слушал. Нефед-то, бывало, целый день как уткнется в ведомости да цифры свои, так ни одного слова не выдавит из себя.

— Хоть кол им на голове теши... — ворчит Митрий. Борода у него трясется, ноги подгибаются, а ноги-то у него вогнуты были друг к дружке в коленках, будто крест-накрест выросли.

В этот самый момент я спокойно, заботливо и строгонько говорю ему:

— Митрий Егорыч, тебе пора на поле идти. Дело не ждет. Ты ведь у нас на поле — голова.

— Поговори там: без тебя не знают.

— А что ж, — говорю, — Митрий Егорыч, и я поеду доглядеть. На то мы и поставлены.

И нарочно торопливо собираюсь.

Надоело это мне до смерти. Кинулась к Павлу Петровичу. Встретил он с испугом, — должно быть, лицо у меня было особенное.

— Ты чего, Маша? Аль что нехорошее случилось?

— Моготы, — говорю, — нет, Павел Петрович. Богадельня у нас, что ли? Звони, — говорю, — в район: надо новое правление выбирать.

Смеется, подмигивает.

— Ну, вот, — говорит, — растерялась, «караул» закричала. Разве так можно! Разве, — говорит, — это трудности? Трудности еще впереди. Это — не трудности, а комедия. Выборы выборами, а ты веди свою линию, собери около себя способных людей и — жарь себе на всех парах.

А я, верно это, очень даже нервная и горячая. Слезы даже, бывает, брызнут из глаз — только не от слабости, а от упрямого сердца.

Вбегаю после этого разговора в правление, а старики бормочут и к месту приросли: ясное дело, сговорились измором меня выжить. Ну, я их как кипятком ошпарила.

— Я, — говорю, — с вами по-доброму, с почтеньем к вашей старости обходилась. А теперь не посмотрю, что вы седые да лысые, да членами правления колхоза находитесь. Ежели, — говорю, — свои обязанности не будете выполнять, с вас взыщется!

Тут дед Митрий — на меня: весь трясется — и борода, и брови, и портки.

— Ты кто такая, чтобы над нами распоряжаться? Грамотная какая... образованная!.. Нас народ выбирал...

— Вас народ выбирал, потому что верил, что вы этому народу служить будете, не щадя сил. А вы баклуши бьете. Старики! Хозяева! Выбирают не для почета, а для работы. Не место красит человека, а человек — место. А вы это ответственное место позорите. Нам бы у вас учиться надо, а вы только кряхтите да мух гоняете. Меня в правление-то партия послала... партия и война... грозное время... поняли? Выполним хлебозаготовку и осенний сев — не ваша это будет заслуга, а наша...

Должно быть, я страшная была: помню, сила во мне клокотала, гнев большой, и они передо мною ужасно были маленькие. Опамятовалась я, гляжу, а их уж нет: как дым растаяли. И до чего смешно мне стало: стою и хохочу, удержаться не могу!..

Деньки стояли сухие, солнечные, синие. Я с зорькой вставала и сейчас же — в правление: там бригадиры и звеньевые собирались. Столпимся на крыльце и говорим, как вчера люди работали, кто старался, кто кого перегнал, кто не вышел на работу да почему не вышел. И тут же, конечно, не без злого язычка: кто на какие хитрости пускался, чтобы отлынить от работы и домой удрать. А вот Параха всех за пояс заткнула: сжала или связала снопов больше раза в два, а Олёнка села на жатку и лучше любого мужика косила, и все — как под гребеночку... Я, конечно, похваливала их от сердца и нарочно спрашивала всех, как Параху

и Олену наградить, какую премию выдать. А потом намекала, что, ежели так наши женщины отличаться будут, район заинтересуется. Напишем, мол, в армию — уведомим наших бойцов, как и кто у нас за рекорды держится, чтобы и там порадовались. И тут же обязательно похвалим и Маланью. Стоит она в сторонке, угрюмая, нелюдимая, молчаливая, ни на кого не смотрит: все о чем-то думает и словно замышляет что-то.

А однажды эдак пригласила я нашу воспитательницу — старую учительницу, которая детские ясли да площадки организовала, чтобы рассказала, как о детях заботятся, как их кормят и забавляют. Очень это всем понравилось. А другую учительницу заставила рассказать нам, какие дела происходят на фронте. Наши тогда отступали, город за городом сдавали: очень было тяжело, сердце чернело, душа стонала. Ну, учительница, комсомолка, кудрявенькая, из колхозниц вышла, ловко умела все объяснить и доказать, что захватить много земли — не значит победить. Расскажет, как враги наших крестьян мучают, как детишек и стариков истребляют, как из своих домов выгоняют. Ежели бы не сражались наши бойцы, фашисты и сюда бы к нам ворвались и то же самое понаделали бы... не миновать бы и нам горя и беды. Комсомолка, Анна Ивановна, увлекательно рассказывала: все слушали, затаив дыхание. А она кудри рукой откидывает, глаза блестят, и вся душа у ней клокочет. Мы ее и на поля приглашали, и там она в обед газету прочитывала. А в газетах писалось, как рабочие и инженеры на заводах танки, да самолеты, да оружие выделывают, как тысячники появились, как все помогают фронту. Ну, а когда она о деревне читала, как называла знакомые колхозы и как там отлично работают, всем завидно становилось. Начинались разговоры: и мы, мол, не хуже других, и мы, мол, можем достижение давать. Тут, явное дело, дразнить начинаешь: у нас, мол, пожалуй, некому и объявиться... Господи, сколько крику бывало! Обижаться начнут, волнуются. А мне этого только и надо. С этого времени начали вызываться: мы столько-то дадим, да нас на кривой не объедешь... и пошло, и пошло...

Только Маланья по-прежнему молчала и чем-то мучилась. Со мной она ни разу больше не разговаривала и наряд брала молча. Только лицо у нее было темное, высушенное, а глаза недобрые. Правда, у всех лица-то были загорелые, обветренные, кожа, как лакированная, но у нее черное какое-то лицо было. Видно, что и сердце у нее обуглилось. Мне было тяжело смотреть на нее, тревога беспокоила: как бы чего она не выкинула. Копится у ней внутри какой-то чад, а накопится — обязательно прорвется. И верно: прорвалось.

У ней было трое ребятишек — от двух до шести годков. В детский сад она их не отдала. Пришла к ней учительница, а она ее вытурила.

— Пускай лучше дома подохнут, а в ваш сад не отдам. Проваливай, чтоб больше я тебя не видела, а придешь — помелом вытурю...

И вот она нет-нет, да с поля и убежит. Хватятся — нет ее.

— Ну, наша Маланья опять домой умчалась... — смеялись девчата. — Хвост-то дверью прищемило.

А работала — на зависть: не угонишься за ней. Издали любо-дорого глядеть, но женщины жаловались:

— Ведьмища какая-то — рвет и мечет, злобой вся изошла. Мочи нет. Духота с ней. Часу с ней не проработаешь — до смерти измотаешься. И песня на ум не идет.

Может, это по глупости нашей случилось, а хотели мы насильно добро ей сделать — заботой о детишках ее умягчить. Пришли к ней в избу воспитательницы, забрали ребятишек, привели в детский сад, вымыли их, накормили-напоили, приласкали. И рады они были до невозможности. Развеселились, раскричались, личишки засветились.

Прибежала Маланья с поля домой — пусто. Туда-сюда, зовет, кричит, мечется. Примчалась на площадку у школы и орет:

— Сейчас же домой, чтоб духу вашего здесь не было!

Детишки — в рев. К одному, к другому, к третьему — шлепки, тумаки.

Учительница к ней:

— Как вам, Малаша, не стыдно!

А она, как безумная, бросилась на нее и хотела в волосы ей вцепиться, да подбежали другие учительницы, схватили за руки. Кое-как угомонили ее, а детишек отбить не смогли: притащила она их домой и больше на работу не вышла.

Обсудили мы тут же на поле, как с ней быть, и решили: аванс ей не выдавать, считать ее дезертиром и вне колхоза: насильно, мол, мил не будешь.

Прихожу я как-то на нашу молочную ферму, вижу: стоит с доярками Маланья и шушукается. Заметила меня — отвернулась. А тут — Варя Коноплева с бумажкой в руках. Брови нахмурены, смотрит в сторону Маланьи сердито. В своем хозяйстве Варя была строгая: каждой корове учет вела, паспорт точный составляла и доярок способных, заботливых да нежных подбирала. И всегда-то с радостью докладывает: такая-то корова на столько-то литров больше молока дала, такая-то доярка так-то да эдак за коровой ухаживает. А тут протягивает мне бумажку и нетерпеливо говорит:

— Известно тебе, что дед Митрий разрешение даст... — и уж не первый раз, заметь! — чтобы отпустить масла и молока вот таким женщинам, как Маланья? Как хочешь, Маша, а я эти бумажки складываю и никому не отпускаю. Митрий и для себя и для Нефеда тоже требует. Маланья мне сейчас скандал сделала: прямо нахально требует кило масла. Я ей отказала, а она раскричалась: грозит жаловаться, что не заботимся о семьях красноармейцев. Ну, да ведь ты сама, Маша, знаешь, что на испуг меня не возьмешь, а на нахальство я сама нахальная.

— Правильно, — говорю, — поступила, Варя. Сейчас пойду в правление, — говорю, — и приведу в православие нашего старика.

Прихожу в правление, а там опять не продохнешь от самосада. И старички разные и старушки клянчат чего-то. А Митрий сидит, ворчит и этакого богатого хозяйчика изображает. Увидел меня — съежился.

— Ты чего это, — говорю, — Митрий Егорыч, колхозным добром распоряжаешься? Опять бумажки

раздаешь? Кто тебе позволил? Вместо того чтобы на поле быть, ты здесь баклуши бьешь да еще маслицем себя с Нефедом ублажаешь?

Ух, как он скапустился! Испугался.

— Что ты, что ты, Маша! Я ведь по закону: о красноармейках и о родителях забочусь. Велено внимание им оказывать...

— Ишь, — говорю, — какие вы добрые на общественный счет! Заботой о женах и родителях красноармейцев хотел меня обезоружить! Я тебя, Митрий Егорыч, сама обезоружу.

И еще больше взяла его на испуг:

— А известно тебе, как идет хлебоуборка и хлебозаготовка? Известно, как готовимся к осеннему севу? На днях приедут секретарь райкома и предрайисполкома, от тебя, как от заместителя предколхоза, доклад и отчет потребуют. Готов ты к этому или нет?

— Да ведь это ты должна... тебя сюда на это дело послали... А я чего? Я и слова-то сказать не могу... Сроду оратором не был...

— Нужда заставит — и оратором будешь.

И злость у меня и радость на сердце.

Ну и работали мы! До солнышка начинаешь — затемно кончаешь. Видим, до осени с хлебом не управимся и сев проваливаем. Правда, девчата да подростки и на косилки и на тракторы сели. Сверх всяких там норм выполняли, — как сейчас говорится. А всё же кое-кто из баб на работу не выходил. В ясли, на площадку детей своих несут — выгодно! — а сами — фыр! — с мешками да жбанами на станцию. Страшное дело, как зло нас разбирало. И агитацию вели и стыдили — нет, ничего не берет. Да еще завизжат на всю улицу. И все с демагогией: обижаем-де несчастных, прижимаем-де жен фронтовиков. Да я сама, говорю, жена фронтовика, все фронтовички, а сознают, помогают армии — работают, не щадя сил. И не говори! Такой шум и гвалт — в ушах свербит.

А Павел Петрович, когда жалуешься ему, все, милый человек, улыбается, словно ты ребенок перед ним.

— Не обращай, — говорит, — внимания, Маша. Все утрясется и придет к знаменателю. Работать да работать с ними надо. Не будет у них трудодней — вот и закричат «караул». Предупреди их. Не послушают — покаются. А пока придется в район обратиться: пускай по раскладке и нам пришлют мобилизованных служащих да студентов.

Я прямо-таки испугалась этих слов. Ведь этак мы, думаю, только развал в дисциплину внесем. Бездельники на смех поднимут и уж совсем распояшутся.

— Не подождать ли, — говорю, — Павел Петрович? Насчет своих-то надо бы в первую очередь какие-нибудь меры принять. Стыдно ведь.

— Ждать, — говорит, — нельзя: поздно уж будет.

И, как нарочно, в эти самые горячие дни приезжает на машине секретарь райкома с начрайзо. Я на поле была в этот час. А на поле бываешь, всегда руки чешутся: то к одной, то к другой бригаде прибежишь. Больно уж хмельной запах ржи и пшеницы сердце поднимает. Словно золото вокруг волнуется, плещет по косогорьям, огнем горит. А далеко лес сосновый синеет и дымится. И будто кругом море кипит на солнце, а лес — темные берега. Шумят на горячем ветерке колосья и солома, а в небесах жаворонки заливаются. Господи, что есть еще прекраснее? Собираешь скошенный хлеб в охапку, туго подпоясываешь свяслом, а он, сноп-то, как живой, смотрит на тебя и смеется. Честное слово, не шучу: так и чудится, что смеется и шепчет тебе что-то на ухо. В работе этой я очень всегда была жестокая: никогда, бывало, переднего места не уступлю. Бес у меня в крови играет. Вся пóтом изольешься, сердце колотится, а под ногами земля искрами переливается. Ну, за мной, конечно, женщины и девчата торопятся, смеются, друг дружку подзуживают. А недалеко косилки жужжат, позванивают и грабельцами машут.

Так вот в такой момент прискакал верхом парнишка — Васятка, рассыльный, беловолосый, обгорелый весь, и кричит еще издали:

— Тетя Маша, из райкома на авто приехали, тебя зовут... чтобы сейчас явилась...

Не знаю, почему — сердце у меня екнуло и заныло. Ну, думаю, не иначе прорабатывать будут, что уборку провалили. Бегу со всех ног к табору, сажусь верхом на лошадь — запрягать некогда — и галопом в деревню.

Поднимаюсь на крылечко, — у нас сельсовет и правление в одном здании, — а дальше шагу шагнуть не могу: сердце птицей бьется, дышать трудно, ноги подкашиваются. Собралась немножко с духом, вхожу в сени. Из-за двери громкие голоса, веселые такие. Отворяю дверь, хочу показать, что ничего не боюсь, что я смелая и такая же веселая, как они, и с этаким задором:

— Здравствуйте, товарищи! С приездом! Очень даже вам рады.

А Павел Петрович кивает на меня седой своей головой и ласково улыбается.

— Вот она, — говорит, — наша Марья Антоновна Травкина... — И ладошкой этак к себе загребает: — Ну-ка, Маша... Иди-ка сюда на расправу.

Мне-то страшно немного, а храбрюсь, плечо вперед держу. А как услышала это слово «на расправу», опять духом упала. Но виду не показываю. Подхожу к одному, к другому, ручку им пожимаю.

Секретарь был такой коренастенький, чернявенький, волосы торчком, лицо как спелый желудь, глаза вприщурочку, пристальные, хитренькие. В гимнастерке. А начрайзо — высокий, тоже в гимнастерке, белобрысый, длинноносый, ходит по комнате, скучный, ни на кого не глядит. Сапоги на нем аккуратные, со скрипчиком.

Посидели маленько, чуток помолчали, а я дышу шибко, успокоить сердце не могу. Секретарь смотрит на меня, улыбается и говорит:

— Ну, Марья Антоновна, как твои дела?

— Мои, — говорю, — дела, товарищ секретарь, не суть для вас важные. А вот с хлебоуборкой затруднительно.

— С хлебоуборкой, — говорит, — везде затруднительно, не только у вас. Ежели жаловаться хочешь — жалуйся, только не плачь.

Я — в обиду.

— Ежели, — говорю, — плакать захочу, так втихомолку поплачу. А плакать да жаловаться не в моем характере.

Павел Петрович строгонько поглядел на меня, брови серенькие вскинул и прикрикнул:

— Ну, ты, Маша, потише себя держи... Что это за крик, скажи, пожалуйста?

А у самого в лукавых его глазках так чертенята и кувыркаются.

Секретарь перелистывает какую-то ведомость и смеется. А начрайзо уставился мне в глаза и сердито этак:

— Тебе, брат, пальца в рот не клади, — откусишь.

— А что же, — говорю, — и откушу...

— Задорная.

— От задора, — говорю, — не отказываюсь. Рохлей будешь — охомутают.

Тут секретарь стал очень серьезный и выступил вежливо:

— Вот что, Марья Антоновна. Мы о тебе знаем кое-что хорошее. Очень даже ценим твоего мужа, товарища Травкина. Решили мы выдвинуть тебя председателем колхоза. Рекомендовать тебя людям.

Я так и обомлела.

— Да разве это возможно? Товарищи! У меня и силы на такое дело нет. Тут мужикам и то невмоготу иной раз приходилось... А как же я-то?..

И — в слезы. Реву, а самой стыдно.

А начрайзо в ухо мне ехидно издевается:

— Вот тебе и задорная!.. Задор-то у тебя — в слезах, как видно.

Страсть я его в ту минуту возненавидела. Плачу и огрызаюсь:

— Вы меня, товарищ, не тревожьте. И сядьте подальше, чтоб не вышло неприятности.

Они все даже оглушили меня своим хохотом. А секретарь спрашивает этак ехидненько:

— А скажи-ка, Марья Антоновна, что тебе Максим наказывал при расставанье?

— Наказывать-то, — говорю, — наказывал, а писем уже больше не шлет...

— Ну, не шлет, — значит, есть причина. Пришлет. А все-таки что он тебе наказывал? Припомни-ка. Ты вот артачишься, робеешь, плачешь, — разве в этом исполнение его наказа? А ведь ты ответила ему: ни тебя, ни себя не обесславлю... Так?

— Это вам Павел Петрович рассказал...

— Кто бы ни рассказал, а вот знаю. Так вот мы и приехали, чтобы собрание созвать. Кандидатуру твою обсудим и собранию предложим.

Павел Петрович, милый человек, ласково и ответь за меня:

— Она, конечно, согласна. Понятно: волнуется. А ведь по сути дела она и сейчас фактически несет обязанности предколхоза.

— И хорошо несет. А мы ей поможем. Ну, как же, Марья Антоновна?

— Хорошо, — говорю, — согласна. Только ежели не справлюсь...

Тут начрайзо опять резанул меня по сердцу, язва:

— А не справишься — взгреем до седьмого пота. Взыщем по всем статьям.

Разозлилась я и огрызнулась:

— Посмотрим еще, как вы-то помогать будете.

А он даже засмеялся.

— Вот с этого бы и начинала... а не с мокрого места...

Я тоже засмеялась и успокоилась. А потом все им по порядку рассказала, в чем у нас трудности: как правление рассыпалось, как машины плохо работают, как рабочих рук не хватает, как к пахоте мало годных людей и прочее такое. Старичков наших добреньких расписала, не пощадила и Павла Петровича: в такое, мол, горячее время сельсовет пропуска выдает нашим колхозникам на железную дорогу. У нас, мол, койкакие женщины не к работе интерес имеют, а к торговлишке: старая закваска еще сильно действует. Павел Петрович страшное лицо сделал, а потом засмеялся.

— И меня высекла, а я думал, что не решится нападать на власть. Верно, был грех, а теперь эту волынку аннулировали...

— Как это аннулировали? — разгорячилась я. — А бабы все-таки гурьбой тянутся чуть свет на станцию да еще лошадей требуют. Я это ликвидировала, но у нас есть сердобольные конюхи, которые исподтишка и подводишки снаряжают. Плохо мы боремся. Вы все хорошие, Павел Петрович, а меня собаками травят. У этих мешочниц таких агитаторов, как Маланья, сколько угодно. Сплетни плетут, как кружева, а сплетня — самая заразная агитация.

Секретарь переглянулся с Павлом Петровичем и с начрайзо, а когда на меня посмотрел, лицо у него стало строгое, а глаза хитро поддеть меня хотят.

В этот день я словно большой праздник переживала. Сначала мы все вместе на фермы наши ходили, в конюшню, на скотный двор, а потом поехали в машине на поля. Долго ходили мы от бригады к бригаде, а озорник начрайзо все девчат задирал, и они ему не спускали — зубасто, дерзко отвечали. Он все время восхищался:

— Замечательный народ наши женщины! Да с таким народом чудеса можно делать...

Вечером устроили собрание. Секретарь речь держал — о помощи фронту говорил.

Ну, потом я выступила, Павел Петрович и еще кто-то. Очень даже хороший был вечер: всколыхнулись все, здорово волновались. Маланья назло не пришла на собранье. Заметила я это и решила про себя: ну, я ж тебя сумею взнуздать, упрямство твое, как пыль, выбью...

Выбрали новое правление колхоза: я — председатель, а членами — Варя, Анфиса, учительница-комсомолка... один конюх, заботливый такой мужик, скромный... Счетовода — секретарем. Все так и ахнули, когда я предложила кандидатуру Маланьи. Павел Петрович мне сердито шипит в ухо:

— Да ты с ума сошла, Маша! Разве можно такую женщину в члены?

А я упрямо настаиваю:

— Маланья Кирилловна будет работать—ручаюсь. Как почувствует она ответственность, так другим человеком станет.

Слышу со всех сторон:

— Маланья — беглянка... бросила бригаду — удрала...

Тут я и насчет Павла Петровича проехалась:

— Вспомните, ведь сам Павел Петрович ее поддерживал... Помочь ей советовал. А чем мы ей помогли?.. Даю слово: на ноги ее поставим.

Спорили долго, я не сдавалась. Правда, большинством в два голоса, а все-таки выбрали ее. И эта моя победа очень даже меня обрадовала, себя почуяла, свой характер: захочу — так и я не последняя сила. Не слово родит человека, а дело. Без крепкой ответственности любой человек с панталыку сбивается. Надо, чтобы у человека всегда сердце от совести ныло. Совесть-то самое главное в человеке и есть. Я это буквально на себе испытываю.

Ну, и стали мы с новой силой работать. В правлении, можно сказать, — бабье царство. Как что, как заминка какая на поле, сейчас же крик, волнение — все ко мне. Ежели что на ходу можно поправить иль толкнуть, бежишь туда, где тонко, чтоб не рвалось. А чаще соберешь женщин, посоветуешься с ними: наперебой стараются — предлагают то одно, то другое улучшение. И вот каждую женщину и мобилизуешь это ее улучшение провести. А им лестно: никогда они не чувствовали такой общественной запряжки.

Детишкам мы хорошее питание устроили и брали в ясли и на площадку только у тех матерей, которые работали. Вызвали мы всех «путешественниц» в правление и сказали: ежели вам, мол, на ваше колхозное добро наплевать, а увлекает вас больше интерес спекулировать, объявляем вас саботажницами. Детей, мол, ваших оставляйте при себе — сами о них заботьтесь. И имейте, мол, в виду, что трудодней вам никаких не будет засчитано и ни маковой росинки не получите. Вот и считайте, что вам выгодно: или торговлишка, или честный общественный труд. Будете

вместе с нами делить общие трудности и радости — хорошо, не будете — пеняйте на себя!

Батюшки, сколько крику и злобности было! Кой-кто из них сдался, с обидой, с ненавистью, будто их палкой в стойло загоняют. Другие обохалили нас и ушли.

И вот что я заметила. На этот раз Маланья вместе с нами заседала. Сидела в сторонке, как в столбняке: ни слова не проронила, темная вся, как ядом налитая. И по всему видно было, что все эти саботажницы на нее только и поглядывали, и этой своей ядовитой чернотой она их словно еще сильнее отравляла. И вот, подумайте, встает она, как туча, мнет пальцами губы, и глаза так и жгут. Помолчала, потопталась и говорит:

— Я вот спросить хочу: кто меня в правление выбирал? Я, — говорит, — не к членам обращаюсь, а вот к собранью, к женщинам, которые здесь сидят.

Ну, наши торговки рады, орут ей:

— Мы не выбирали и даже на собранье не были. А ежели были бы, так, явное дело, за тебя бы кричали.

— То-то, что кричали бы... Кричать мы ой какие лихие! А почто кричали бы?

И ответить им не дала — горой на них свалилась:

— Не вы, — говорит, — мне душу перевернули, не вам спасибо скажу, а вот Маше и всем ее помощницам. На меня у вас надёжа была, знаю. Да чести мне в этом мало. А я со зла сколь им горя да неприятности причинила. И мне же они, умницы, добром заплатили: зла не помнили, а хорошее во мне, как угольки из загнетки, выбирали и на своих ладошках раздували. Не по злобе я на собранье-то не была, а совести не хватило. Ну, как узнала, что меня выбрали. в доверие ввели, я целые сутки ревмя ревела, все сердце себе изгрызла... Так вот, бабочки, скажу вам, как душа велит: ежели хоть одна из вас выйдет с торбой из села, на себе же самой и ездить будет. Ни зернышка не получит и дорогу к колхозу забудет. Собакой бродячей будет шататься. А мужьям в армию

распишем: вот, мол, они какие, ваши жены-мироносицы!..

И ко мне обращается:

— Я, Маша, сама с этими барахольщицами хочу рассчитаться: у меня с ними свои счеты есть.

Вот тут-то наши спекулянтки и начали паниковать: одни скисли, а другие по домам разбежались.

Встала я, не утерпела — обняла Малашу и со слезами в губы ее расцеловала. И у ней слезы по щекам катились.

Никогда еще в нашем колхозе так не работали, как мы своим женским коллективом. Женщины всегда хозяйственные были: они и домашность справляли, и детей растили-воспитывали, и всех-то обшивали, и за всеми-то ухаживали. Всё на своем горбу несли... Вот сейчас многие из нас общественные обязанности несут, а разве дело-то по домашности изменилось?

Заверяю вас от всего сердца: все от нас зависит, буквально от нас самих. Захочешь — все сделаешь. Не для красного словца говорю, подлинно по себе сужу. По охоте да по хорошей воле всякие у нас чудеса можно делать. Взять хоть бы наше Заполье.

Поля-от у нас — неоглядные: солнышко и всходит и закатывается на нашей земле. И озимый и яровой клин большой, паров и зяби поднимаем не мало. И всё, бывало, машинами работали. А вот война началась — то того, то другого нет: наша эмтеэс оказалась неподкованной — без горючего, без ремонта, а тягло наше поредело: лошадки-то тоже воевать пошли. Куда ни ткнись — везде прорехи да огрехи. А засев был огромный — и озимых и яровых. Надо было успеть скосить, сжать да обмолотить, а тут время не ждет: надо было о парах заботиться, осенний сев проводить. Время быстрой речкой текло. Тут и у опытного хозяина сердце-то зашлось бы и в глазах бы помутилось. А нам и подавно: хоть волосы на себе дери. Ну, а положенье было такое: раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. На это мой Макся любил поговоркой отшучиваться: не тот дюж, кто взялся за гуж, а тот дюж, кто горит за сто душ. А горели-то мы жарко. Сначала-то было очень страшно: ну-ка, эта-

кая махинища свалилась на нашу голову! Перед секретарем-то я поплакала не по бабьей слабости, а от робости: ведь ответственность-то какая!

Вот мы и решили: раз на наши плечи свалилась вся тягота, надо душу, как костер, зажечь. Напомнила всем слова Макси: тот дюж, кто горит за сто душ. Малашу я замещать себя поставила. А когда она почувствовала свою ответственность, так словно бы заново родилась. Оно завсегда так бывает: настоящая-то ответственность для честного человека — всенародное испытание: она под удар его ставит и до гордости честь его возносит. Поставили мы вопрос: надо ли нам из города людей требовать? Справимся ли мы своими силами? И без прений решили: не надо. Не успели, мол, хозяйство в свои руки взять, а уж «караул» закричали. Павел Петрович усмехался и головой качал: смотрите, мол, не очень-то на себя надейтесь, как бы впросак не попасть... Малаша первая голос подала:

— Пустые мы будем балаболки, ежели городских звать будем. Да нас весь народ на смех подымет. Стариков, старух, подростков собьем...

Как пошла по деревне из избы в избу, как начала по сердцу, по совести стегать — боже мой! — все от мала до велика валом повалили. И никого-то с глаз своих не спускает. Видит, что кто-то из барахольщиц турусы на колесах разводит, тут она как из-под земли:

— Ты что же это, матушка, зерно-то свое сквозь пальцы пропускаешь? Другие, милая, подберут, не побрезгают. Что имеем — не храним, потерявши — плачем. Гляди, как бы не наревелась после времени: пенять будет не на кого...

Твердую линию взяла: ни себе, ни другим никакого снисхождения не допускала. Старички-то наши, правленцы бывшие, а особливо плотник да кузнец в ремонтной мастерской, оба такие же седые да чванные, так возгордились, такими себя заслуженными да незаменимыми считали, что в обычай себе взяли прогуливать и тайком самогонишко гнать. Один раз прогуляли два дня, другой раз — три дня, а когда учитывать их стали, потребовали прогулы их оплачивать.

Конечное дело, отказали им, а они возьми да сразу на четыре дня забастовали: пускай других на наше место поищут, — мастеров-то нет, без нас завоют бабенки-то... А бывшие правленцы — дед Митрий и Нефед-цифролюб — попривыкли распоряжаться, к трудной работе не способны, подчиняться бабам не хочется — зазорно. Тут Малаша-то и показала себя. Врывается в мастерскую — никого, бежит по домам — никого. Пробегает мимо пожарного сарая, видит: сидят там наши старички и самогончик распивают, в шашки дуются. Без всякой опаски вихрем она туда влетает и кричит:

— Ах, вы, — говорит, — бездельники! Ах, дармоеды! Да я, — говорит, — ни одного часа в своей черной жизни без труда да без забот не провела, а вы привыкли только на бабьих плечах ездить... Вот как вы здесь горячее время проводите! Самогон глохтаете да в нужники играете!..

Стали было они перед людьми бунтовать и Малашу охалить, а их первых же на смех подняли. Да и себе все на носу зарубили: с ней шуток не шути, и себе — убыток и на все село — бесславье.

Так мы и лето закончили, так и осень начали: уборку хлеба, по правде сказать, малость затянули, а план все ж таки выполнили. Зато вспахали да посеяли вовремя, хоть эмтеэс тракторами нас очень даже не побаловала: больше на лошадках и даже на коровках вспашку проводили.

Старики и старушки да разные там обозленные ябедники вслух каркали:

— От шабра не жди добра, а от баб — только одни блохи, да и те плохи. Разве можно без мужика хозяйство вести? А сейчас, когда земля-то не в личных интересах, без мужика да старика все в разлад пойдет. Где это видано, чтобы бабенки распоряжались! Они как куры: переклюются и разбредутся в разные стороны. Дай срок, и лядащему петуху будут рады.

Эти сплетни да пересуды нас не дюже расстраивали: пускай дуботолки языки почешут. Боялись-то мы больше смуты да подпольщины. А после расправы

Малаши пошла все-таки подозрительная канитель. Начали нам пакости делать. Утречком, как только придешь в правление, и на крыльцо нельзя подняться; какая-то шваль все ступеньки обгадит.

Потолковали мы с Варей да Малашей об этих ночных происшествиях, посмеялись и плюнули: уймутся злыдни!

Ну, мой рассказ к концу подходит.

Зимой вызывают меня с Павлом Петровичем в район. Секретарь еще издали засмеялся и сам из-за стола навстречу нам вышел.

— А-а, вот она, наша Маша из Заполья!

Поздоровался и около себя посадил.

— Ну, — говорит, — Маша, спасибо: работала ты не в пример хорошо. Скажи, чем тебя обрадовать?

— А вы, — говорю, — и так меня обрадовали.

— Это чем же, — говорит, — я тебя обрадовал?

— А лаской да привстом.

— Ну, — говорит, — из этого шубы не сошьешь. — И смеется. — Тебе, — говорит, — лично должен я вручить почетную грамоту обкома партии да отрез крепдешина. Сшей себе роскошное платье и носи.

— Вы, — говорю, — так меня ужасно взволновали, что я даже с сердцем не совладаю. Зачем, — говорю, — мне ваш крепдешин-то? В нашей работе не до крепдешину. Вот уж лучше этот крепдешин какой-нибудь наградой замените для наших активных женщин — для Малаши, для Вари... да вот, мол, и Павла Петровича нашего не забудьте.

— Да ты, — говорит, — о них не беспокойся: о них уже побеспокоились.

И все радуется, все смеется да с Павлом Петровичем перемигивается. Заметила я это и на Павла Петровича:

— Да ты-то, Павел Петрович, знал, что ли, об этом?

— А как же — говорит, — доподлинно знал.

— Так почему же ты мне-то не сказал?

— Потому, — говорит, — что дорого яичко к светлому дню. Тем-то и подарок дорог, что он нежданный-негаданный.

И вот в это-то время я вдруг и ослабла. Терпела, терпела, да в один день и подкосило меня. Варя-то от Терентия нет-нет да и получит весточку. И Анфиса тоже. Даже мужнишко Малашин кой-что ей нацарапает. Терентий с первых дней с Максей разлучился и сам в письмах просил прислать ему номер полевой его почты. А от Макси давным-то давно — ни единой строчки. Стала я нервничать: сердце кипело, кровью обливалось. Получит Варя письмо, прибежит, счастливая, разговорчивая, читает — захлебывается, а мне это ее письмо — нож острый. Не выдержала я однажды и разрыдалась. Варя испугалась даже, захлопотала около меня, а я и света не вижу. И так я затосковала, что сама не своя стала. Одна меня дума гложет: нет моего Макси, убили моего Максю, не увижу я его больше никогда. Побежала я к Павлу Петровичу, упала перед ним на стол и навзрыд плачу, а он, как отец, гладит меня по голове и журит:

— Нельзя так распускать себя, Маша: ты общественная работница, ты сила. Ты должна пример крепости показывать: ведь по тебе все равняются. Что же будет, ежели ты слабость души покажешь? В том-то, — говорит, — и сила наша, что мы в лихую годину духом непреклонны и твердо шагаем через личное наше горе. Не забывай, — говорит, — что враг-то здорово расчеты свои строит на нашей растерянности. Так еще ничего не известно. Может, Максиму и писать-то тебе нельзя. Подумала ты над этим?

Все же начал Павел Петрович справки наводить, а к Новому году извещение пришло: Макся в строю не числится, среди убитых нет, и, где он, неизвестно: пропал без вести. Сказал мне об этом Павел Петрович и так закончил:

— Тут только может быть такой ответ, Маша: или он — в плену, или в окружении, или у партизан. Надо не убиваться, а ждать.

Не помню уж, как я до дому добралась, не помню, что со мной было. Когда немножко прояснилось у меня в голове, вижу — рядом со мной у кровати си-

дит Дунярка и на голову мне полотенце кладет. И бледненькая, глаза большие. Заметила, что я в себя пришла, бросилась ко мне на грудь, засмеялась, заплакала.

— Маманя, маманя моя! Как я испугалась-то!.. Уж я думала, что ты умирать собралась... Да разве это можно!.. А как бы я без тебя жить-то стала?.. Папаня вернется да спросит: как же это так?..

Прижала я к себе Дунярку и заплакала.

— Как же нам, Дунюшка, быть-то? Папаня-то наш пропал... без вести... Может, злодеи его истерзали, а может, в плену — под палками, под прикладами...

А она этак исподлобья глядит на меня, а слезы-то на щеках, как горошины. Да вдруг крикнет, как большая:

— Ну, чего это ты, мамка! Да разве папаня-то в руки злодеям дастся? Да в жизнь этого не будет!

И этим своим гневным криком Дунярка меня на ноги поставила. Целую ее, обнимаю, смеюсь, а мне стыдно ей в глазенки глядеть. Ишь как расквасилась, что даже дочка тебя хлестать начинает!..

Встряхнулась я, приободрилась, схватила в охапку Дунярку и давай ее мять да целовать.

— Ах ты моя утешительница!.. Умница моя, радость моя!..

Побежала я в правленье: надо дело делать, надо людям себя показать, чтобы увидели, что горе меня не подкосило. На крыльце и в комнатах — народу не в проход. Все глаза на меня уставили: одни — заплакать не прочь, другие — с любопытством, как я поведу себя. А я иду, голову высоко держу, хозяйским глазом всех проверяю. И чувствую я, что как-то даже сильнее прежнего стала, будто горе мое, как огнем, меня обожгло. Все даже примолкли и сразу характер мой почуяли. А в комнате правления встретили меня и Варя, и Малаша, и Павел Петрович — встретили растревоженные и обрадованные. Так все и бросились ко мне.

— Ну, вот и наша Маша пришла!.. Всё — в порядке.

Малаша кинулась ко мне со слезами.

— Только, — говорит, — сейчас, Машенька, я цену тебе узнала. Теперь, — говорит, — я с тобой и в огонь и в воду...

А Варя мне ничего не сказала, а только хорошо так улыбнулась.

Вот как мы дружбу повели, вот как сердцем и душой зрели, вот как в этой дружбе нашей и силу ковали...

1942

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

(Из неоконченной повести)

В сумерки наши войска опять вошли в город. Юрка с баяном на ремне шел впереди отряда пыльных, усталых, но молодцевато-бодрых красноармейцев. До города он играл марш, и бойцы с удовольствием пели под его баян. Но как только вошли в улицу, Юрка оборвал игру; пустая улица встретила его мертвым молчанием. Сверкали осколки брошенного на дороге зеркала, белели черепки разбитой посуды около домов, валялись разломанные мотоциклы, а около них — трупы. Дымилась обгорелая машина. Вдали, в центре города, черными вихрями рвался кверху дым и тускло вспыхивал оранжевым пламенем. Зарево пожаров клокотало и в той стороне, где был вокзал. Ближе к центру на телефонных столбах и на старых деревьях висели на веревках люди. На площади громоздились поломанные и исправные грузовики, нагруженные ящиками, пушки и пулеметы, и опять всюду валялись трупы.

Когда отряд остановился на площади перед исполкомом, Юрка попросил у молоденького лейтенанта с весело-злыми глазами разрешения сбегать домой, чтобы похоронить отца.

Лейтенант крикнул:

— Кадушкин, сходите с парнем и похороните его отца.

Высокий красноармеец, похожий на татарина, с винтовкой под мышкой, рядом с которым шел Юрка, добродушно ухмыльнулся и положил руку на его плечо.

— Ну, что ж... значит, к тебе в гости, баянист?

Ничего не изменилось на улице Юрки, только на черном пустыре сгоревших изб стояли разбитые печки с высокими трубами. С диким страхом перебежала дорогу рыжая кошка. Почему-то только сейчас заметил Юрка широкую, круглую яму недалеко от своего дома с длинными лучами разбросанной земли — воронку от авиабомбы. Смятый самовар валялся на дороге без крана и без крышки.

Юрка вбежал в открытые ворота во двор и обомлел: канавы уже не было, и по свежей впадине видны были сложные следы автомобильных колес.

— Ну что, браток, — серьезно сказал Кадушкин, — фашисты и без нас засыпали твоего папашу. Видать, мешал развернуться машинам. Поклонись, брат, его праху — и назад. Может, что-нибудь на память себе возьмешь? Пошукай у себя в квартирке-то!

С серым лицом, с сухими, горячими глазами, Юрка молча подошел к окну и заглянул в комнату. Там было все ободрано, кровать стояла голая, на полу разбросан всякий хлам и обломки стульев. На него пахнуло вонью, и он отпрянул от окна с искаженным от боли лицом. Кадушкин с удивлением следил за Юркой и хмуро покачивал головой. Но он не мешал ему, а только шагал за ним, не отставая, словно боялся, как бы с мальчишкой чего-нибудь не случилось. Юрка опять молча подошел к засыпанной канаве и застыл над нею. Он не плакал, но лицо его как будто худело на глазах Кадушкина. Потом он опустился на колени и быстро раскопал ямку в том месте, где лежал отец. Земля была еще рыхлая, и Юрка, засунув руку, вынул горсть земли. Забыв о Кадушкине, он вытащил платок, быстро насыпал в него земли, туго завязал его и положил в боковой карман пиджака. Кадушкин пристально вглядывался в постаревшее лицо Юрки и изумленно шевелил бровями: эти кипящие глазенки, без зрачков, обжигали его своим стра-

даньем и тоской. Юрка быстро пошел к воротам, но, вспомнив о чем-то, остановился, а потом с хриплой надсадой в голосе крикнул:

— Пошли!

По дороге к площади он шел как-то странно: то торопился, размахивая руками, то едва брел от изнеможения. Стоял перед глазами больной отец, которого выволокли во двор и перед канавой-щелью поставили на колени. Маленький, юркий фашист с радостным смехом нацелился револьвером в затылок отца и... Но Юрка не слышал выстрела, он очумел от ужаса в густых кустах бузины.

Отряд, с которым он вошел в город, поместился в школе. Во дворе он увидел повара Парфёна Сутулова около своей кухни. Из маленькой железной трубы весело вылетали дым и искры. Двое бойцов чистили картошку, а Сутулов бросал в топку обломки парт. Куча этих разбитых парт валялась рядом, около забора. Может быть, среди них была и Юркина парта.

Сутулов приветливо крикнул:

— А-а, Егорий храбрый! Иди-ка, иди-ка сюда!..

Только сейчас Юрка почувствовал, как полюбил он этого душевного человека.

Один из бойцов, молодой парень, сдвинул пилотку на затылок и, пронзив ножом картошку, вскинул ее кверху.

— Была бы картошка да махры немножко — русский человек не сгинет вовек.

И он засмеялся беззаботно и весело. Сутулов с лукавой усмешечкой покачал головой.

— Русский человек унывать не любит и перед смертью песенки поет.

Он подошел к бойцам и взял ведро с начищенной картошкой.

Мимоходом потрепал Юрку по плечу и пошутил:

— Как же это ты, Егорий храбрый, без воинского обмундирования? Непорядок, мил друг. Средь нас, орлов, ты как воробей. Жаль, от меня отбился, а то бы я тебя живо облачил.

— Об этом и думать некогда было, товарищ Сутулов: все время находился в боевых операциях.

Веселый боец задрал голову и захохотал. А Сутулов очень серьезно ответил:

— Ну, раз такое дело, возражать не приходится. — А затем, вспомнив, тихо спросил: — Городишко-то свой, выходит, отвоевал от гитлеровцев, чего ж ты на свою квартирку-то не пошел? Свой-то угол теплее.

Юрка вздрогнул и отвернулся от Сутулова.

— У меня теперь нет своего угла, — с надломом в голосе сказал он. — Кроме вас, у меня никого нет... Ходил я с одним бойцом папу похоронить, да его в канаве засыпали, чтобы машинам развернуться. Вот земли взял... — Он вынул тугой узелок из кармана. — Навсегда запомню...

У Сутулова затряслась голова, но он сказал спокойно и рассудительно:

— Это ты правильно... Родная земля с кровной могилки — святой завет. Землицу эту храни у сердца и помни: неспроста ее взял. С ней ничего не страшно.

И вдруг сразу же перешел на обычный тон:

— Ты, поди, покушать хочешь? Видишь, народ-то потрудился — нелегкая работка... Посиди, отдохни, пока ужин доспеет, а потом поедим и прикорнем немножко... Я о тебе, дружок, частенько вспоминал.

Юрка растроганно ответил:

— И я тоже, товарищ Сутулов. С вами совсем не страшно.

— А чего страшиться-то? Где правда, там и мощь.

И опять ободряюще потрепал его по плечу.

— Правда, голубок, страха не ведает, а сама страхом убивает всякого супостата. Не я говорю — народ так говорит. Народ наш много горя мыкал, да горе-то не только мучит, а учит. Еще порадуемся и повеселимся, милачок! Верь!

Юрке было приятно слушать емкие и цветистые слова Сутулова. Они удобно и плотно укладывались и пригонялись друг к другу, как кирпич к кирпичу. Этот простой человек был похож чем-то на отца: в нем была такая сила жизни и такая спокойная ясность, что Юрка чувствовал себя очень уютно и на-

дежно около него. Он чувствовал и другое — весь он наполнялся этой внутренней верой Сутулова, этой его спокойной силой.

Бойцы тоже слушали Сутулова, но по-разному: один — с ухмылкой, другой — с мрачным раздумьем.

— Ты у нас, Сутулов, кухаришь всякую пищу: и для брюха и для духа, — сказал веселый боец.

Он был крупный, большеголовый и растрепанный. Широкое лицо его со вздернутым носом и маленькими глазками, в которых не угасал смех, все время играло. Он непоседливо вертелся на месте, прислушивался и приглядывался, как будто ловил и вблизи и вдали что-то занятное и необычное. И когда среди храпа раздавался сдержанный хохот или вдруг возникала неожиданная ссора, он сейчас же складно отвечал:

— Заваривай кашу и на долю нашу!.. Весели душу, братва: живем однова̀!..

— Врешь, балбес! — угрюмо проворчал красноармеец неизвестных лет. Лицо его прорезали крупные морщины, которые видны были даже сквозь густую щетину на щеках и подбородке. — Это по твоей безмозглой беззаботности — «однова̀». Жизнь наша в страдной борьбе проходит и через смерть и через воскресение...

Голос у него был хриплый и глухой. Слова он выговаривал с натугой и обрывал их страшным кашлем, похожим на стон.

Сутулов с длинной ложкой в руке обернулся к нему и добродушно посоветовал:

— Ты бы, Бабякин, с пулеметиком своим покалякал — сердце-то повеселело бы немножко. А то он стоит в забвении и ждет рук. Оружие тоже ласку любит. Кувалдин тебе — не мишень: сколь в него ни пали, все мимо.

— Не в лоб, а по лбу! — захохотал Кувалдин и в восторге шлепнул себя по коленке. — До веселья я страсть охотник. А около пулемета я прямо плясать хочу. Бабякин знает.

Он как будто впервые заметил баян у Юрки и в изумлении взвыл:

— Бож-же мой!.. Мальчишка! Да у тебя радости

на все подразделение хватит. Богач! Лупи сейчас же! Запляшу — земля заликует...

Но Юрка молча отошел к Сутулову и попросил его спрятать баян понадежнее. Сутулов не удивился и бережно взял баян из рук Юрки.

— Это тебе, голубок, зачтется... Музыка — тоже боевое оружие.

Бабякин по-прежнему сидел на своем месте, задумчивый и угрюмый.

— Ты, Егорий, на Бабякина не обижайся, — тепло предупредил Сутулов, — человек в плену был — много мук перенес, смерть на нем верхом ездила.

Сутулов уехал со своей кухней кормить бойцов, а для отряда, который поместился в школе, оставил термосы. Бабякин налил супу в котелок и поставил его прямо на землю около обломков парт. Потом молча нарезал хлеба, вынул откуда-то жестяные ложки, хмуро склонившись над котелком, неуклюже махнул Юрке рукой, загребая воздух.

— Подходи, молодой человек! — хрипло и как будто недоброжелательно пригласил он его.

— Ешь плотнее — впрок. Не знаем, что через час будет. Может, и спать не придется. Враг — коварный и подлый. Утречком многих не досчитаемся. Кувалдин! — сердито крикнул он в сумрак двора, где кучками сидели красноармейцы, звенели ложками, гомонили и смеялись.

Юрка почувствовал себя одиноким после отъезда Сутулова. Бабякин казался ему недобрым, жгучим, как крапива. Видно было, что его постоянно терзала какая-то мучительная мысль. И, вероятно, оттого, что эта мысль не давала ему покоя, руки у него дрожали, и он время от времени постанывал и крякал.

Кувалдин подошел вразвалку и с неостывшей улыбкой: должно быть, побалагурил с соседями.

— Сусеков всех уморил... — похохатывая, сказал он и сел как-то сразу, точно в яму провалился. — Животы надорвали... Сам малыш, а большие дела на-

ворачивал. Геройский парень! Рассказывает, словно трепака отбивает.

— Значит, сам трепло... — зло промычал Бабякин, уставясь в котелок. — Со смертью дурачатся, когда враг — дурак. А немец шуток не любит.

Кувалдин не переставал похохатывать, дергая головой от удовольствия.

— Подбили и подожгли два танка из семи, а другие — наутек. Пехота осталась без прикрытия. Наши давай косить их из пулеметов, а потом бросились на ура врукопашную. Сусеков наскочил на дылду в сажень ростом и никак его штыком достать не может. Тут бы ему и крышка, да хитрость осенила: кубарем ему под ноги, да как рванет на себя. Тот — кувырком, а Сусеков — на него. Ну, тот и так и этак, а Сусеков его за горло.

Юрке не было смешно. Рассказ Кувалдина показался ему неправдоподобным. Он посмотрел на Бабякина, но тот хлебал свой суп и как будто совсем не слушал Кувалдина.

— Балда! — с равнодушным презрением лениво отозвался Бабякин. — Чтобы вранье правду не оседлало, надо на умных равняться. Впрочем, для дураков всякая ложь — утеха.

И вдруг бросил ложку, злобно уставился на Кувалдина и на Юрку и прохрипел:

— Смерть дураков не любит.

Кувалдин смущенно засмеялся, стал старательно облизывать ложку, и Юрка увидел, что он не понял окрика Бабякина. Не понял и сам Юрка, но почувствовал, что есть больше не может. Видно, что-то терзало Бабякина, а рассказ Кувалдина растревожил его. Он обхватил дрожащими руками колени и засопел. Как стон, вырвалось что-то у него из горла, но он оборвал его коротким кашлем.

Все сторонились Бабякина, должно быть чувствуя его силу, а может быть, и сам он замыкался в себе, не замечая людей, и постоянно томился от мучительной неудовлетворенности.

— Мы вот в окружение попали, — раздраженно прохрипел он, насупившись и странно дергая голо-

вой. — Попали, как идиоты... Дрались, правда, трое суток... до последнего патрона. Потеряли три четверти людей, а пробиться не могли. Одно утешало, что и фашистов уложили до черта. Сдавили нас, лавиной навалились. Осталось нас человек двадцать — избитых и раненых. Погнали куда-то по дороге. А мне чудилось, что и земля и небо кровью клокотали...

— Легко ли! — сочувственно поддержал Кувалдин, не отрываясь от котелка. — Ничего не страшно, а окружения этого дьявольского до смерти боюсь.

— Не в окружении дело, — оборвал его Бабякин. — Окружение не суть важно, ежели есть боеприпасы и башка на плечах. Пойми: их было в десять раз больше, а мы держались три дня и уложили их без числа. Командир был у нас бедовый парень — лейтенант Трехлетов. Ну, одним словом, сдавили нас, малую кучу, оголодавших, обессиленных, почти всех раненых. Так вот... Погнали нас под сильным конвоем. Пока до места добрели, шестерых потеряли по дороге. Глядеть было жутко на товарищей: кровью изошлись — без перевязки, без помощи. А фашисты хохочут и штыками покалывают. Упадет кто — сейчас же подбегает этакая собака, ударит прикладом, а потом стреляет. Нашего лейтенанта, товарища Трехлетова, я под руку вел, а у него голова лежит на моем плече, и хрипит он. «Товарищ, говорит, Бабякин, не хочу я от фашистской пули умирать без сопротивления. Доведи меня, родной, до места, а там я сумею умереть по-своему. Не допусти, говорит, до поганой гибели и сам, родной, держись. Надо, говорит, доказать этим гадам, что такое советские люди...»

У Бабякина затряслись губы.

— Убили, псиные морды... по дороге убили... Не выдержал он и обомлел. Висит на мне, а я его несу... Несу, а у самого ноги подкашиваются — сам кровью истек, у самого в глазах всё мутится... и небо, и лес, и дорога — одна непроглядная пыль. Внутренности горят — жажда жжет до невозможности. Кричу другому бойцу: «Поддержи, браток! Помоги!» — а он не слышит, не то у меня голос пропал начисто, не то он оглох или ума лишился. Чую, кто-то сзади хотел под-

держать, да сам рухнул на землю. Должно быть, все перешагнули через него, потому что сейчас же вскорости фашист заорал, пинать его начал и бить прикладом. Застонал он, завыл, да крик сразу же оборвался после выстрела. Двое бойцов бросились к канаве, к грязному болотцу. Не успели они и воду проглотить, как конвойный начал молотить их прикладом — рычит, как пес. Другой подбежал и — тоже. Бойцы-то так и не встали. Потом начали их топтать. Там грязца была после дождя. И так, собаки, втоптали в эту грязь товарищей, что только слякоть одна на том месте осталась. Пока гитлеровцы терзали бойцов, мы стояли. Лейтенант висел у меня на руках, а когда опять погнали нас, ноги у меня отказали, будто к земле приросли. И не удержал я его: так вместе с ним и упал на дорогу. Шагают через нас, спотыкаются, наступают на руки, на ноги. Кто-то хотел поднять нас, да началась буча — фашисты заорали, заколошматили людей прикладами. Люди падали на нас, отползали в сторону, как ошалелые. Не помню, как я вскочил и схватил за руку какого-то парня. А когда опамятовался, увидел только, как товарища Трехлетова схватил за ногу фашистский барбос, оттащил в сторону и выстрелил ему в голову. И по волчьим глазам его, как он на нас поглядел, заметил я, что добра нам ждать нечего. Нет ничего хуже, как этот самый плен. Ты уж не боец, не человек, ты уже умер, и каждый фашистский гад может заколоть штыком или разбить тебе прикладом черепок. А ежели еще дышишь, и руками и ногами двигаешь, будут мытарить, истязать и всё равно добьют. Гляжу на товарищей, а на них — и лица нет. В глазах у каждого не слезы — смертная тоска: прощай, жизнь, прощай, родина, навсегда! И тут-то, в момент, когда лейтенанта прикончили, зверем у меня сердце рванулось: бежать! Так задарма, по-скотски жизнь не отдам — или вырвусь на свободу, или погибну. И так эта мысль меня распалила, что я словно проснулся и силой воспрянул. Претерплю, мол, перенесу всякие муки, а умирать от их пакостной руки не хочу. Найду минуту и место — и вырвусь из их паучьих лап.

Бабякин замолк. И Юрка опять не понял — не то он крякнул, не то хрипло простонал. Лицо его тонуло в сумерках, только на месте глаз чернели глубокие впадины. Над городом небо мерцало редкими и тусклыми звездами, и только очень ярко переливались семь звезд Большой Медведицы. А за городом, на западе и на юге, полыхали багровые зарева: где-то, и далеко и близко, горели деревни. Было непривычно тихо, только высоко среди звезд уныло гудели самолеты. Никогда Юрка не испытывал такой тишины в городе, даже в мирные дни. И от этого было тревожно и жутко на душе: чувствовалось, что эта тишина — зловещая, что в ней творится что-то огромное и страшное. Там, за городом, в деревнях, расстреливают и вешают людей, гремят танки врагов и грохочут машины, и опять ночью или с рассветом они бросятся по дорогам и по полям к городу. А может быть, и сейчас уже обходят его справа и слева, по лесам и несжатым хлебам. И опять перед глазами встали: отец у ямы, и гитлеровец с револьвером у его затылка, и два офицера поодаль, которые курили и смеялись.

Бойцы уже ложились спать и, позевывая, тихо переговаривались и смеялись. Четко позвякивали пустые котелки. Кувалдин тоже лежал, опираясь на локоть, и дремал. Бабякин сидел с крепко сжатыми кулаками на коленях и смотрел во тьму, на далекие зарева. За забором медленно шагал караульный с винтовкой под мышкой. По улице проходили, отбивая шаг, патрули. В открытые ворота вбежал Гнедко с кухней и вспугнул тревожное безмолвие. Сутулов устало и добродушно бормотал сам с собою:

— Ну, накормил наконец всех, теперь и самому черед подобрать остаточки. Хорошо доброму молодцу на свете жить, коли каша есть да друзья. Пожуй, товарищ Сутулов, да с часок подрыхай. День прошел — и стал ты на день богаче. Тебе бы подремать надо, товарищ Бабякин, — отдохнуть от себя... Тревожный ты парень, а это негоже: надо, браток, тревогу крутить в дело, как веревочку. Ты бы мальчонку-то не беспокоил; обжечь сердце легко, да трудно закаливать.

Юрка недовольно отозвался:

— У меня и без того сердце закалёно... Теперь сколько ни жги его — не обожжешь.

— О? Выходит, попал в хорошую кузницу. Что ж, ты парень упругий.

Сутулов выпряг Гнедка и тут же бросил ему охапку сена, которое прихватил, должно быть, где-то по дороге. Потом зазвякал котелками и сел рядом с Юркой. Кувалдин свалился набок и засопел, всхрапывая. А Бабякин сидел неподвижно в той же позе. Юрка ждал долго и нетерпеливо продолжения его рассказа и только что хотел напомнить ему об этом, как Бабякин глухо закашлял.

— Сейчас фашистов человек сорок к штабу проволокли, — живо сообщил Сутулов и, точно вспомнив что-то забавное, сипло засмеялся: — Плетутся и озираются, как арестанты. Не утерпел я и кричу: «Что вы, гады, невеселы, буйны головы повесили?..» А конвойный — злой такой парнишка — разоблачает: «Это не гады, а гитлеровцы, гадов не обижай!»

У Бабякина как будто першило в горле, он постанывал, откашливаясь. Юрка видел, что его тянет уйти со двора, но голос Сутулова остановил его.

— Ну-ка, иди-ка, иди-ка сюда ко мне, друг Бабякин. Послушай, что я тебе возвещу...

Должно быть, Сутулов привязался к Бабякину, и тому приятно было чувствовать это. Он медленно подошел к Сутулову и тяжело опустился на землю.

— Вот что, друг... — с убеждающей проникновенностью сказал Сутулов. — Травить себя бесперечь не годится. Какая тебе от этого польза? Тебе надо силу набирать, чтобы разить врага. Сейчас вот соснуть маленько надо: пар тело умягчает, а сон — душу. И гнев отдых любит.

Он лег, положив под голову пилотку, и Юрке показалось, что сделал он это как-то по-домашнему беззаботно.

— Мне и сон — не в отдых, Сутулов, — сказал Бабякин. — Пока фашист на нашей земле — покоя мне не знать. Он у меня не только тело терзал, а и душу мою. И не столь своя мука тяжка, сколь муки товарищей. Это, Сутулов, навеки.

— Справедливую злобу, браток, копи, в сердце крепи. Душа правдой живет, а сердце — огнем. Только пуще всего его беречь надо, чтоб не перегорело... Вон Кувалдин... видишь, как полезно дрыхнет перед боевой работкой!

Срывающимся голосом Юрка обиженно крикнул:

— Когда товарищ Бабякин рассказывал... я дрожал весь... А Кувалдин в этот момент сопел, как боров... Я этого понять не могу.

Сутулов поучительно разъяснил:

— У тебя, милачок, сердчишко еще не обмозолено. А Кувалдин мужик ровный: его страхом не растревожишь. Перекипел. Ему драться надо с врагом, а работа эта, корешок, трудная.

Он вздохнул, свернулся калачиком и, как показалось Юрке, улыбнулся, позевывая. Засыпая, он бормотал добродушно:

— Мне заботы больше, чем генералу: раньше всех встрепенуться, всех накормить, все части обслужить, никого не забыть... Прикорни-ка рядом со мной, друг Бабякин! Да и ты, Юрий Милославский, угомонись!..

Но Юрка хмуро покосился на Сутулова и подсел ближе к Бабякину.

— Вот они... спят... успокоились... — Бабякин кивнул в сторону бойцов, которые храпели всюду по двору. — Может быть, завтра черт знает что будет... и многие из них погибнут... А им и горя мало. Они — дома, в своих частях, родные рубежи защищают... плечо к плечу, локоть к локтю. А позади у них — Россия.

Он говорил тихо, раздумчиво, как будто сам с собою. Но при последних словах раза два толкнул локтем в плечо Юрки, и ему было приятно, что этот много пострадавший человек разговаривает с ним, как с равным.

— Я вот верю, товарищ Бабякин, — горячо подхватил Юрка. — Здорово верю, что врагам от нас живыми не уйти.

Бабякин опять простонал, покашливая, и закачался вперед и назад.

— Вот это самое!.. Это ты точно... хоть и мальчоныш. Да ведь горе-то и детей старит. А вот сейчас и ты поймешь, как муки делают людей сильнее себя... — Он помолчал и вздохнул. — Привели нас в лес, на поляну, и загнали за колючую проволоку. А там уж полно было людей — как стадо, впритычку друг к другу. Кто лежит, кто стоит, кто сидит, а то и кучами один на другом. Вой, бред, стоны, рыданья. Все голые, босые, грязные, страшные. Куда мы попали? Ко всему мы на войне привыкли, всякие виды видали, всего натерпелись. А тут, прямо надо сказать, духом пали. Проволока шла в несколько рядов, кругом вышки с автоматчиками. Посередине длинный дощатый барак. И в нем было полно народу, и везде за проволокой, вся площадь людьми усыпана. И такой смрад, такое удушье, что замутило от тошноты...

Встретили нас, свеженьких, по-разному: одни — как слепые и немые, другие бросались со слезами: «Товарищи, пропали мы все!..» А третьи, как безумные, хрипели: «Бежать надо! Вырваться из этого ада ценой жизни!..» И верно, тысячи нас тут были — повернуться негде, и все мы должны были подохнуть или от голода и болезней, или от палок и плетей, или от ихних пуль. И вдруг большое волнение и сумятица поднялись: въехал в ворота грузовик, а на грузовике фашисты с автоматами. Стоят, смотрят на нас и зубы скалят. Потом начали они в разные стороны бросать куски хлеба. Что тут было — сказать невозможно... Очнулся — двигаться не могу. И вот вижу, люди прижимаются к земле, словно зарыться в нее хотят. Крики, стоны, вой вдали. Кое-как поднял голову, гляжу: гитлеровцы молотят палками и прикладами людей. Потом начали стрелять из автоматов. И тут такой ужас меня охватил, что я ума лишился...

Бабякин замолчал, потом лег набок, и Юрке показалось, что он задремал. За ним лежал и храпел Кувалдин. По всему двору тяжело дышало и похрапывало множество людей. В ночном полумраке, тревожном от непотухающего зарева близких и далеких

пожаров, не было видно людей, а только чувствовалась живая земля. И Юрка думал, что все эти люди на рассвете вскочат на ноги, схватят винтовки, построятся в ряды и побегут туда, где сидят в окопах вражеские солдаты, и опять начнется грохот орудий, разрывы снарядов, треск пулеметов и свист пуль. Многие, может быть, завтра уже останутся лежать навсегда в лесу и в поле. Вот и он, Бабякин, и этот Кувалдин, может быть, отдыхают в последний раз, а может быть, и он, Юрка, тоже в последний раз видит это багровое небо и прозрачно мерцающие звезды. Нет, с ним этого не может быть: он верит, что он будет жив и много еще ему придется испытать.

— А все-таки убежали же вы от этих живорезов?.. — как бы про себя спросил Юрка.

И он живо представил себе измученных бойцов в концлагере, умирающих от голода и жажды, от гниющих ран, от палок и пуль. Выдержал бы он сам или умер от побоев и голода? Выдержал бы. Так же, как и Бабякин, он перенес бы все муки, но нашел бы и день и случай вырваться на свободу. И Бабякин вдруг вырос перед ним, как великан, и стал до боли близким и родным. Он и удивлялся его силе и выносливости и страдал вместе с ним.

— Так лежал пластом я целые сутки, — тихо, с глухой хрипотцой опять заговорил Бабякин. — Ослабел и от ран, и от длинной дороги, и от жажды. Забывался, бредил. Не помню, как я дополз до колоды, куда воду наливали нам, как скотам, а очнулся в грязи и этой грязью захлебывался. И совсем не страшно было и неинтересно, как пули около меня грязь рвали: это в меня из винтовки палили со сторожевой вышки. Не знаю почему, а знал я, что он не срежет меня. Должно быть, очень я верил, что жить буду — жить, чтоб вырваться из этой мясобойни, чтобы мстить, чтобы истреблять это зверье. И когда я полз через свалки тел — и живых и мертвых, — весь дрожал от лютой ненависти. Я с самых первых дней дрался с ними и, когда отступал, кровью плакал, и сердце разрывалось от боли. Видел я, как они сжигали города и села, как косили с самолетов толпы

людей. А вот здесь, в концлагере, пришлось и самому всякие ужасы пережить. Тебе это нужно знать, паренек, чтобы у тебя сердце кипело. В борьбе с врагом нужно, чтобы сердце клокотало, и тогда бить будешь без промаха и ни одного шага не сделаешь назад. Нам надо не отступать, а гнать бандитов, ловить их в волчьи ямы и давить.

— У меня тоже отца застрелили на моих глазах... — с дрожью в голосе сказал Юрка. — Больного, полумертвого застрелили. Чем он им угрожал?

— Как это чем? А тем, что он русский, советский человек. Для них, фашистов, каждый из нас, даже больной, даже ребенок, ненавистен и страшен. Это, дружок, не просто война, а борьба капиталистов против власти трудовых людей... А поэтому и бей их и на нашей и на ихней земле... А мы на ихнюю землю придем... Не можем не прийти! Сначала у нас сердце чернело от тоски, а сейчас оно у таких, как я, огнем полыхает...

— Ну, а как же вы бежали-то? — напомнил Юрка. — Ведь из этой ловушки и мышь не выскочила бы.

— А я положил себе: выживу! Выживу и вырвусь... чего бы ни стоило!.. И выжил. Погнали нас как-то на работы. Отряд был человек сто. Все больные — едва плелись. Раненые, конечно, без перевязки, сами себе из рубашек тряпки рвали и раны перевязывали. А раны гнили, тело разбухало, и жгло его, как огнем. У меня к тому же жар был — пуля-то прошла через грудь, дышал я тяжко и харкал кровью. У нас бы с таким ранением далеко в тыл отправили, да еще посомневались бы, выживет ли. И как я не свалился — до сих пор удивляюсь. Другие от пустяшных ран погибали. А я с каждым днем все злее и злее становился... Как струна, натягивался. Готов был каждую минуту броситься на них и вцепиться в горло. Вот эта-то злость и ненависть душу мою, как нож, оттачивали. Я как-то даже и раны-то моей не чувствовал и чутким стал, как охотник. Подобралось нас таких, как я, человек шесть. И мы как-то молчком, по глазам друг друга поняли. А потом шепотком сговорились: убежим.

Не знаю почему, может быть по нашим глазам, враги нас особенно терзали — и работой, и побоями, и всякими издевательствами. Будто их подзуживало, что мы крепко на ногах стоим: чувствовали, что мы не поддалися, что не убить им нашего духа. Свирепели они, как волки. Выгоняли нас на работы — рыть траншеи и блиндажи на берегу реки. Этот берег был пологий, холмистый и голый, а тот — горный, лесной. Из леса-то на гитлеровцев неведомо откуда партизаны нападали. Здорово они этих партизан боялись. Даже в лагере не один раз тревога была. И в отместку за эти тревоги обязательно стрельбу по нам открывали. Изнуряли нас тяжелой работой с раннего утра до сумерек. Один раз как-то у меня голова закружилась, и я присел на землю. Подбегает ко мне этакий детина, толстый и мордатый, орет и глаза таращит. Размахнулся — хотел меня прикладом огреть. Я вскочил — и к нему. Должно быть, глаза мои ошпарили его. Поглядели мы малость друг на друга, ухмыльнулся он, опустил ружье. С этого дня он и начал измываться надо мной. Глаз с меня не спускал и всё старался доконать меня, чтобы я духом пал и омертвел бы. Да и другие от него не отставали: по-видимому, заодно решили довести меня до последней точки, а потом придавить, как червяка. Понял я это и еще больше озлился: не поддамся, думаю, выдюжу до поры до времени, а своего добьюсь! Мучили нас земляной работой до того, что многие падали: очень уж ослабели и от болезней и от голода. Как тени, люди двигались, навзрыд плакали, а двое решили даже на смерть пойти: бросились на конвойных, ну те их в упор из автоматов и уложили. После этого началось такое остервенение, что за всякий пустяк — палки, приклады и каблуки. Плач, стон, крики везде. Слушаешь, а сердце готово лопнуть, и весь дрожмя дрожишь. И меня не один раз избивали, да я твердо держался, зубы искрошил, чтобы ни крика, ни стона не услышали. До того доходило, что и памяти лишался.

А однажды нас ночью подняли трупы убирать и грузить их на машины. Свежие еще были трупы-то,

кровь не застыла. К реву и стонам мы уже как-то привыкать стали: мимо смерти ходишь, на смерть натыкаешься, муки товарищей каждый день и час видишь и как-то костенеешь, а тут меня еще злоба да ненависть сковали, весь я какой-то стал каменный. Как увидел я эти трупы-то, затрясло меня, и ноги подкосились. Но мигом опомнился: пускай гады не видят, как мне тяжело и больно. Тут были и бойцы, и командиры, и одна девушка. Девушка вся кровью залита, вся ободрана. А красноармейцы — с перебитыми руками и сломанными пальцами. Даже до сих пор об этом вспоминать страшно. Смотрим мы друг на друга и себя не узнаем, — обмерли все. А немцы командуют, прикладами подгоняют. Нагрузили мы машины, и нас на машины-то, на трупы загнали. Поехали в лес, недалеко от лагеря. Там уже и яма была готова. Сложили мы эти трупы в четыре ряда: один на другой. Не знаю, сколько было людей погублено, но думаю, что человек сто. Зарыли мы их, и опять нас на машины загнали. Немцы почему-то нервничали, торопились. Должно быть, чувствовали, что тут просто подлое убийство было. Скрыть старались, замести следы. Мы были свидетелями, а со свидетелями бандиты поступают по-бандитски. По их мордам я сразу понял, что они расправятся с нами. А почему они нас тогда не расстреляли, ума не приложу.

И опять продолжалась наша рабская жизнь. Чувствую я, что слабею. Надо было выбираться из этой морилки незамедлительно, иначе несдобровать: чую, не ныне-завтра удушат нас.

Как-то на работах фашисты устроили нам окаянное купанье в реке. Уже смеркалось. Вода была черная. Они скомандовали кончать работы. Потом, должно быть по уговору, приказали лезть в воду: Баден зих!» И эти их крики и чужие слова прямо безумным меня сделали. И тут же решил я, что сейчас-то вот и надо моментом пользоваться. Нас подгоняют к реке и пинками сбрасывают в воду. А у берега-то было неглубоко — по шею, не больше. Ну, вынырнули мы, фыркаем, а они и других так же сталкивают. И бор-

мочу я ребятам: гады, мол, над нами решили потешиться. Неспроста они это делают, обязательно утопят. Хватай их в воде, дави и плыви на тот берег! Каждый действуй по-своему! Одни стоят, вода с них льет, у других только головы торчат. И вот гитлеровцы сами полезли в воду и начали с гоготом хватать каждого за шиворот и — поглубже в воду. Вынырнет кто, передохнуть не может, а они сразу же опять его обратно в воду. И ржут, как жеребцы. В одной руке держат автомат, другой действуют. Некоторые ребята начали захлебываться. Со мной толстый гитлеровец особенно рьяно действовал. Вцепился он в меня до того, что даже пальцы в шею мне врезались. Держит меня в воде и не дает вздохнуть. Потом даст мне голову высунуть из воды и хохочет надо мной. Да еще в воде сапогами норовит в пах угодить. Сцапал я его за ноги и — хлоп! — на самое дно. Вцепился в горло и изо всей силы рванул. Выхватил автомат, высунул голову, вздохнул раза два и опять нырнул. Плыл я под водой долго, насколько легких хватило, потом высунулся и огляну лся. От берега я уже далеко был, и темненько уж стало. Вижу, идет там какая-то суматоха: рев, выстрелы. Ныряю я и ныряю, а около меня пули жвыкают, — так воду и полосуют. Очень мешал мне плыть автомат: бросать его не хотелось — с автоматом я сам себе хозяин. Вижу, рядом со мной тоже голова из воды высовывается. Берег-то уж рукой подать, а течение снесло нас далеконько. Пули чакают, и фонтанчики от них прыгают. Выныривал-то я только на миг, чтобы вздохнуть. Товарищ, этакий молодой парень, захлебывается и жутко так хрипит: «Срезало меня... Не дай сгинуть от фашистской пули, друг!» Бросил я к берегу автомат, подхватил парня под мышку, — а он уж совсем омертвел, — и кое-как подтолкнулся с ним к берегу. Выволок его на берег, в кусты, в заросли, и не помню, как автомат достал, как очутился среди трясины, на болоте, в кочках, в непролазной гуще лозняка и ольшаника. Должно быть, я бежал с товарищем на спине и полз по трясине долго, потому что ни стрельбы, ни криков уж не слышно было. Да как будто и погони

не было, наверно фашисты решили, что всех в реке прикончили. Очухался я немножко и перевязал парню рану тряпками из моей рубашки. Под лопатку пуля-то прошла... навылет. И словно поразило меня, трясусь и плачу. А потом так и замер: что же это я, дурак этакий, в трясину забрался... Ведь ничего не стоит во тьме провалиться и захлебнуться тиной. И фашисты вдруг накроют... Ночь-то летняя у нас — прозрачная, на сумерки похожа. Взвалил я парня на спину и кое-как по кочкам и уж не знаю по каким тропкам выбрался из этой погибели, а потом в лес, в дебри скрылся. Глушь, мрак, дичь. Без памяти рухнул я в бездонную черноту. Сколько я пролежал в таком мертвом сне — не знаю. А просыпаюсь — нет около меня товарища. Автомат при мне, а его — след простыл. Куда он мог скрыться, когда он, тяжко раненный, и на ногах-то не стоял? Вскочил я и давай его искать. Зову — нет его. С ног сбился. Вдруг набрел на него. Лежит как снег белый — совсем мертвец. И глаза уж мутные, и как будто не дышит. А слышу — хрипит: «Иди, друг, один... конец мне... умираю... Замучился ты со мной... Хотел тебе... руки развязать... освободить от себя... Беги, брат...» А я рычу на него: «Ты чего дуришь? Разве я могу тебя оставить? Я же не предатель, не подлец. Вместе у фашистов страдали, вместе и до конца путь держать будем. Ты теперь мне дороже родного: кровью спаяны». Лежит он, как труп, и смотрит на меня через слезы. Сижу около него и жду: отойдет, мол, и опять я его на себе поволоку. Может, набредем на родное жилье. Да вот... не дождался: умер он. От раны своей умер, а рана у него страшная была: пуля-то сердце и легкие повредила. Вот оно как было, паренек... Ну, похоронил я его, как мог, и пошел дальше через дремучий лес... Как дикий зверь, рыскал я по лесам и болотам, миновал села и деревни — чуял, что там фашисты. Ел траву, дикую ягоду, всё, что под руку попадало. Одной мыслью жил — до своих добраться. И ничего я не боялся — ни зверя, ни болезни, ни смерти. Сколько дней и недель я так блуждал — не знаю. Я забыл и о своей ране, не заметил, как на мне и одежонка истлела...

И вот упал я без памяти, а пришел в себя — у своих очутился.

Бабякин замолк как-то сразу и задумался. Юрка хотел спросить его, сколько времени он шел и как добрался до наших войск. Ведь как бы он ни скрывался и в лесах и в глухомани, голодный, больной, одичавший, все-таки на каждом шагу угрожала ему и пуля, и петля, и облавы... Может быть, он набрел на партизан, которые помогли ему перейти фронт, а может быть, встретился с другими бойцами, которые очутились в таком же положении?.. Каждый день был непрерывной борьбой: тысячи опасностей угрожали, как загнанному зверю, и каждый шаг к своей цели нужно было брать с бою — зоркостью, хитростью, ловкостью, упорством. Хотел Юрка попросить Бабякина, чтоб рассказал ему об этом, но не решился: Бабякин сидел угрюмо, отчужденно и уже ничего не видел вокруг себя. И Юрке казалось, что если бы он и обратился к нему с вопросом, Бабякин не отозвался бы. И как-то было обидно Юрке видеть его таким же рядовым бойцом, как и все. Вот он сидит, задумавшись, и смотрит застывшими глазами в одну точку, и Юрке чудится, что рядом с Бабякиным он такой маленький, беспомощный, как ребенок. А на самом деле Бабякин — совсем невидный и невзрачный человек: и ростом низенький, и лицом некрасивый (оно у него какое-то измятое, жухлое, курносое), и одет в грязную, пропотевшую гимнастерку. Вот он молча разулся, развернул грязные портянки, положил их на сапоги. Потом опять молча и отчужденно посидел, как будто раздумывая о чем-то важном, поглядел на небо, обрызганное звездами, и сказал:

— Да... матушка Советская Русь!.. Велика она, и широка, и навеки нерушима... Сколько бы бед народ ни перенес, все-таки жизнь и радость — впереди... как море... Ни вычерпать, ни высушить никакому супостату...

Влажный смрад от портянок удушливо пахнул Юрке в нос. Он брезгливо отодвинулся от Бабякина. Уж не наврал ли он о своих муках и злоключениях?

Как-то не вязалась эта его нечистоплотность и невзрачность с теми страданиями и нечеловеческой борьбой, которые он перенес в плену. Бабякин лег, подложил под голову вещевой мешок и со стоном вздохнул. Юрка встал и хотел пройти к куче разбитых парт, чтобы лечь там на досках, но Бабякин приподнялся на локте и ласково засмеялся.

— Родная-то земля мягкая... теплая... живая она, матушка...

Он поправил вещевой мешок, чтобы удобнее было лежать, и необычно бодро и заботливо предупредил Юрку:

— Не отшивайся от меня! Завтра, ежели выпадет денек, дело делать будем: поучу пулеметом управлять. Третьим номером у меня будешь. А потом... прогоним адовых злодеев... вместе с тобою жизнь великую будем строить... Не расстанусь я с тобою... Нет! В душу мою ты кровно вошел. Это только на фронте возможно. И я тебя взращу и на крепкие ноги поставлю. А пока до времени думай... и над своей и над нашей судьбой... Ты — не сирота: видишь, сколько у тебя родни! Без отца, без матери проживешь, а без друзей-товарищей сгибнешь: или заживо умрешь, или позорную казнь примешь... Ну, спи... молодой сон крепок...

Он опять лег, снял пилотку с головы и положил ее на ухо, повозился, бормоча что-то, и едва слышно простонал.

Всюду на земле один к одному лежали бойцы. Небо вспыхивало красными сполохами от далеких и близких пожаров, и звезды тухли в этих необъятных вспышках, а воздух туманился оранжевым дымом и обливал землю и стены школы кровавым мерцанием.

Юрка лег рядом с Бабякиным и свернулся калачиком.

1943

КЛЯТВА

(Записки фрезеровщика Николая Шаронова)

1

Утром я встаю при первых возгласах диктора. Это мой будильник. Удивительно, что я чувствую этот призыв до того, как он раздается в репродукторе: я как бы ощущаю внезапный внутренний толчок, спохватываюсь и выныриваю из сонного небытия. При звуках марша я вскакиваю с постели и быстро одеваюсь. За окном — тьма, как в полночь, и только над крышей противоположного дома дрожит далекое фосфорическое зарево — огни на заводе. Я зажигаю электричество, и комната моя в девять квадратных метров кажется мне уютной, как постель. Я перевожу радио на «тихо», чтобы музыка не будила соседей, вставляю в штепсель вилку электрочайника, налитого водою еще с вечера, и иду умываться. Вытираясь полотенцем на ходу, я вижу в зеркальце на стене сухощавое лицо, твердый прямой нос с резкой морщинкой у переносья, впавшие щеки.

Над маленьким столиком, покрытым газетой, пришпилены фотографии моей Лизы с Лавриком на руках, брата Игнатия в лётном костюме у пропеллера самолета и старика отца с матерью. Мать — в косынке, сидит маленькая, сморщенная, а отец стоит около нее большой, неуклюжий, с седыми усами, опущенными

на подбородок. У него горбатый нос и выпуклые властные глаза. Да, у моего старика здесь, на портрете, очень удачно схвачен суровый и упрямый характер. У старых превосходных мастеров с боевой биографией в характере есть всегда этакая злинка и жесткая убежденность.

Сплю я на складной походной койке. Ее положила мне на грузовик Лиза. В хлопотах я даже прикрикнул на нее:

— Ну, на кой черт мне это барахло, Лиза?

Но она как будто не слышала моего окрика, улыбнулась сквозь слезы, и около ее рта вдруг задрожали морщинки.

— Может быть, мы расстаемся навсегда, Коля... Что будет с Ленинградом? Прощай, родной!..

И, когда я увидел эти морщинки, сердце мое так больно сжалось, что я прижал ее к своей груди и долго целовал белокурые ее волосы. Этот момент я не забуду никогда...

И вот здесь, на Урале, я вместе с своим заводом живу уже полгода и мучительно переживаю свою оторванность от прошлого. Тоскую о том, что я не там, — не вместе с Игнашей и моей Лизой на передовой линии, что я не сражаюсь как простой солдат. Я постоянно внушаю себе, что я и отсюда пробиваю блокаду Ленинграда. От нашей работы зависит число орудий и боевых машин. Я делаю их в пять, в десять раз больше, а сегодня-завтра я оснащу свой станок так, что буду давать оружия в двадцать, в тридцать раз больше... в пятьдесят, в сто, черт возьми!..

За чаем я перечитываю (в который уже раз!) последнее письмо Лизы. Эта короткая беседа с ней для меня необходима. Я слышу ее милый голос, и она улыбается мне сквозь слезы.

«Родной мой! Прежде всего прошу не беспокоиться за нас: я работаю с утра до ночи на заводе. Лаврик — у бабушки. Ты не узнаешь его: он стал совсем взрослым. Бомбежка и взрывы снарядов уже не вызывают в нем ужаса. Он не бросается, как прежде, на пол, не распластывается, не замирает, а спокойно говорит бабушке: «Фугаска на Лиговке», или:

«Фашисты долбят наш район. Пойду погляжу, как дядя Игнаша будет клевать немецких стервятников». А когда бабушка говорит ему: «И не выдумывай, Лаврушка! Сейчас же одевайся и пойдем в убежище!» — он отвечает убежденно: «Ерунда убежище; оно не влияет». Вот забавный мальчоныш!

Немножко ослабела, родной. Приходится, как ты знаешь, делать огромные концы — два раза в сутки туда и обратно. Ведь трамваи не ходят. Мы—в блокаде: в этом — всё. Со снабжением — ужасно. У меня часто кружится голова и дрожат ноги и руки. А наш старик стал совсем страшный. Но он упорно продолжает ходить на завод, от бюллетеня отказался: «Я, говорит, еще не обезножил, голова на плечах, и моя квалификация сейчас нужнее фронту, чем моя жизнь. Старости, говорит, в эти страдные дни не существует».

Как тяжело, родной, проходить по улицам нашего Ленинграда! Каждый день я вижу, как падают люди, но на них никто уже не обращает внимания. На днях я видела, как одна интеллигентная женщина везла на салазках старика. Он лежал странно — положенный кое-как: ноги — впереди, голова — назади. А женщина окаменела, спотыкается и не интересуется стариком. Он был живой, потому что силился приподнять голову, но не мог, ловил что-то в воздухе руками, но они сразу же падали и ползли по снегу. Одна щека была содрана.

Пишу тебе это письмо дома: только что пришла с работы. Раннее утро, темно. Зажгла лучину, и неудержимо захотелось поговорить с тобой. Тяжело нам, милый, очень тяжело.

Но мне совсем не страшно, точно все, что пережито, — не настоящее: и гром разрывов, и вой самолетов — где-то вне жизни, как во сне или в бреду, и мгновенно забывается. У меня сейчас нет воды, а хочется выпить кипятку, чтобы согреться. В комнате все как будто покрыто инеем, мне кажется, что я неизбежно замерзну: лягу и больше не встану. Надо идти на Неву за водою. Одно приятно согревает: Лаврик — у бабушки, там тепло, они разбирают заборы, деревянные сарайчики и топят железную печку. А я ломаю

стулья, столики, гардероб и топлю плиту в кухне, а потом ложусь на нее.

И еще греет меня огонь любви к тебе и обливает ярким светом счастья. И ради этого счастья и чудесной нашей жизни, которую мы создавали, мы выдержим все чудовищные муки и будем бороться до конца беспощадно».

Я прячу письмо в карман пиджака, быстро одеваюсь, выхожу в прихожую. Кухня освещена, и Аграфена Захаровна — жена хозяина квартиры, сталевара здешнего завода Тихона Васильевича Работкина, — хорошая, кроткая женщина, смущенно стирает пальцами улыбку с губ и удивленно вскрикивает:

— Что же это вы, Николай Прокофьич, так рано сорвались-то? Ведь до смены-то еще добренький час.

— До зарезу надо, Аграфена Захаровна. Возможно, что я совсем не приду сегодня.

— Время-то какое! Кажется, никогда так люди не работали. Будто и в самой земле — гроза. Вот и мой Тихон Васильич... ввалился в три часа ночи, ткнулся в подушку — и как умер... А сейчас кряхтит: тоже собирается на завод. Сердце дрожит: как бы не свалился.

— Не беспокойтесь, Аграфена Захаровна, не свалится: он одержимый. Мы все сейчас — солдаты, все — на войне: себя не узнаешь...

Тихон Васильевич глухо рычит из-за двери:

— Коля! Тринадцать тонн снял. Мозги кипят, и сон дымом.

Ему — сорок пять лет. У него — обожженное лицо и налитые кровью белки. Кажется, что он постоянно отравлен. Но ходит крепко, широко, с развальцой, как силач. Пристально, не отрываясь, смотрит не в лицо человека, а куда-то через его плечо и усмехается, себе на уме.

— Кировцы желают со мной драться, — добродушно объявляет он. — Пущай! Подраться и я не прочь Люблю подраться, когда людей забирает: на душе веселей.

Я выхожу на улицу. До завода идти недалеко. Наш поселок — это целый город с широкими улицами,

с многоэтажными домами, с трамваем, с бульварами и цветниками на площадях. Завод виден в конце нашей улицы — за площадью: над бульваром поднимаются цилиндрические стеклянные крыши цехов, трубы, градирни в облаках пара, огромные кирпичные корпуса, строительные леса и бетонолитные вышки. Там еще ослепительно лучатся электрические огни. Утро туманится нерастаявшей ночью. Снег на крышах и на мостовой синий, а небо как будто пушится инеем, и на западной половине еще мерцают рыжие звезды. На востоке — ярко-зеленая ясность. Торопятся к распределителям женщины с кошелками, и сухой снег скрипит под ногами. Далеко позади, позванивая, глухо грохочет трамвай, — первые вагоны несутся из далекого города. За высокой оградой, на той стороне улицы, густо толпятся стволы сосен. Их вершины сплошным бархатом хвои сплетаются в тугую тьму. Со стороны завода доносятся шум и шелест, точно ветер гуляет в этом сосновом парке. Звезды еще ярко распылены над Ленинградом, и немецкие пушки расстреливают их. Там — черный мрак, и этот мрак потрясают взрывы снарядов. Гул разрывов раскатывается по пустынному городу громовыми волнами, как стон великого страдания. Могу ли я хоть минуту пользоваться радостью спокойного отдыха? Нет. Я должен в тысячу раз сильнее напрячь свою энергию, чтобы мстить врагу за муки людей, которые изнемогают в осажденном врагом городе. Лиза, сынишка, отец, мать сливаются в моем сознании со всеми людьми моей страны в один образ бесконечно милого, родного человека.

На заводском дворе между корпусами и в переулках пустынно. Только вдали, на площадке, толпятся в морозном тумане серо-голубые самолеты с распластанными крыльями. Все они стоят как будто на дыбышках, живые, нетерпеливые, готовые к полету. Направо, из ворот длиннейшего корпуса, с грохотом и лязгом, покачиваясь, выползают на гусеницах танки. Из башни угрожающе высовывается орудие. Оно, как длинная рука, указывает вперед, и кажется, что вот-вот выстрелит. На броне сидят и стоят несколько рабочих и красноармейцев, кричат и смеются.

Мой цех — далеко, за зданием заводоуправления. Снег на дороге вспахан, дорога в колдобинах, а на штабелях деталей эвакуированных машин и на кучах всякого заводского хлама снег лежит плисовыми сугробами, покрытыми сажей и окалиной.

У станка я работаю уже восемнадцать лет, то есть половину своей жизни. Не отрываясь от завода, я окончил рабфак и посещал лекции в Институте литературы и языка. Пробовал писать стихи и рассказы, но ничего у меня не вышло. Впрочем, рефераты и доклады на литературные темы читал неплохо. С ранних лет я охвачен страстью к книге, и эта страсть будет гореть во мне до конца моих дней. Но прежде всего я мастер оружия, воин оборонного труда. Я люблю свой станок, люблю делать вещи прекрасно — так, чтобы они играли, радовались, жили в моих руках, как произведения искусства. Иногда я испытывал подлинное волнение, когда брал в руки сделанную мною деталь и любовался ее формой и блеском лучей. Для меня нет высшего наслаждения, как сознание, что эта созданная мною вещь не просто металл, механически обработанный фрезерами, а часть моей души — мое вдохновение, моя любовь, мои искания. Старые мастера — мои соперники — должны были признать, что «перекрыть» меня, как они выражаются, трудно. Я до сих пор пользуюсь славой лучшего фрезеровщика. Мои детали принимаются без проверки. Но теперь, в дни войны, когда боевая техника в руках искусного воина решает все, я обязан, кроме прекрасной обработки, дать деталей в десять, в двадцать раз больше. Одним увеличением числа оборотов станка не достигнешь цели. Нужно было вводить различные новые приспособления, чтобы заставить его вырабатывать одновременно по нескольку деталей и производить одновременно несколько операций. Вот почему я занят каждый день, каждый час одной мыслью — усовершенствовать станок, заставить фрезеры работать так, чтобы механизм подчинялся малейшему движению, даже неощутимому прикосновению моей руки. И я достиг многого за эти месяцы.

С тех пор как наш завод был эвакуирован на восток, я ни на одну минуту не прерывал своих исканий, а здесь, даже во время монтажа, ломал голову над тем, как бы превратить станок в полуавтомат, чтобы на нем могли работать даже неквалифицированные рабочие, вплоть до подростков, и выпускать продукцию в тысячах процентов. Эта работа над станком и постепенное его оснащение как будто приближали меня к Ленинграду, к передовой линии фронта, к Лизе, к Игнаше... Ведь и я был военным человеком: в войне с белофиннами я дрался как танкист и был награжден орденом Красного Знамени. Но меня, как лучшего фрезеровщика, отправили с заводским оборудованием на Урал. Мне приказали:

— Сопровождай завод. Восстанавливай его как можно быстрее. Армии ты там нужен не меньше, чем здесь. Делай оружие.

И я поехал. Наш эшелон шел до этого старинного уральского города три недели. Директор с главным инженером улетели на самолете в день нашего отъезда, чтобы подготовить площадку, транспорт и выгрузку оборудования, чтобы обеспечить жилье для людей. Некоторые инженеры и рабочие ехали с семьями. Было тепло, но по ночам мы дрожали в пальто. Стояли на редкость прозрачные дни. Небо было бархатно-синее, а поля плыли мимо нас оранжевые, точно в огне. Они волновались на солнце, охваченные пламенем. И ясные дали рисовались так отчетливо, что на крышах изб виднелась каждая соломинка. Над грустными перелесками носились густые стаи галок, и эти беспокойные стаи то вспыхивали черным роем, то таяли в небе.

Ехали мы с болью в душе, с злобным нетерпением работать. Если бы можно было пустить станки на платформах, мы, не задумываясь, с бурной радостью принялись бы каждый за свое дело.

Сутками стояли мы на забитых эшелонами станциях и не знали, куда деться от тоски. В первые дни над нами постоянно кружились вражеские самолеты и сбрасывали бомбы. Но эти налеты были какие-то трусливые: самолеты держались очень высоко. В них

стреляли из зениток, и они улетали. Впрочем, раза два бомбы попадали в станционные деревни. Вспыхивали пожары. Мы отцепляли друг от друга наши вагоны и откатывали их подальше.

Рабочие и инженеры с семьями помещались в теплушках. Жена технолога Пети Полынцева, моего друга, не отпускала от себя мужа, и я видел, как, безучастный ко всему, он бродил вдоль вагона или водил гулять по лугу свою Верочку, хорошенькую щебетунью. Верочка прыгала и звонко кричала, тогда он будто оживал: лицо его светлело, он улыбался, хватал ее на руки и бегал с нею по траве. Жена — Наташа, подруга моей Лизы, — не отходила от своего вагона и, когда видела Петю с дочкой далеко на лугу, истерически звала их обратно. Несколько раз я пытался увести его куда-нибудь в поле или побродить по станционной платформе, но он оглядывался назад и настороженно прислушивался, не зовет ли его Наташа. Меня это раздражало: черт его возьми, — жена и дочка рядом с ним, а у меня остались в осажденном городе... Он забыл даже свои обязанности по отношению к нам, своим товарищам, и к ценнейшему оборудованию, которое нам доверили...

— Я не узнаю тебя, Петя, — как-то сказал я ему хмуро. — Понимаю: жена, дочка... постоянное беспокойство... но почему ты ни разу не прошел по вагонным площадкам и не проверил, всё ли в порядке? Это — твой долг.

Он вздрогнул, и лицо его исказилось.

— Не хотел бы я, Коля, выслушивать от тебя такие упреки... — сказал он глухо. — Ты думаешь, я не знаю?.. Но надо же считаться с больной женщиной. Ее психически контузило. Я был на заводе. А тут — бомбежка... Помнишь, какая была дикая бомбежка?.. Какой-то дурак сказал, что завод разнесло вдребезги и много погибло людей. Она прибежала, как безумная. И вот с тех пор... Одним словом, никак не могу привести ее в чувство. Ужасно!

Петя, всегда добродушно насмешливый, с лукавой искоркой в глазах, сейчас был какой-то надорванный. Он замолчал, и я видел, что он страдал от обиды:

ему было тяжко, что я, его друг, связанный с ним с самого детства, не понимаю, не чувствую его. И я раскаялся, что заговорил с ним так сурово. Он нуждался в помощи, в дружеской поддержке. Я начал успокаивать его, но он махнул рукой и ушел от меня.

На другой день, когда мы стояли на какой-то узловой станции и с минуты на минуту ждали отправки, внезапно разразилась катастрофа. Раздалась тревога, толпы людей бросились к вагонам, из теплушек выскакивали женщины, дети, старики и бежали через пути в поле, чтобы спрятаться в ямах, в кустарниках, в ближайшем молодом лесочке. Я видел, как Петя нес на одной руке Верочку, а другой вел Наташу. Она шла как-то странно, с помертвевшим лицом. Потом он бежал вдоль поезда и вместе с нами откатывал вагоны. В пылу работы мы не заметили, как налетели немецкие самолеты. Очухались мы от потрясающего взрыва бомбы на путях среди разбросанных вагонов. Горячая воздушная волна ударила меня в спину и затылок, и я свалился на землю, но сейчас же вскочил и увидел вдали вихрь пыли и дыма. Обломки пустых вагонов лежали на земле, и загнутая кверху рельса дрожала, как пружина. Я старался хладнокровно расставить людей вдоль вагонов, чтобы откатить их как можно дальше один от другого. Бомбы взрывались, но где-то в стороне от путей. Потом затрещали пулеметы, где-то рыдали, кричали, стонали женщины. Я пробежал мимо наших вагонов, увидел бледных товарищей, которые толкали платформы как-то особенно старательно, — вероятно, чтобы подавить страх.

В разных местах, далеко за вагонами, поднимались клубы дыма. На траве и в выемках лежали женщины и дети, вдали бежали в лесок несколько человек.

И вдруг я чуть не упал от потрясения — у меня помутилось в глазах. Внизу, под насыпью, на траве стояла на коленях Наташа, рвала на себе волосы, выла и хохотала. Около нее, переступая с ноги на ногу, покачивался Петя с Верочкой на руках и как будто убаюкивал ее. Его лицо застыло в мертвом спокойствии, только глаза прыгали, как у оглушенного

ударом. Он топтался около Наташи и смотрел куда-то в пространство, как слепой, и укачивал окровавленное тельце девочки. Кровь струилась у него по пиджаку и по брюкам.

К нему сбегались рабочие, женщины, кто-то из мужчин кричал надорванным голосом:

— Смотрите, смотрите!.. И там, и там лежат... Боже мой!..

Я подбежал к Пете и что-то кричал, хлопотал около него, но что было дальше — угасло в памяти. Помню только похороны убитых, помню, как я перебрался в вагон к Пете. Наташа не приходила в себя и по нескольку раз в день билась в припадках буйного исступления. Мы боролись с нею и изнемогали от бессилия. Нам помогали и мужчины и женщины, и они уставали: Наташа билась в наших руках с невероятной силой. В первый же день приезда в этот город ее поместили в психиатрическую лечебницу.

2

Я вхожу в цех. Он залит электричеством. Всюду — и внизу, между станками, и вверху, среди перекрытий, — частые созвездия пронзительно лучистых огней. В бесконечных пространствах корпуса — голубой дым. Ослепительно вспыхивают в разных местах зеленые молнии. Всюду гул. От сердцебиения станков и двигателей земля под ногами дрожит и дышит.

Как всегда, я сразу ощущаю связь со своим станком. Я вижу его издали, и он приветствует меня, как живой, своим сиянием, глянцем и какой-то особой теплотой. Мне чудится, что в нем с давних пор живет мой дух — мой характер и душевное беспокойство. Какое-то суеверное чувство тревожит меня, когда встречаю его после разлуки: если бы я вдруг забыл о нем, если бы на час погасло во мне его дыхание, он отомстил бы мне — или перестал бы работать, или искалечил бы меня. Более тонко не могу сейчас выразить свое ощущение.

Петя встречает меня в цеху, как обычно бодрый,

чисто выбритый, бледный, утомленный бессонницей. В глазах его — затаенное страдание и неостывающий жарок. Мне кажется, что дома, у себя в комнате, один со своими мыслями, он мечется, как зверь в клетке. Нужна большая сила духа, чтобы владеть собою, работать спокойно, вдумчиво, внимательно и решать методически и кропотливо большие и маленькие вопросы технологии производства. К нему поступает множество всяких предложений от рабочих, и с каждым из них он говорит серьезно, обстоятельно, дружески-просто. Предложения бывают полезные и ценные, а иногда нелепые, но он с одинаковой внимательностью рассматривает и те и другие. Хотя на деле он и доказывает человеку бедность его мысли и технологическую малограмотность, но всегда ободряет его, поднимает в нем дух и веру в свои силы.

— Мне не важно сейчас, — говорил он, — какова ценность предложения, важно беспокойство человека... Раз он заволновался, значит будет расти.

Его строгое спокойствие казалось со стороны холодной деловитостью. В нем никто не заметил бы никаких внешних перемен, но я-то хорошо видел, что происходило у него в душе. Его жгла одна мысль, одна жажда — мстить. Гибель Верочки, безумие Наташи — это его личная трагедия, но она неотделима от страданий миллионов людей, от моих страданий. И мы без слов понимали и чувствовали друг друга. Мы оба работали с одинаковой страстью. Но эта страсть выражалась у нас по-разному: он как-то угрожающе замолчал и ушел в себя, а я горел, волновался и часто не мог управлять собою.

Как всегда, Петя берет меня под руку и ведет по широкому проходу в дымную, грохочущую даль, где вспыхивают молнии. Разумеется, он направляется ко мне в инструментальную мастерскую.

— Ну, показывай! — говорит он как будто равнодушно. — Хочу сам убедиться, как выражается в действии универсальность станка. Сегодня оснащать станок не советую. На вахту станешь после пересменки. Надо отдохнуть и приготовиться.

— Я уж проверял, Петя, не один раз. Пятнадцать норм верных.

Он — в курсе дела. Приспособление, над которым я ломал голову много дней, общие и детальные чертежики, конструкция, которая наконец доведена до экономной и четкой простоты, — все это потребовало огромной затраты сил. И когда я почувствовал, что мысль додумана до конца и влита в вещественную форму, я в короткий миг пережил блаженство освобождения: точно я вынырнул откуда-то из тягостной глубины, полной грудью вдохнул свежий воздух и увидел синеву неба. И я впервые понял, что простота — самая трудная вещь и что нет более сложных путей, чем искание этой простоты. Она кажется обидной после всех мытарств. Посмотришь на чертеж и усмехнешься: что же ты возился столько времени, сжигал свой мозг, когда эта штука так же проста, как сковородник?

— На моем месте ты сделал бы все с максимальной экономией сил, Петя, — говорю я ему по дороге в мастерскую. — Если бы не твоя помощь, я корпел бы черт знает сколько времени и измотал бы себя. Скверно и невыгодно быть дилетантом.

Он смотрит на меня с проникновенной насмешкой друга, который видит меня насквозь. Потом с сердитой теплотой в голосе обличает:

— Однако, кроме тебя, никто еще не добился и не осуществил такого приспособления. Не сделал этого и я, как видишь, хотя я не только технолог, но и конструктор. Не притворяйся и не кокетничай передо мной. Ведь сам же ты видишь, что дело — в идее, в озарении, а не в исполнении. Надо твердо верить, что ты даешь и будешь давать заводу то, чего не дают другие.

Петя — потомственный ленинградец. Он родился и вырос в рабочей семье. Наши отцы — старые товарищи, которые вместе боролись во всех трех революциях. Его старик не один раз сидел в царских тюрьмах и в пятнадцатом году сослан был на Лену. В Октябрьскую революцию был ранен при взятии Зимнего дворца, дрался на Восточном фронте и был полковым

комиссаром. Нам, ребятам, он охотно рассказывал о своих бесчисленных приключениях, и мы слушали его, затаив дыхание. Если бы застенографировать все его рассказы, получилась бы поучительная и захватывающая книга! Он близко знал Ленина, и в его рассказах он рисовался мне и богатырем, и очень близким, очень простым человеком, сердечно горячим, таким же молодым, как мы с Петром. Это была на редкость дружная семья. Кроме Петра, было еще трое ребят. Младшему из них, двенадцатилетнему Гришке, больше всего нравилось крутиться около нас, зрелых комсомольцев. Жили мы во весь размах — бурно, шумно: и оглушительно спорили, и танцевали, и устраивали шахматные турниры, и занимались спортом — футболом, лодочными гонками на Неве. И мне особенно было по душе, что отец Петра, как молодой, принимал самое живое участие в наших делах. Я приходил в восторг, когда он, возвращаясь с завода, кричал:

— А ну-ка, ребята, готовьтесь к волейболу! Вываливай на двор!..

Мы с Петром были уже на рабфаке. Он выбрал себе Институт машиностроения, а я стремился на завод к фрезерному станку. Мой выбор осчастливил отца: он был фанатиком заводского труда и к тяге молодежи во втузы относился с угрюмо-пуританским недоверием.

— Избалуются, — ворчал он, посматривая на меня колючими глазами из-под лохмато-серых бровей. — Избалуются, разболтаются...

Заводский труд меня очень привлекал, и я нетерпеливо ждал выпускных экзаменов. Самым большим удовольствием для меня было блуждать по заводским цехам. Многие часы проводил я около станков и как завороженный следил за красивой работой фрезерных машин. Они казались мне волшебными. Ко мне привыкли, у меня появились друзья, и я часто сам становился к станку. Кое-кому из парней было интересно возиться со мной, как с понятливым и любознательным учеником, я был там своим человеком, а станок уже слушался моих рук.

Петя возмутился: как это можно бросать ученье на полпути? Самый гнусный недостаток у людей — это не доводить дело до конца. Недоучка — это не человек, а дробь человека.

Он оттаял немножко, когда я поклялся ему, что буду глотать знания, не отрываясь от производства. Но потом, когда я заявил ему после окончания рабфака, что решил постигнуть литературные науки, он растерялся от изумления.

— Ты с ума сошел, Колька! У тебя какой-то кавардак в голове.

Но это еще больше укрепило нашу дружбу, а ведь самая задушевная дружба — это буйная дружба юности.

...В инструментальной мастерской я начал работать как слесарь, над деталями приспособления для своего станка. Никогда, кажется, я не переживал такого волнения, как в первый короткий час. И потом весь день до вечера я не мог успокоить свое сердце. Я не хочу описывать здесь конструкции приспособления. Мои чертежи останутся в архиве заводоуправления, а мои мысли и удары сердца угасают вместе с прожитым днем. Я хочу писать повесть своей души...

Этот год был самым трагическим в моей жизни, страшный путь человеческих страданий и борьбы.

Мне кажется, что жить и работать в тылу — несравненно труднее, чем быть на фронте. Ненависть к врагу требует битвы с ним лицом к лицу. Расстояние в тысячи километров терзает душу тишиной неба и суровой трезвостью труда. Чтобы преодолеть эту отдаленность, недостаточно одного напряжения. Надо обладать острым чувством видения и страстью бойца, сердце которого кровоточит гневом...

3

Перед тем как мне нужно было стать на трудовую вахту, в цех ввалилось начальство во главе с директором Павлом Павловичем Буераковым — низеньким, коренастым человеком с красным лицом, с хитрой

искоркой в щелочках глаз. Носик у него пуговкой, он уютно прячется между щеками, и ему там, должно быть, тесно. Буераков ходит во всем сером — серое пальто, серая широкая кепка, серые замшевые сапоги. При своей полноте он должен был бы ходить тяжело, с одышкой, но он стремительно несется впереди всех и покрикивает молодым тенорком. Всех он знает в лицо и по имени, знает нрав каждого рабочего, помнит о таких событиях его жизни, о которых и сам рабочий забыл. Его звонкий, веселый голос издали слышен в цеху.

— Здорово, Гришин! Как дела? Жена-то еще плачет по Ленинграду? Ага, и ты, Костя, на глаза мне попался... Ты что же это, курносый, не дотянул вчера?.. А я-то надеялся на тебя, дружок!..

От этого жизнерадостного голоса и прыткости в цех как будто влетает свежий ветер. Буераков тоже наш, ленинградский, и здесь он такой же, точно война и пережитые испытания совсем не отразились на нем. А ведь только благодаря его энергии, настойчивости и находчивости завод заработал на полный размах раньше положенного срока. Может быть, эта его живость и веселый дух и возбуждали во всех бодрость, неутомимость и упорство. Он опытный инженер. Без него и завод как-то нельзя себе представить.

Рядом с ним широко шагал длинноногий, длиннолицый главный инженер — Владимир Евгеньевич. Лицо у него холодное, замкнутое, тонкие губы сжаты крепко, и очень редко услышишь его голос. Особенно неприятны у него глаза: они смотрят в упор на человека, но словно не видят его. Они и беспокоят своим безучастием и отталкивают своей пристальностью. Но это — человек сердечный. Он сросся с заводом и весь без остатка растворился в нем.

За ним шел с Петей парторг ЦК, Алексей Михайлович Седов, наш товарищ юности, смуглый парень с горячими глазами.

Я волновался, но старался быть спокойным, невозмутимым, и мне было приятно, что эти люди посматривали на меня с некоторым недоумением: они думали застать меня в лихорадке, а я даже не обращал

на них внимания, поглощенный работой у своего станка.

В этот раз я пришел в цех, как обычно приходил на смену: без лишних разговоров, без приветствий; занял свое место, надел халат и молча, с методической неторопливостью, проверил мотор и все приспособления, подсчитал и привел в порядок заделы.

Хотя меня и не было видно за станком и только соседи могли заметить тощую фигуру в халате, но я чувствовал, что в наших фрезерных кварталах горячо. Ко мне никто не подходил, не задавал вопросов, — все знали, что во время работы я был неприветлив. Тем более теперь, — мое рабочее место было ограждено. И только мельком я встречал пристальные взгляды своих друзей и справа и слева. Старые рабочие делали вид, что заняты не менее меня, а молодые, кажется, нервничали сильнее, чем я сам.

Буераков еще издали протянул мне руку и закричал юношеским тенорком:

— Здорово, здорово, Николай Прокофьич! Как оно у вас? Готово? Мешать вам не будем, а событие отметим в нашей братской семье. Ну, ну, брат, не протестуйте! Это — не ваше личное дело. Мы не торжество устраиваем, а ставим серьезнейший вопрос об ответственности, о помощи фронту.

И сразу же, без всякого перехода в интонации, с той же юношеской звонкостью сообщил:

— Между прочим, твой старик работает героически, на зависть другим. А Лиза просто молодец: бодра, активна, молода, как комсомолка... Об Игнате она вам ничего не сообщала?

— А что? — бросился я к нему. У меня похолодело сердце. — Случилось что-нибудь, Павел Павлыч?

— Ничего, ничего... Все в порядке.

И опять без передышки крикнул высоким пронзительным голосом в глубину длинного, сияющего электричеством многолюдного цеха:

— Товарищи! Друзья! Эта смена — исключительная на нашем заводе. Николай Прокофьич Шаронов становится на вахту с обязательством дать к концу

смены пятнадцать норм. Никогда еще на фрезерных станках никто из мастеров не ставил таких рекордов: хочется верить, что товарищ Шаронов свое обязательство выполнит. Я не удивлюсь, если он и этот рекорд перекроет. Наш русский человек — особенный человек, он невозможное делает возможным. Он всегда поражал мир своими дерзаниями. Доказал он это победами в эпоху пятилеток, а теперь — и на полях сражений, и на трудовом фронте. Завтра утром товарищ Шаронов даст нам отчет о результатах своей работы. Это будет новая победа тысячников. Тысячники появляются везде, но это все-таки единицы, отдельные герои. Шаронов пробивает дорогу массовому движению победителей — бойцов, которые разят одновременно и рутину, и фашистского зверя. Пожелаем же Николаю Прокофьичу (он поднял руку и повернулся ко мне), пожелаем же нашему товарищу и другу блестящего успеха! (Аплодисменты.)

Я не привык к таким торжественным минутам. Поэтому неуклюже, с глупым видом сконфуженного человека, со скрытым раздражением я принужден был выйти из-за станка и сердито сказать только одну фразу:

— Становясь на трудовую вахту, даю твердое обязательство, товарищи, выполнять по возможности больше, но не меньше пятнадцати норм.

Я удержал Павла Павловича и посмотрел ему прямо в глаза. Он смутился и немного растерялся. Седов, обеспокоенный, шагнул в нашу сторону, точно директору угрожала опасность.

— Все-таки, Павел Павлыч, вы мне должны сказать, что случилось с Игнатом. Передо мной — серьезное испытание, а вы меня лишаете равновесия... Говорите, Павел Павлыч!

Директор сначала сделал вид, что испугался, а потом вздохнул с облегчением.

— Уф, шайтан вы этакий! Вот обрушился на меня! Ну... так вот вам: летчик Игнат Шаронов награжден Золотой Звездой... Поздравляю! На сегодня хватит и этой радости. Желаю вам блестящих успехов.

— На сегодня?.. Значит, у вас есть что-то еще?

Он отмахнулся и побежал от меня назад, к выходу. За ним поспешили и другие. Петя сначала пошел за ними, потом замедлил шаг, остановился, провожая их взглядом, и круто повернул обратно.

Никогда я еще не приступал к работе с таким светом в душе. Сначала я был охвачен только одним чувством, которое вызывало радостную дрожь в груди и в руках — какое-то сверхвольное ликование: Игнат — Герой Советского Союза, — Орден Ленина и Золотая Звезда... Лиза бодрая, как комсомолка... И это охватившее меня чувство ослепляло меня. Я завидовал Игнаше и уносился мечтами в Ленинград. Там каждый клочок земли дорог мне с детства... Меня трясло от ярости. В Павловске — волчьи морды; в Пушкине, в парке — алчные волки; в Петергофе — громилы, уничтожающие дворцы и фонтаны. Разве можно забыть об этом хотя бы на миг? Разве можно любой работой заглушить невыносимую боль?

Однажды на Кавказе мне пришлось участвовать в отряде казаков, которые по набату собрались большой толпой и на конях и тачанках помчались на борьбу с саранчой. Впервые я увидел эту омерзительную тварь. Она ползла неудержимо, сплошной массой, тускло поблескивая на солнце зелеными полушариями глаз. Она шелестела, как сухие листья. Чудилось, что вместе с этими миллиардами насекомых плывет отвратительная тошная вонь. Это было чудовищное и неотразимое нашествие прожорливой мрази. Она ползла на хлебные поля, чтобы пожрать их.

Сотни, тысячи людей рыли глубокие канавы, а вдали от края и до края верховые гоняли лошадей с каменными катками, чтобы давить эту нечисть. В наши канавы водопадом сыпались маленькие чудовища, но они не могли подняться вверх по отвесной срезанной стенке. И вот канава быстро наполнялась кишащей грязно-зеленой массой. Мы сбрасывали лопатами землю на эту мразь, хоронили ее и гадливо смотрели, как шевелится земля. Мы отбегали назад, на новую линию, чтобы копать новые канавы; а люди ждали врага с лопатами в руках, и этот враг кипел на

солнце, рвался через засыпанные канавы, и казалось, что ему никогда не будет конца.

Фашисты. Да, это — саранча, которая ринулась на нашу страну. Это — орда палачей, обезумевших от расстрелов и виселиц, пыток и расправ над беззащитными людьми. Толпятся женщины с грудными младенцами, старики, ребятишки... Гитлеровцы поливают их дождем пуль. Люди в ужасе кричат, стонут и сотнями падают на землю... А там, неподалеку, в бурьянах бесстыдно насилуют девушек... Горят деревни, и взрываются города. И на пустынной дороге под низкими тучами идут бесконечные вереницы женщин и детей под конвоем солдат — пленники, угоняемые в рабство, на медленную мучительную казнь... Так могла бы идти под дулом врага, по грязи, под холодным дождем, в безнадежную даль и моя Лиза за руку с Лавриком...

Эти картины часто преследуют меня в кошмарных снах.

Но сейчас сердце непослушно радовалось: Игнаша получил Золотую Звезду! Мне хотелось смеяться, по-мальчишечьи топать ногами и петь. Чудилось, что и станок мой смеется. Интересно, на каком самолете Игнаша совершает свои полеты — не на нашем ли штурмовике? Не чувствует ли он и моего незримого присутствия в самых важных частях своей машины?

Я снимаю первую группу деталей и обследую их с привычной придирчивостью и инстинктивной тревогой. Я вижу внимательные глаза моих товарищей, которые пристально следят за мной. Мое лицо, вероятно, бледно, потому что у соседей — у этих хороших парней, которые уважают меня, тоже бледные лица. Я переовожу рычаг коробки скоростей. Пульс ускоряется. Должно быть, такой же восторг испытывает Игнаша, когда дерзко нападает один на несколько самолетов и разит их верно и расчетливо или прорывается сквозь бурю зенитного огня и пикирует над немецкими танками, батареями и эшелонами.

Ко мне подходит Петя, но делает вид, что заинтересован не моей работой, а работой гидравлического

пресса, который стоит за мной в среднем проходе, как триумфальная арка. Подняв голову, Петя рассеянно следит за этим огромным сооружением и как будто не одобряет медленных и упругих его движений. Но я очень хорошо знаю, почему он остановился около моего станка. Ведь и у него бурно бьется сердце. Мне кажется, что лицо у него осунулось и губы почернели.

Я смеюсь, поглядываю на него исподлобья и машу ему рукой. Он подходит медленно, вопросительно подняв брови. А когда встречает мои смеющиеся глаза, пожимает плечами и укоризненно качает головой.

Он берет детали и осматривает их, потом устремляется к станку.

— Изрядно, — говорит с притворным равнодушием, — проверим результаты. Не слишком ли ты жмешь на число оборотов? и не слишком ли нервничаешь?..

— Друг мой, я холоднее тебя: ты страдаешь от сомнения. А это тебе не к лицу. Не терзайся: дам не меньше пятнадцати.

Он смеется и исчезает за другими станками. Но когда он выходит в переулок влево, я вижу, как его окружают фрезеровщики и не пускают дальше.

Стиснув зубы, я снова берусь за рычажок коробки скоростей: черт побери, даю до последнего предела...

Утром пришел Седов, пришел один, с угарно-красными от бессонницы глазами. Застенчиво улыбнулся и спросил:

— Я не помешаю тебе, Николай Прокофьич?

— Милости прошу, Алексей Михайлыч.

— До сих пор я считал себя неуязвимым, но в эту ночь я метался... Ну, как?

Я засмеялся.

— А я, наоборот, чувствую себя бодрее и свежее, чем вечером, когда вы — извините — почтили меня торжественным посещением.

— Ну, брось, Шаронов! Неужели ты не понимаешь, что это... не для тебя было нужно... Оставим это. Скажи: сколько?

Я сдержанно доложил:

— Надеюсь до конца смены довести до семнадцати норм.

...В перерыве я не ужинал, — есть не хотелось. Я был охвачен таким возбуждением, таким душевным восторгом, что физически ощущал себя радостно сильным. Ничего не видел вокруг себя, подстегивал свою машину и с наслаждением всем своим телом чувствовал хруст и скрежет фрезеров, которые въедались в металл. Рассыпались серебристые стружки и опилки. Эмульсия била струями на фрезеры и вспыхивала золотыми брызгами. И все-таки я даже волосами ощущал человеческое дыхание, людскую тесноту необъятного цеха. И теплота была человеческая — живая, кровная, уютная, а рокот и разговор машин, вздохи и кряканье гигантских прессов и гуденье электромоторов не воспринимались отдельно, как отдельно от меня не жил и мой станок.

После гудка ко мне из всех проходов бросились рабочие.

— Ну как, Николай Прокофьич?

— С победой, Коля!.. Ну и работа!..

— Сколько же? Неужели семнадцать?

И сразу же меня оглушили рукоплескания.

Навстречу мне шла целая свита во главе с директором, который протягивал мне руку и кричал:

— Поздравляю, поздравляю, Николай Прокофьич! Дайте-ка я обниму вас, хороший мой, дорогой!.. И здесь показал себя героический Ленинград...

4

Я пришел домой бодрый, с удовольствием умылся, смочил мокрым полотенцем грудь и лопатки. В прихожей встретил Аграфену Захаровну. Она стояла в дверях кухни и своей ласковой улыбкой заставила и меня улыбнуться. Эта деликатная женщина, кажется, инстинктивно чувствует нас — и мужа и меня: она знает, когда нужно молчать и не показываться на глаза; знает, в какую минуту встретиться и сказать свое простое слово; знает, когда постучать в дверь и

пригласить к себе попить чайку. Ни одного грубого слова я не слышал от нее, ни одной жалобы на житейские лишения и неудобства. И когда она рассказывает о том, как стоит в очереди у магазина в толпе иззябших женщин, она по-своему добродушно жалеет не себя, а их.

— Ведь как люди-то измотались!.. — Она тихо смеется и качает головой. — Без страды да мытарства вас не накормишь...

Проходя мимо нее, я спросил по-свойски, кивая на закрытую дверь в их комнату:

— Спит?..

Она сморщилась от притворного негодования и торопливо отмахнулась.

— Насилу уложила, поперешного. Сама и умыла и спину натерла. Как маленький какой... У него, вишь ты, битва идет. Так вот и неймется ему, грешнику, — рвется опять к печи. Надавала ему тумаков, разула, раздела, толкнула в кровать и дверь заперла... — И с милым злорадством она засмеялась. — Пускай его, дикошарого... Ни за что не выпущу. За вас вот еще надо приняться... Зайдите ко мне, Николай Прокофьич: чайку выпейте, — свеженький.

— Чайку выпью, Аграфена Захаровна, — выпью именно с вами, потому что вы превосходная женщина.

Она всегда спокойна, точно ничто ее не удивляет. Кажется, случись пожар или налет немецких самолетов, она не испугается: останется такой же спокойной и так же будет стирать пальцами улыбку с губ. Она неторопливо позаботится о муже, обо мне, с настойчивой лаской уведет нас в безопасное место, а потом уже пойдет спасать свое хозяйство. С первого взгляда кажется, что она ко всему равнодушна, что для нее на свете не существует ничего нового. Но присмотришься, почувствуешь ее и удивляешься: сколько в ней материнской нежности, внимательности! Она знает, какие страдания переносит моя Лиза в отрезанном от всей страны Ленинграде, знает, какая у меня боль в душе: что я не только в цеху, но и дома охвачен одной мыслью бороться за мой Ленинград, за моих

людей, за мою страну. Она знает об этом, все замечает, и все же я ни разу не слышал от нее ни вздохов, ни утешений.

Я сел вместе с нею за столик в кухне. Было очень тепло — плита пылала жаром. На плите что-то клокотало и пыхтело. Аграфена Захаровна молча налила мне стакан крепкого чаю, подсунула сахарницу и щипчики, открыла духовку и вынула противень с румяными ватрушками. Так же безмолвно и заботливо сложила их на тарелку и поставила на стол ближе ко мне.

— Ну что вы делаете, Аграфена Захаровна! — возмутился я. — Разве теперь можно отрывать от себя такую драгоценность? Вот я слопаю у вас эти ватрушки, — что тогда будет есть Тихон Васильич?

— Ешьте, ешьте, Николай Прокофьич... на здоровье! Всем хватит. Очень я люблю, когда мое кушанье нравится.

Она стояла с деловым видом и ожидала, когда я возьму ватрушку.

— Не возьму, пока вы со мной не сядете.

— Есть мне время рассиживаться с вами! Надо вот в магазин поспешать: там очередь у меня занята.

Но все-таки присела, чтобы поближе подсунуть блюдечко с мелко наколотым сахаром.

— Но у меня — свой сахар, Аграфена Захаровна. Что за расточительность.

Она вскидывает на меня серые умные глаза и с упреком качает головой. Мне неловко за свою мелочность. И, вероятно, для того, чтобы я почувствовал себя непринужденно, она наливает себе чашку чаю, берет ватрушку и бережно ломает пополам. Горячая, пахучая, с поджаренной корочкой, ватрушка вкусно потрескивает. Крошки творогу падают на стол, и Аграфена Захаровна истово подбирает их щепотью. Я беру ватрушку, вонзаю в нее зубы и с наслаждением ощущаю горячую корку, чудесный ее хруст и аромат обжигающего десны творога.

— Эти шанежки все скушайте, Николай Прокофьич: для вас пекла. Ночка-то ведь у вас была нелегкая. Трудно, трудно, а свое взяли!

— Откуда это вы знаете, Аграфена Захаровна?

— Вижу. Глаза-то у вас как у маленького ребенка. И шанежка моя нравится.

— Очень вкусно, Аграфена Захаровна: кажется, только в детстве ел такую прелесть.

— Когда на душе хорошо — и ешь с аппетитом, Николай Прокофьич. У вас никогда не будет неудачи.

Я засмеялся.

— Вот те раз! У всех же бывают неудачи.

— А у вас не будет. Может, и были когда неудачи, по глупости, а сейчас нет. Вы — как мельница: все перемалываете, а выходит золото. Как и мой бирюк. У вас, у обоих, сна спокойного нет. Сегодня мой сталевар пришел, как черт из ада. И одно бормочет: не свалить меня кировцам! Они одну задачу решают, а я — две. Ну, сижу около него, а он бормочет...

Она встала, стерла улыбку с губ, подмигнула и наклонилась над моим ухом.

— Ежели будет мой недосыпа бунтовать, и голоса не подавайте. Ложитесь себе и — ни гу-гу... Почует, что дома никого нет — опять грохнется на постель. Такой уж...

— Писем мне нет, Аграфена Захаровна?

Она промолчала и начала одеваться.

— Почему так долго не пишет мне Лиза — ума не приложу.

Она сердито упрекнула меня:

— Там тоже ведь дерутся... не только вы один с Тихоном...

И вышла в прихожую, одетая в овчинную шубу, закутанная в теплую шаль. Потом быстро возвратилась и сердито постучала пальцем по столу.

— У меня все съешьте... обязательно... лучше не расстраивайте!

Эта ее простая, домашняя заботливость волнует меня.

Их уплотнили — отняли для меня комнату. Значит, я нарушил их жизнь, стеснил их. Старый, заслуженный рабочий, которым завод гордился, — он вправе пользоваться спокойным отдыхом. Но он принял меня радушно, даже как будто с удовольствием.

— Ничего, не беспокойся, Николай Прокофьич. В тесноте, да не в обиде. Теперь людям надо быть теснее, а когда теснее, значит сильнее.

В ту минуту, когда я сидел перед ним застенчиво и смущенно, Аграфена Захаровна стояла поодаль и молчала. И я думал тогда, поглядывая на нее, что она должна ненавидеть меня, как недруга. Когда я робко спросил, могу ли принести свои вещички и переночевать хотя бы в кухне, она улыбнулась.

— Это зачем в кухне-то, Николай Прокофьич? Сами ведь видели: комнатка ваша свободная — располагайтесь. Вот Тихон Васильич пойдет с вами и поможет перенести ваши пожиточки. С какой стати стесняетесь-то? Свои ведь люди-то. Вы вон сколько выстрадали! У вас, должно, и сердце-то все почернело...

А Тихон Васильевич, щетинистый, с обожженным лицом и кровавыми белками, коренастый, пахнущий окалиной, добродушно улыбался и подмигивал мне, кивая головой на жену.

— Она у меня характером не крикливая, без штурмовщины, но сердце всегда с нагревом.

И как я ни старался отбиться от помощи Тихона Васильевича, но не смог убедить его, что вещей у меня — только чемодан, походная койка и постель, что я сам перенесу их без труда, тем более что все это находится рядом, во Дворце культуры. Он молча, с затаенной усмешечкой, оделся, а Аграфена Захаровна, довольная, уже не стирала с губ свою улыбочку.

Тихон Васильевич тогда произвел на меня странное впечатление: вел он себя благодушно, снисходительно, но старался не встречаться со мной взглядом, словно затаивал в себе недоброжелательство: его глаза упирались в стол, в стены, в волосатые руки. Не смотрел он и на Аграфену Захаровну. Мне было очень неловко: я решил в тот вечерний час, что я нежеланный для них постоялец, что они подчиняются только необходимости. Это ощущение неловкости мучило меня несколько дней. Когда мы шли с ним в полутьме по тротуару навстречу заводским огням, он

молчал и хрипло покашливал. Казалось бы, у него могло быть много вопросов ко мне — ну хотя бы о Ленинграде, о боях на его подступах, о работе заводов в эти страшные дни и ночи, когда небо в огне, в грохоте, в реве самолетов.

Мы разгрузили свои эшелоны на территории уральского гиганта и сейчас же начали монтировать корпуса, постройка которых законсервирована была с первого дня войны и стены которых не были доведены еще и до половины. Кроме того, мы уплотнили еще три старых цеха, разделив площадь каждой «коробки» пополам. Этот город, как и все промышленные места Урала, взбудоражен, и всё пространство от северных до южных склонов хребта грохочет металлом и волнуется сотнями тысяч людей — дорожных, измученных, непрерывно, днем и ночью, прибывающих с эшелонами. В старом городе все клубы, некоторые школы, музеи и корпуса университетского города были заняты под заводские цеха. Улицы, дворы и бульвары загромождены разными машинами, кучами ржавых больших и маленьких деталей. Толпы людей возились среди нагромождений, тащили в двери и в проломы стен станки, чугунные станины и части машин. А квартиры в коммунальных общежитиях уплотнялись до отказа, и приезжие инженеры и рабочие вселялись по нескольку человек в одну комнату. Единственная в городе гостиница и Дом крестьянина тоже были забиты людьми; в вестибюлях и коридорах лежали и сидели на своих пожитках женщины и дети с покорными, измученными лицами.

Мы шли с Тихоном Васильевичем, толкаясь плечами, и молчали. Шаги у него были тяжелые, грузные, а я шагал рядом с ним как-то легкомысленно и бойко. Должно быть, в его глазах я был смешным и легковесным. Его молчание утомляло меня, но ему, кажется, доставляло удовольствие. Я не выдержал и несколько вызывающе сказал:

— Мы не гости, и Урал для нас свой дом, однако свалились на вас, как обвал. Кое-что придется поломать у вас, Тихон Васильич, кое-что и заново сделаем...

Он, казалось, остался равнодушным к моим словам — молчал и посапывал. Мне стало еще более тягостно, и я начал злиться: какого черта он сопит, как медведь? Неужели ему безразлично, что переживает страна? Я хотел было сердито спросить его, как же другие рабочие относятся к нашему вторжению в их завод, у которого, несомненно, было много старых традиций, но он вдруг проговорил добродушно:

— Все утрясется, все свое место найдет... и люди друг к другу притрутся... Рушить-то легко, а вот собирать-то каково!..

— У нас — жесткие сроки, Тихон Васильич: через месяц завод должен работать на полный размах.

Он опять долго молчал, потом усмехнулся и крякнул недоверчиво.

— А чего ж? Всяко возможно. Сроками не играют. Насколько можем, и мы поможем...

Такой нудный разговор был и на обратном пути. Он нес мою корзинку и чемодан, а я — постель и какой-то зашитый тюк.

Он обладал удивительной способностью не спать по двое, по трое суток и сохранять обычное свое спокойствие — спокойствие сильного человека. И если ложился в постель, засыпал мгновенно. Его храп и мычание были потрясающи. Но очень часто бывало, особенно в последнее время, что он просыпался через час, через два и выходил из комнаты с разбухшим от сна лицом, но с лукавой свежинкой в глазах. Белки у него всегда были кроваво-красные, но глаза не болели.

В это утро произошла с ним смешная история. Я с наслаждением прикончил свои ватрушки, осмотрел плиту — как бы не выпали угли на пол — и прошел к себе в комнату. И как только увидел свою койку с уютной подушкой, сразу почувствовал, что устал смертельно. Раздеваясь, я забывался, охваченный сном; и стены, и столик, и синие утренние окна теряли свою реальность: все казалось зыбким, все чудилось ненастоящим...

Проснулся я от страшного грохота и рева. В первое мгновение я почему-то был уверен, что нахожусь

в Ленинграде, что немецкие самолеты бомбят город, что фугасы рвутся где-то рядом... В доме и на улице — какая-то суматоха и крики толпы. Но я увидел мирные стены комнаты, рабочий столик рядом с кроватью и успокоился. В дверь ко мне кто-то настойчиво стучал кулаком. Я вскочил с кровати.

— Кто там?

И открыл дверь, но в прихожей никого не было.

— Груня! — беззлобно басил Тихон Васильевич.— Ну, не дури, Груня, — отопри!

Хотя у меня ломило голову и сон сковывал глаза, но я не мог удержаться, чтобы не захохотать.

— Не бунтуй, Тихон Васильич,—успокоил я его.— Покорно ложись спать и дрыхни до прихода Аграфены Захаровны. Ушла, брат, и надежно заперла тебя на замок.

Он разъяренно вздохнул.

— Ну и лиходейка! Тут на завод нужно, понимаешь, а она... Будь верный друг, Николай Прокофьич, — возьми кочергу и сломай эту дурацкую штуковину.

— Не могу, Тихон Васильич. Из любви к тебе и из уважения к Аграфене Захаровне не могу: она строго-настрого запретила мне даже подходить к двери. Хоть я и сочувствую тебе, но в жизни никогда замков не ломал.

— Фу ты, язви тебя!.. Ведь товарища освобождаешь... чуешь? Ломай, говорю тебе!

— Потерпеть придется, Тихон Васильич. Аграфена Захаровна сама выпустит тебя. А пока полезно тебе поспать. И не проси — на шаг не подойду.

Он был сконфужен, бухал пятками по полу и вздыхал.

— Вот стервецы! Сговорились, как тюремщики. Уважал я тебя, Коля, а теперь хорошо знаю, какая тебе цена! Трус ты, и боле ничего. Баба проказы надо мной строит, а ты, знаменитый фрезеровщик, на задних лапках перед ней! Ну, ответь честно: кто тебе дороже — она или я?

— Мне дороже всего, милый мой, верность. Не могу нарушить распорядков в доме моих друзей. Кроме того, вполне разделяю убеждение Аграфены

Захаровны, что тебе надо основательно выспаться. Да и мне не мешай: я тоже нуждаюсь в отдыхе.

И я решительно захлопнул дверь.

5

Проснулся я в час дня. Спал без просыпу, без сновидений. Впрочем, не сам проснулся, а разбудил меня стук в дверь и голос Аграфены Захаровны:

— Да будет вам, Николай Прокофьич, спать-то!.. Вставайте — хорошо поспали.

— Встаю, Аграфена Захаровна. А как Тихон Васильич? Не разнес перегородку?

Аграфена Захаровна засмеялась.

— Удрал на завод... Пришла, а он дрыхнет во все завертки. Сама уж разбудила. Разъярился, как зверь. Гляжу на него, а меня так всю и трясет от смеха. Ну, видит, что меня страхом не возьмешь, давай сам хохотать...

— Какая вы хитрая, Аграфена Захаровна!

— Ну, ну, хитрая... С вами без хитрости ничего не сделаешь. А вы вставайте-ка попроворней. Директор к вам приезжал. Хотела я вас поднять, да не велел: никак, говорит, нельзя, пускай выспится. В час, говорит, заеду. Видать, человек хороший.

Я вскочил с койки и начал торопливо одеваться. Меня охватило беспокойство. Почему именно Павел Павлович сам заехал ко мне на квартиру? Ведь этого раньше никогда не случалось. Значит, что-то важное заставило его завернуть ко мне. Вспомнился вчерашний разговор об Игнаше... Игнаша — Герой Советского Союза... Эта радость не потухала в сердце даже во сне. Но Павел Павлович не сказал всего: он утаил что-то от меня. Он знал меня хорошо и был, очевидно, осторожен со мной. Он отделался от меня шуткой. Я тогда сразу же почувствовал, что он не сказал мне всей правды, но эту остальную правду я относил к подробностям подвига Игнаши. А теперь сердце сдавило предчувствие. Не произошло ли какой-нибудь беды с Лизой? Нет, о ней он говорил бодро и весело

Отцом он тоже восхищался. Уж не погиб ли Лаврик?.. Но на мой вопрос он ответил обычной фразой: «Все в порядке». В чем же дело?

Я включил чайник, подошел к окну и стал прислушиваться, не шумит ли машина. На улице было тихо. Мимо окна проходили тепло закутанные женщины с мешочками, с кошелками, а некоторые тащили за собою салазки. Проехал воз с дровами. Лошаденка — мохнатая от инея, и от нее шел пар. Бородатый старик в заплатанной шубейке шел рядом с нею и держался за оглоблю. Я сел к столу и открыл книгу Гюлле о фрезерных станках, но сейчас же отбросил в сторону. Загудела машина. Я вскочил со стула и бросился к окну. Прогромыхал грузовик с казенной мебелью.

Почему непременно Павел Павлович должен приехать с дурными вестями? А может быть, он хочет поговорить со мной с глазу на глаз о Пете, который переживает тяжелую драму и с которым я близок, как никто. Не исключено и то, что Павел Павлович, может быть, на днях полетит в Ленинград, куда он уже летал один раз, и сейчас хочет поговорить со мной о том, что передать Лизе на словах и какие поручения я мог бы дать. Но эти мысли не успокаивали меня.

Я не заметил, как подъехала машина, как позвонил звонок, услышал только звонкий голос Буеракова в прихожей. Я бросился к двери, распахнул ее и встретил прищуренную улыбку Павла Павловича, он быстро вошел в комнату и, потирая руки, крикнул:

— Ну, и морозец, скажу я вам! Здорово закручивает... с уральским перцем.

Я схватил его за руки и крикнул:

— Почему вы меня не разбудили, Павел Павлыч?

— Ну, вот еще! С какой же стати? Вам нужно было выспаться как следует. Заезжал я на всякий случай.

В глазах его уже не было обычной хитринки. Мне даже показалось, что он немного смущен.

— У вас чайник кипит? Вот стаканчик чайку я выпью с удовольствием.

Он сел к столику, оглядел комнату и вынул из

кармана трубку и резиновый мешочек с табаком. Я заварил чай и приготовил посуду. Буераков не находил слов для разговора и чувствовал себя как будто неловко. А я никак не мог побороть своего волнения и исподтишка наблюдал за ним. Я давно знал его как крепкого хозяина и организатора, который сросся с нашим заводом и отдавал ему всего себя без остатка. Часто он был крут и сурово требователен. Но это был простой, доступный и ясный человек. Он любил веселую шутку, остроумный разговор, и нередко его тонкая насмешка подтягивала людей крепче, чем прямой выговор. Но когда он узнавал, что такой-то рабочий или такой-то инженер испытывает нужду или вышел из строя по болезни, он первый устремлялся к нему на помощь. Был такой случай в нашем цеху: заболел один старый рабочий, и его отправили в больницу. На другой же день Буераков заехал к нему с фуфайкой и валенками, посидел немного у его койки, пошутил, ободрил старика.

Попыхивая трубочкой и озираясь, он по-простецки говорил, как бы желая обрадовать меня:

— Вы, вероятно, и не предполагали, Николай Прокофьич, как далеко стреляете. Наш сосед здорово забеспокоился. Звонят и с других заводов. А мы, не теряя времени, оснастим вашим приспособлением и другие станки. Поруководить вам с Полынцевым придется. Сразу же начнете с своего участка. Вот только режет нас соседний цех. Нужно произвести там небольшой переворот. Новаторством не увлечены. И дисциплина плохая. Попрошу вас возглавить бригаду — навести там порядочек, создать хорошую трудовую атмосферу.

Он нарочно оттягивал время, чтобы приспособиться ко мне и успокоить меня деловыми вопросами. Его деликатность трогала меня. Я поставил перед ним стакан крепкого чаю и сам со своим стаканом сел против него. Мы обменялись улыбками, и я увидел в его прищуренных глазах что-то вроде предостережения и сожаления. Он налил чаю в блюдечко, положил кусочек сахару в рот и с удовольствием стал отхлебывать чай, сдувая густой пар (в комнате было холодно).

— Наши ленинградцы в этом цеху не проявляют никакой инициативы. А начальник цеха, хоть и знающий инженер, — назначен был впопыхах. Но молодежь там очень нетерпеливая и горячая. С ней можно работать, и хорошо работать, нужно только ее организовать, поощрить и включить в соревнование.

Я не выдержал роли гостеприимного хозяина и перебил Буеракова:

— Павел Павлыч, я догадываюсь, в чем дело. Вы навестили меня не для того, чтобы поделиться своими деловыми соображениями, вы хотите сообщить мне что-то особенное...

Он опорожнил блюдце, поставил на него недопитый стакан и пристально поглядел на меня проверяющим взглядом. Потом сунул трубку в рот и стал раскуривать ее, следя глазами за вспыхивающим огнем спички.

— Видите ли, Николай Прокофьич... Мы все сейчас в бою. И сила наша в том, что мы, большевики, никогда не сгибались ни под какими ударами. Наш народ умеет переносить всякие испытания, умеет жертвовать собою, умеет бороться и побеждать. Мы выносливые люди. Я знаю, что вы сильный человек, немножко импульсивный только, но стойкий и упрямый. Поэтому я не думал скрывать от вас правды. Вы, конечно, узнали бы ее не сегодня, так завтра. Но это не меняет дела...

Я нетерпеливо остановил его рукой.

— Предисловие излишне, Павел Павлыч. Вы меня знаете не первый год. Что-нибудь случилось с Лизой? С ребенком?

Он посмотрел на меня и засопел трубкой.

— Нет, с ними все благополучно.

— Но что же тогда?

— Ну вот... заметался человек!

Я овладел собою и стал завертывать папиросу.

— Почему заметался, Павел Павлыч? Вполне понятное нетерпение. Теперь возможны всякие удары. И я готов ко всяким неожиданностям.

— Вот это самое главное, Николай Прокофьич. У Полынцева вон какое большое горе, однако он

по-прежнему работает превосходно. Вот у меня погиб брат, моряк-балтиец, сестра расстреляна с ребятишками в Пушкине... Но, друг мой, это не может выбить из строя. Наоборот, это еще более ожесточает в борьбе.

— Значит, что-то произошло с Игнатом, Павел Павлыч?

— Да... Упал в расположение врага с горящим самолетом.

Я встал и схватился за край стола. Сердце похолодело и замерло. Очевидно, я сильно побледнел, потому что Павел Павлович тоже встал с испуганным лицом и шагнул в мою сторону.

— Не беспокойтесь, Павел Павлыч...

Лицо у него прояснилось.

— Знаете, Николай Прокофьич, по-моему, рано еще хоронить Игната. Упасть вместе с самолетом — это еще не значит погибнуть. Бывало, что летчики возвращались, переходили линию фронта.

Он залпом выпил остатки чаю и выбил пепел из трубки в пепельницу. Я хотел взять пустой его стакан и налить еще, но он положил на него ладонь.

— Не будем утешать себя надеждами, Павел Павлыч. Если бы Игнат и благополучно приземлился, все равно немцы сграбастали бы его моментально. У меня только одна уверенность, что Игнат живым в руки не дастся.

— В этом я не сомневаюсь, Николай Прокофьич. Но подождем, увидим. В вашей семье все удачливые, как любил похвалиться ваш старик.

И Буераков тепло улыбнулся.

— Скажите, Павел Павлыч, когда Игнат получил звание Героя Советского Союза? После гибели или раньше?

— На этих днях. А из строя вышел уже месяца полтора назад. Указ напечатан в газетах. Сегодня-завтра прочтем.

Он положил мне руку на плечо и опять проверил меня с ласковой строгостью.

— Я очень хорошо понимаю... и чувствую, каково у вас на душе, Николай Прокофьич. Но так же от-

лично знаю, что вы не дрогнете... что бы ни случилось.

Меня душили слезы, но я старался держаться спокойно.

— Ах, как бы я отплатил этой фашистской сволочи, если бы был там!.. — выдохнул я, сжимая кулаки, и у меня затряслись губы.

— Мы и так здорово им платим... — сказал он с усмешкой, пряча свою трубку в карман. — Мы скоро так их будем крушить, что всю их технику и их орду превратим в прах. Одним словом, мы в тылу тоже воюем не плохо. Вы знаете, что наш ленинградский завод — в разных местах, и теперь эти части превратились в самостоятельные мощные заводы, как наш. Это что-нибудь да значит.

Он взглянул на часы и заторопился.

— Надо ехать. Одевайтесь!

— А мне-то куда?

— Я соберу начальников цехов и технологов, и мы поговорим по некоторым практическим вопросам.

Я автоматически подчинился ему, но совсем не понял, о чем идет речь. Голос директора казался мне и оглушительным и очень далеким. Отрезвил меня морозный воздух. Снег блестел ослепительно, а небо словно было покрыто инеем. Вместо того чтобы войти с ним в машину, я вежливо и решительно сказал ему, что предпочитаю пойти пешком.

— Ну, как хотите... Впрочем, я сам прошелся бы с удовольствием... но нельзя... ждут.

Машина быстро сорвалась с места, подняв за собой снежную пыль.

Я перешел мостовую и зашагал по бульвару, под пушисто-белыми деревьями.

...Игнаши больше нет, и я его никогда уже не увижу. Может быть, он сгорел вместе с самолетом, а может быть, схвачен немцами и умер от страшных пыток. Наивны надежды на его спасение... Война еще раз тяжело ранила меня, и рана эта не заживет никогда. Душевные раны неисцелимы. Игнаша был как будто второй моей половиной.

Быть может, очередь за Лизой, за Лавриком, за моими стариками... Ленинград сжат лавиной немецких армий. Тысячи орудий и пулеметов бьют в его предместья, тяжелые снаряды разрушают вековые здания. Люди в домах и на улицах падают, пораженные осколками... Бежит Лиза по тротуару, истощенная голодом и холодом, с работы или на работу. Со свистом летит снаряд и взрывается где-то недалеко... Взмахнув руками, она падает навзничь...

Я вздрагиваю и со стоном сжимаю кулаки. Туда, туда мне нужно, а не корпеть здесь, в цехе, за тысячи верст, в безопасности!.. Туда, где под бомбами и снарядами бежит по улице или стоит за станком моя Лиза, где мой Лаврик по-детски бесстрашно катает саночки на дворе, а к нему с ревом несется снаряд тяжелого орудия... Я должен быть там, чтобы защитить их, иначе родные, бесконечно близкие мне существа будут вырваны у меня, как вырван Игнаша... Я должен защищать их во что бы то ни стало или погибнуть вместе с ними... В Ленинград, немедленно в Ленинград!..

6

Партийный комитет занимал несколько комнат в первом этаже заводоуправления. В коридоре толкались какие-то люди, кто-то здоровался со мною, и я, не зная, кто это, отвечал на приветствия. Техничка Оля, краснощекая девица с раскосмаченными волосами, как обычно с радостью протянула мне руку. Я попросил ее предупредить Седова, что пришел к нему для личного разговора и прошу его обязательно принять меня.

— А он сам сказал, что ежели вы придете, сейчас же зашли бы к нему. Вот выйдет от него человек, и проходите.

Она быстро встала, схватила пачку каких-то бумаг и выбежала из комнаты.

Значит, Седов тоже знает о гибели Игнаши, если ждет меня... Он знал, конечно, и вчера, но тоже щадил меня, как и директор. Тем лучше, легче будет

разговаривать... Он ждал меня — знал, что я приду к нему и открою перед ним свою душу. Как старый мой товарищ и друг, он не может не понять меня...

Я остановился перед картой европейской части Союза. Вот он, красный кружок Ленинграда! В замкнутом кольце! И в этом кольце погиб Игнаша. А я — здесь, в дебрях Уральского хребта, куда не прорвется ни один вражеский самолет, куда письма Лизы идут три недели. Здесь я делаю оружие и самолеты, которые уничтожают фашистов. Да, делаю... но сам ими не пользуюсь и силы своих ударов не вижу, не ощущаю. Не вижу, как разрываются моими снарядами грязные тела убийц, как горят их танки...

Из кабинета вышел высокий красполицый человек в черной коже, а за ним в дверях показался, провожая его, Седов. Он приветственно махнул мне рукой и, как мне показалось, поглядел на меня с тревожным вниманием.

— Заходи, заходи, Николай!

Он взял меня под руку, и мы вошли в его комнату. Я сел в кресло, а он — на свое место за столом.

Мы помолчали некоторое время. Он посмотрел на меня в ожидании, потом повернулся ко мне боком и застыл в задумчивости. Впервые я увидел по его опухшим векам и по глубокой складке на лбу, что он очень утомился. Его цыганская голова — смуглое лицо, энергичный нос, черные горячие глаза, густые и кудрявые волосы — очень мне нравилась: в ней была большая сила, крепкая воля и убежденность. Темно-синяя суконная рубаха с широким отложным воротничком делала его привлекательно-простым и близким. Я знал его еще комсомольцем, мы вместе учились на рабфаке, вместе занимались спортом, вместе ездили на охоту. Правда, он потом поступил в Институт машиностроения, и мы несколько лет не виделись, но он опять пришел к нам на завод — вторым секретарем парткома. Тогда он был проще, задушевнее, и втроем — Петя, он и я — мы часто сходились у меня на квартире и проводили вечера в горячих разговорах. Лиза была тогда еще студенткой и мечтала стать астро-физиком. Не раз она таскала нас с собою в Пулково, и мы

смотрели там в телескоп на Луну, на Сатурн, на Марс. Мы перезнакомились со всеми астрономами — и знаменитыми стариками, и молодыми учеными, «зверски талантливыми парнями», как о них говорила Лиза. Она с блеском в глазах развивала нам увлекательные гипотезы о происхождении солнечной системы, о туманностях, о большой вселенной... Петя впадал в уморительный экстаз и декламировал, протягивая к ней руки:

Пред нами тайны обнажатся,
Возблещут дальние миры...

Это были чудесные дни нашей молодости. А теперь Седов уже не встречался с нами в интимном кругу. Впрочем, и нам с Петей не часто приходится быть вместе в домашней обстановке: некогда. Мне кажется, что Алеша Седов несет в себе какую-то огромную тяжесть. Когда он спит? В цехах можно встретить его и днем и ночью. За день он успевает провести работу и в парткоме, и в цехах, и побывать в городе — в обкоме, в горкоме, — и обойти весь завод.

Он опять повернулся ко мне и опять посмотрел на меня в ожидании.

— Погиб Игнат, Алексей Михайлыч...

Он тихо и как бы сам себе ответил:

— Я знаю... знаю и глубоко тебе сочувствую, Николай. Я очень любил Игната.

Сильно волнуясь, я вскочил с кресла и прошелся по комнате.

— Я боевой солдат, Алексей. Как танкист я дрался с белофиннами, и дрался не плохо. Ты это хорошо знаешь. Мне необходимо заступить место Игната. Оставаться в цеху, когда враг душит Ленинград, когда он топчет нашу страну, я не могу... не в силах... не имею права! Я еду на фронт, Алексей...

Седов слушал спокойно и терпеливо, и я видел, что, если бы я говорил целый час, он не выразил бы никакого желания перебить меня. Руки мои дрожали, когда я закуривал папиросу.

— Ты кончил? — спросил он, взглянув на меня исподлобья.

— Кончил.

— Видишь ли, в чем дело, Николай... — И он откинулся на спинку стула. — Ты прав. Я это очень хорошо понимаю и чувствую. Ты садись, не волнуйся. Давай поговорим спокойно.

Он вынул из стола коробку папирос и, не глядя на меня, зажег спичку. Закурил он тогда, когда спичка уже догорала.

— Видишь ли, в чем дело. Я думаю, что нас послали сюда не для отдыха и не для того, чтобы сохранить наши жизни. Отправляясь в глубокий тыл, мы передвигались на передовые позиции. И ты воюешь здесь не хуже любого летчика или танкиста.

— Это — не то, Алексей. У меня душа горит, а ты рассуждаешь... слишком умозрительно...

Он продожал, не слушая меня:

— Правительство знало, кого надо было призвать на фронт и кого послать подпирать и вооружать армию. И уход с трудовых позиций, с передовой линии оборонных предприятий, хотя бы в самый ураганный огонь на полях сражений — это такое же дезертирство, как и бегство из окопов. На поле боя ты послал бы врагу один снаряд, и грохот орудия дал бы тебе удовлетворение как мстителю. Я понимаю это. Но, кроме этого непосредственного переживания, у нас, большевиков, должно быть еще сознание, что поражение врага обеспечивается оружием и техникой. Твои семнадцать важнейших деталей вместо одной увеличивают выпуск оружия во много раз. Что же выгоднее для фронта? Неужели ты под влиянием душевного потрясения утратил силу этого сознания?

Он умолк и пристально посмотрел на меня. В его глазах появилась грустная теплота и недоумение. Несомненно, я огорчил его: он не ожидал от меня такого безрассудства. Он заворошил свои курчавые волосы и усмехнулся.

— Не хитри передо мной, мой друг. Я знаю, почему ты бунтуешь. Там — Лиза, там — сынишка. Гибнет Игнат. Немцы бомбят и обстреливают город. Страх потерять близких людей! Вот откуда буря в душе. Так?

— И так, и не так.

— Это именно так, а не иначе, Николай. Я не обвиняю тебя, не упрекаю ни в чем. Повторяю, что психологически — это вполне естественно и законно. Даже неизбежно. Но это — только порыв, импульс. А мы государственные люди.

Лицо мое горело. Я слабел под проницательным взглядом Седова. Но он тоже волновался. Этого волнения никто бы не мог заметить у него, кроме меня: за долгие годы дружбы я привык чувствовать его душевное состояние по неуловимым для других признакам. Он встал, взял другую папиросу и закурил от первой.

— Ты как-то говорил, Николай, что в нашем рабочем классе за годы пятилеток образовалась плотная прослойка культурных рабочих. Это — передовики, люди с широким кругозором. Многие из них, не отрываясь от производства, получили высшее образование. Одним словом, это — настоящая интеллигенция. В дни войны они показали себя в промышленности как сила решающая. Кто теперь создает новую технологию? Они — с инженерами. Откуда пошло движение тысячников? От них. Станки посредством различных приспособлений делаются универсальными, превращаются в полуавтоматы, и на них без всякого труда могут работать даже неквалифицированные рабочие и подростки. Время уплотнилось в сотни раз. Это было бы чудом лет десять назад. Но теперь — это закономерное движение. Надеюсь, что ты и сам относишь себя к передовому слою этой интеллигенции.

Он опять замолчал и смотрел на меня, ожидая ответа. Я тоже встал, и мы улыбнулись друг другу. Он подошел ко мне и протянул руки. Я схватил их и горячо пожал.

— Так что же, Николай? Значит, продолжаем попрежнему сражаться на наших позициях?

— Да, будем работать, Алеша, — драться, не щадя сил.

Он засмеялся, укоризненно покрутил головой и пошутил:

— Ну и горячка же ты чертова, Колька! Необузданный, как раньше...

Он прошел со мною до самой двери и сказал растроганно:

— Когда будешь писать Лизе, передай мой дружеский привет. И не забудь изобразить ей и этот наш драматический эпизод.

А о жене своей он не сказал ни слова. Ведь она, как и Лиза, тоже осталась в Ленинграде.

7

Немцев гонят и в хвост и в гриву, громят их танки, истребляют отборные дивизии. Тысячи орудий и машин, тысячи трупов усеивают снежные поля к югу и к западу от Москвы. Толпы пленных вереницами плетутся по дорогам в тыл наших войск. А наши бойцы, наши танки рвутся вперед, охватывают клещами отступающих фашистов, давят и истребляют их на своем пути. «Наступление продолжается...» Чудесные, полные весеннего ликования слова! Если бы я писал стихи, я создал бы гимн нашей армии, но я рядовой, неопытный в литературе человек и в своих записях выражаю свои мысли и чувства, как умею.

Я плохо сплю, но чувствую себя свежо и легко, как юноша. Все время, даже в дремоте, я чувствую порывы сделать что-то большое, ошеломляющее. Хочется сейчас же послать вдогонку разбойникам какую-нибудь невиданную торпеду, которая, как метеор, прорезала бы небо огненным хвостом.

В цехах идут митинги. Люди дают обязательства — увеличить выработку оружия в два, в три раза. Лица у всех взволнованные, решительные, глаза горят. Я тоже выступил и сказал только несколько слов:

— Друзья! Красная Армия громит немцев. Я обещаю в ближайшее время применить новое приспособление для изготовления одной важнейшей и трудной детали, увеличив выпуск ее во много раз. Значит, и боевых машин двинем на фронт в несколько раз больше.

Я верил в себя и был убежден, что это, пока несуществующее, приспособление уже близко к осуществлению. В тот миг я знал одно: то, что я обещал, будет сделано. У меня было острое предчувствие новой борьбы и новых побед.

Трое молодых рабочих с улыбкой поглядывали на меня и переговаривались между собою так, чтобы я слышал:

— Ну, раз Шаронов обещал, значит сделает.

— Чего там обещал... у него уже все сделано. Ему приспособить только... Слова у него — не шелуха: у него что ни слово — то ядрышко.

— О какой он детали говорил, интересно?

Один из них, Зиновий Чертаков, коротконогий и большеголовый парень, хороший фрезеровщик, подмигнул мне и уверенно сказал:

— Да тут и голову ломать нечего: одна нас деталь заедает... Самое узенькое наше место... Все жилы из меня вытянула, окаянная...

И он назвал деталь, обработка которой съедает массу дорогого времени. Чертаков давно уже жаловался на свои неудачи: он пробовал ввести кое-какие усовершенствования и добился двойной выработки, но это не удовлетворяло его. Действительно, эта деталь была очень трудоемка по конфигурации. Я думал о ней и раньше, но она не проходила через мои руки.

Я сделал вид, что ничего не слышал из их разговора, и задумчиво крутил папиросу. Но я так взволновался, что у меня дрожали руки, и я никак не мог сладить с бумажкой, которая рвалась в пальцах. Бывают дни, когда вдруг ощущаешь, что перед тобою — нечто вроде пустоты, потому что работаешь уже без задержки, автоматически. Душу охватывает беспокойство, и твое создание, которым ты раньше жил и отдавал ему все помыслы, стареет, становится обыденным. Оно уже — *не твое*, отпочковалось от тебя, и ты опять остался на голом месте. И опять начинаются муки поисков, тоска по новой, еще более напряженной борьбе. Такое томление я переживал и сейчас.

Я работал на двух станках — работал механически, без одушевления: своим приспособлением я осна-

стил еще один станок — станок моей подручной Шуры, молодой девушки с темно-русыми волосами до плеч. Ей было только семнадцать лет, а по развитой фигуре она казалась двадцатилетней. Но лицо ее было наивное, как у подростка, и всегда изумленное. Она была очень переимчива: ей не надо было повторять наставлений — она все воспринимала с первого раза и никогда не ошибалась. Моим приспособлением она стала пользоваться сразу без всякой робости. И я понял, что она незаметно для меня наблюдала и изучала его в часы моей работы.

В ее отношении ко мне были кой-какие странности. Когда я встречался с нею взглядами, она или краснела и прятала лицо, или пристально смотрела на меня умоляющими глазами. В эти секунды глаза ее широко раскрывались и блестели.

Как-то я спросил ее:

— Что с вами, Шура? Мне кажется, что вы хотите что-то сказать мне, но не решаетесь.

— Нет, ничего, Николай Прокофьич, — торопливо и робко ответила она. — Если бы что нужно было, я спросила бы...

Со мной она никогда не разговаривала, но я часто ловил на себе ее пристальный, задумчивый взгляд. Она смущалась и сердито отворачивалась. Но с другими рабочими она говорила бойко, словоохотливо, и ее смех звенел задорно и весело. Я решил, что она за что-то обижается на меня, но на мой вопрос она ответила с изумлением:

— Я... обижаюсь? На вас? Это было бы глупо, Николай Прокофьич...

А то вдруг ни с того ни с сего подойдет ко мне и застынет в нерешительном порыве сказать что-то важное, что мучает ее давно.

— Ну, говорите, Шура, — скажешь ей ласково и даже шагнешь ей навстречу, но она точно просыпалась и молча уходила обратно.

Потом эти странные выходки стали раздражать меня, и я приходил к мысли, что она нервно больна. Как-то я справился об этом у одной ее подруги — Тамары Звековой, маленькой, по-деловому серьезной

блондинки (обе они по окончании семилетки в первые же дни войны стали донорами, а потом вместе же пошли ученицами на завод). Тамара с удивлением посмотрела на меня и отрицательно покачала головой.

— Нервы у нее здоровее, чем у нас с вами.

— Чем же объяснить эти странности?

Она усмехнулась и загадочно сквозь зубы ответила:

— Как мало вы знаете нас, девушек!..

Однажды я почувствовал, что Шура стоит около меня, за спиной. Я обернулся и встретил робкую улыбку.

— Николай Прокофьич, посмотрите, так ли я сделала...

— Ну, ну, покажите, что вы сделали.

— Ко мне пойдемте. Я там кое-что изменила посвоему...

Она показала мне кой-какие изменения в моем приспособлении — изменения мелкие, незначительные, но это было усовершенствование, которое еще больше сокращало время обработки деталей. Я похвалил ее. Она закрылась ладонями и засмеялась.

— В конце смены у вас будет аншлаг, Шура. Поздравляю!

Она с ужасом в глазах запротестовала:

— Но это же не я, а вы...

— Как это — я? Разве это не ваша работа?

— Но, Николай Прокофьич, важно не то, что по мелочи делается потом, а то, что сделано впервые. Это — не от меня, а от вас... Лучше вас никого нет в цехе.

— А ну-ка, Шура, — проворчал я, — больше мне не говорите таких вещей!

— Но ведь это же — правда, Николай Прокофьич. Это все знают... О вас все так говорят.

— Это вы так говорите, а не все. Я, как и другие, не прыгаю выше головы. Я не изобретаю, не выдумываю нового, а использую старое в других комбинациях.

К моему удивлению, она смело и решительно крикнула:

— Нет, Николай Прокофьич, не то... все у нас обыкновенные и понятные, а вы — необыкновенный.

— Какие глупости, Шура! Необыкновенный, непонятный... Это смешно!

— Да, да!

Я отошел от нее.

Этот странный разговор произошел дня три спустя после известия о гибели Игнаши, и я чувствовал себя тягостно. А вечером пришли ко мне мои друзья.

Ядро нашего цеха — ленинградцы. Нас — человек полтораста. Это в большинстве мои ровесники. Все они вместе со мною пришли на завод. Мы по-родственному близки друг другу. Но самые горячие мои друзья — трое.

Вот Вася — высокий поджарый парень с серебристыми глазами, которые пристально смотрят на людей с веселым ожиданием. Соревнуется он со мною играючи, весело и ликует не только от своих побед, но и от моих нововведений.

Вот Митя — маленький, застенчивый, молчаливый человек. С виду он кажется мрачным пессимистом, но это добряк, с душою нежной и мечтательной. Он чудесно играет на гитаре и готов с ней проводить все часы отдыха.

А вот Яков — белобрысый, без бровей, с виду увалень, всегда как будто всем и всеми недовольный, у станка работает с злым удовольствием, постоянно разговаривает с вещами и инструментами, как с живыми существами.

Вечерами, через каждую неделю, они обычно собираются у меня, и мы идем или во Дворец культуры — в кино, в читальню, на концерт, или прогуляться по бульвару. На этот раз Вася влетел ко мне один.

— Какая оказия, понимаешь! — еще от двери заговорил он. — Встречаю у проходной нашего главинжа, рву перед ним кепку, а он молча берет ее у меня своей длинной рукой и стоит как колокольня. Я растерялся, не знаю, как держать себя. А он тихонечко говорит: «Я подержу вашу кепочку: она у вас, вероятно, попрыгунья—на голове не держится».—«Что вы, говорю, Владимир Евгеньич! Я стащил ее, чтобы приветствовать вас». — «Но ведь она прыгает у вас с головы сегодня уже не первый раз. И я уж не пойму, говорит,

не то она боится меня, не то резвится от моего вида». — «Это, говорю, происходит от живости моего характера, Владимир Евгеньич». — «Ну, говорит, теперь я буду знать, что и кепка есть зеркало души».

Вася с веселым ожиданием посмотрел на меня и сам же первый засмеялся. Я улыбнулся с натугой, чтобы не обидеть его. Он с недоумением покачал головой.

— Не вышло, гм...

— Ты не в ударе, Вася, — хмуро сказал я, — твой анекдот не удался.

— Ну, что же... Тогда угощай чаем. А может, есть кое-что и покрепче?..

Лампочка у меня в двадцать пять свечей, электричество горит до шести, потом перерыв до одиннадцати — часы пик. Вася норовит приходить часов в пять, зная, что за час до выключения света мы можем вскипятить чайник.

Он живет в одной комнате с Митей и Яковом — в квартире какого-то местного профессора. Называют они своего хозяина Кощеем за его худобу, сутулость и неуживчивость.

Говорить мне не хотелось, и приходу Васи я не обрадовался.

Вася подошел ко мне и положил руку на мое плечо.

— Ничего, ничего, Коля! Нам нельзя впадать в уныние. Разве мало всюду личных потерь? Меня иногда тоже хватает за сердце, а я не желаю поддаваться. Черта с два! Чем и как я могу освободить свою семью из Пскова? Только вот этими руками... и вот этим огнем...

И он стукнул ладонью по своей груди.

— А разве я чем-нибудь выразил свою слабость, Вася? Кажется, силы у меня достаточно, чтобы распоряжаться собою.

— Знаю, знаю, Коля. Дай бог всякому переносить так твердо свое горе, как переносишь ты. Но передо мной-то тебе таиться нечего. Можно молчать или говорить о чем угодно, а сердце не спрячешь.

Чайник закипел, позвякивая крышкой. Я вынул штепсель, заварил чай, включил плиточку и поставил на нее заваренный чай. Вася, как бы вспомнив о

чем-то, торопливо вышел из комнаты, но сейчас же возвратился и подмигнул мне издали. С блуждающей улыбкой ступая на носки, он торжественно поставил на стол бутылочку водки.

— Вот-с, Коля! Против всяких ожогов и сердечной ломоты весьма помогает.

Он взял с этажерочки на стене два лиловых стаканчика, кусок хлеба и несколько картофелин.

— Замечательно! — восхитился он. — Какая догадливая женщина Аграфена Захаровна!

С хрустом раздавил он сургуч о край стола и ударил донышком бутылки о ладонь. Пробка отлетела куда-то в угол.

— Эх, Коля! Вспомним наши мальчишники в Ленинграде... За молодость, Коленька... за вечную, как говорится, юность!..

Мы чокнулись и опрокинули стаканчики в рот. Закусили. Вася наполнил стаканчики вторично.

— А теперь пьем за твою Лизу... за хорошую женщину, которую ты, Николай-чудотворец, должен немедленно вызвать сюда. Завтра же посылай молнию!

Я проглотил свою водку, с грохотом отодвинул стул и схватил Васю за плечо. Он спокойно усмехнулся и удовлетворенно закивал головой.

— Сядь на свое место, Коля! Я и так хорошо чувствую твою душу, мой друг. Лучше выпьем за жар души.

Я уже приятно захмелел, и тоска растаяла в сердце. У Васи блестели глаза и горели щеки. Словоохотливый, он сейчас говорил с особым возбуждением.

— Бунтуешь ты, мой дорогой... Черт с тобой, бунтуй, гори, пылай... только не гложи самого себя. Талант этого не любит... понимаешь? Ты думаешь, не известно, как ты штурмовал Седова? Известно. Я хорошо понимаю тебя, но не давай повода к кривотолкам, потому что каждый твой шаг на виду. Ты должен быть — во! Стальная колонна!.. Молнируй Лизе!..

Позвонили. Я вышел в прихожую, но Аграфена Захаровна уже впускала Якова и Митю. Они, как

обычно, разделись скромно и застенчиво, а потом уже за руку поздоровались с Аграфеной Захаровной.

— Василий-то здесь? — почему-то шепотом спросил меня Яков и ладонью старательно пригладил волосы. — Он, окаянный, улизнул, а тут наш Кощей закуролесил...

Митя молчал, как будто то, что сказал Яков, совсем его не касалось. В дрязгах с квартирным хозяином он держался совершенно невозмутимо, как глухой, а когда тот наскакивал на него, он участливо предлагал:

— Может быть, вам нужно холодной водицы?..

Началась у них эта перепалка с первого же дня вселения их в комнату. Профессор никак не мог примириться с тем, что у него отняли кабинет и стеснили его в трех комнатах. Но он уже совсем стал невменяем, когда райисполком отнял у него еще одну комнату, куда вселился инженер одного из эвакуированных предприятий с женой и маленькой девочкой. Профессору было лет пятьдесят, но он недавно женился на студентке своего института, кокетливой девице, которая все время напевала песенки и жизнерадостно стучала каблучками по комнатам. На кухне жила домработница, крупная женщина, очень горластая, но добрая сердцем. Она, не стесняясь, покрикивала и на своего хозяина:

— Будет вам, Сергей Сергеич. Как это можно в вашем звании!.. Не по своей же воле сюда приехали. Война: потерпеть маленько надо...

— Ты молчи! — орал он на нее. — Не твое дело. У тебя здесь нет никакого голоса...

— Я правду люблю, — огрызалась она, — а правда везде голос имеет. И прямо говорю: нехорошо.

Ребята прошли в комнату, а я — в кухню, к Аграфене Захаровне. Она хлопотала у плиты.

— Где же Тихон-то Васильич? Совсем ему не нужно пропадать на заводе не в свое время.

— А вы бы вот доказали ему, Николай Прокофьич: я для него — не указ. Вот жду: на огне все держу. А чую, не придет сегодня, однако.

— Ну, раз его нет, пойдемте вы к нам, погостюйте у нас немного.

Но она легонько толкнула меня к двери.

Ребята сидели плечом к плечу и пили чай. Бутылка была уже пуста. Митя безучастно молчал, а Яков рассказывал что-то и посмеивался.

— Слушай-ка, Коля, — крикнул мне Вася, — вот тебе свежий анекдот! Недавно наш Кощей заявил нам и соседям, чтобы мы не смели больше пользоваться его ванной. Колонки своей он жечь не позволит. Сказал и сделал. Позвал слесаря, вывинтил смеситель и забил втулку в дыру. С тем, как говорится, до свиданья: мойтесь на здоровье!

Митя задумчиво пил чай. Он улыбнулся, отвечая на свои мысли, и только заметил равнодушно:

— Тактика у него разработана вполне научно, — не возразишь.

Вася лукаво подмигнул мне, засмеялся, крутнув головой.

А Яков с веселой злостью подхватил:

— Тактика уж на что научнее! Начал он нам электричество гасить: ткнет перышком в штепсель — чик! — и тьма. А сам от аккумулятора лампочку себе зажигает. Тут уж я не выдержал, когда он каждый день стал этот номер зажаривать. Подхожу к двери и дипломатически говорю: «По моим, говорю, расчетам, профессор, вы расплавили в штепселе девять перышков: они у меня хранятся, я их коллекционирую, чтобы отправить прокурору». Не житье, а комическая опера. Мы ему устроили пантомиму под занавес. Сняли железные трубы с колонки и унесли к себе в комнату. Финал: сам профессор остался без горячей ванны.

— Вы веселые ребята, — неодобрительно отозвался я. — Но это — озорство.

Вася делал какие-то знаки и Якову и Мите и посмеивался, а Митя взял пустую бутылку, обследовал ее и грустно закачал головой. В ответ на мои слова Яков вошел в раж:

— А как прикажешь поступить с культурным хулиганом? Война, видишь ли, потревожила его —

лишила удобств и покоя. Пришлось потесниться — дать уголок людям, приехавшим сюда не за сладким житьем. Мерзавец хотел мать с ребенком поморозить в очередях у бани, а мы нашли смеситель, и под нашей охраной они вымылись. Я не знаю, за какую ты добродетель, Коля, а мы — за такое озорство. Конечно, выкупались и мы. А после этого вывинтили свой смеситель и опять сняли трубы.

— Какой талант воспитателя пропадает! — скорбно воскликнул Вася и схватился за голову. — Наркомпрос, где ты?

Митя закрыл глаза и запел, покачиваясь из стороны в сторону:

И кто его знает,
Чего он моргает...

Ему с охотой, многозначительно улыбаясь, завторил Вася, но потом сразу же оборвал себя и с восхищением крикнул:

— Ты, Яша, мудрец. Правильно! Мы даем наглядный урок культуры.

— Эх, как ты мелодично выражаешься, Вася! — поразился Митя и звонко щелкнул по бутылке. — А водочку-то все-таки успели с дядей Колей выпить... Вот это — наглядный урок.

Все засмеялись. А Митя скромно вынул из кармана брюк такую же бутылку, выбил пробку и налил себе в стаканчик. В этот момент потухло электричество. Все испуганно ахнули. Я зажег спичку и засветил моргасик.

— Кто же это опростал мой стаканчик-то? — с негодованием и обидой спросил Митя.

Яков с застенчивой улыбкой нежно успокоил его:

— Высохло, Митя, — улетучилось. Чему ты удивляешься? Спирт — это дух. В словаре справлялся.

— Ты и во тьме видишь, где этот дух витает, — с угрозой отозвался Митя и налил себе половину чайного стакана.

Опять посмеялись.

А я был очень растроган: эти ребята, мои сердечные друзья, и пришли-то ко мне сейчас для того,

чтобы развлечь меня — отвлечь от мрачных мыслей. Может быть, они даже раньше меня пронюхали о катастрофе с Игнатом и оберегали меня до поры до времени. Они и теперь ни словом не обмолвились о моем несчастье, как будто никакой беды и не случилось. Мне было смешно смотреть на их неуклюжие и старательные потуги вовлечь меня в круг своих бытовых приключений и поднять мое настроение дружеской рюмкой водки. А достать эти две бутылки стоило им, вероятно, немалых трудов.

Мы выпили еще по стаканчику, а Митя незаметно принес из прихожей гитару и тихо запел:

Из страны, страны далекой,
От Невы, родной, широкой,
Ради славного труда-а...
Ради доблести высокой
Собралися мы сюда-а...

Мы пели долго, одну песню за другой — пели задушевно, тихо, взволнованно, обнявшись друг с другом.

8

В девять часов я пошел проводить их. Издалека, с площади, волнами плыла к нам песня. Пел какой-то большой хороший хор. Передача из Москвы. Зарево над заводом вздрагивало от ярких вспышек, а низкие облака трепетали тусклыми молниями. Откуда-то доносился смутный и глухой гул. Вася с Яковом шли позади и весело спорили о преимуществах летающих супортов.

— Ты лучше расскажи, Яша, какие тебе секреты открывают инструменты, когда ты с ними разговариваешь.

— Это у меня руки разговаривают, а слова только в ясность приводят. Это — как песня, знаешь... Прокричаться надо, всего себя настроить. Без разговора со станком у меня дело не клеится.

Разливно пронеслась хоровая песня. Мы с Митей посмотрели на туманное сияние зарева, прислушиваясь и провожая улетающий напев.

— Эх, друзья мои! — крикнул я, не сдерживая своих чувств. — Пройдут года, десятилетия... Может быть, мы будем уже в могиле, а может быть — дряхлыми стариками... Жизнь после этих кровавых лет расцветет невиданной красотой. И новые люди, наши дети и внуки, будут вспоминать о нас как о героях. Они не будут знать о наших житейских мелочах, об эгоизме, о низких страстишках... Но наши страдания и радости, победы и поражения, успехи и неудачи они вспомнят! Про нас тогда будут говорить: это были богатыри, они боролись за свободу и счастье и несли свет миру. Нам будут подражать и учиться стойкости и упорству в борьбе...

— Во веки веков, аминь!.. — проникновенно закончил Вася.

Все засмеялись. На душе было хорошо — легко и радостно.

По дороге мы зашли на почту, и я послал молнию Лизе. А когда проходили мимо Дворца культуры, Вася решительно направился к парадной двери, ярко освещенной двумя сильными фонарями. На широкой площадке толпилась молодежь. Дверь поминутно открывалась, и наружу вырывался густой пар и кудрявым облачком улетал вверх. Когда дверь распахивалась, слышались приглушенные звуки музыки.

— На полчасика, ребята!.. — крикнул Вася, требовательно приглашая нас рукой.

— Мне в десять в оркестре выступать: значит, не на полчасика, — грустно заявил Митя, — а в час на завод. Впрочем, музыка для меня лучше сна: настраиваюсь, как струна.

Мы вошли в огромный вестибюль, залитый светом. Он был пустой, только у прилавков раздевальни стояло несколько человек. Музыка в репродукторе, усиленная эхом, ревела оглушительно. Очевидно, публика танцевала в фойе второго этажа. Вася и Митя сбросили с себя пальто и медленно пошли к лестнице, причесываясь на ходу и оглядываясь на нас с Яковом. Митя не расставался с своей гитарой. Яков хмуро пробормотал, когда мы присоединились к ним:

— Вот еще плясуны!.. Охота же дрыгать ногами. Не пойти ли нам, Коля, на бильярде сразиться?

— Яша! — вознегодовал Вася. — Коллектива не разлагать! Мы с тобой еще русского разделаем...

На стенах вестибюля висело несколько старых афиш, и на одной из них я увидел свою фамилию. Недавно я тряхнул стариной: прочел лекцию о самоотверженности русской женщины. Готовился я с удовольствием: здесь же, в библиотеке, перечитывал классиков, делал выписки и здесь же начерно писал и тезисы. Хотя эта лекция прошла как будто удачно, но дальнейших попыток я не предпринимал: это удовольствие тяжело отразилось на моем отдыхе.

По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж. Огромный зал фойе кипел народом. Танцевала большая группа парней и девушек, молча, старательно, с серьезными лицами. Пары двигались по кругу, ритмично шаркая подошвами и притопывая каблуками. В репродукторе ревел духовой оркестр. Девчата, завитые, принаряженные, припудренные, кружились вместе с парнями, переплетались руками, делали какие-то сложные фигуры, расходились, опять сходились, менялись местами.

Мимо, в паре с сухощавым командиром-танкистом, прошла Шура. За ней другая пара: Тамара Звекова с летчиком, высоким парнем с дерзким лицом, который говорил ей что-то на ухо и смеялся, но она смотрела вперед, строго сдвинув брови. Шура увидела меня и густо покраснела. Через несколько минут она вместе с Тамарой подошла к нам и растерянно поздоровалась со всеми. Тамара требовательно протянула руки к Васе, приказала:

— Продолжаем дальше!

Вася весело подхватил ее, и они утонули в толпе танцующих. Шура осталась со мною и смущенно молчала.

— Почему же вы бросили танцевать, Шура?

Она взволнованно теребила платочек.

— А я увидела вас, и мне стало совестно.

— Почему же совестно?

— Мне почудилось даже, что вы прикрикнули на меня: люди на фронте... кровь льется... а ты танцуешь!

— Пляшут и на передовых позициях, Шура. Что же тут дурного?

— Мне нравится танцевать, Николай Прокофьич... А вот танцуешь, и все время сердце ноет. Все как будто забывают о войне... Все как будто заняты своими интересами.

— А как же иначе, Шура? Люди не унывают: и трудятся и веселятся. Зачем же мучить себя мрачными мыслями? Танцуйте себе на здоровье!

Музыка замолкла, и круг танцующих начал рассыпаться. Все заговорили, засмеялись и стали разбредаться по залу. Но Вася выбежал на середину фойе и, подняв руки, крикнул:

— Товарищи, русскую!..

Многие громко подхватили его крик и ринулись к нему. Все знали Васю как виртуоза русской пляски.

— Пошире, ребята! Раздайся! Приготовьтесь, друзья: вызываю на соревнование.

Толпа шумела, смеялась, пятилась назад, но задние напирали на передних. Девчата взвизгивали, парни притворно стонали. Кто-то уже нетерпеливо отбивал каблуками рассыпчатую дробь.

Тамара подхватила под руку Шуру и почему-то сердито посмотрела на меня.

— Пошли, Шурка! Без тебя дело не обойдется. Вам, товарищ Шаронов, придется или с ней, или со мной показать свое искусство.

— Не пляшу, девочки, а погляжу с удовольствием.

Шура робко и вопросительно взглянула на меня, как будто оправдываясь: уж извините, мол, и не осуждайте, а поплясать мне очень хочется...

Баяны заиграли знакомые русские переборы. Митя толкнул меня в плечо и показал гитарой на толпу.

— А ну-ка, Коля, проберемся к Васе.

— Легко сказать... Не протолкаешься...

— Пошли! Слово знаю.

— А где Яков?

— Как где? Орудует с Васей. Когда же это русская без Яши обходилась?

Митя уверенно пошагал впереди меня и, перебирая пальцами струны гитары, повелительно крикнул:

— Дорогу мастерам самодеятельности!

И действительно, толпа расступилась перед нами, и Митя прошел уверенно, продолжая перебирать пальцами струны гитары. Его, очевидно, хорошо знала молодежь: он часто выступал на вечерах самодеятельного искусства. Ему даже похлопали и крикнули «браво».

В середине круг был небольшой, и я сразу почувствовал духоту и тепло сдавленных тел. Всюду блестели глаза в нетерпеливом ожидании. Вася стоял в центре круга и манил кого-то и улыбкой, и глазами, и движениями в такт музыке, и постукиваниями каблуков. Вдруг он вздрогнул, ударил ладонями по коленкам и сделал отчетливую дробь каблуками и подошвами.

— Ну, выходи, девушки!

Но никто из девушек не вышел, хотя видно было, что каждой хотелось выскользнуть в круг и так же отчаянно ударить каблуками. Неожиданно Вася схватил за руку Шуру и рванул ее к себе.

— Раздайся, товарищи! Еще пошире! Свободу русскому размаху!

Шура стояла покорная, смущенная, с опущенными руками, готовая делать все, что потребует Вася. Он заложил руки за спину и, отбивая такт, обошел вокруг нее, подзадоривая ее смехом в глазах. Потом хлопнул в ладоши, ударил себя по груди, по бедрам, наклонился, попятился и стал руками манить Шуру. Она вдруг стала серьезной, озабоченной, сложила руки высоко на груди и поплыла назад, отбивая ногой каждый свой шаг. Потом выхватила платок, взмахнула им над головой и стала крутиться вихрем, наступая на Васю, сердито отгоняя его платочком. Я с удовольствием смотрел на нее и удивлялся: откуда у нее, такой молоденькой, этакая заразительная игра, гордая стать, страстные порывы? Вася старался наступать на нее, изворачивался, пытался схватить ее

своими ловкими руками, пугал ее дробным топотом, прыжками вверх и присядкой, а она, уверенная, сильная, почти суровая, ускользала от него и, закинув голову, смотрела на него широко открытыми, блестящими глазами, — звала, отталкивала, горячила его. Черт возьми, эта буря здоровой силы и удали заражала меня: у меня дрожало тело, тряслись все поджилки, как говорится, и я невольно перебирал ногами, улыбался, подбадривал криками, сам готов был броситься в круг и очертя голову завертеться и лихо заработать ногами. И я видел, что вся эта толпа испытывала то же самое, что и я: у всех горели глаза, шевелились и руки и ноги, каждый покрикивал, тяжело дышал и ничего не чувствовал, кроме этой захватывающей пляски.

Тамара не выдержала, вскрикнула, подхватила Митю с его гитарой и, закрыв глаза, пошла легкой поступью, точно поплыла по воздуху. Митя, подняв гитару над головой, начал отбивать каблуками замысловатый узор. Вышли еще две пары. Круг сам собою раздался, толпа отхлынула, и началась массовая пляска.

9

Однажды вечером пришел ко мне на квартиру Петя с низкорослым, коренастым молодым инженером. Лицо его, широкое, скуластое, с мутными глазами, было неподвижно как маска.

— Вот познакомься, Николай Прокофьич: Евграф Семеныч Брякин. Это технолог того цеха, куда направляют твою бригаду на прорыв. Он желает с тобой побеседовать.

Брякин молча сел на стул, который он отставил от стола на середину комнаты, и стал осматриваться отчужденно и равнодушно.

Он углубился в завертывание папиросы, и я видел, что не я, а он ждет от меня деловых вопросов. Петя делал вид, что не намерен вмешиваться в нашу беседу: перебирал книжки на моем письменном столике, перелистывал страницы, пробегал глазами по

строчкам и нетерпеливо бросал взгляды на нас обоих.

— Может быть, чаем вас угостить, товарищи? — предложил я, обращаясь больше к Брякину, чем к Пете.

— Я не имею свободного времени, — сказал Брякин, уткнув глаза в папиросу. — Через полчаса я должен быть на совещании.

— Тогда я — к вашим услугам.

Петя встал, подхватил чайник с подоконника и вышел из комнаты. В кухне у него сейчас же завязалась беседа с Аграфеной Захаровной, как видно более интересная, чем у нас с Брякиным.

Брякин сначала зажег спичку, прикурил, потом поглядел на нее, опять поднес к папиросе, брезгливо усмехнулся и, когда спичка вся сгорела, бросил ее под ноги.

— Мне предложено всячески содействовать вам в моем цеху и создать все условия для работы вашей бригады.

— Но я думаю, что это — ваша обязанность, товарищ Брякин. Без благоприятных условий работать нельзя.

— Какие же это условия? — спросил он с недоброй усмешкой, не глядя на меня.

— Да разве вы первый день в цеху, Евграф Семеныч? Ну, прежде всего обеспечить быстрейшее выполнение всяких требований бригады, заставить работать оперативно подсобные мастерские. Не мне вам об этом говорить. Я могу советоваться с вами, просить вашего содействия в решении технологических вопросов, но в мои действия без особой нужды никто не имеет права вмешиваться — ни вы, ни начальник цеха, ни даже главинж.

— Вот как?

— Да. Привычка, знаете.

— А если эта привычка противоречит цеховому распорядку? Если она бьет по трудовой дисциплине?

— Я думаю, наоборот. У нас в цеху, как вы знаете, образцовый распорядок, трудовая дисциплина превосходна, да и с Петром Иванычем мы живем

в тесной дружбе. В моих рационализаторских делах — большая доля его участия.

Брякин сделал ехидную гримасу.

— Однако Петр Иваныч Полынцев — в стороне, а вас прославляют на весь Союз. Любопытная странность: рабочий, будь он семи пядей во лбу, без технолога и конструктора не в состоянии шагу шагнуть. Но рабочий — это герой, а технолог — только гужевая лошадь.

— Петр Иваныч в полной мере пользуется своим правом консультанта. Он предпочитает светить своим собственным, а не отраженным светом. Карьеризм и кастовость ему чужды.

— При чем тут карьеризм и кастовость? — возразил Брякин, утопая в дыму. — Я говорю о надлежащем месте в цеху и рабочего и инженера. Я целиком отвечаю за всю технологию, за всякие ее изменения в процессе работы и за все предложения и проекты. Технологу принадлежит последнее слово.

Я предупредительно спросил его:

— То есть, иначе говоря, вы претендуете поставить свою марку на не принадлежащих вам технических нововведениях? Но кто же вам мешает быть автором новых усовершенствований?

Он сгорбился и глухо засмеялся.

— Центральная фигура и решающая сила производства.

Я уже ненавидел его как озлобленного завистника и самовлюбленного неудачника. Но я вежливо задал ему несколько вопросов о положении в его цехе. Он отвечал с натугой, посматривая на папиросу и угрюмо усмехаясь.

— Вот придете — сами увидите. Рассказывать не буду, а жаловаться — не в моем характере.

Он мрачно осмотрел мой рабочий столик и показал желтые зубы.

— Книги... бумаги... Значит, есть время для упражнений ума...

— А вы разве не читаете?

— В часы отдыха предпочитаю игру в шахматы или в преферанс.

— Как можно, Евграф Семеныч! Есть множество вопросов, на которые хочется получить мудрые ответы.

— Я обязан быть исполнителем, а не критиком.

Я засмеялся.

— Вы цельный человек, Евграф Семеныч.

Он встал и приятельски хлопнул меня по плечу.

— Водки нет?

— Водки нет.

— Хе! Вот и выходи тут с вами за пределы узкой специальности. Вы вот ко мне загляните. Патефон. Пластинки — убийственные! Жена насчет этого у меня чувствительная. Она неравнодушна к романсам, а я — больше к Цфасману.

— По-вашему, выходит, что и джаз тоже не подлежит критике?

— А как же? Раз мне дано и без меня решено — не суйся!

Он поворошил свои волосы, потом ощупал все карманы и пробормотал:

— Ну-с, я пошел. Пейте свой чай с Полынцевым и философствуйте. У него тоже... ум за разум заходит.

Он на ходу сдавил мне пальцы, толкнул дверь и скрылся за нею.

Я не провожал его. В прихожей он промычал что-то на вопрос Пети и глухо засмеялся.

Петя вошел с заваренным чаем и кипятком.

— Что это ты, Коля, с моим коллегой-то сделал? — с иронической строгостью спросил он. — Чем ты окрылил его?

— Наоборот, он должен был уйти от меня злым и обиженным. Зачем ты все-таки притащил ко мне этого монстра?

— Как зачем? Он очень хотел с тобой познакомиться. Работать-то тебе с ним придется?

— Слушай, да он же глубочайший невежда!

— Почему невежда? В своей области он очень опытный и знающий инженер. Он на высоком счету.

Я не принимал участия в хозяйственных хлопотах Пети и продолжал сидеть, опираясь спиною на край стола.

— Ведь он же ограниченный педант, Петька. У него одно убеждение: всё — дано, всё — решено, не суйся!

Петя и тут ошарашил меня неожиданным заключением:

— Не прав ты, Николай, и в этом случае. Он влюблен в технологию и хватается за всякие усовершенствования. Но, как жадный хозяин, он все хочет пропустить через свои руки, всякую мелочь изучить лично. Поработаешь с ним — увидишь. А теперь давай чай пить.

— Нет, это же фрукт! Нас с тобой он считает людьми, у которых ум за разум заходит. Все, что за пределами его специальности, для него не существует. Литературы не знает и не желает знать, искусство для него — это джаз и фокстрот.

Петя поглядел на меня с удивлением.

— Чего ты кипятишься? Ведь у многих наших специалистов кругозор очень ограничен. Читают мало, да и то — легкую, развлекательную литературу. Большая нагрузка. Единственная отдушина — шумный вечерок с патефоном.

— Но ведь ты-то не такой?

— И меня готовили к узкой специальности. Учебный план почти не давал нам времени для самостоятельного чтения. А ведь широкое образование достигается именно таким путем. Во втузе такая же перегрузка. Кто не имел страсти к чтению и не был любознателен, тот оставался в пределах учебных дисциплин. Я читал и развивался трудно, и страсть моя производила опустошение в моем учебном хозяйстве: зачеты проходили у меня не совсем благополучно. Но я считаю, что правительство правильно поступило:. нам нужно было готовить быстро и много специалистов — специалистов узких, но крепко подкованных. А разве наши рабочие высокой квалификации не проходили такой же школы? Без математики, без знания механики, физики, машиноведения, без заочных курсов разве можно

представить сейчас передового рабочего? Только эти рабочие и способны создавать новую технологию и производить перевороты в методах труда.

Он налил себе в блюдечко горячего чаю и с наслаждением стал глотать его, сдувая пар. Так выпил он два блюдечка, не говоря ни слова. Он очень любил пить чай вместе со мною: сам готовил его и обязательно приносил с собою или печенье, или белую булочку из столовой.

Он обследовал мой рабочий столик и, усмехаясь, подмигнул мне понимающе.

— А что это у тебя там за груда бумаги? Не диссертацию ли пишешь?

Я смутился и хмуро ответил:

— Исповедь пишу.

— Что-о? Какую исповедь? Милый друг, ты неисправимый поэт.

Лицо его стало ласковым и грустно-мечтательным. С ним бывало это только у меня, да и то редко. Обычно эта минута ласкового света в его глазах наступала тогда, когда мы говорили о литературе, о любимых писателях, о милых сердцу героях и переходили к личным переживаниям и воспоминаниям юности.

— А знаешь, Коля, я завидую тебе. Мне кажется, что у человека с поэтической душой бывают мгновения, когда открываются ему такие радости, которые для меня, например, совершенно неведомы. Есть в поэзии какой-то незримый свет, который нельзя передать словами. А этот свет озаряет жизнь и личность поэта особой красотой. Может быть, это излучение внутреннего света — какой-то своеобразный инстинкт. Вот ты пишешь исповедь, какую-то поэму своей души, а я не пишу и не буду писать: у меня нет такого инстинкта. Но как бы мне хотелось испытать это внутреннее озарение!

— Но ведь мы оба — поэты в душе, Петя. Ты напрасно приписываешь мне инстинкт художника. Это — исповедь... Ну, если хочешь, отчет в своих действиях и своих связях с людьми — отчет перед

совестью о том, как оправдал я себя в эти великие дни борьбы.

Он положил руку на мое плечо и с горячим порывом крикнул:

— Прежние мы, Коля, пламенные, романтические головы — прежние, но иные... Мы стали умнее, мы накопили опыт стариков. Мы сохранили на всю жизнь святое недовольство, — помнишь, у Некрасова:

То недовольство, при котором нет
Ни самообольщенья, ни застоя,
С которым и на склоне наших лет
Постыдно мы не убежим из строя...

Петя умел трогать сердце. Такие минуты были редки в нашей жизни, полной труда и напряжения, но эти минуты были незабываемы. Хорошо было сидеть вдвоем в моей маленькой комнатке в тишине, за стаканом чаю и чувствовать душевную близость друг друга!

С детских лет мы были связаны братской любовью, и связь эта не только не нарушилась нашей женитьбой, но стала богаче и крепче. У нас были одинаковые мысли, одинаковые вкусы, но характеры были разные. Он относился к людям снисходительно, с беззлобной насмешечкой и был убежден, что их слабости, грубость, дурные привычки оттого, что они не ведают, что творят. А я не выносил ни грубости, ни ругани, ни пьянства, ни бесчестного отношения к труду, ни лжи, ни обмана, ни бездушия и бесился, неистовствовал, озлоблялся и приходил в ярость. И, когда он видел меня в таком состоянии, он и ко мне относился мягко и снисходительно, с иронической искоркой в глазах. Я за это злился на него, но он добродушно шутил:

— Благородный рыцарь! Ты нетерпелив, а посему и несправедлив.

В этот вечер он был настроен беспокойно.

— Да, без романтики, Коля, наша жизнь немыслима. То, что любишь, чем живешь, о чем мечтаешь — то поет в душе как поэма. А мечтать можно только о новом, и борьба самоотверженная возможна

только за новое. Но есть и другая борьба... страшная, но бесплодная: борьба с собой... борьба с призраками.

Морщина страдания прорезала его лоб, брови его приподнялись над переносьем.

— Вероятно, я все-таки сильный человек, если до сих пор не сошел еще с ума...

— Петя!..

Мне хотелось сказать ему какие-то большие и яркие слова, чтобы в глазах его заиграла радость, но слов таких у меня не было.

— Петя! Ты знаешь, как ты мне дорог. Ты знаешь также, что никто так больно не переживает твоих страданий, как я. Но, родной мой, ты не смеешь и не имеешь права подвергать себя пытке. Ты борец прежде всего, и этого не забывай никогда.

— Знаю... все знаю! — Он поморщился. — Зачем ты мне это говоришь?..

— А может быть, я и себе это говорю...

Я закурил папиросу и заходил по комнате. А Петя налил себе горячего чаю и стал отпивать его частыми глотками.

— Брата Игнаши нет — погиб, — говорил я, волнуясь, — и я холодею от мысли, что он мог погибнуть страшной смертью. Вот и Лиза... Она правдивый человек, но всей правды не пишет. Смерть может сразить ее каждую минуту. Снаряд, бомба, мороз и голод — все, что угодно. У Павла Павлыча погиб брат и расстреляна сестра с детьми. Надо крепко сцепить зубы — пусть они все раскрошатся, черт возьми, но мы, не шатаясь, будем делать свое дело — бороться, не щадя сил. И еще не надо нам забывать, Петя, что не кто иной, а мы с тобой обязаны будем строить новую жизнь.

Он отодвинул от себя пустой стакан и закрыл глаза.

— Видеть человека... любимого, родного... лишенным ума... это ужасно. Я прихожу к ней, зову ее, целую ее, а она смотрит на меня и не видит... Какое-то страшное равнодушие... ко всему... И все время

шепотом говорит: «Верочка здесь... Они прячут ее от меня... Почему они меня не пускают?..» Можно все перенести, только не это, Коля... И я часто срываюсь и бегу в заводоуправление... На фронт! В самое пекло!.. Но перед дверью директора силы оставляют меня. Я обсуждаю деловые вопросы, шучу, выступаю на совещаниях, работаю в цеху, и никто не видит, что делается у меня в душе... никто!

— Я знаю, что делается у тебя в душе, Петя, — горячо возразил я. — Но я знаю также, что ты не способен на малодушие. И еще хорошо знаю, Петя, что Наташа будет здорова.

— Что? Откуда у тебя такая уверенность?.. — с изумлением рванулся он ко мне. От волнения он даже встал и дрожащими руками заворошил волосы, и я увидел, что он страстно хотел мне верить, что он сам лелеял эту мечту.

— Да, Петя, Наташа будет здорова. Это пройдет. Скоро она опять будет с тобою. Я говорил с врачами...

Я лгал: я не говорил с врачами. Я лгал и не испытывал угрызения совести от этого обмана. Он молча пожал мне руку и глубоко вздохнул.

— Я... тоже говорил с врачами. Они тоже ободряли меня... Мне казалось, что они обманывают. Но теперь я... я верю, Коля, верю... Тебе почему-то больше верю, чем всем врачам.

Я пошел проводить его. Мы шли под руку, и нам было хорошо чувствовать нашу близость в этом снежном полумраке. Небо было черное, в россыпи звезд. Мороз пощипывал щеки и уши, и под ногами вкусно поскрипывал сухой снег. Над заводом дрожало мутное зарево.

Когда я возвращался домой по бульвару, меня схватила за плечо чья-то цепкая рука. Я испуганно обернулся и увидел перед собою высокого человека в военной шинели и в шапке-ушанке. Лицо у него было сухое и длинное. Освещенное заревом, оно показалось мне пьяным. Да и горбатый нос, тонкий и острый, как-то нахально нацеливался на меня.

— Вы фрезеровщик Шаронов,— обличил он меня хриплым баритоном, и мне послышалась в нем издевательская насмешка. — Знатный фрезеровщик, который дает до двадцати норм и угрожает давать еще больше.

Я отступил назад и хотел обойти его, но он засмеялся и загородил мне дорогу.

— Вы Шаронов. Ведь я не ошибся? Свидетельствую мое почтение!

Он кривлялся и жеманничал. Ясно было, что он задирал меня.

— Что вам угодно? — с негодованием крикнул я.— Проходите своей дорогой!

— Нет, зачем же? Я видел вас только издали, а сейчас хочу вплотную рассмотреть ваше лицо. Я хочу его запомнить.

— Оставьте меня в покое! Стыдно пьянствовать в эти дни...

— Ну, во-от! — опять засмеялся он, и его смех похож был на икоту. — Человек хочет выразить всесоюзной знаменитости свое восхищение, а эта знаменитость брыкается.

— Кто вы такой? — запальчиво крикнул я. — И какое вам дело до Шаронова?

— Кто я такой — это вам не интересно знать. А что касается моего любопытства,— я просто питаю слабость к людям, овеянным славой.

Он говорил с шутовским подмигиванием и пьяной усмешкой. Губы его извивались судорожно и ядовито. Он смеялся, но лицо его было нахально-злое. Что-то в нем чувствовалось чужое, враждебное. Я решил испытать его.

— Хорошо. Я тоже хочу знать, с кем я имею дело. Пойдемте со мной — проверим ваши документы.

Он заикал, манерно приложил руку к шапке и жеманно протянул:

— О нет! Я не люблю официальных приемов. Честь имею... До скорого свидания!..

И, повернувшись, пошел от меня к площади разболтанными шагами.

10

В отстающий цех я пришел утром на следующий день. В нем работали главным образом местные рабочие. Ленинградцев было человек десять. Ленинградцы встретили меня приветливо, как родного. Это были люди седовласые, темнолицые, с усталыми глазами. Все они долгие годы работали вместе с моим стариком. Они обступили меня тесной группой и, пожимая мою руку, смотрели на меня с улыбкой в глазах.

— Ну как, Шаронов? Что пишет Прокофий Ильич?.. Как он прыгает? Эх, лихой был старик!..

— А тебя — с успехом, Шаронов!.. Высоко держишь честь ленинградцев.

— Ну, а нам тут гордиться нечем. Через пень-колоду... Гляди, грязища какая.

Я укоризненно покачал головой и недовольно проворчал:

— А вы-то, ленинградцы, чего глядели?

Они хмуро смотрели в сторону. Один из них, с широким костистым лицом, исполосованным крупными морщинами, с прилипшими к вискам мокрыми волосами, зло поглядел на товарищей, отмахнулся от них и хрипло крикнул:

— До смерти не люблю этой фальшивости, товарищи. Не стесняясь говорю... Мы с вами пока звезд с неба не хватали — в меру честно и добросовестно работали, а Шаронов свою технологию создает и выгоняет по двадцать норм. Правильно говорит Шаронов. Что мы с вами сделали? Ничего, кроме шептанья по углам да насмешечек.

— А ты-то, Хоботьев, не насмешничал, скажешь? — ехидно поддел его кто-то.

— И я насмешничал, прямо говорю. Вместо того чтобы самим подняться на дыбы и в бой ринуться, мы ждали... жда-али!.. (Он ядовито передразнил кого-то.) Ждали, чтобы к нам с поклоном пришли: снизойдите, мол, ленинградцы, — вызволяйте машину из болота!

— Да брось, Хоботьев!.. Зачем зря канитель разводишь... Так ли это было-то?

— А как же? — зло посмеиваясь и мигая, спросил Хоботьев. — Расскажите, как было иначе... Нечего, товарищи, замазывать. Ежели бы иначе было, Шаронова не прислали бы. Давайте-ка лучше прекратим этот разговор. И верно: повыше бы засучить рукава...

И Хоботьев с негодованием пошел на свое место. Рабочие смущенно по одному расходились к своим станкам.

Я пошагал вдоль цеха, чтобы ознакомиться с общим состоянием этой огромной «коробки». С первого же взгляда я понял, что в цехе нехорошо. Даже в мутном и сыром воздухе было что-то гнетущее. Под ногами валялись кучи сора — стружек, болванок, обрезков металла, и к валенкам прилипала густая слякоть. Почему-то парни и девчата расхаживали по проходам, некоторые станки стояли пустые. Из-за токарного станка на меня с испуганным удовольствием смотрел белобрысый парень и, улыбаясь, манил веселыми глазами. Этих хороших юношей я привык узнавать сразу: в их облике, в глазах, в движениях дышит любовь к своей работе, любопытство к ней и неугасимый интерес к тому, что он делает. Станок у него был опрятный, стол чистый, пол подметен.

— Ну, как работается? — спросил я, улыбаясь ему дружелюбно.

— Да как сказать, товарищ Шаронов. У вас — рекорды, а у нас — грязные морды.

— Ну, уж и морды. К чему это?.. По вас я этого, например, не вижу. Давайте познакомимся...

— Баранов — моя фамилия. Незабывчивая. Работаю два года, а кажется, что только вчера стал у станка: норму не выполняю.

— Почему? Станок у вас в порядке, да и вы как будто работаете хорошо.

— Станок-то в порядке, только порядки — не в порядке. Вот сейчас закончу вчерашнее задание и пойду за заделом и за резцами. Проболтаюсь минут сорок, а то и больше. Вот вам и отсекли хвост норме. А потом, товарищ Шаронов, сами посудите, как тут

работать, ежели инициатива вязнет? Я работаю вот на этой штучке...

Он остановил станок, вынул блестящий червяк, покрутил его в руках и подал мне. Работа была превосходная и очень сложная. Такую работу на токарном станке можно было производить очень осторожно и очень медленно. Нужно было, не отрываясь ни на минуту, следить за резцом и управлять станком чутко и четко. Эта красивая вещица похожа на игрушку, а без нее машина не двинется с места. Выяснилось, что Баранов обрабатывает за смену две-три штуки, а по норме нужно было изготовлять не меньше пяти. Что толку в моих тысячных нормах, когда эта игрушка торчит передо мною непреоборимым барьером? Мои детали лежат кучами перед этим ничтожным червяком: он убивает их и превращает в мертвую груду металла. Я стоял перед Барановым и молчал. А Баранов все улыбался, смотрел на меня с надеждой, и я видел, что он верил в мою силу.

— У нас никто еще порядком не освоил эту штуковину. Без ножа режет, проклятая. Не поверите, глаз не смыкаю... душа изболелась.

Ребят из моей бригады я не видел нигде: вероятно, они ждали меня в конторке. Я прошел в другую часть цеха и вдруг заметил Якова, который стоял за станком, рядом с румяной и щекастой девушкой, и что-то показывал ей. Около него стояли трое парней и внимательно следили за его руками. Он раза два повернул какой-то рычаг, и девушка вскрикнула изумленно:

— Как здорово! А мы-то возились да пыхтели.

Парни оживленно переговаривались и смеялись.

Яков увидел меня и поманил рукой.

— Чем это ты, Яша, молодежь-то удивляешь?

— Да вот... — с брезгливой гримасой ответил он, кивая на станок. — Стержни обкатывают... Разве при наших темпах допустимо обдирать их? Тут другое надо: вставить болт и повернуть раз-другой. Чего проще!.. У нас в цеху давно уж применяют.

Он вышел из-за станка и подошел ко мне, не обращая внимания на ребят.

— Да вы хоть скажите, как вас зовут-то! — весело

крикнула девушка. — Я ваш портрет здесь вывешу на витрине.

Он сдвинул кепку на затылок и помахал рукой.

— Сам, дорогая, буду здесь своей персоной. Можете каждый день любоваться на мою личность. Привет и любовь!

Все засмеялись.

— Базар, а не цех, — сердито заругался Яков. — Видал, какая бестолочь, Николай Прокофьич? Заделов нет — за заделами сами путешествуют, инструментов нет — тащат у соседей или бегут на склад. А там — как на трамвайной остановке.

— А где же наши ребята, Яша?

— Наверху, у начальника цеха. Совещание какое-то хочет провести. Все начальство там. Пойдем туда, что ли?

— Нет, Яша, я здесь останусь, а ты пройди туда и заяви, что сейчас надо к работе приступать, а не совещаться. Покажите там свой характер с Васей.

Он решительно и сердито направился к средним дверям.

Везде было одно и то же: грязь, хлам, толкучка, простой станков. Как странно! Наш цех был рядом, через дорогу, там бурлила горячая молодость, прибоем била мятежная мысль, шла напряженная борьба, а здесь — тишина задворков, захолустье. Рядом идет бой, решительное наступление, дерутся другие цехи, плечом к плечу идут вместе с нами и тысячи рабочих старого завода, где Тихон Васильевич борется, как старый ветеран за первое место на передовой линии. О нем уже говорят в области как о новаторе-сталеваре, и он не уступит первенства в борьбе. Начиналось движение тысячников: из единиц образуются отряды. Они объединяются в фронтовые бригады и устраивают какие-то трудовые кроссы. Почему же здесь такое сонное царство?

Я повернул назад и пошел между станками. Ко мне начали сбегаться парнишки и девчата. Они окружили меня со всех сторон и с любопытством смотрели на меня, как на диковинного человека. Я остановился и с улыбкой оглядел их.

— Что же это вы, ребята? Зачем бросили свои станки? Где же у вас дисциплина-то? Увидели нового человека и сразу бросились к нему, как к фокуснику или танцору. Разве так работают?

Я говорил строго, но не мог побороть улыбки: очень уж заразительно играла в них веселая жизнь.

— Товарищ Шаронов, вы у нас будете? — настойчиво спрашивала меня кудлатая девочка, хватая меня за руку, а ее голосок покрыли сразу несколько голосов:

— Вы нас, товарищ Шаронов, учить будете? Да? Вот это будет здорово!..

— Ну, идите, ребята, по своим местам. Я приду к вам, и вы мне покажете, как вы работаете.

Они заволновались, и было видно, что каждому из них хотелось стать ближе ко мне. Мне казалось, что я слышу, как у них бьются сердца.

— Вы обязательно приходите, товарищ Шаронов... Не забудьте, я Маслякина Люба. Мы будем ждать вас каждый день...

— Я Оля Буравина... Мы непременно организуем фронтовую бригаду.

Я заметил, что торопливо иду обратно, и понял, что иду к Баранову. И в этот же миг я услышал звяканье металла, рокот моторов и крики рабочих. В своем цехе я обычно не замечал этого металлического говора машин, их запаха и особой дрожи воздуха, свойственной заводу. Привычка к обстановке делает нас глухими к движению и шуму: многолюдная жизнь цеха и прибойный гул машин становятся родной средой. С ней сливаешься органически и не ощущаешь ее, как не ощущаешь воздуха, которым дышишь. А здесь, в этом цехе, было что-то нездоровое.

Наперерез мне, по боковому проходу, толпой шли руководители цеха и ребята из нашей бригады. Впереди шагал Брякин с застывшим лицом и злыми глазами.

— Гордый вы какой! — пожимая мне руку, равнодушно сказал он. — Мы его ждем у начальника цеха, а он здесь разгуливает.

Я вежливо и холодно возразил:

— Без знакомства с цехом не считаю возможным дискуссировать.

Полный человек с мясистым лицом, с испуганными глазами, в короткой шубейке и заячьей ушанке, пожал мне руку. Он оторопело озирался, точно боялся идти дальше, и мне почудилось, что он сейчас же юркнет в толпу и улизнет. Он был здешний работник, но я давно знал его. На совещаниях у директора и на заводских конференциях его постоянно «продирали с песком» и грозили снять с работы, если он не выправит цеха. А он всегда отвечал с залихватским простодушием:

— Что я могу сказать, товарищи? Плохо работаем. Верно. Оправдываться не буду. Примем все зависящие меры.

Но, очевидно, «всех зависящих мер» не принимал, и цех оставался в прорыве. У него и имя было какое-то неблагополучное: Небытов Никодим Фомич.

— Ну что ж, — сказал он с одышкой, — глаз у вас наметанный: увидеть нетрудно... Оправдываться не будем... Ругайте, ругайте...

Он показался мне забавным, и я засмеялся.

— Зачем же раньше времени ругать-то, Никодим Фомич? Ругать бесполезно, работать надо. Разрешите нам разделиться по участкам и приступить к делу.

Он весь затрепетал от радости, раскинул руки и взвизгнул:

— Пож-жалуйста, голубчик!.. Ради бога!.. Действуйте в свое удовольствие!.. Ежели какие-нибудь там требования или распоряжения, вот вам — товарищ Брякин, вот вам — старший мастер... вот вам... ну, да вы сами знакомьтесь со всеми.

Брякин молчал и смотрел в даль цеха. Старший мастер, насупленный старик, с седыми клочками бровей, с давно небритой щетиной на лице, стоял безучастно.

Никодим Фомич засуетился, как будто вспомнил о каком-то неотложном деле.

— Ну, действуйте, товарищи... А меня освободите: дела, дела!..

И он торопливо зашагал обратно.

Брякин искоса проводил его озлобленными глазами и показал крупные зубы.

— Видали такого симпатичного дядю? — спросил он с угрюмым равнодушием. — Бегемот на заячьих ногах.

— А что ж, дядя действительно симпатичный. Большой добряк... предоставляет свободу действий.

Брякин засмеялся беззвучно, встряхивая плечами, точно я сказал какую-то уморительную нелепость.

— Я согласился бы работать с телеграфным столбом, только не с этим симпатичным дядей. Он с энтузиазмом соглашается во всем и со всеми, но, как сом в омуте, — близко, а не поймаешь. Говорят, что он знающий инженер, с огромным опытом. Загадочная картинка: где в Небытове Небитов? Нигде! Ни одного места нет небитого. А ничего — сидит и в ус не дует. Да на его месте, если бы я увидел вашу бригаду, я подох бы от стыда.

«Ну, ты тоже не так уж симпатичен и остроумен», — подумал я.

Старший мастер безучастно и угрюмо смотрел в сторону и молчал. Вероятно, он думал то же самое, что и я. Но он не возбуждал во мне никакого интереса.

Яша вздохнул завистливо и пояснил:

— Вольное житьишко, ничего не скажешь. Существование задумчивое...

Все засмеялись, не смеялся только сам Яша да старший мастер.

Мы разделили цех на несколько участков и разошлись по местам. Вместе с Брякиным и мастером я прошел в склад. По дороге нам попадались токари и фрезеровщики, которые тащили заделы. Среди них встретился и Баранов. Он улыбнулся мне во весь рот и крикнул:

— Вот, товарищ Шаронов, — любуйтесь на рысаков в гужевом транспорте! Норму буду выполнять завтра. Работаем по методу тысячи одной ночи...

Я строго обратился к мастеру:

— Надо немедленно поставить подсобных рабочих.

Старик угрюмо ответил с глухой хрипотцой:

— Не полагается. Кто будет в ответе?

Брякин ткнул меня в бок и злобно сказал:

— Вот сейчас в складе и сделаем распоряжение.

А мастер упрямо повторил:

— Не полагается. Без Никодима Фомича не пройдет.

В складе была толчея. Рабочие, мешая друг другу, искали нужные им инструменты, рылись на полках, в ящиках и ругались самыми забористыми словами. Заведующий, в шубе, в лохматой шапке, надвинутой на глаза, сидел за столиком и сосал кручонку, не обращая ни на кого внимания. На нас он даже не взглянул.

Брякин подошел к нему и строго спросил:

— Почему у вас до сих пор такой кавардак? Ведь приказано все инструменты рассортировать и выдавать комплектом по письменному требованию.

Заведующий сонно оглядел его, нахлобучил шапку еще глубже и ничего не ответил. Угрюмый мастер устало сел к столику и протянул руку к коробке с табаком. Заведующий неторопливо взял ее и спрятал в карман.

Я успокоил Брякина.

— После обеденного перерыва мы придем сюда всей бригадой и все приведем в порядок.

Брякин злобно запротестовал:

— Это — позор и безобразие! Что же о нас будут говорить на заводе, если уборкой в складе займется бригада из другого цеха? Терпеть я этого не хочу: я буду просить перевода.

Заведующий поднял на меня мутные глаза, снял шапку, пригладил облезлую голову и крякнул. Вдруг глаза его прояснились, вспыхнули изумлением, хитренько заиграли, и он с неожиданной живостью вскочил со стула.

— Товарищ Шаронов! Ведь вот не думали, не гадали... Нет худа без добра. Чую, и нам пришел черед перестраиваться. Извините, не сплетня, не наговоры, но в порядке самокритики: хозяев много, а житье убого. Даю слово, товарищ Шаронов, завтра склад будет работать, как аптека. Не беспокойтесь и себя не

утруждайте: ваше дело оперативное. А вы, Евграф Семеныч, не волнуйтесь. Ежели все будем так волноваться, в головешки обратимся.

Некоторые рабочие повернулись к нам и стали прислушиваться. Лицо у Брякина стало серым.

— Вот полюбуйтесь, Николай Прокофьич, на этих симпатичных дядей. — У него затряслись плечи от его странно молчаливого хохота. — Хозяев много, а житье убого... Каково!.. Да вы гнилушки, а не головешки.

Мастер по-прежнему был угрюм и безучастен.

— Совершенно с вами согласен, Евграф Семеныч! — с радостной готовностью согласился заведующий. — Разве ж я не за движение воды? Тысячу раз за...

Мне он понравился, и я — не знаю почему — поверил в его обещание. Прощаясь с ним, я подбодрил его:

— Раз вы захотели, значит — сделаете.

11

В первые дни пришлось заняться организационной работой: заставить людей немедленно привести в образцовый порядок рабочие места, держать инструменты под рукой, помогать настраивать станки. Цеховому мастеру стало, очевидно, совестно, или он освежился от того порыва ветра, который мы принесли с собою: он оживился, летал по цеху, как молодой. Моя бригада встревожила всех, заразила бодростью и весельем.

Когда я ломал голову над тем, как бы переключить деталь Баранова на фрезерование, меня вдруг поразила внезапная мысль. Неподалеку от Баранова стоял маленький фрезерный станок, который был, вероятно, забыт всеми. Я подошел к нему и в волнении стал обследовать его со всех сторон. Понял я одно: этот станочек можно сделать своеобразным сложным приспособлением. Деталь Баранова подчиняла себе и станок и человека: для того чтобы выточить ряд винтовых нарезов, нужно было все силы направить на одну

какую-то микроскопическую точку в данную секунду, нужно было стальной цилиндрик непрерывно направлять по намеченной линии. Говоря техническим языком, нужно было линию с большим углом наклона резать с такой же осторожностью, с таким же напряжением внимания, каких требует ручная работа. Не удивительно, что токарь мог приготовить за смену не больше трех таких червяков. Для меня было ясно одно: надо добиться, чтобы вращался или стол вместе с деталью, или — мотор с резцами. И в моем воображении живо представился богомол, которого я однажды наблюдал на юге: это жуткое насекомое хватает кузнечика своими передними огромными ногами с шипами на ляжках и начинает быстро пожирать его, ловко двигая головогрудью; и эта страшная работа прожорливого чудовища произвела на меня незабываемое впечатление. Это движение головогруди было как будто движением мотора, очень четким, точным и изящным. И вот, обследуя этот станочек, я пришел к мысли, что один из его моторчиков можно так приспособить, что не деталь, а он будет двигаться по детали.

Я разыскал Брякина, молча взял его под руку и подвел к станку.

— Вот, Евграф Семеныч, находка: деталь Баранова режет ваш цех катастрофически. Да не только ваш цех — весь завод подавился этим червяком. Давайте снимем эту вещицу с токарного и перенесем на фрезерный.

— Ну, и что же из этого выйдет? — хмуро спросил он.

Я доверчиво и дружески стал развивать ему свои соображения насчет реконструкции станка: нужно перевернуть один из моторчиков, нужно заставить его двигаться вместе с фрезерами, нужно изменить кой-какие мелочи и т. д. Тогда, мол, вместо двух-трех червяков можно выпустить за смену до двадцати штук. Он подошел к станку и задумался. Не оборачиваясь ко мне, он затряс плечами от немого хохота.

— Что же тут смешного, Евграф Семеныч?

Он быстро повернулся ко мне и, засунув руки в карманы, оскалил свои желтые крупные зубы.

— А мне нравится, ей-богу... Озорной вы человек. Вы думаете, я не приметил, как вы колдовали над этой машинкой?.. Хорошо! Вы требовали свободы действий, — ну и действуйте.

— Нет уж, извините, Евграф Семеныч! Как раз вы-то мне сейчас и нужны. Если вы одобряете мою мысль, то будьте-ка добры произвести некое разложение чисел... Без вас я ничего не могу сделать.

— Ох, хитрец какой! Дипломат!

Этот неожиданный выпад смутил меня. Он был злопамятен и обидчив, а обидчивые люди — мстительны. Они неизобретательны и ненаходчивы, нежизнерадостны и неспособны к игре и задору. Они недоверчивы и лишены юмора. С Брякиным нужно было завязать дружеские отношения, поэтому я сделал вид, что сам обиделся.

— Что вы, Евграф Семеныч? Шуток, что ли, вы не понимаете? С какой же стати я стал бы оскорблять человека, которого вижу в первый раз.

Глаза его вспыхнули лукавым торжеством.

— Ах, оставьте, не лукавьте! У каждого есть своя балалайка.

— Вот именно! У вас — своя, у меня — своя. Ну и давайте сыграемся.

Он неожиданно облапил меня, сильно прижал к себе и даже приподнял немного. И я увидел перед собою простоватого парня с хорошей улыбкой. Куда девались его самолюбивая замкнутость и бездушная маска!

В этом цехе наша бригада работала полмесяца. Много времени тратили мы на организацию порядка. Цех был молодежный — большинство рабочих были подростки и девушки. Мы следили за тем, чтобы их приучали к дисциплине, к рабочему месту, к станку, к чистоте, к уменью пользоваться временем. Были организованы три фронтовые бригады: ребята очень гордились тем, что они — «фронтовики», и старались не ударить лицом в грязь. По-прежнему парнишки и девчата окружали каждого из нас в обеденный перерыв и жадно расспрашивали, как добиваемся мы рекордов, что делать, чтобы и им стать как можно скорее такими

же отличными мастерами. Мы разъясняли им, что нужно прежде всего хорошо знать станок и пользоваться им так, как музыкант инструментом, что нужно привыкнуть разбираться в резцах и уметь затачивать их, что надо точно изучить работу станка при любой нагрузке и при любом числе оборотов, только тогда будет ясно, как настраивать станок, как увеличивать выработку при различных оправках и приспособлениях. А эти оправки и приспособления — дело личное: все зависит от способностей, от изобретательности каждого, от его любви к делу. Мы говорили, что они — на войне, а на войне люди делаются героями. Часто мы разбирали работы успевающих и отстающих, заставляли ребят самих искать причины ошибок и успехов и избегать повторения ошибок в дальнейшей работе. Это были беседы живые, взволнованные, и нам самим было интересно проводить их с этим беспокойным народом.

Склад был вычищен и принял вид опрятного магазина, где номенклатура инструмента и всяких вещей была обозначена сигнатурами. Заведующий в лохматой шапке проявил необыкновенную деятельность, точно его действительно обдуло свежим ветром. На рабочих местах появились шкафчики, где хранились на запоре инструменты, закрепленные за рабочими. Нам помогали и ленинградцы, и многие местные рабочие во главе с Барановым, и особенно рьяно — подростки. Параллельно шла и рационализаторская работа под руководством нашей бригады: кое-что пришлось перенести из практики нашего цеха, кое-что придумывать вновь, а кое-что перехватить из предложений рабочих и даже подростков.

12

Однажды ночью, когда я уже ложился спать, пришел Тихон Васильевич. Вошел он тихо, крадучись: вероятно, думал, что я сплю. В прихожей он шептался с Аграфеной Захаровной, виновато оправдывался в чем-то. Потом настала тишина, скрипнула дверь.

Я вышел в прихожую, постучал в кухню и, не ожидая ответа, вошел к ним. Тихон Васильевич сидел за столом, красный, всклокоченный, очень усталый. Но встретил он меня с такой радостью в глазах, точно мы очень давно не виделись с ним.

— Ну, явился наконец, — приветствовал я его, протягивая руку. — Как тебе не стыдно издеваться над женой — такой самоотверженной женщиной!

Видно было, что ему до смерти хочется спать. Аграфена Захаровна хлопотала у плиты. Она не обернулась, но я по спине ее видел, что она довольна.

— Коля, кировцы первого места не завоюют, будь спокоен. Большие дела делаются...

Аграфена Захаровна радостно огрызнулась:

— Ежели так будешь изо дня в день варить себя вместе со своей сталью, на карачках заползаешь. Я вот жаловаться на тебя пойду директору.

Тихон Васильевич подмигнул мне и кивнул головой на Аграфену Захаровну. Потом показал большим пальцем назад, за свое плечо.

— У кировцев — львы, дьявольский народ. Там один татарин есть — Османтуллов. Зверь! С ним покоя не жди. Письмо мне прислал сегодня: признаю, говорит, себя в этот месяц побежденным, а в будущем месяце угрожаю перекрыть тебя, дорогой товарищ. Ну, как тут спать будешь?

Взглянув исподлобья на мое лицо, он покачал головой, и в глубине его глаз засветилась очень добрая улыбка.

— Тоже и ты вот... не спишь, Коля. Трудно тебе, друг... Нам что! Мы — дома. А ты, можно сказать, в кулаке сердце свое держишь... И воюешь... да еще как!

Оба они всегда трогали меня своим участием, и мне было совестно, что я ничем не мог отплатить за их сердечность, кроме горячей моей привязанности. Вот и сейчас не о себе, не о своей работе говорил Тихон Васильевич, не о тяжести своего труда, не о том, что вынуждает его не спать по суткам, а обо мне, забывая, что его работа в тысячу раз тяжелее моей.

— Обо мне не толкуй, дорогой Тихон Васильич, — упрекнул я его, — а вот нормального отдыха ты не знаешь. Это, брат, совсем нехорошо: не к твоей чести.

Аграфена Захаровна быстро обернулась ко мне и одобрительно улыбнулась. Она даже подбодрила меня взглядом, чтобы я покрепче пробрал Тихона Васильевича.

— Разреши, брат, дружески поругаться с тобой, Тихон Васильич. Если ты так решил соревноваться с кировцами, то ты зарежешься, каким бы ты богатырем ни был. Хоть вы, уральцы, и упрямый народ, но работать нахрапом и штурмом — заслуга небольшая. В соревновании победитель тот, кто утомляется меньше, а сработает больше.

Аграфена Захаровна, ободренная, набросилась на него:

— Хорошенько его, Николай Прокофьич!.. Кроме стали, у него ничего нет в голове. Только и остается — ловить его и под замком держать.

Он хрипло захохотал, подхватил ее своей ручищей и привлек к себе.

— И будет запирать, ей-богу!.. И позору моего не устрашится...

— И правильно делает: сберегает твои силы и в разум приводит. Внушает тебе, товарищ Работкин, что в соревновании надо уметь сочетать и труд и отдых. Для этого люди придумывают разные приспособления, — в час дать продукции столько, сколько даешь в смену, а потом пользоваться спокойным отдыхом и не мучить близких людей. Зачем ты пропадаешь на заводе в неположенное время? Значит, брюхом берешь, а не технологией.

Он с угрюмой усмешкой взял кусок хлеба, круто посолил его и с жадностью вонзил в него зубы.

— Вы, станочники, можете всякие фокусы строить, а у нас, на мартенах, быстро не разыграешься.

— Но ведь ты же решаешь какие-то задачи? Я же знаю...

— А как же? У кировцев — такие звери и ловкачи, что оторопь берет. Один Османгуллов чего стоит.

Поневоле приходится разведки делать. Поучиться уму-разуму я всегда не прочь.

— Выходит, что шапками закидать новых людей уральцам-то не так легко... — пошутил я. — Война спесивых не любит.

Аграфена Захаровна поставила перед ним полную тарелку щей, круто посыпала перцем и размешала большой деревянной ложкой (он любил есть только деревянной ложкой). Он раз за разом отправил в рот две ложки щей, и лицо его стало вдруг благодушно-кротким.

Ел он как-то вдумчиво и деловито: хлеб откусывал от большого ломтя, чтобы не терять крошек, щи брал полной ложкой и подносил ко рту медленно, осторожно, с суровым лицом. Я ни разу не видел, чтобы Аграфена Захаровна сидела рядом с ним за столом: она только обслуживала его, стоя у плиты, и пристально следила за каждым его движением. Это было в обычае уральцев и сибиряков, и, хотя Тихон Васильевич прошел большой путь революционной борьбы и был ударником пятилеток, обычай этот держался и в его семье.

— Наш род Работкиных — старинный, столбовой уральский, — говорил он не раз, когда мы сидели за чаем. — Еще при царе Петре мой пращур у печи стоял. С тех пор мы, Работкины, все — литейщики и сталевары. Деды и отцы свои секреты имели и передавали их от сыновей к внукам. Только эти секреты для нашей советской индустрии маленько устарели...

Ученики Тихона Васильевича рассеяны были по всем заводам Урала, и их с уважением называли «работкинским выводком». Он гордился этим и, когда читал в газете об успехах своих учеников, радостно волновался и щелкал пальцем по измятому листу.

— Вот он, стервец, как шурует! Работкинская наука всегда высокого класса. Уральцы не посрамят земли русской.

Мне была понятна его уральская гордость: ведь и мы, ленинградцы, дорожили своими пролетарскими традициями и не прочь были подчеркнуть при случае свою историческую роль.

Сначала мне казалось, что уральцы встретили нас недоброжелательно и хмуро. Они чуждались нас, разговаривали неохотно, а иногда пренебрежительно насмешничали.

— Что ж... мы люди гостеприимные: милости просим! А вот немцев бьют наши гвардейцы, и техникой снабжаем армию мы, уральцы...

А однажды на конференции передовиков производства один пожилой рабочий, такой же «столбовой уралец», как Тихон Васильевич, во время перерыва самодовольно сказал в разговоре с нами, «западниками»:

— Вы, москвичи и ленинградцы, может быть, поучить нас думаете? В ваших выступлениях душок этот чувствуется: технология да технология. А ведь не было еще таких искусников, которые удивили бы уральцев. Своего первенства седой Урал никому не уступал и не уступит.

Но Тихон Васильевич всегда был деликатен со мною и никогда не бросал мне таких кичливых фраз, хотя этот уральский патриотизм и в нем таился довольно упорно. Когда же мы монтировали свой завод и в самые сжатые сроки, не жалея себя, готовили цехи и агрегаты к пуску, а потом в жестокие морозы и вьюги, чуть ли не под открытым небом, пускали в ход станки, он первый с изумлением поглядывал на меня и озабоченно бормотал:

— Здорово закручиваете... даже уральцам в диво... наперекор всяким невозможностям... Вот это — настоящая война!

Один за другим мы открывали цехи, люди не уходили со своих участков по нескольку суток, а инженеры трудились, как рядовые рабочие. Строительные работы шли параллельно, новые «коробки» сбрасывали свои леса, прокладывались подъездные пути, и за недостатком транспорта толпы рабочих и инженеров тащили лямками тяжелые детали машин на броневых листах. Несколько цехов были пущены раньше срока. Но старый завод развертывался медленно и трудно. Переоборудование приходило с задержками. Литьем он нас снабжал с перебоями. Новогоднее письмо в ЦК партии мы подписывали вместе с уральцами. Наш

завод вызвал их на соревнование и поразил смелыми и уверенными обязательствами. Я был одним из делегатов по заключению договора, и, когда мы в тревожной тишине приступили к обсуждению условий договора, я впервые увидел теплоту в глазах уральцев. Тихон Васильевич, лукаво улыбаясь, выступил и с озорным вызовом оглядел каждого из нас.

— Заранее предупреждаю вас, товарищи ленинградцы: знаете ли вы, с кем хотите соревноваться? Мы, уральцы, от кировцев вызов получили... сильный, сурьезный коллектив... и приняли этот вызов с легкой душой. И они и вы хорошо учитываете наши преимущества. Но этого мало. Вы еще не знаете нашего уральского духа. Подумали ли вы над этим, товарищи?

Отвечая ему улыбкой, я с достоинством представителя ленинградцев сказал:

— Мы подумали основательно, товарищ Работкин, и рады выразить вам свое уважение. Но вы, уральцы, не учитываете сил и творческих возможностей рабочих города Ленина. Нам лестно побороться с вами, поэтому мы смело вызываем вас на честный бой...

Тихон Васильевич молодцевато пожал мне руку и первый расписался на договоре.

При встречах с ним у себя дома мы ни разу не говорили о ходе соревнования; как-то бессознательно избегали такого разговора, точно щадили самолюбие друг друга. Борьба шла уже два месяца с переменным успехом. Но когда цех Брякина начал выправляться, завод наш сразу пошел вверх по всем показателям. Литье по-прежнему поступало с перебоями, и мы послали на старый завод «толкачей». Мы с Петей внесли предложение о введении часового графика в нашем цехе. В виде опыта этот график применили на нескольких станках. Контролер непрерывно принимал продукцию, а распределитель собирал у него сведения и отмечал на миллиметровой бумаге. Линии на бумаге вздрагивали, шли горизонтально или опускались и поднимались. Сейчас же выяснялись причины снижения или рывков и устранялись те препятствия, которые мешали равномерной работе. Весь цех взбудоражился, и однажды в обеденный перерыв рабочие и подростки

собрались около нас и потребовали ввести часовой график всюду — на всех отдельных операциях и на рабочих местах. Наш начальник цеха, скромный и молчаливо-деловитый человек, распорядился немедленно перестроить работу на часовой график во всем цехе. Теперь ход всех операций учитывался с математической точностью. Потом этот график введен был всюду на заводе. Уральцы забили тревогу и тоже схватились за график. Завязался горячий поединок. В этом поединке Тихону Васильевичу было нелегко: ему приходилось драться и с кировцами и с нами. Мы лезли вверх и одолевали уральцев по всем показателям.

И вот в этот вечер Тихон Васильевич был особенно кротким. Сидел он за тарелкой щей, ел с аппетитом голодного человека и, отдыхая, говорил благодушно:

— Ты вот об отдыхе толкуешь, Николай Прокофьич. А я всю жизнь — около печей. Привык. Придешь, бывало, домой, выспишься, а потом и не знаешь, что делать: руки лишние, голова пустая и все тело тяжелое. Я так сильней уставал. А придешь на завод, к своему месту, — сразу встрепенешься. Сейчас я и сменщику своему помогаю: способный парнишка, а еще молодой — надо его самого переваривать.

Аграфена Захаровна стояла у плиты и, любуясь им, слушала и не могла наслушаться. Действительно, Тихон Васильевич говорил о стали, как о живом существе, словно сказку рассказывал:

— Плох тот сталевар, который не чувствует души металла. Надо любить и сердцем переживать его жизнь. Надо уметь чутко улавливать ту секундочку, когда плав созревает, и в свой момент дать ему свободу. От этого зависит и крепость брони, и грозная сила оружия. У нас, у уральцев, это чувство — в крови.

К этому добродушному силачу я чувствовал дружескую теплоту, и встречаться с ним мне всегда было приятно. Когда же он пропадал на заводе и я не видел его по нескольку дней: или он приходил, когда меня не было дома, или я уходил, когда он храпел в своей комнате, — я испытывал что-то вроде тоски по нем. Разговаривать с ним было интересно и легко: в нем

привлекала большая любовь к труду, радостно-тихая удовлетворенность от физической усталости и полнокровное ощущение своей силы. Его личная жизнь и его работа были нераздельны: говоря о себе, он говорил о заводе, говоря о мартенах, он выражал свои заветные чувства. Но меня иногда раздражало его уральское самолюбование: выходило, что уральцы — это особый народ, какая-то исключительная порода людей, которым свойственны особые качества и таланты. Я подтрунивал над ним, и он благодушно усмехался.

— И чего это вы, уральцы, так кичитесь и любуетесь собою? Мы, Тихон Васильич, приехали к вам не в гости: Урал принадлежит в такой же степени и нам, как и вам. Ни вам, ни нам кичиться нечего. А вот помочь друг другу и позаимствовать друг у друга мы можем многое.

Он смотрел на меня исподлобья и ел безмятежно, с улыбкой добряка.

— А я ничего не говорю, Коля. Мы все — дети одной матери... Ну, иной раз поозоруешь для затравки, чтобы раззадорить... Конечно, есть у нас такие пустоболты, но их в счет ставить нельзя. Мы — на войне, и жить нам надо дружно.

Аграфена Захаровна не на шутку встревожилась, но подошла к нам тихо, осторожно и по-матерински положила руки на наши плечи.

— Это хорошо, Николай Прокофьич, что вы пошлепали его: есть у них, у этих горняков, свое чванство — будто с каким-то благородным тавром щеголяют...

— Во, видал? — с притворным негодованием крикнул Тихон Васильевич. — Это называется честь мужа поддерживать...

Но Аграфена Захаровна спокойно и мягко продолжала:

— Только Тиша — не такой. Вы не сердитесь на него. Слова-то у него больше так, для забавы. Побалагурить любит.

И вдруг с милой строгостью набросилась на него:

— А тебе нечего словами баловаться!.. За слова

не спрячешься. Задали вам перцу приезжие, а теперь ты из завода не вылазишь. Попробуй-ка сейчас по-новому перестроиться: вот это будет заслуга. Лучше бы с Николаем Прокофьичем посоветовался.

Тихон Васильевич похлопал ее по спине и засмеялся.

— Ах ты, Милитриса Кирбитьевна! Нет тебя на свете краше, а меня, молодца, храбрее. Верно, Коля: ничего не возразишь... Здорово вы нас постегали! Приходится драться с вами не только хребтом, но и башкой. Себя перестаешь узнавать. Другим человеком стал. Я о себе говорю... А ребята, между прочим, тоже в смуте. В борьбе всегда достигается новое, а новое всегда трудно. Зато это — наука победы. А в победе — всегда облегчение и свобода.

— Ну, слава богу!.. В себя стал приходить. Теперь я спокойна: как в бане вымылся.

Мы от души посмеялись.

13

Я уже разделся и хотел выключить свет, но в этот момент гул далекого взрыва потряс весь дом. Что-то упало в кухне и разбилось. Электричество потухло. Я подбежал к окну и увидел над крышами домов кровавое зарево и черную тучу, которая поднималась ввысь. У меня бурно забилось сердце. Взрыв на заводе... выведены из строя цехи... Что-то произошло страшное... У меня тряслись руки и ноги, и я никак не мог сладить со своей одеждой. Кое-как я нашел спички и зажег лампу. Аграфена Захаровна, потрясенная, вбежала ко мне в комнату.

— Чего это, Николай Прокофьич?.. Рвануло-то как!.. Уж не немцы ли...

— Ничего, Аграфена Захаровна... Идите к себе. Успокойте Тихона Васильича... Я сейчас побегу, — узнаю, в чем дело...

Она скрылась в черной дыре отворенной двери, и через минуту я услышал хриплый бас Тихона Васильевича.

— Отойди, Груня!.. Слышь, что ли?.. Как я могу... ежели печи... А ежели вдрызг?.. Не мешай, говорю!.. Коля!.. Николай Прокофьич!..

Но я опрометью выбежал на улицу. Впереди полыхало багровое зарево. Черный дым клубился над бульваром, зловеще красный по краям. Всюду перекликались тревожные голоса, хрустел снег под ногами бегущих людей. Вдали звонили колокола пожарных машин.

В проходе была толкотня. Двое милиционеров боролись с напиравшей толпой и, освещая фонарями лица людей, орали:

— Пропуска, пропуска, товарищи!.. Не напирай... Сохраните порядок!

А из толпы осатанело ревели:

— Давай, давай!.. Не видишь, люди с ума сошли!.. Тут завод взрывают, а ты хочешь порядка!..

Я кое-как пробрался вперед и выскочил на заводской двор. Всюду была кромешная тьма, пронизанная мутно-багровыми вспышками. Перегоняя друг друга, бежали рабочие и, тяжело дыша, перекликались:

— Это — баки... Горючее полыхает... Эх, как бушует!..

— Какая же это бдительность, сукинова сына!.. Где охрана-то была?

— Обязательно, братцы, диверсия!.. Говорят, трансформаторы разнесло...

На самой задней части территории завода, за градирнями, где проходили подъездные пути и лежали свалки обрезков металла и всяких отбросов, огромные языки пламени рвались вверх и гудели как буря. Баки с горючим были изуродованы взрывом и свалились в стороны, как трупы каких-то невиданных допотопных чудовищ. Одна металлическая мачта высоковольтной передачи была опутана толстыми проводами, как паутиной. Толпы рабочих, освещенные пламенем, суголочно перебегали с места на место, лихорадочно работали лопатами и просто руками бросали снег в огонь на землю. В оранжевых сугробах снега текли огненные ручьи, как лава, а ураган пламени ревел над

баками, и развороченные цилиндрические их стены, раскаленные докрасна, корчились и колыхались от жара. Пожарные в сверкающих шлемах что-то бросали в бушующий огонь, а через их головы летели красные фонтаны воды.

Мимо меня быстро прошел Павел Павлович, за ним — Седов и главинж. Я догнал Седова и схватил его за руку.

— Что это такое, Алексей Михайлыч?

Он как будто не узнал меня, но замедлил шаг, словно вспоминая что-то. Потом сказал будничным голосом:

— Тыловое благодушие... С горючим будет туговато. Через час восстановим электропередачу. Иди домой, Николай. Ничего особенного, к счастью... только наглядный урок. Иди и выспись хорошенько.

В толпе я столкнулся с Петей. Глаза его блестели лихорадочно, и в отблесках пламени лицо его казалось похудевшим и ожесточенным.

— И здесь! И здесь эти убийцы и диверсанты!.. Какие мы доверчивые дураки!..

Огонь начал быстро утихать, и мы пошли обратно. Кое-где в окнах домов тускло маячили огоньки. Зарево, вздрагивая, уже потухало. Черная туча в красных отблесках растянулась широко над поселком. Петя, как-то странно поеживаясь, бессвязно рассказывал о своем последнем свидании с Наташей. Она по-прежнему не узнавала его, но в ее поведении произошла большая перемена: она нежно ворковала с Верочкой и счастливо посмеивалась, прижимая к себе призрак.

— Мне кажется, что это — возвращение к жизни... Как ты думаешь, Коля?..

Я с горячей торопливостью подхватил его слова:

— Да, Петя, Наташа скоро выздоровеет, и вы опять заживете вместе. Я опять, как в Ленинграде, буду приходить к вам в гости. Жаль только, что нет Лизы. И песни бы попели, и поспорили.

Так, тихо разговаривая, замолкая и мечтая каждый о своем, мы дошли до конца бульвара и, когда повернули обратно, услышали позади скрип торопливых

шагов. Две тени остановились и слились в одну. Они что-то невнятно забормотали, перебивая друг друга, и так же торопливо разошлись в разные стороны. Одна из теней была выше другой на целую голову. Я узнал того военного, который остановил меня на этом же бульваре. Крепко сжав руку Пети, я рванул его вперед.

— Это — диверсанты, Петька! Я знаю... Бежим захватим этого высокого!.. Его именно! Он раз уже задирал меня...

Мы сорвались с места одновременно и побежали вслед за высоким, который быстро шагал по дорожке, пересекающей бульвар. Он на мгновение остановился, потом рванулся вперед и перемахнул через ограду на мостовую.

— Стой! — крикнул я задыхаясь. — Стой! Стрелять буду...

Петя обогнал меня и побежал по сугробу, но провалился до колен. Хотя я тоже провалился глубоко в снег, но добежал до изгороди и прыгнул на другую сторону. В этот миг раздался выстрел, и мне почудилось, что пуля свистнула около моего уха. Далеко по переулку бежал человек, скрипя сапогами по снегу. Мы со всех ног бросились за ним. Когда-то мы с Петей были хорошие бегуны и не раз первыми приходили к финишу. Он обогнал меня и перебежал на другую сторону переулка. Тень человека стала ближе, и мне казалось, что я слышу хриплое дыхание. Мелькнула вспышка, и опять раздался выстрел. И вдруг я увидел, что из снежного сумрака этот человек несется прямо на меня. Инстинктивно я подобрался, чтобы наброситься на него, но он вскинул руку с револьвером.

— Ага! Тебя-то мне и надо, — прохрипел он, но я ловко ударил его по руке и выбил револьвер и в ту же секунду подставил ему ногу. Он со всего размаху грохнулся на снег. Я оседлал его, схватил за горло, но он гибко вывернулся, сковал рукою мою шею. В этот момент Петя ударил его в бок ногой и отшвырнул меня в сторону. А когда я очухался, вскочил на ноги, он душил человека и остервенело бил его головой о тротуар.

— Врешь... врешь, сукин сын!.. — надсадно рычал он. — Теперь не уйдешь... Я тебя прикончу... своими руками задавлю... Убийца! Бандит!..

Прибежали два милиционера и помогли мне поднять Петю на ноги. Он сразу же пришел в себя и посмотрел на свои руки. Мы подхватили человека под мышки, но он рыхло повис у нас на руках. Голова его болталась, как у трупа. Когда мы потащили его по дороге, ноги у него волочились по земле, вспахивая сапогами снег. Я поднял револьвер на тротуаре и спрятал его в карман. Человек очнулся только у дверей милиции.

Утром я не проснулся в обычный час: случилась эта конфузная неожиданность, может быть, потому, что я плохо и мало спал после ночных событий, а может быть, оттого, что видел яркий и причудливый сон. Солнечный, знойный и очень звонкий день. Я бегу почему-то по набережной Невы — куда? зачем? не помню, но бегу изо всех сил, — тороплюсь и чувствую себя легким, сильным, молодым. И в то же время какая-то странная, непонятная сила тянет меня назад. А впереди навстречу мне идет Лиза и удаляется от меня. Она смеется и плачет, и призывно машет мне рукой. Золотые волосы ее как будто в пламени. Одета по-летнему — в то ситцевое пестренькое платье, которое я особенно любил. И вдруг под ногами уже не мостовая, а сверкающая поземка металлических деталей. Они взлетают вихрями, бушуют вьюгой, звенят, визжат и трубят, как фанфары. Они плещут в меня, как прибой, и я взлетаю вместе с ними ввысь и наслаждаюсь своей воздушной невесомостью. И голос Лаврика поет и заливается: «Это не влияет... не влияет. Летели на карусели... Папка, пали!..» Потом — грохот и нелепая команда невидимой женщины: «Пали!.. Пушки, пали!..» Я проснулся от ужаса и быстро сел на кровати.

В дверь стучала Аграфена Захаровна и с ласковой строгостью приговаривала:

— Ну, вставайте же, Николай Прокофьич! Вот уж заспались-то! Хоть из пушек пали. А я и греночек поджарила. Мой-то уж давно удрал.

От стыда я даже озлился на себя и ударил кулаком по коленке. Нога дрыгнула, и ее подбросило кверху. Я засмеялся.

— С веселым утром, Николай Прокофьич! Когда душенька смеется, и работа — не забота. Смех через сон — к исполнению желания.

— Ой, Аграфена Захаровна! Что-то неспроста вы гадаете... Пожалуйста, не издевайтесь, что я проспал... Но за то, что подстегнули, — спасибо. Выйду — поцелую вас.

— А я подбодрю вас еще живес, Николай Прокофьич: вот у меня письмецо в руках. Угадайте, от кого!..

Я подбежал к двери и распахнул ее настежь. Аграфена Захаровна в страхе отпрянула от меня.

— Да как же вам не стыдно, Николай Прокофьич! Перед женщиной — в одних подштанниках...

— Сейчас же давайте, а то весь в прихожую вылезу.

Она сунула мне конверт и с притворным негодованием закрыла дверь.

— Позвольте, Аграфена Захаровна, когда же его принесли?

Она стояла за дверью и улыбалась — по голосу было заметно.

— Да уж принесли... Не минуло же ваших рук.

— Это черт знает что, Аграфена Захаровна!.. Значит, когда мы сидели в кухне, оно уже лежало у вас?

— А вы не кричите больно-то, а то возьму вот сковородник, да и... запру дверь-то. И гренок не дам. Убегу в очередь — вот и сидите на прогуле. Я знаю, как с вами обоими обращаться...

— Пощадите, строгая мамаша, — смиряюсь. Только скажите, почему вы не отдали мне вчера этого письма? Ведь это безжалостно с вашей стороны.

— Вот и живи с вами, постылыми!.. — с притворной скорбью вздохнула она. — Оба вы какие-то малохольные: от добра беситесь, а зла не замечаете. Только недруг сунул бы вам это письмо на сон грядущий. Вам надо было перво-наперво отдохнуть на доброе здоровье.

— А черт с ним, с добрым здоровьем. Это письмо я ждал каждый день, как сумасшедший. Понимаете ли вы это, или нет?

— А вы-то понимаете, Николай Прокофьич, что здоровье-то ваше для меня дороже дорогого? Письмо-то потерпит, а сон да покой не воротишь.

— Ах, какая вы безжалостная женщина!

— Ну, таких людей, как вы, жалость-то на корню режет.

Своей сердечной логикой она окончательно меня обезоружила.

Я стоял посреди комнаты босиком, в нижнем белье и не чувствовал холода. А в комнате было градусов шесть — не больше. Изо рта валил пар, стекла зеленели пушистым инеем. Я не отрывал глаз от милого почерка Лизы на конверте, и мне чудилось, что от письма пахнет ею и смотрят на меня ее проникновенные глаза. Дрожа и щелкая зубами, я юркнул под одеяло и с замирающим сердцем разорвал конверт. Лиза моя, подруга родная, я чувствовал в этот миг тебя всю и видел твои слезинки, которые я целовал в последнюю минуту разлуки...

«Родной мой, пишу тебе слабой рукою...»

До иллюзии ощущал я худенькое тельце Лизы и ее белокурую головку на моем плече. Эта первая строка, неровная, с изломанными буквами, которые дышали страданьем, больно сжимали мое сердце. «Слабой рукою... слабой рукою...» Что такое с ней? Больна? Умирает?..

У меня потемнело в глазах, и, кажется, я на миг потерял сознание. Не отдавая себе отчета, я вскочил с кровати, быстро оделся, но умываться не пошел: сил не было оторваться от письма. В заголовке, в правом углу, стояло число. Письмо было отправлено три недели назад. Оно прорвало блокаду, пробиралось под бомбежкой, под обстрелом немцев — и вот оно, драгоценная частица моей Лизы...

«Родной мой, пишу тебе слабой рукою. Только что пришла с передовых позиций. Изнурилась страшно — и от усталости и от потрясения. Не потому, что я упала духом — нет, а потому, что слишком много

приходится переживать, слишком много огня в душе, когда особенно нужны физические силы. Очень уж мы изголодались и исхолодались. Ты знаешь, как я наслаждалась уютным теплом в нашей светлой квартирке. А теперь это — далеко-далеко, в каком-то доисторическом периоде... Работаю я за троих и провожу на ногах на своем рабочем месте многие часы. Часто без всякой причины хочется плакать. Я вовсе не хочу тебе жаловаться на наши лишения. Но я привыкла не скрывать ничего перед тобою, говорить только правду, которую ты и без меня знаешь. Ведь если бы я написала тебе, что мне хорошо, что я весела, сыта и беспечна, как птица, ты возмутился бы моей неумной ложью и посмеялся бы над моей неуклюжей наивностью.

Да, сейчас мы переживаем ужасные дни. Конец января, морозы лютые. Ленинград — огромный ледяной город, где люди работают и борются с изумительной страстью и молча умирают на улицах, в домах, за станком. Жутко, когда на твоих глазах впереди вдруг падает на тротуаре женщина или мужчина... Подойдешь, поглядишь в лицо — оно трупно-восковое, открытые льдистые глаза. Идешь дальше — не оглядываешься. Душу охватывает трепет. На днях в моем цеху умерла за станком одна работница — молодая, славная такая... Села, положила руки на верстак и уронила на них голову. Я думала, что она задремала. Станок работает, а она сидит, уткнувшись лицом в руки. Я подошла, потрясла ее за плечо. Она свалилась на меня и грузно рухнула на пол. Я закричала. Подбежали рабочие и работницы, подняли ее и унесли из цеха. Все это очень тяжко действует на сердце: оно ноет, обливается кровью и кипит от ярости. Но поверь, эта скорбь и ярость не только не ослабляют воли к борьбе, а еще сильнее ожесточают душу.

Итак, сегодня я ходила на передовую линию обороны, на аэродром, чтобы увидеться с Игнашей. Со времени разлуки с тобой я посетила его раза два. Увидит меня, взмахнет руками и бежит ко мне навстречу. И каждый раз сует мне кусочек хлеба и лом-

тик колбаски. Я, конечно, не беру, а он злится: «Братухе на тебя пожалуюсь. Не выбрасывать же мне излишков...» А чего уж там излишки! Знаю, последние крошки отдает. Давно я у него не была, а за это время он хоть разок в неделю возьмет да и пришлет открыточку. Но тут никаких вестей не получаю от него дней двадцать. Я сильно встревожилась и в свободные часы помчалась к нему на аэродром. Ты ведь знаешь, что передовая линия находится рядом — даже в городе траншеи и дзоты. Меня провожали от одного укрепления к другому, как родную сестру. И вот на аэродроме я узнала страшную правду об Игнаше. Он вылетел с эскадрильей штурмовиков на боевое задание и исчез. Товарищи видели, как он, весь в дыму, ринулся вниз, в бездну. Как в бреду, вернулась я домой: меня словно контузило. И, когда я шла по своей улице, начался артиллерийский обстрел города, но я как будто даже и не слышала грохота разрывов.

Одного я хочу: чтобы ты как настоящий большевик и русский человек встретил этот удар. Знаю, это потрясет тебя, но знаю также, что ты встретишь этот удар стойко. Тебе в тылу, вдали от нас, больнее, чем нам: мы со многим уже сжились, и нам уже ничего не страшно.

О себе говорить не стоит: все сказано. Горю, как свеча, зажженная с обоих концов. Себе я не принадлежу, но никогда еще я не чувствовала себя такой гордой и полной достоинства. Я не посрамлю чести русской женщины, кровный мой Коленька, потому что я всем своим существом отвечаю за всех, как и все отвечают за меня.

Лаврика я почти не вижу, только дедушка приносит мне вести о нем. Милый дедушка! его суровость и нежность, которую он тщетно скрывает, очень трогательны... Он сильно ослаб. Недавно в цеху приключился с ним какой-то тяжелый припадок. Его спешно отправили в больницу, а когда ему стало легче, пришел в неистовое негодование: сорвался с койки, растолкал санитарок, едва не сбил с ног бабушку и в одном халате прибежал на завод. Его задержали в проходной и стали уговаривать, чтобы он хоть дня

два отдохнул и подкрепился в больнице, но он бунтовал еще больше. Только и смог уломать его сам директор.

Родной мой, услышала я по радио твое имя и заплакала от счастья. Точно ты сам говорил со мною. Стоит мне в минуту слабости вспомнить, что ты герой трудового фронта, я сразу же свежею, напрягаюсь, словно ты вливаешь в меня из своего далека и силу и жизнь. И я верю, знаю, что ты, мой любимый, скоро прогремишь на весь Союз какой-то огромной победой: ведь ты мятежник, новатор, боец. Вот люди говорят о чудесах, которые создают наши рабочие, и изумляются. Чему же изумляться? Твои достижения были бы чудом тогда, когда они родились бы случайно и не были бы обусловлены твоей жизнью — твоей упорной творческой работой и напряженным исканием. Мне кажется, что ты, как и многие из наших друзей, вроде Пети Полынцева и Алеши Седова, составляете единую плеяду героев нашего времени.

До сих пор не могу без слез думать о страшной трагедии Пети. Поцелуй его и скажи, как он мне дорог. А Алеше Седову крепко пожми руку. Это человек самоотверженной воли, горячего ума и мудрого сердца. Он настоящий ленинградец: гордый и страстный характер, несмотря на его внешнюю уравновешенность. О его жене ничего не могу сообщить. Кажется, она где-то на передовой линии, как врач ведет большую работу в госпитале, который она организовала вместе со своими товарищами — медиками. Впрочем, Алеша, вероятно, знает о ней лучше, чем я.

Обнимаю тебя горячо и целую крепко. Чувствуешь ли ты в этот момент мое сердце? Родной мой, я каждый миг с тобою. Вся твоя Лиза».

Я стоял под лампочкой, читая это письмо, — стоял, как в столбняке, и впервые плакал от счастья и горя — плакал, не вытирая слез и не стыдясь их. Лиза стояла передо мною как живая, и я готов был стать перед нею на колени, как перед святой подвижницей, как перед великой женщиной, которую я постиг только

теперь и которая впервые научила меня удивляться человеческой ее красоте. Зачем мне нужно было искать для своей лекции образцов величия русской женщины в классической литературе, когда моя же близкая подруга, или простая девушка Шура, или скромная женщина Аграфена Захаровна стоят многих и многих жен, невест и матерей, о которых писали мировые художники.

14

Деталь, которая сковывала весь прорывной цех, наконец вырвалась из плена токарного станка. Вместе с Брякиным мы оборудовали фрезерный станочек и приспособили один из моторчиков гулять задом наперед. С каким наслаждением любовались мы этим его веселым задором! Фрезеры грызли металл, разбрызгивали эмульсию, дымились, дышали паром, рокотали, и мне казалось, что они радостно ворковали, как голуби. Первую деталь обработал я сам. Около меня стоял по одну сторону Баранов, а по другую — Брякин. Я очень хорошо чувствовал, как они волновались. Я вынул готовенькую блестящую игрушку и посмотрел на часы: шестнадцать минут! Баранов ошалело глядел на меня и на червяк, и у него дрожала на лице улыбка ребенка.

— Это же... это же, товарищ Шаронов... черт те знает что!.. Это же ведь, погоди-ка... в час четыре штуки, а за смену... Товарищи! Ведь это же за смену — сорок!..

Он оттолкнул меня от станка и дрожащими руками схватил болванку. Я засмеялся и уступил ему место с удовольствием. По его уверенным движениям я понял, что парень хорошо может работать и на фрезерном станке. Мы взволнованно переглянулись с Евграфом Семеновичем, и я увидел в черных глазах его теплую влагу.

Я вспомнил, с каким увлечением работал он над реконструкцией станка: он постоянно обращался ко мне за советом по всяким пустякам, точно боялся, как бы ему не ошибиться, не оскандалиться передо

мною, сам возился с разборкой и сборкой, как простой рабочий.

Встречал он меня радостно и даже протягивал навстречу мне руки.

Он распахнул передо мною свою душу: рассказал, как безотрадно жил с пьяницей отчимом, литейщиком, как учился в школе с постоянным страхом в душе, что не выдержит и сбежит из дома, где он каждый день попадал под кулаки отчима. Эта нелюдимость и озлобление остались с тех детских лет. Но он все-таки добился своего — кончил школу и поступил в Индустриальный институт. Работал он над собою с большим трудом. Близких товарищей у него не было, сходился с людьми туго, общее развитие было слабое: на чтение книг не хватало времени. Он жил одной мечтой — быть инженером и работать на каком-нибудь большом заводе. Окончил он институт отлично и получил место конструктора на одном из уральских гигантов. Тут он как-то незаметно женился на дочери одного старого инженера. Сам-то, может быть, и не решился бы на это, но девица была шустрая, напористая, рвалась из родительского дома и сама проявила большую инициативу. Тесть его был, вероятно, честный и работящий человек. Брякин работал под его руководством и.пользовался его симпатией. Он был своим человеком в семье этого старого инженера. Как-то старик откровенно сказал ему:

— Вы парень трудолюбивый и инженер способный. Искренне предупреждаю вас, Евграф Семеныч: с Ленкой вам будет трудно — избалованная девчонка. Своенравная. Измотает она вас, милый человек.

Брякин не ужился на заводе, и его перевели к нам технологом. Как и нужно было ожидать, жена работать отказалась.

— Я выходила замуж не для того, чтобы работать.

— Но нам трудно жить, — попытался он убедить ее. — Мой заработок небольшой. Для вечеров, угощений и нарядов средств у нас нет.

— А это уж твое дело. Не надо было жениться. Своим принципом я не пожертвую для тебя. Впрочем, насчет вечеров и нарядов — это не твоя забота. Мне

папа поможет. А потом у меня есть связи. Это ты увяз на своем заводе, а я с обществом не порывала и связи свои множу и укрепляю.

При чем тут были связи — он никак не мог понять и махнул на нее рукой. Но деньги она все-таки требовала постоянно, и он отдавал ей всю заработную плату. С раннего утра он уходил на завод, возвращался поздней ночью, голодный, усталый, и сразу же попадал в шумную компанию. Кто были эти гости — завитые, накрашенные девицы и дамы и какие-то актеристого вида молодые люди, — он не знал. Для приличия он сидел с ними с полчаса, танцевал фокстрот под патефон, а потом незаметно уходил в другую комнату и ложился спать. А как она проводила время без него — он не представлял, да и интересоваться было некогда.

— Вам, Евграф Семеныч, не такую жену нужно, — сказал я ему на вопрос, как я смотрю на его семейную жизнь. — Вы — из рабочей семьи, прошли суровую школу, сами работяга. Ваш тесть был прав: стрекоза и муравей — плохие товарищи.

Он угрюмо замолчал. Мы опять погрузились в работу. Я уже забыл о нашем разговоре, и вдруг, в то время когда мы прилаживали мотор, он прервал работу и сказал:

— Ну, так вот я и жду, когда она сбежит от меня. Я тоже упрямый: денег больше ей не даю. Только на обед — домработнице.

Наша работа над реконструкцией станка вызвала большое волнение в цехе. Все лихорадочно ждали того дня, когда мы пустим его в ход. Меня и Брякина ловили на каждом шагу и нетерпеливо спрашивали, что мы сделали с моторами, как будут работать фрезеры и когда, наконец, наша диковинка покажет себя. И вот в одну из дневных смен Баранов с засученными рукавами стал на свое место. Со всех сторон к нему бросились люди. Некоторые взобрались на верстаки, и их невозможно было стащить. Особенно рвалась вперед молодежь, а старые рабочие стояли с застывшими улыбками и внимательно рассматривали оттопыренный моторчик. Баранов, бледный, нервно

взвинченный, укреплял дрожащими руками фрезеры, вставлял болванку и часто стирал пот со лба. Перед ним горкой лежали заделы, и мне казалось, что он посматривал на них с оторопью. Он никогда не переживал таких жгучих моментов, и ему было жутковато начинать работу перед возбужденной толпой. Но, чтобы побороть свое волнение, он весело подмигивал кому-то и смущенно улыбался. Мы с Брякиным стояли около него и следили за каждым его движением. Я сам волновался, кажется, не меньше его, но не потому, что опасался какого-нибудь срыва, а потому, что был заражен общим волнением. Конечно, волновался я и как автор: мне очень хотелось, чтобы все эти юнцы и старики удивились и загорелись, чтобы каждый из них с радостной завистью рванулся к своему станку, как боец к своему оружию. Я смотрел на эти запачканные лица, на горящие глаза парней и девушек и чувствовал в их напряженном молчании не простое любопытство, а жажду нового, ожидание большого события.

Пришел Владимир Евгеньевич и стал рядом со мною. Он не сказал ни слова, но я знал, с каким нетерпением ожидал он сам этого дня. Приходил он к нам несколько раз за смену и подолгу следил за нашей работой. Он задавал нам вопросы, и мне казалось, что наши разъяснения он слушал с раздумчивым сомнением. Прибежал и Седов. Пожимая нам руки, он улыбался всем с лукавым задором: вот, мол, сейчас ошарашим вас, потрясем ваши души, берегитесь!

— Ну как, готово, товарищи? — спросил он, не угашая улыбки. — Значит, начинаем? Вот и отлично. Действуйте!

Все зашевелились, кто-то рядом со мною вздохнул облегченно, кто-то торопливо зашептал. Я дал знак Баранову, и он включил мотор. Маленький моторчик, как живой, задвигался около вращающейся болванки, фрезеры со страшной быстротой стали вгрызаться в металл. Брызги эмульсии и пар веером разлетались в стороны. Но Баранов действовал осторожно: он еще боялся, как бы не запороть и фрезеры и деталь.

— Давайте быстрее! — подбодрил я его и сам протянул руку к рычагу, но Баранов отклонил ее. Фре-

зеры захрипели, заскрежетали еще сильнее, и пар заклубился еще гуще. Брызги разлетались далеко и, как иголки, вонзались в лица людей. Они инстинктивно стирали пальцами уколы, переглядывались и подмигивали друг другу.

Все эти плотно сбитые в кучу люди стояли как завороженные, их глаза блестели и не отрывались от станка. Щеки у девушек пылали румянцем. Так все безмолвно стояли с четверть часа, и, когда Баранов остановил мотор, толпа подвинулась вперед и как будто охнула. Баранов вынул серебристого червяка, окунул его в воду и, как фокусник, показал его всем, поворачиваясь и вправо и влево.

— Вот этого червяка я точил, ребята, целую смену, а сейчас, видите, продрал его в четырнадцать минут. За такие дела виновников награждают, а уж я поцелую их.

И он схватил меня за плечи и поцеловал три раза крест-накрест, а потом бросился и к Брякину. Нас оглушили аплодисменты, смех, крики. Толпа забурлила, сдавила нас со всех сторон, и каждый старался протиснуться ко мне, к Брякину, к Баранову, чтобы восторженно пожать нам руки. Девчата и парни наперебой спрашивали нас о чем-то, тормошили, требовали чего-то, и в этом вихре криков и толкотни ничего нельзя было разобрать. Мне стало душно. А Баранов кричал:

— Ты пойми, голова: ведь сорок пять норм. Это же ведь черт те знает что!.. Месяц спрессовали в один день... а?.. Теперь я знаю, что такое летать на крыльях!

Кто-то из толпы поднимал руку и кричал истошно:

— Товарищи! Слова прошу... Товарищ Седов!.. Душа кипит...

И, не ожидая, когда обратят на него внимание, закричал визгливо, стараясь покрыть гул и крики толпы:

— Товарищи, мы, правду сказать, спали... спали и ждали... Дождались, когда ударили... Пришли к нам... и даже оглушили, товарищи... А нам надо было самим... Грянул гром, и я стал другим человеком...

Кто-то обиженно обрезал его так же визгливо:

— Да что ты раскричался! Один ты, что ли?.. При ветре-то весь лес шумит...

А прежний голос перебил другие голоса:

— Теперь каждому пошуметь хочется. А почему раньше не шумели?..

— А потому... когда нет ветра, и лист не шелохнется.

— Как это нет ветра?.. Буря сейчас, товарищи... война! Выходит, мы и войны не чуяли?.. Не дело говорите, товарищи...

Крики и толкотня разгорались. Все хотели говорить, каждый старался высказать, что бурлило у него в душе. Седов поднял руки и с трудом добился тишины.

— Товарищи, это больше чем победа: это — переворот. Для вашего цеха наступили дни подъема и большой борьбы. У вас есть за что бороться и есть силы, чтобы побеждать. Вам не только придется догонять самих себя, но и драться так, как дерутся те товарищи, которые пришли к вам на помощь. Они многое для вас сделали, а главное, показали вам, как надо быть находчивыми, изобретательными, чтобы побороть препятствия. Только соревнование создает постоянное беспокойство и горячее стремление быть победителем... Поблагодарим товарища Шаронова и товарища Брякина за их замечательный пример творческого дерзания... Бригада товарища Шаронова...

Дальше ничего не было слышно, что говорил Седов: опять разразились рукоплескания, опять крики. Отчетливо было слышно одно слово:

— Соревнование... соревнование...

Я спросил у главинжа:

— А где же Никодим Фомич?

Он бесстрастно ответил:

— Он хороший человек, но плохой музыкант. В нем нет горючего. Снят.

В этот день я не имел ни одной свободной минуты: переходил от одной бригады к другой, выслушивал различные предложения, давал указания, разъяснял, подбодрял, успокаивал горячих и рьяных...

15

Большой радостью для меня было возвращение в свой цех, куда я принес готовую конструкцию приспособления для непрерывной обработки той детали, которая не давала мне покоя. Мне казалось, что если я не доведу до конца этой работы, я не выполню своей клятвы. Пожалуй, я даже и не думал о своей клятве: она, как кровь, была неощутима, но насыщала все мое существование. Меня захватила новизна конструкции: каждую минуту я был во власти этого образа. Он преследовал меня и в цехе и дома. Я бежал за этим призраком, а он то приближался, то удалялся от меня. Он преследовал меня.

Я не раз хотел посоветоваться с Петей, но сдерживал себя в последний момент. У меня как-то вошло в привычку хоронить в себе свой замысел — до тех пор таить его, пока я не добивался ясности и законченности. Я боялся одного: стоит только открыть тому же Пете мою мысль, стоит выложить все, что терзает меня, и вся прелесть мечты, вся волнующая острота борьбы исчезает. То, что обжигало душу, потухнет, распадется. Вся глубина и смысл душевного смятения — в тайне замысла, в тайне мучительных исканий.

В нашей литературной критике иногда раздавались голоса, что невозможно поэтизировать машины и те вещи, которые производит человек с помощью этих машин, что поэтизация машин обезличивает человека и превращает его в придаток механизмов. Но это утверждали люди, которые не имели понятия о глубокой и величественной красоте механизмов, об их изумительной жизни и волшебной согласованности их движений. Эти движения прекрасны, как человеческий организм, потому что эти механизмы — чудесное создание человеческого гения. Что может быть поразительнее в мире, чем человек, вооруженный сложными двигателями и аппаратами, способными делать вещи самого тончайшего рисунка и производить циклопические работы одним нажимом рычага! Почему в былые времена, когда человек в своем

маленьком сельском миру делал все своими слабыми руками, поэтизировались и воспевались соха, грабли и сивка? Почему сельская жизнь — это поэзия, а завод с тысячами людей и чудесных машин — скучная проза? Я думаю, это потому, что наши художники не знают этой сложной и огромной жизни, для них она — за семью печатями, на краю земли. Надо войти в этот великий мир, полюбить его, слиться с ним, отдаться ему всей душой, удивляться ему, чтобы преобразить его в поэтические образы нетленной красоты. Я говорю о творце этого мира — о нашем человеке.

Может быть, поэтому я так страстно люблю нашу литературу. Я перечитываю классиков и наслаждаюсь неувядаемой красотой их созданий. Но литература наших лет — литература, с которой я вместе рос, которая волновала меня, будила мысль, поднимала, окрыляла душу, — наша советская литература, — это моя жизнь, мои мятежные порывы, мое настоящее и будущее. В минуты раздумий и душевных волнений я садился к столу и с бьющимся сердцем писал поэмы и повести. Я никому их не читал, не открывал этой тайны даже Лизе: я считал, что это — не литература для печати, что это — только разговоры и песни наедине с собой. Только сейчас вот эту повесть моей души я пишу не таясь: это отчет о моей борьбе как гражданина и воина.

...Был один из тех вечеров конца марта, когда чувствуются и первые запахи весны и острота ночных морозцев. Снег еще лежит сугробами в палисадниках, у фасадов домов и на обочинах бульвара, а мостовая уже чернеет булыжником или асфальтом. Покрикивают потревоженные галки на деревьях, а по аллеям бродят, тесно прижимаясь друг к другу, юные парочки. Я с удовольствием дышал свежим воздухом, хотелось подольше побыть на улице, полюбоваться густой россыпью мерцающих звезд. Я люблю смотреть на небо такими вечерами: в нем всегда читаешь книгу своей жизни, оно поет о детстве, о годах юности, о самом дорогом, милом и незабвенном. Оно, как поэзия, сохраняет только самые трогательные воспоминания. Это

небо, эти созвездия тоже мерцают сейчас там, в Ленинграде, а Лиза, может быть, тоже смотрит на них и думает о нашей молодости.

На бульваре было безлюдно, только изредка попадались навстречу одинокие прохожие. Иногда с оглушительным грохотом проносился трамвай, туго набитый людьми, и на фоне пролетающих огней ветви деревьев причудливо сплетались между собою, как кружево.

Мимо прошли две девушки под руку. Одна была крупная и высокая, а другая — маленькая, как подросток.

— Это — Шаронов... Слышь, Шурка!..

Я хотел было свернуть на боковую дорожку, чтобы выйти на тротуар, но услышал за собой бегущие шаги и взволнованное дыхание.

— Николай Прокофьич! — робко и виновато позвала меня Шура. Я узнал ее по нервному и робкому голосу. — Николай Прокофьич! Подождите минутку!..

Я остановился.

— Николай Прокофьич, вы, пожалуйста, простите меня.

— Ну, ну, Шура!.. Что за церемонии!..

Она подбежала неуверенно и смущенно, а когда остановилась, вскинула голову, глубоко вздохнула и стыдливо засмеялась. Подруга ее медленно удалялась от нас и таяла в снежной полутьме.

— Николай Прокофьич, я... я давно хотела... посоветоваться с вами.

— А чего вы так волнуетесь, Шура?

Я взял ее под руку и подвел к скамье. По руке ее струилась дрожь.

— Что-нибудь случилось с вами, Шура?

Она немного отдышалась, сдавила обеими руками свою вязаную шапочку и опять нервно засмеялась. Мы сели на скамью, врытую в землю, очень низенькую, занесенную давнишним снегом.

— С кем это вы гуляете, Шура?

— Мы не гуляем... Мы из госпиталя шли... Это — Тамара... Она вас первая и заметила. А как только

назвала вас, я сразу и остановилась... И броситься к вам хотела, и страшно было.

— Да полно вам глупости говорить, Шура!

— Ничего не глупости... Вы вот очень хороший... От вас никогда не услышишь грубости. Я никого еще так не уважала...

— Ну, перестаньте, Шура!

— Ах, Николай Прокофьич! Мыслей у меня много, желаний много. Хочется всю себя отдать. Родина такая большая, а я такая ничтожная. И вот даже на маленький подвиг, должно быть, не способна. Думаешь: ну, хоть бы выпало мне счастье собой пожертвовать...

— Вы же работаете, Шура, чего же вам еще нужно? Подвиги — там, где горячая любовь, — любовь к труду, к борьбе, к людям. Я думаю, Шура, что вы-то именно и совершаете эти подвиги, да мы не видим, да и сами вы не сознаете.

Она подобралась и осмелела.

— Нет, не говорите мне этого, Николай Прокофьич! Я еще девчонка. Что я могу? Ни знаний, ни опыта. Хотела на фронт медсестрой — не вышло. Донором была... но разве это подвиг?.. На завод пошла, и вот эгоистически счастлива, что под вашим руководством работаю. А что из меня толку?.. Всё у меня как-то нелепо, глупо... точно плутаю на голом месте. И вот последнее... Тут я уж совсем увязла. Тамара сейчас прогнала меня, чтобы я вам все выложила. И я думала, да духу не хватало... Но вы все поймете... потому что вы сами страдали и страдаете. У вас жена в Ленинграде, а там люди умеют страдать и бороться. Там-то и есть настоящий экзамен на человека...

— Почему же только там, Шура? — мягко возразил я. — Экзамен на человека мы держим и здесь.

— Да, конечно, — живо согласилась она, но торопливо добавила: — Я только говорю о том, Николай Прокофьич, что там, вероятно, люди, считают преступлением хвастаться, рисоваться.

Я знал ее мало: я видел ее у станка, старательной, восприимчивой и немного странной. А теперь я чувствовал ее иной: она жила не только работой у станка, интересовалась не только своими трудовыми успехами,

но и чем-то другим — большим, опалившим ее душу. В голосе ее чувствовалось смятенье.

— Эти месяцы, Николай Прокофьич, для меня прошли, как годы. Мне кажется, что я даже состарилась. Вы знаете, что мы, комсомольцы, взяли шефство над одним госпиталем. И вот мы, девушки, стали ходить к раненым бойцам и командирам — читали им, писали письма и... всякие там услуги. Привязалась я к одному лейтенанту... ну, и он ко мне, конечно... Молодой совсем, как мой одноклассник. А ранение у него очень серьезное: кисть руки оторвало и половина лица изуродована — кожа сорвана сверху до подбородка. Но глаза такие ясные, такие доверчивые... и душа как у ребенка. Читаю я ему и чувствую: смотрит он на меня, глаз не спускает и что-то переживает. Оторвусь от книги, встречаю молчаливые глаза — жуткие такие, со слезой. Вижу, не слушает он меня, а думает о чем-то мучительно. Склонилась я над ним, взяла его руку, бледную, с синими жилками, и спросила: «Миша, что с тобою? Почему ты так страдаешь? Тебе больно?» Мы уже привыкли звать друг друга, как близкие товарищи: он меня — Шурой, я его — Мишей. Платок у него на груди всегда лежал. Взял он здоровой рукой этот платок и вытер слезы. Чужим каким-то голосом ответил мне: «Да, Шура, мне больно, не от ран моих, нет... я страдаю и больно мне оттого, что для радости жизни я — человек уже конченный. Какая девушка полюбит меня теперь — без руки... с ободранным лицом?.. Я могу только возбуждать... хотя бы вот у тебя... одну жалость, сострадание!..» — «Что ты, говорю, Миша! Разве любят только за тело? Любят душу человека, Миша». И я прямо в лицо ему, не задумываясь, сказала: «Взять, говорю, меня вот... Я очень тебя полюбила... Всего тебя понимаю и чувствую... И ты мне дорог на всю жизнь...» — «Ах, говорит, что ты мне толкуешь, Шура! Ведь это только слова... такие слова, которые может сказать каждая сердечная медицинская сестра...» А глаза в слезах тонут. «И хотел бы, говорит, да не могу поверить. Не воспринимаю, говорит, и ничто меня не убедит...» — «Хорошо, говорю, Миша, я готова стать твоим самым

интимным другом на всю жизнь — женой твоей, и буду счастлива, если ты будешь счастлив со мной.». Только я это произнесла, вдруг он точно сознание потерял. Я даже испугалась и хотела уж на помощь звать. Но он открыл глаза и тихо, с ненавистью, приказал: «Уходи от меня сейчас же! Слышишь? Уходи и больше ко мне не являйся!» Слушаю его, а ноги и руки немеют, сердцу холодно, и все закружилось вокруг...

Она замолчала и опустила голову на грудь. Мне показалось, что она изо всех сил борется со слезами. В эти минуты она мне стала близкой и дорогой, как сестра, которая ищет у меня поддержки.

— Ну, и что же, Шура?.. Видели вы его после этого?

Она судорожно вздохнула и твердо ответила:

— Я приходила к нему два раза, но он не допустил меня. А сегодня, когда я вошла к нему в палату, он даже на локте поднялся и крикнул: «Уходи! Я не хочу тебя видеть. Сейчас же уходи!..»

— Скажите мне откровенно, Шура: действительно ли вы его любите? Нет ли здесь самообмана, насилия над собой?

Она помолчала, подумала и горячо сказала:

— Я сама долго мучилась... Но одно скажу: для меня сейчас такая радость быть около него...

И вдруг в порыве отчаяния и надежды она схватила меня за руку и умоляюще крикнула:

— Ну, скажите мне, Николай Прокофьич... Скажите мне, что делать... Он мне не верит... Он ненавидит меня... Он думает, что все это у меня — от жалости к нему, что я жертву ему хочу принести...

Я слушал ее и чувствовал, что сам беспомощен. Ну, что я могу посоветовать ей? Чем могу помочь? Не идти же мне самому к этому лейтенанту, чтобы убедить его в том, что он не прав, что он не оценил души этой девушки? По его поведению видно было, что он парень честный и не способен красть счастье: обманное счастье он отвергает, потому что такое счастье — преступление. Он хочет не жертвы, а полной молодой радости. Он не верит Шуре потому, что в себя не верит: как может здоровая, миловидная девушка полюбить калеку?

— Я не знаю, что вам сказать, Шура... — ответил я сдержанно и деликатно. — Но мне кажется, что вы должны заставить его почувствовать, что вы именно та девушка, которая пришла к нему сама.

Она страстно рванулась ко мне.

— Но как? Как, Николай Прокофьич? Он же меня не допускает к себе...

— Не знаю. В этих случаях советовать нельзя. Если вы действительно любите его и он вас любит... мне кажется, что любит... вы сами найдете выход. У любви — свои дороги, для нее нет преград.

Она решительно встала и задумчиво прошептала мне:

— Спасибо вам, Николай Прокофьич...

— За что же?

— За то, что выслушали... и почувствовали...

Она медленно пошла по дорожке бульвара и растаяла в снежном сумраке ночи.

16

Огромная радость бывает так же опасна, как горный обвал.

Из заводоуправления я получил раскрытую телеграмму:

«Нахожусь в госпитале в Казани. Переживаю радость жизни. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, целую, Игнат Шаронов».

К телеграмме была приложена записка Павла Павловича:

«Дорогой Николай Прокофьич! Не сердитесь за вскрытую телеграмму: распечатана по ошибке. Счастлив вместе с вами. Если Вы пожелаете поехать или полететь к брату, рад содействовать Вам. Когда же пускаете в дело Ваше новое приспособление? Крепко жму руку. Ваш П. Буераков».

В первое мгновение я ошалел. Все смешалось передо мною: машины и люди залетали в воздухе, и сумеречный цех залился светом. Помню, что я замахал руками и закричал во всю глотку:

— Игнашка жив!.. Братишка мой родной!..

Я кружился на одном месте, потрясая телеграммой, и хохотал, как тронутый умом.

Подбежал Вася и схватил меня за плечи.

— Говори, что стряслось, а то сам плясать буду...

— Пляши, Вася! Игнаша, братишка, живой!.. Вот телеграмма. В Казани, в госпитале...

Вася выхватил у меня телеграмму и впился в нее глазами.

К нам начали подходить рабочие, и телеграмма пошла по рукам. Меня поздравляли, жали руки, обнимали... Я не видел лиц и не ощущал рук. Я носился в вихре света и оглушительных криков. Не заметил я также, когда разошлись рабочие и как водворилась тишина. Очнулся я от тихого голоса Шуры:

— Николай Прокофьич, я остановила ваш станок: деталь запорота. Поздравляю вас, Николай Прокофьич!..

В этот день я дал новый рекорд и решил завтра вместе с Петей провести испытание нового моего приспособления. Удивительно, я не испытывал никакого напряжения. Я довел станок до последних пределов скорости. Фрезы дымились, эмульсия дышала паром и мельчайшими брызгами вонзалась в лицо.

Петю я нашел в инструменталке. В синем халате, он стоял у стола и, увлеченный какой-то работой над аппаратом, не заметил, как я подошел к нему. Я сунул ему телеграмму и посмотрел на него так, что он растерялся.

— Ты... не пьян? Что-то я тебя таким никогда не видел...

— Пьян, Петя... от счастья пьян! Читай скорее!..

Он пробежал глазами текст телеграммы и, возвращая ее, сказал спокойно:

— Поздравляю. Очень рад за Игната. Поедешь?

— Непременно.

Он опять повернулся к аппарату.

Этот диск, похожий на металлический цветок, был еще в первородной чешуе, он не сверкал еще отшлифованной красотой своих частей, и в нем не было еще жизни, но он уже трепетал от желания срастись со

станком. Он лежал перед нами на столе, освещенный электричеством, и мы чувствовали, что он нам бесконечно дорог как неотделимая часть нашей души. Сколько заключено в нем бессонных ночей, сколько мучительной борьбы, исканий и кропотливой работы мозга! И вот в результате — обидно простая игрушка, каруселька с автоматическими зажимками, которая непрерывно подхватывает новые и новые поделки, и фрезеры начинают жевать сразу же двадцать деталей. Это — маленький конвейер, который вращается плавно, пульсируя и играя, смеясь и воркуя.

Мы еще раз проверили его на станке и еще раз пережили радость творческого удовлетворения.

— Как чудесно вышло, Николай!.. — с улыбкой сказал Петя, снимая халат. — Воскрес Игнатий, и явилась на свет эта карусель. В этом хочется видеть какой-то глубокий смысл...

Мы вышли на площадь, горящую мартовским солнцем.

Старый снег, покрытый пеплом, изрыт был солнечными лучами, слезился и сверкал алмазными иголками. Высокие дома вокруг площади ослепительно блестели белыми и желтыми стенами. Орали грачи на бульваре, и от их радостного крика хотелось смеяться. Как-то особенно отчетливо звучали голоса детей. Далеко за городом, на взгорьях, туманно темнели сосновые леса, и воздух там был сиреневый. Сверкая плоскостями, реяли над нами очень высоко несколько призрачных самолетов. Их струнный звон плыл к нам глухими волнами.

— Новая партия штурмовиков... — сказал Петя рассеянно, не думая о них. И когда я увидел их перламутровый блеск, я не утерпел и крикнул:

— Игнаша! Родной, я увижу тебя скоро!.. Ах, Петя, как это замечательно!..

Он медленно повернулся ко мне и посмотрел на меня грустно.

Мне стало стыдно своего счастья. Внезапная радость всегда лишает нас разума.

Расстались мы молча. Он слабо пожал мне руку и, не оглядываясь, пошел своей дорогой.

На бульваре меня поджидала Шура. Большие ее глаза смотрели мне навстречу пристально и нетерпеливо.

— Я вас провожу немножко, Николай Прокофьич, — сказала она, взглянув на меня вопросительно.

Мы некоторое время прошли молча.

— Вчера я получила записку от Миши. К нему меня не пустили.

Она вынула измятый клочок бумаги и прочла:

— «Не приходите ко мне больше, Шура, забудьте обо мне. Вы, конечно, будете этому рады. Но я с ума схожу. Я держу около себя тот стул, на котором вы сидели постоянно. Иногда мне кажется, что вы еще сидите на нем с книгой в руках, и я вижу ваше лицо и глаза, в которых светится ваша душа. Но... я предпочту скорее умереть, чем принять вашу жертву».

— Ну, что вы на это скажете, Николай Прокофьич?..

— А у вас-то самой, Шура, есть ответ?

Она вздохнула и подняла голову.

— Сейчас иду к нему. И никто меня не удержит. Я войду и сяду у его кровати. Он будет кричать и гнать меня, а я буду сидеть спокойно, смотреть на него и ждать. Я измучилась, Николай Прокофьич, но для этого последнего часа сил у меня хватит.

Лицо ее раскраснелось, и глаза лучились верой. Я уже по-родному любил ее — эту простую, горячую русскую девушку, жаждущую беззаветной любви и подвига. В ней я чувствовал что-то общее с моей Лизой.

17

От Лизы не было ни писем, ни ответа на телеграмму. И я опять начал нервничать. Я телеграфировал ей, что Игнаша жив и находится в госпитале и что на днях я поеду к нему в Казань.

Обидно, что отец не прислал мне за этот год ни одного письма. Впрочем, не удивительно — он вообще никому не писал никаких писем. О своем трудном

житье и работе он тем более не будет писать. Держать ручку или карандаш он не охотник. Это занятие он предоставляет Лизе и знает, что она напишет мне о нем все, что найдет нужным.

Испытание моего приспособления прошло блестяще, но никогда я еще так не волновался, как в эти минуты. В цех нагрянули все руководители завода во главе с Павлом Павловичем, Алексеем Михайловичем, главинжем и начальником конструкторского бюро Забываевым, седовласым молодым человеком, который привык смеяться при разговоре. Слушает он других серьезно, но когда отвечает или доказывает что-нибудь, обязательно смеется.

Первый подбежал к нам Забываев и сразу вцепился в прибор. Он начал вертеть его в руках и жадно осматривать со всех сторон.

— Любопытно, за-ни-ма-тель-но... — сиповатым тенорком бормотал он и смеялся. — Можно было бы приготовить изящнее и для глаза привлекательнее, но по простоте, по целесообразности и даже по примитивности — это творение природы...

И трудно было понять — восхищается ли он, или издевается над нашим изделием. Но Павел Павлович лукаво подмигнул нам и прикрикнул на Забываева с шутливым негодованием:

— Ну-ну, чего заграбастали! Вот завидущее бюро! Нечего чужими руками жар загребать — сами выдумайте!

Он выхватил прибор из рук Забываева и сразу стал серьезным, вдумчивым и строгим. Внимательно и неторопливо осмотрел он каждую деталь и соображал, как должна идти работа с помощью этого аппарата. Седов прислонился к Буеракову и даже приложился щекой к его шапке. Главинж, Владимир Евгеньевич, стоял неподвижно и смотрел на прибор бесстрастно. Но он успел уже раньше ознакомиться с ним и теперь как будто совсем им не интересовался. Откинувшись назад, Павел Павлович торжественно протянул Пете аппарат.

— Вручаю вам это творение природы и прошу вдохнуть в него душу.

Но Петя отступил на шаг и улыбнулся мне.

— Не по адресу, Павел Павлович: вот автор этого творения.

Я разгорячился.

— Это возмутительно, Петр Иваныч! Я такой же автор, как и ты.

Но прибор все-таки подхватил из рук директора и сердито перенес его на станок.

Седов улыбнулся про себя и хранил мудрое молчание.

Павел Павлович озадаченно поднял брови. Он обменялся с Седовым и главинжем лукавой переглядкой и развел руками.

— А все-таки кто же из вас автор-то? Ну-ка, разоблачайте друг друга!

Петя показал пальцем в мою сторону и засмеялся.

— Ну, конечно, он.

Я огрызнулся:

— Я в такой же степени, как и он.

Но Петя уже серьезно пояснил:

— Моя роль была скромной: я был только консультантом.

Седов усмехнулся, пожал плечами и обличил меня:

— Ну, чего прибедняешься, Николай Прокофьич! Ведь все же знают, что замысел и конструкция принадлежат тебе, что тебя все время била лихорадка. Знаем также, какие вы закадычные друзья с Петром Иванычем. Лучше начинай-ка работу — доставь нам удовольствие.

А я все же не мог успокоиться.

— Я вовсе не желаю, товарищи, чтобы Петр Иваныч из ложной скромности преуменьшал свою роль...

Петя опять засмеялся.

Все подошли близко к станку и стали пристально наблюдать за нашей установкой аппарата. Я включил мотор, и диск начал медленно вращаться. Я вставил в гнездо деталь, затем — другую, и так — по мере вращения диска — детали вставлялись в очередные гнезда, а первые детали обрабатывались набором фрезеров. Все молчали и пристально следили за движе-

нием маленького конвейера. Готовую сверкающую деталь я снял и передал Пете, а Петя — директору. Павел Павлович даже шапку задрал от удовольствия и, любуясь деталью, щелкал по ней пальцем.

— Хорошо, хорошо! Не придерешься.

Деталь пошла по рукам. Седов смотрел то на нее, то на меня и очень озабоченно размышлял над чем-то. Потом подошел к станку и несколько секунд наблюдал за работой конвейера и фрезеров. Рядом с ним встал и Павел Павлович, а Забываев даже низко наклонился над аппаратом.

— Сколько же ты думаешь дать за смену, Николай Прокофьич? — быстро повернувшись ко мне и улыбаясь, спросил Седов.

Все сгрудились вокруг нас с Петей и с нетерпеливым ожиданием следили за нашими лицами. Мы обменялись взглядом с Петей, и он с иронической скромностью потупился.

Я не сдержал счастливой улыбки, но ответил деловым тоном:

— Мы тут прикидывали с Петром Иванычем... Думаю, что норм сорок дать можно.

Седов пытливо оглядел меня, а Павел Павлович весело рассмеялся и размашисто написал пальцем в воздухе цифру «40». Седов громче, чем нужно, объявил, точно никто не слышал моего ответа:

— Товарищи, Николай Прокофьич обещает снять за смену сорок норм. Похлопаем ему?

Меня оглушили аплодисменты. Забываев хлопал особенно старательно. Я остановил мотор. Седов обнял и поцеловал меня.

— Николай, дорогой! Ведь то, что ты сделал, — замечательно. Этого же нигде нет в мире. Ах ты, милый мой друг!..

И сейчас же бросился к Пете.

— Спасибо, Петруша! Ты знаешь, как мы любим тебя и как ты нам дорог!

И совсем неожиданно, с юношеской теплотой, распахнулся:

— Ведь оба они — мои товарищи детства и молодости: вместе росли, вместе учились, вместе познавали

мир. И отцы наши были друзьями и товарищами по борьбе...

И в эту минуту он опять стал прежним Алешей, простым и скромным парнем с горячими глазами, которые смущали девушек. Вспыхнули в памяти наши домашние вечера, споры, гулянье на островах, катанье по Неве... Родная Нева, прекрасная река моей жизни!..

Павел Павлович положил деталь на стол, вынул платок, сорвал шапку и вытер лоб. Всматриваясь в меня с лукавой прищуркой и покачивая головой, он хотел спрятать платок, но спохватился и вытер глаза.

— Крепкая голова, драгоценная, Николай Прокофьич! Теперь я, как никогда, уверен, что знамя Комитета Обороны — за нами... На этих днях лечу в Москву и доложу о наших чудесах.

И мне и Пете он крепко пожал руки. А Петя смотрел и на него и на Седова недоумевающими глазами и смущенно бормотал:

— Напрасно вы, честное слово... Чем же я-то виноват в этом событии?

В тот же день я опять стал на трудовую вахту. Когда я настраивал станок, около меня собралась толпа рабочих. Вася толкался у станка и ласковыми пальцами трогал и гладил все части аппарата. Яков и Митя не подходили близко, молча смотрели издали с благоговейным уважением. Чертаков, который стоял на этой детали, все время смущенно посмеивался.

А перед самым пуском станка он, потный и растерянный, спросил хмуро:

— Сколько же ты, Шаронов, выжмешь из этой черепахи?

Вася насмешливо поправил его:

— Это, брат, не черепаха, а многоголовая гидра. Всю твою сменную продукцию схапает одним глотком.

Но Чертаков оттолкнул его и со злой настойчивостью переспросил:

— Все-таки спрашиваю, сколько выжмешь за смену, Шаронов?

Я дружески улыбнулся ему и скромно ответил:

— Сорок норм, родной. А может быть, и все пятьдесят.

— Верю. Шаронов не врет. Значит, эта гидра будет и у меня.

Он обвел всех торжествующим взглядом, щелкнул пальцами и, решительно расталкивая людей, пошел на свое место.

Вася подмигнул ему вслед и покрутил пальцем у сердца.

Толпа разошлась неохотно. Кое-кто подходил ко мне и пожимал руку.

— С добрым почином, Николай Прокофьич!.. Самой тебе максимальной удачи!

Я не буду рассказывать, как провел я свою вахту: повторилось почти то же самое, как и на вахте с первым приспособлением. Конвейер работал почти автоматически, только приходилось внимательно следить за подачей подслок да снимать готовые детали. На станке могли работать даже подростки. Приходил Седов с бессонными глазами, приходил директор, и оба смотрели на мою работу с тревогой и волнением. Я знал, что их тревога и волнение не оттого, что они опасались за успех дела, а от нетерпеливого ожидания результата моей работы. Посетил меня даже и главинж Владимир Евгеньевич. Он молча и как будто равнодушно постоял около меня и, уходя, сухо сообщил:

— Мы рассматриваем это как большое событие на заводе. товарищ Шаронов. Вы и Полынцев достойны самой высокой награды.

18

Вася и Яков переживали в эти дни горячку: оба они старались перещеголять друг друга в усовершенствованиях своих станков. Яков все время громко разговаривал с фрезерами и с инструментами. К его оживленной беседе с механизмами и вещами

привыкли, но иногда посмеивались, слушая его разговор, а Вася громко подтрунивал над ним:

— Тебе бы, Яша, нянькой надо быть... ну в детсаде, что ли. Зря пропадает талант. Ты хоть рассказал бы нам, о чем поют тебе твои приспособления.

Но Яков не обращал на него внимания, да едва ли и слышал его голос. Во время работы он забывал обо всем. Среди гула и рокота машин я иногда ловил его говорок:

— Ну-ну, братишка, забирай! Покрепче... посмелее!.. Ага, дрожишь, робеешь, стервец!.. Ничего, привыкнешь... А ты не суйся, пятерня, когда нет нужды!.. И ты не злись... не фыркай и не плюйся! Ишь разбушевался, зубастый!.. За ритмом следи, Яков Федорыч!..

И его голос звучал и строго, и нежно, и ласково, и сердито.

Большим событием для завода была телеграмма Верховного командования. Оно благодарило нас за выпуск боевых машин сверх плана, поздравляло с победой и призывало к еще большему напряжению сил для помощи фронту. Эта телеграмма была в ответ на рапорт завода о перевыполнении программы. Во всех цехах происходили стихийные митинги.

К нам пришел Алеша Седов и прочел телеграмму в мегафон. По всему пространству цеха гремел взволнованный голос Седова, а в ответ шквалами забушевали аплодисменты. Как-то само собой случилось, что часть рабочих хлынула к Алеше, а со всех сторон, и близко и далеко, надсадно закричали голоса. Они что-то требовали, но я не мог понять, в чем дело. У молодых и пожилых рабочих, которые подбегали к Седову, горели глаза, а лица были бледные. Все нетерпеливо поднимали руки и требовали слова. В это время около Седова очутился Вася и поднял обе руки. Похудевший от волнения, он крикнул, подчеркивая каждое слово:

— Товарищи, вы все сейчас готовы дать разные обязательства, и обязательства эти выполните, конечно. Но у нас у всех есть одно общее обязательство. Не будем терять времени: оно дорого для нас.

Предлагаю прервать работу ровно на пять минут и дать торжественную клятву родине...

Как морской прибой, загремели аплодисменты и дружные голоса:

— Клятву, клятву!.. По местам!.. К станкам, товарищи!..

Седов взмахивал рукой и говорил что-то, но его не слушали. Все побежали обратно к своим станкам, махая руками и перекликаясь. Вася подошел ко мне и схватил меня за плечо:

— Пиши текст клятвы, Коля! Живо! Несколько строк — не больше... Но чтобы крепко и ударно.

Алеша стоял в стороне, встревоженный, смущенно улыбаясь. Таким я его видел очень редко. К нему торопливо подошел Петя и спросил у него что-то. Алеша подал ему телеграмму.

Я быстро написал карандашом две-три строки и остановился: слова горели в мозгу, но не могли вырваться на бумагу — их было много, они толпились, ослепляли, обжигали меня... Вася наклонился над бумажкой, нетерпеливо читал написанные строки и сам бессильно путался в трудных, цветистых словах.

— Ну, пиши же, наконец, Колька! Ты же литератор... Время-то не ждет...

У меня дрожали руки, и я леденел от отчаяния, что нужных слов не нахожу в этот решительный момент. К нам присоединился Петя и вдруг спокойно подсказал эти слова.

Шум моторов и грохот металла, хрипенье электродов электросварки и говор людей стали быстро потухать, и тишина, как огромная тень, начала надвигаться на нас со всех сторон. Большая толпа в несколько секунд окружила нас плотной стеной. Парни, девушки, пожилые рабочие и даже ребятишки смотрели на нас с пристальной готовностью. Слышно было только, как капала где-то вода, как осторожно переступали люди с ноги на ногу. В этом безмолвии было что-то огромное — какая-то непередаваемая сила. Кто-то закашлял, кто-то неосторожно перекинулся словами с соседом, засмеялся какой-то парнишка. На них зашикали. Я ощутил что-то вроде дрожи во всем

теле. Вася выдвинулся вперед и сказал вздрагивающим голосом:

— Товарищи, принесем клятву! Пусть наш уважаемый товарищ... товарищ Шаронов... будет говорить слова этой клятвы, а мы каждый повторим ее слово в слово...

Все в безмолвии устремили на меня глаза, и я увидел в этих истовых и строгих лицах (даже мальчишки ежились в ознобе) трепет от ощущения необыкновенного события. Я снял кепку, и все в тот же момент обнажили головы. Дрожащей рукой я поднял бумажку и, задыхаясь, произнес первое слово:

— Клянусь...

И все гулко разноголосо повторили:

— Клянусь...

И это слово пронеслось по цеху волною откликов.

Я произнес дальше:

— ...все свои силы... не жалея себя... полностью отдать... напряженной работе... на вооружение Красной Армии... для скорейшего разгрома... кровавого врага...

Глухой многолюдный хор голосов сотрясал воздух и раскатывался по цеху. Казалось, что и станки, и нагромождения металла, и штабели пушечных стволов, и пронзительные огни электрических лампочек напряженно вслушивались в каждое слово и повторяли его вместе с людьми. Душа наполнялась восторгом и огромной верой в свои силы, и с каждым вздохом грудь дрожала от порыва совершить что-то большое. И я видел, что все, от подростка до старика, переживали то же самое. В эти короткие минуты люди забывали о своих личных заботах, о своих семьях, о том, чем они жили за пределами завода и своего цеха.

— ...Клянусь... ежедневно, ежечасно, без устали... увеличивать во много раз... выработку оружия и боевых машин... бороться за новые методы труда... помогать отстающим... Клянусь... быть таким же беззаветным воином в тылу... как самоотверженный боец... на поле сражения... в беспощадной борьбе с врагами...

Я кончил и, не отрываясь, всматривался в лица людей: они были торжественно-строгие, озаренные внутренним светом. Сейчас все мы были готовы без раздумья броситься на любую борьбу, на любые жертвы и, не жалея жизни, совершать любые подвиги.

Вася взмахнул рукой и с улыбкой крикнул:

— А теперь к станкам, товарищи! Пожелаем друг другу успехов... Пусть горит эта клятва в наших сердцах постоянно!

Все молчаливо, с сосредоточенными лицами стали расходиться по своим местам.

Через минуту цех опять запел моторами, залязгал металлом, и опять засверкали молнии и зазвонил колокол электрического крана.

Алеша и Петя ушли незаметно.

19

В госпитале меня с живым любопытством встретили раненые в стеганых куртках, с костылями, с палками, с забинтованными руками. Я оставил свой чемоданчик в раздевалке, снял пальто, и гостеприимные бойцы повели меня, стуча костылями, куда-то в глубь коридора. Ребята, должно быть, рады были свежему человеку и расспрашивали меня, откуда я, к кому, почему с чемоданом.

Навстречу нам шла, вся в белом, высокая, чернобровая, чем-то взволнованная сестра.

— Вам Шаронова? — переспросила она, осматривая меня с тревожным раздумьем. — Не знаю уж как... Он недавно прибыл. Состояние у него не из важных... Без разрешения врача как-то... А впрочем...

Мы пошли по коридору и через вестибюль углубились в другой коридор. В конце его сестра отворила стеклянную дверь и первая вошла в палату. Комната была белая, светлая: в огромные окна било золотое солнце. Вдоль стен стояли кровати. Больные встретили нас без всякого любопытства. Они лежали не шевелясь, бледные, худые, изнуренные своими

ранами. Сестра подошла к одной кровати направо и, беспокойно оглянувшись, приложила палец ко рту. В палате была тишина и сдержанное покряхтывание. Я стал рядом с сестрой и обомлел. На меня смотрели в упор, не моргая, глаза слепого. Лицо было незнакомое — багрово-красное, в рубцах и болячках. Что-то было общее с Игнашей, но это был не Игнаша. Он улыбнулся далекой улыбкой, но глаза были неживые.

— Сестрица, вы... привели кого-то? Кто это?.. Ну-ка, подождите, подождите...

И он протянул ко мне руку, сосредоточенно думая и прислушиваясь. Этот родной голос, который не угасал у меня в душе, потряс меня до того, что я не мог стоять на ногах. Я рванулся к его койке и упал на колени.

— Игнаша! Родной мой... Я — здесь, у тебя... Милый, что же это с тобой?.. Ты не видишь меня...

— Коля! Коленька!.. — крикнул он, как мальчик, и обхватил мою шею. — Братушка, радость моя!..

Мы смеялись, всхлипывали и не могли оторваться друг от друга.

— Игнаша, милый, ты не знаешь, что я пережил!.. Ведь я был убежден, что ты погиб... И не утешал себя надеждами. И вдруг — твоя телеграмма...

— Ох, все было, Коленька... чего только не было!.. И горел, и камнем летел вниз, и от немцев удирал, и слепой по лесам и полям рыскал... А вот живу, радуюсь...

— Но как же? Игнаша! С глазами-то как же? Неужели навсегда?..

И я опять услышал его жизнерадостный крик:

— Ничего, ничего, Коленька!.. Как-нибудь выберусь... Я от немцев удрал, от огня отбился, в лесу не замерз... а уж слепым-то не останусь... Нет, Коля, нет!.. Но... но пока... пока — тьма...

Сестра погладила по русым кудрям Игнашу и с нежностью в голосе сказала:

— Нет, вы обязательно... непременно будете видеть. Доктор убежден, что зрение скоро восстановится. Это — временно... Вы увидите весну, солнышко, цветы, нашу Волгу...

Она принесла стул и даже взяла меня под мышки, чтобы усадить рядом с Игнашей. Ее хорошие глаза, еще темные от слез, ободряюще улыбались. Губы у нее вспухли от волнения, как у девочки. Она опять погладила волосы Игнаши и той же ласковой рукой провела по моему плечу. Потом с сожалением оставила нас и склонилась над соседней кроватью.

— Но как же это случилось, Игнаша? Может быть, тебе нельзя говорить? Тогда не надо...

— Нет, почему же? Я ведь сейчас здоров, Коля. Только вот еще немного кровоточат ноги... пальцы отморозил... Ну, да ведь это — пустяки. А случилось просто: штурмовали скопление войск, эшелоны, аэродром. Ну и, конечно, схватка в воздухе... Это был очень горячий бой... Я сбил два самолета, но тут же и меня подсекли. Загорелся бензобак... Ну, а это, знаешь, дело дрянь: огнем охватило весь самолет. Я пошел в штопор. Ну, думаю, конец! Уже поджаривать меня стало. Потом разъярился: нет, думаю, еще поборюсь. Не знаю уж, каким чудом выправил машину и понесся к своим линиям. Вижу, не дотяну. Уже одежда стала дымить. А тут, кстати, лесок. Сумерки. Грохнулся я на одну полянку и даже удивился, как это у меня здорово вышло. Врезался в кусты. Машина ревет и стонет от огня — пылает забористо так, весело... Признаюсь: сгоряча и не почувствовал даже, как меня поджарило. Выскочил и — в кусты, в лес, во тьму. Слышу — позади выстрелы... Я — в сторону и — во все лопатки... Так я, как зверь, метался, запутывая следы. Снег, дремучие заросли... Потом с разбегу кувырнулся куда-то в пропасть: глубокий овраг. Он-то меня, пожалуй, и спас от немцев...

...По дну этого оврага Игнаша по пояс в снегу бежал с полверсты, скрываясь в мелколесье, и очутился в долинке. Лесок там был пореже. Он вышел на санную дорогу и побежал по ней не вниз, а вверх: внизу, несомненно, была деревня, а там — немцы. Вверху рос густой лес. Он догадался бежать именно по дороге, а не по целине, чтобы погоня потеряла его следы. Сумерки здесь были гуще, а лесная заросль чернела ночью. Внезапно он увидел две дорожки, которые

уходили развилкой от санного пути вправо, в гору, в чащу леса. Он вскарабкался по одной из этих дорожек наверх и прислушался. Верно: внизу — топот, голоса, выстрелы... Очень хорошо было слышно, как немцы побежали куда-то вниз, и голоса их и скрип снега под ногами замирали с каждой секундой. Игнаша опять побежал вперед и углубился в самую непроходимую чащобу. И вдруг окутала его тьма — такая тьма, какой еще никогда в жизни не знал. И он сразу понял, что ослеп. Понял и весь похолодел. Такого ужаса и безнадежности он не испытал даже в тот момент, когда штопором летел вниз на горящей машине. Он упал в снег и замер в отчаянии. Черная тьма без измерений, и он один в этой тьме, и нет никаких путей: всюду — бездонная пустота. Так пролежал он, должно быть, долго, потому что почувствовал, что стал замерзать. И тут он опять забунтовал: «Пока живой, пока голова на плечах, до последнего вздоха буду бороться за жизнь...»

Рассказывая, он держал мою руку и пожимал мне пальцы. Рука его исполосована была красными рубцами. Он улыбался, как улыбаются слепые — и самому себе и куда-то вдаль.

Он замолчал в задумчивом ожидании. Подчиняясь этой его молчаливой, мерцающей улыбке, я сам молчал и даже дышал сдержанно.

Не оборачиваясь ко мне, он спросил:

— Ну, а ты... ты, Коля, как жил?.. Как боролся? Ты расскажи. У тебя ведь сейчас богатая жизнь... Я тут слушал радио: у тебя какие-то большие победы...

— Но как же ты спасся, Игнаша? Ведь был в ловушке: и немцы кругом, и эта страшная тьма... Я не могу этого представить...

Он сконфуженно засмеялся, и этот смех был какой-то новый, едва слышный, смех про себя.

— Понимаешь, Коля... я как-то сам удивляюсь... Знаю, что ползу куда-то вперед, и знаю, что ползу туда, куда надо... Возможно, что у меня в этот момент проснулся направляющий инстинкт. И другой инстинкт — инстинкт маскировки: при каждом подо-

зрительном шорохе или когда мерещились голоса и шум, я мгновенно зарывался в снег и лежал без движения. Так я полз, вероятно, целые сутки. Я на расстоянии чувствовал открытое поле и забирался глубже в лес. Боль в ногах сначала была нестерпимая, а потом потухла. Понял, что пальцы отморозил. Руки я все время снегом растирал, хотя ожоги очень мучили меня. Наконец слышу: человек с собакой разговаривает. Не разберу: свой ли, враг ли. Вынул я револьвер — приготовился. Можешь представить, Коля, что я переживал в те минуты... Жду и готов и к жизни, и к смерти...

Он опять примолк, улыбаясь странной улыбкой. Потом засмеялся едва слышно, про себя.

— Бывают в жизни этакие мгновения... мгновения нечеловеческие... это — ужас... в лесу, когда ты — зверь в облаве. А человеческое, мое, — это когда воля моя побеждает всё, — воля, как сила моей идеи... И тогда — ни страха, ни ужаса... И вообще, Коля, в жизни ничего нет страшного, ничего... когда я — владыка самого себя, то есть когда я охвачен сознанием и целью... хотя бы подо мною — бездна, а впереди, и вверху, назади — враги... Летчики — немного философы...

— Ну, так что же дальше, Игнаша? — с дрожью в голосе понудил я его, наклоняясь к его лицу. Ужас, который так просто передал Игнаша, схватил и меня за сердце. — Но, может быть, тебе, милый, трудно рассказывать?.. Может быть, это тебя волнует?..

Рубцы и шрамы на лице задрожали и растаяли. Он улыбался.

— Честное слово, Коля, в жизни ужасное и смешное — неразделимы. Говорят: от трагического до смешного — один шаг. Нет, и трагическое и смешное — это одно и то же: с какой стороны посмотреть. Слышу: подбегает собака, обнюхивает меня, мечется, тявкает как-то по-щенячьи — не то от радости, что нашла добычу, не то от нетерпенья, что хозяин опаздывает. То отбежит назад, то опять обнюхивает и храпит. Чую, бежит человек и тоже храпит. Я кричу ему: «Говори сразу—кто!» Человек остановился и спокойно, низким

басом гудит: «Свой, свой, не бойся!..» Собака уже не лает, а повизгивает. Я не двигаюсь с места и настороженно спрашиваю: «А чем вы докажете, что — свой?» Он смеется и басит: «А ничем, как и вы. Однако я знаю, что вы — наш». — «Да меня, говорю, по обмундированию можно видеть, кто я». — «Ну, говорит, обмундирование — это липа: немцы тоже здорово умеют маскироваться под русских. А сейчас густая ночь: ни черта не видно». — «Ну, так вот, говорю, товарищ, я ослеп, горел вместе с самолетом, бежал от немцев... полз, кажется, целую вечность. Обморозился, да и страшные ожоги. У меня револьвер, но пока я вам его не отдам... для всякого случая». Он опять смеется. «Что ж, говорит, пожалуйста, не отдавайте. У меня у самого — автомат и гранаты». — «А вы кто?» — спрашиваю. «А тут, говорит, недалеко партизаны. Я из отряда. В разведке. Совсем рядышком, говорит, у нас избушка. Услышал, что собака забеспокоилась, ну я и пошел за ней. Только собака у нас ученая: на немцев не лает, молчком ведет. А ежели русского чует — кричит и танцует. А теперь давайте руку — и я поведу вас к себе в гости: и перевязочку сделаем, и накормим, и поухаживаем, а потом видно будет». Вот тебе, Коленька, и повесть о моих блужданиях между жизнью и смертью...

— Ну, а где ты узнал, Игнаша, что ты Герой Советского Союза?

— Да, да... Так это — правда?.. Колька!.. Мне вчера комиссар сказал, да я как-то не совсем поверил... Сестрица Лида? Где же газета?..

Он сел на кровати, сбросил с себя одеяло и спустил забинтованные ноги на пол. Лицо его стало сизым от прилива крови, и глаза его вдруг вспыхнули, как у зрячего:

— Подожди, Коленька!.. Даже искры в глазах.

Он заметался, схватился за голову, упал на подушку, потом вскочил, засмеялся, и глаза его залились слезами.

Я обнял его и, целуя, уложил на кровать.

— Успокойся, родной! Конечно, ты будешь видеть... ты успокойся! Полежи, отдохни...

К нам подбежала сестра и вынула из кармана газету.

— Вот, вот, Игнатий Прокофьич!.. И портрет ваш здесь.

Игнаша схватил газету и пощупал ее пальцами.

— В каком месте?.. Положите мою руку!.. Вот здесь?.. Прочти, Коля!..

Я прочел ему текст указа, а он, потрясенный, смотрел куда-то вдаль и смеялся.

— Это... это большое счастье!.. Колька, понимаешь ли ты, какое это счастье?.. Лида, сестра! Мне кажется, что в глазах у меня радужные вихри... Пусть это воспоминание об угасшем свете... но это — реальность.

Сестра склонилась над ним, поправила его волосы и стала ласково успокаивать его. Игнаша взял ее руку и положил себе на грудь.

— Вот и хорошо, что вы счастливы, Игнатий Прокофьич. Я так рада!..

— Видишь, Коленька, какая она славная? Вот она положила мне руку на грудь, и я чувствую, как струится из этой милой ее руки нежная теплота...

Сестра мигнула мне, что нужно оставить его одного. Я положил руку на его волосы и сказал ему тихо, как ребенку, что приду к нему завтра, а теперь мне надо похлопотать о пристанище.

— Иди, иди, дорогой, конечно!.. — встревожился он и протянул мне руки.

Я ушел от него в слезах и слез своих не стыдился. На меня смотрели раненые без всякого удивления и провожали, дружески улыбаясь.

В этот день мне не удалось увидеть начальника госпиталя — врача, чтобы поговорить с ним об Игнаше: он был занят какими-то сложными операциями. Я зашел к комиссару. Встретил меня чисто выбритый молодой капитан и гостеприимно угостил кофе с молоком и с белой булочкой. Бледное суховатое лицо его с тонким носом и огромными очками все время улыбалось. Он участливо поинтересовался, где я устроился, надолго ли приехал к брату, не может ли он чем-нибудь помочь мне. Держал он себя как-то

беспокойно: то вставал со стула, то садился и что-то искал по карманам.

— Скажите, — спросил я его, — почему вы только вчера сообщили брату о том, что он Герой Советского Союза?

Он изумленно поднял брови, потом пошевелил ими озадаченно и наконец сдвинул их в раздумье.

— Видите ли, какая штука... С одной стороны, можно ли удержать в памяти огромное количество награжденных, с другой — он доставлен в тяжелом состоянии. Кроме того, он и сам мог знать об этом. Просматривая комплекты газет, мы натолкнулись на его фамилию. Я поздравил его, но он — представьте! —не поверил: вероятно, подумал, что шутка. Потребовал газету.

— А долго вы думаете держать его в госпитале?

— Ну, это неизвестно. Полежит. До лета, думаю, продержим его здесь. Плохо с ногами. Плеврит.

— А зрение?

Комиссар надавил бровями на глаза, и улыбка стала у него недовольной и неискренней.

— Это — не в моей компетенции. Побеседуйте с начальником госпиталя: он в курсе дела.

Он встал и глянул на часы.

— Завтречка зайдите к нему этак вечерком. Он человек резковатый, но прямой. Я постараюсь предупредить его сегодня.

Он задал мне несколько вопросов о моей работе и сказал, вздыхая:

— Вот и у нас... тяжелые, очень тяжелые обязанности. Здесь человек как будто весь оголен: сколько страданий и трагедий!.. и сколько великих душ... простых и незаметных для многих!.. Ваш брат — один из них... один из тех, кто не замечает своего величия...

20

На другой день утром, когда я вошел в палату, Игнаша в голубом халате и туфлях, которые едва держались на забинтованных ногах, стоял около своей

койки у двери, как будто пытался выйти в коридор. Он улыбался прежней ласковой улыбкой, но в глазах его трепетал радостно-детский восторг и сосредоточенное напряжение.

Кто-то из больных предупредил его:

— Шаронов, брат пришел.

Но он уже протягивал навстречу мне руку.

— Я знаю... Я еще издали почувствовал... Мне кажется, Коля, что я вижу твою тень...

Мы поцеловались.

— Ну как себя чувствуешь, Игнаша?

— Хорошо, Коля, превосходно!.. — Он засмеялся. — Ты понимаешь, я вижу, как туманятся окна... Рассвет, братуха, рассвет!.. Но придет и настоящий день... А я вот хожу... самостоятельно: прошел к окну, на его голубую зарю, а потом — сюда, к двери. Там — свет, как облако, а тут — тьма. Замечательно! Возьми меня под руки, и мы с тобой пройдемся по коридору... Как мне надоело лежать!.. Тоскую по самолету, по товарищам... Ты им сейчас напиши письмишко... Буду опять летать, Коля... опять летать!.. О, я еще покажу этим фашистским разбойникам... я им сумею отомстить... страшно отомщу за эти три месяца...

Мы вышли в коридор и медленно зашагали в сумеречную его даль. Он сжимал мою руку, и я чувствовал, как струится с его пальцев нервная дрожь: он был счастлив, что я был около него, и эта трепетная теплота лучше всяких слов говорила о его любви ко мне. А у меня подступала судорожная спазма к горлу, и я долго не мог произнести ни слова. Он это чувствовал и крепче прижимал к себе мою руку.

— Ты мне расскажи, Коля, как ты боролся и побеждал. Я ведь очень горжусь тобою... Я знал заранее, что ты сделаешь что-то замечательное — не мог не сделать... Помнишь, как наш старик хвастался: «Шароновы — все с талантами!..» Для него мерило таланта — любовь к труду.

— Это при тебе еще он танки под огнем ремонтировал, Игнаша?

— О, папашка не сдаст! Ты ведь знаешь его: умрет он в цеху, а не дома. Доблестно умрет. Пройдем

с тобой в красный уголок: это — здесь, где-то в конце коридора. Ты мне прочтешь письмо Лизы. А пока расскажи, как вы работаете на Урале...

Я коротко рассказал ему о том, как мы сопровождали наш эшелон, как нас бомбили, как погибла дочка Пети, как заболела Наташа, как монтировали завод и как я оснащал свой станок.

— Славный Петя! — вздохнул Игнаша и крепко сжал мои пальцы. — Ты его не оставляй, Коля... Ведь этот удар — на всю жизнь.

Навстречу нам прыгали на костылях молодые ребята. Они оживленно разговаривали, шутили, смеялись.

Мы вошли в светлую комнату с длинным столом посредине, на котором стояли цветы в плошках. Игнаша опять заликовал:

— Понимаешь, этот рассвет... такой голубой разлив...

В комнате сидел, закрывшись газетой, больной в халате. Он так углубился в чтение, что не обратил на нас внимания. Но когда мы сели к столу, дверь открылась, и сестра Лида, приветственно улыбнувшись мне, вызвала из комнаты раненого.

— Скоро... очень скоро, Коля, я опять взовьюсь в небеса... Я приеду к тебе на завод и опять увижу тебя, Петю, Алешу, ленинградцев... Вы приготовьте мне добротный самолет.

— Обязательно приготовим, Игнаша... Специально для тебя приготовим...

— Ну вот и хорошо! Я поведу его прямо в Ленинград... Я ворвусь к Лизе и крикну: вот и я, Лиза! Горел и возродился, как феникс из пепла!

— Она, Игнаша, приедет сюда, ко мне: я поторопил ее молнией.

Он отшатнулся от меня в изумлении.

— Лиза? Сюда? Из Ленинграда?.. Колька, да ты с ума сошел... Теперь? В эти дни?.. За кого же ты ее принимаешь?

Но вдруг запнулся и замолк: должно быть, почувствовал, как я вздрогнул от его слов. Мне было больно слушать его, но что я мог возразить против

правды? Ведь в письмах своих Лиза не обронила ни одного намека на желание приехать ко мне. Наоборот, каждая строка ее писем звенела гордостью за Ленинград, за людей родного города, за себя. Она тоскует обо мне, ей хочется чувствовать себя рядом со мною, но у нее и в мыслях не было оставить израненный город ради меня. И я только в этот миг понял, как я был слеп, мечтая о скором ее приезде. Лиза не ответила на телеграммы, не ответит и на письма. Конечно, Ленинград — это личная ее судьба, это вопрос жизни и смерти. Разве она может вырвать себя из него? Ведь и я, и Игнаша, и мои старики, и все те, кто борется там, — это душа великого города. Я поступил бы так же, как и Лиза. Я дрался бы там и в окопах, и в цехе со всем пылом моего сердца.

Игнаша погладил меня по плечу и смущенно проговорил:

— Ты извини меня, Коля... Я огорчил тебя... Но, милый братуха, я был бы счастлив, если бы сложилось так, как ты хочешь.

Я поспешил успокоить его.

— Не волнуйся, Игнаша... Конечно, Лиза не уедет из Ленинграда. Будем каждый бороться на своих позициях.

Он схватил мою руку и сжал до боли.

— Да, да, Коля... пусть тяжко, но будем бороться, как велит необходимость... В этом — наш долг и наше счастье... А я... нет, я неспроста остался жить: я нужен родине, и она охранила меня от гибели... У меня отморожены пальцы на ногах, но они заживают, лицо обожжено и обморожено, но это сойдет как дым... А самое главное, Коля, — это рассвет в глазах... Если бы ты знал, как я счастлив! Скоро я увижу солнце... Я приеду к тебе на завод и сам поведу свеженький штурмовик... Орлом прилечу на свой аэродром... и обниму всех своих товарищей...

— Ну, буду ждать тебя, Игнаша, с нетерпением, — сказал я, заражаясь его счастьем. — Ты знаешь, какой это для нас будет праздник!.. Машина тебе обеспечена.

Он бросился мне на шею и засмеялся.

— Как мы с тобой говорим, Коля! Какие у нас праздничные слова!.. Горячая мечта и вера всегда поднимают выше обыденной жизни. А теперь пиши, Коленька, моим друзьям.

И он продиктовал мне короткое, но горячее письмо.

Мы опять пошли с ним по коридорам к его палате. Шагал он осторожно: должно быть, раны на ногах не зажили, но шел не так, как ходят слепые, он не опирался на мою руку (у слепых даже и руки слепые — тяжелые), он сам направлялся к далекому сиянию окна и повторял с наивным удивлением:

— Ведь это там окно?.. Понимаешь, как волны... такие странные, голубые и оранжевые. Как хочется, чтобы эти волны прошли... чтобы этот туман рассеялся!..

Он остановился и тревожно спросил:

— Но когда же ты уезжаешь от меня, Коля?

Я осторожно и с сожалением ответил:

— Мне, Игнаша, надо возвращаться. Ты знаешь, что у меня не должно быть прогулов... — и пошутил: — Надо ехать, чтобы приготовить тебе отличный самолет.

— Да, да, поезжай, Коля! Ты — на поле боя... Мне тяжко сейчас расставаться с тобой, но самолет, самолет!.. Я буду мечтать о нем и о тебе каждый день.

Днем я съездил на аэродром. Бравый начальник, предупрежденный Павлом Павловичем, принял меня, как знакомого. Кряхтя и поеживаясь, он сердито посмотрел на меня из-под козырька фуражки и подумал над чем-то, постукивая пальцами по столу.

— Хорошо. Выкрою для вас место. Полетите.

И быстро выбежал из комнаты.

Вечером седовласый врач, с жидкой бородкой, с колючими серыми глазами, встретил меня в своем кабинете молча, только ткнул карандашом в сторону стула. Около него, у стола, стояла пожилая полная сестра с обвислыми щеками. Он сердито написал что-то на бланке, сунул ей еще несколько бумажек и вопросительно вскинул на меня остренький взгляд.

— Я брат раненого летчика Шаронова, — начал я. — Мне хотелось бы побеседовать с вами...

Он бесцеремонно перебил меня:

— Да, хотите узнать, будет ли он видеть?

Он замолчал, опустил глаза на свои волосатые руки, подумал немного и грубовато сказал:

— Повезло ему здорово: огромного духа человек. На его месте другой сюда не добрался бы. Была гангрена на ногах — сбили. Ожоги тела — исцелился. А теперь глаза.

— Вы знаете, доктор, — нетерпеливо перебил я его и даже встал от возбуждения, — вы знаете, что он видит?

Он показал мне рукою на стул и с простецкой фамильярностью оборвал меня:

— Сядьте, пожалуйста! Видит... пока еще ничего не видит.

— Но он видит мутное пятно окна и даже идет на него. Это же не галлюцинация?

Он опять воткнул в меня свои колючие глаза.

— А кто вам говорит, что галлюцинация? Я говорю только, что затяжное дело. С одной стороны — контузия. Это — временно. С другой — ожоги. Это — скверно.

— Но вы мне скажите, доктор, только одно слово: будет он видеть или нет?

У него подобрели глаза, и он ответил мягко и задумчиво:

— Будем надеяться, будем надеяться...

И сердито посоветовал мне:

— Больше к нему на заходите, а то испортите всю музыку. Такие люди, как он, очень чутки.

— Я уже простился с ним, доктор.

— Вот и отлично. Могучий организм... удивительная сила воли!..

Я вышел от него очень встревоженный. А ночью на аэродроме бродил по поселку до изнеможения, возвращался в комнату для отдыха, ложился, опять вскакивал и снова выбегал на улицу. Игнаша преследовал меня своей улыбкой слепого.

21

Утро было яркое, прозрачное, солнечное. Как-то странно и непривычно колыхалась в воздушной бездне белая земля, уплывали, мерцая, кучи домов, уродливо скособоченных, и заводские корпуса, такие же карликовые, как на рельефном плане. Не успел я осмотреться, как город вдруг исчез и мы очутились над пустынными дебрями лесов. Мне показалось, что мы стремительно падаем вниз, потому что голые леса и черно-сизые шапки сосен быстро приближались к нам и сугробы снега волнами плыли под самолетом. Потом сразу же и снег и леса ухали в глубину, и мне чудилось, что мы бурным порывом взмываем ввысь. И я тут же понял, что самолет летит ровно, по прямой воздушной линии, а холмы то поднимались своими склонами, то опускались в долины. Пропеллеры ревели ураганом, до щекотки в ушах, и самолет дрожал струнной дрожью.

В самолете сидело человек двенадцать — больше военные, молодые командиры. Кресел на левой стороне не было: там один на другом стояли маленькие ящики, посередине тоже были ящики — длинные и большие. На них сидели командиры, а в креслах направо уютно устроились работники наркоматов. Экипаж в пять человек находился в кабине летчика, и, когда отворялась дверь и оттуда выходили молодые ребята в мешковатых синих комбинезонах и очкастых шлемах, я видел спину пилота в кожаном пальто. Командиры сидели по двое, по трое и, жестикулируя, оживленно разговаривали и смеялись, но ни смеха, ни разговора их не было слышно. В окно видно было серо-зеленое крыло в рваных дырках, пробитое, должно быть, осколками зенитных снарядов. Я не отрываясь смотрел в окно и видел плывущие и колыхающиеся взгорья, покрытые снегом и густой зарослью лесов. Они казались коричнево-сизыми кустарниками. Когда горбы холмов приближались к самолету, совсем рядом тянулись к нам стройные березы с отчетливо разрисованной белой корой. Ощущение страшной высоты вы-

зывало в сердце тоскливое замирание, странную боль в голове. Часто тошнотная судорога сжимала внутренности. Молодые командиры чувствовали себя превосходно: видно было, что они возбуждены и им хотелось петь песни. Двое из них, более пожилые и почему-то сердитые, играли в шахматы. Наблюдая за ними, я заметил широкое отверстие в крыше, из которого падал яркий свет. Я поднялся со своего сидения и посмотрел вверх: там был просторный стеклянный колпак, и в светлом гнезде — пулемет с задранным дулом.

Мимо начали проноситься клочья тумана. Мы разрезали их, ныряли в их пушисто-белую муть и опять вылетали в солнечно-голубой простор. Потом туман стал налетать сплошными шквалами, и крылья самолета исчезали из глаз. Окно неощутимо сливалось с непроглядно-серой тьмой. Тошнотное замирание внутри стало чаще и мучительнее. Уже ясно чувствовал я, как самолет стремительно падал в пропасть, и я инстинктивно хватался за ручки кресла и закрывал глаза. Секунды через две он упруго вздрагивал, шарахался в сторону, тревожно рявкал, и я вдавливался в кресло: должно быть, он поднимался ввысь. И вдруг опять сияло солнце, и недалеко внизу сплошными сугробами, лохматой пучиной плыли облака. Это было сплошное золотое море, которое бушевало без конца и края. Небо вверху было голубое и ласковое. Синяя тень нашего самолета со страшной быстротой скользила по кудрявым волнам блистающего моря облаков — изгибалась, прыгала, ломалась, взмахивала крылами, как чудовищная птица. Словно зачарованный, смотрел я на этот необъятный океан, пылающий ослепительным пламенем.

Так летели мы долго, и я незаметно задремал, утомленный клокочущим сиянием внизу и гнетущим ревом пропеллеров. Я уселся глубже в кресло, вытянул ноги и прислонил голову к стенке.

Родные призраки проносятся передо мною... Лиза смотрит на меня скорбно и сурово, и на этом бледном, исхудалом лице — огромные глаза... Она улыбается мне и настойчиво повторяет какое-то слово, которое

я не слышу... А Игнаша, весь прежний, ленинградский, смеется и кричит: «Я увижу солнце!.. Я полечу навстречу солнцу!..» И сердце мое сжимает тоска. «Будем надеяться, будем надеяться...» — сказал врач, и нельзя было понять по его подобревшей усмешке — утешал он меня без уверенности в исцелении Игнаши или сам был убежден, что глаза Игнаши прозреют, но из осторожности отвечал и мне и себе неопределенными словами: «Могучий организм... огромная сила воли!» Может быть, он давал мне понять, что надежда только на необыкновенную волю к жизни у Игнаши?.. Обрывки мыслей, отдельные слова вспыхивают, поют, переплетаются, тухнут, опять возникают и тревожат сердце. Игнаша протягивает ко мне руки в шрамах, с сизой кожей, мерцающей, как молочная пленка, и улыбается самому себе и куда-то вдаль. Сейчас он, может быть, бродит по палате и тянется к туманному рассвету... Он мечтает о близких днях, о солнце, о полетах... И во сне и наяву он будет жить верой в близкое счастье ослепительного воскресенья. Дорогие существа оторваны от меня... Может быть, навсегда?.. Они кричат мне из осажденного города, протягивают руки и требуют: мсти, от тебя зависит счастье нашего освобождения!.. Да, только мстить... всего себя воплотить в испепеляющей мести... Силы моей Лизы и моего старика слабеют. Я должен быть впереди, как гроза и защита... Лиза сурово борется на своем посту. Ей не страшны бомбежки и ежедневные обстрелы города. Она видит смерть на каждом шагу, смерть подстерегает ее всюду, но если бы пришлось ей погибнуть, она гордо и смело пошла бы навстречу гибели, как воин, как хорошая русская женщина, потому что в душе ее — огромная любовь. Ленинград — это отчизна, это — свет ее жизни, это — я, это — будущее. Но почему у меня так мучительно на душе? Почему такая смута в мыслях? Почему мне так тягостно?..

Я вздрагиваю и открываю глаза. Самолет падает, судорожно трепещет и бросается из стороны в сторону. За окном — непроглядная серая муть. Мне кажется,

что мы летим уже несколько часов. Молодые командиры уже не разговаривают, не смеются: они обмякли, погрустнели и скучно смотрят в окна. Кое-кто из них скорчился на ящиках и изнуренно дремлет.

В разрывах тумана я вижу коричневые обрывы, черные пятна льда на какой-то большой реке. Вихрями и шквалами бушует снегопад. На земле, очевидно, буран. Но видение мгновенно исчезает, и опять мы в сплошной седой мгле без измерений. Самолет делает крутой вираж: я это чувствую болезненно. К голове приливает кровь, и в висках — тяжелая боль. Ураган бросает машину, она кряхтит и прыгает.

Болтанка обессиливает меня, и я опять погружаюсь в бредовый полусон. И опять мелькают видения, опять сумбурно звучат слова и оборванные мысли. Время от времени я прихожу в себя. Белый ураган хлещет в окно, точно мы погружены в пучину молочного моря. Иногда эта белая мгла разрывается, и в бездне, среди вихрей снега, виднеется гора, покрытая лесом, или овражистые берега какой-то реки. Сколько же времени мы будем блуждать в этой буранной пустыне?..

Сознание туманилось, и я забывался. В таком полуобморочном состоянии находился я как будто несколько минут, но, очнувшись, я взглянул на часы и испугался: мы болтались в снежном урагане уже около шести часов. Белая мгла померкла и стала серо-голубой. Через час день угаснет, и мы погрузимся в ночь.

Тревога охватила всех пассажиров. Двое штатских молодых людей встали со своих мест и, шатаясь, подошли к командирам. Со страхом в глазах они что-то кричали им и размахивали руками. Командиры, переглядываясь, усмехались. Штатские, пожимая плечами, панически шагали обратно. Седой полный человек обернулся ко мне, и в заплывших его глазах заискрилась насмешка: вот, мол, попали в переделку!.. Как, мол, вы себя чувствуете, гражданин?.. Один из пожилых командиров, с ожесточенно-холодным лицом, точно взбираясь по наклонной плоскости, трудным

шагом прошел к кабине экипажа и, уверенно распахнув дверь, скрылся за нею. Все проводили его глазами и, не отрываясь, смотрели на дверь в напряженном ожидании. Седой человек опять обернулся ко мне, лукаво подмигнул и закивал на окно. Я сделал вид, что совсем не интересуюсь его настроением, и закрыл глаза. Сквозь рев пропеллеров я услышал, как хлопнула дверь и вместе с командиром вошел усатый и краснолицый летчик с выпуклыми глазами. Многие вскочили с мест и бросились к нему. Он остановился, сердито сдвинул густые брови и выразительным взмахом руки приказал сесть всем на места. Покрывая гул пропеллеров, он крикнул зычным баритоном, но голос его доносился как будто издалека:

— Не волнуйтесь, товарищи! Сидите спокойно! Я бывал и не в таких переделках.

И улыбнулся, показав два широких резца из-под густых усов. Он прокричал что-то еще, но я не разобрал его слов.

Такого состояния я не переживал ни на войне, когда водил свой танк в атаку на финнов под ураганным огнем, ни во время бомбежки нашего эшелона. Тогда я был одной из действующих сил и от меня зависел успех и наших атак, и спасение заводского оборудования. Теперь же я чувствовал что-то вроде обреченности: я был беспомощен, прикован к месту. Моя жизнь зависела от летчика, а жизнь летчика — от погоды, от бензобака, от тысячи неожиданных и неустранимых случайностей. Мы блуждали в непроглядном сумраке пурги, не зная, где находимся, не зная, что в бездне, под самолетом, — там, может быть, горы, леса, гранитные скалы, а может быть, и желанные поля... Стекла заливались молочно-грязной мутью, и мы ничтожной пылинкой носились в этом седом урагане. Даже плоскостей самолета не было видно. Мне чудилось, что пройдет несколько мгновений, и мы, не замечая падения, врежемся в землю или разлетимся в брызги на каменных нагромождениях. Погибнуть бесславно, бессмысленно прервать мою борьбу... мою боевую работу, в которой сейчас весь смысл моей жизни... Я сделал еще так мало... Обо-

рвать ее в тот момент, когда она только еще начинает разгораться. Выйти из боя, когда борьба широким размахом идет по всему фронту. А Лиза, а моя родная Лиза с Лавриком... Разве она вынесет этот удар?..

На мгновение я ощутил стремительное падение вниз. Мне стало дурно, я закрыл глаза. Самолет задрожал и запрыгал в судорожных порывах. Я услышал крики людей, глухие и далекие, и общую суматоху. С усилием открыв глаза, я увидел, как военные устремились к окнам. Даже толстяк прилип лицом к стеклу и жадно всматривался вниз. Черная полынья, как бездонная пропасть, неслась на нас с жуткой быстротой, все шире и шире разевая свою пасть. Она мгновенно поглотила нас, и мы сразу же очутились в прозрачном синем воздухе со снежными далями полей и холмов.

Когда я очухался и прилип к окну, совсем близко бурной метелью неслись талые пашни и задворки какой-то деревушки. Самолет несколько раз скользнул по земле, задребезжал, подскочил на воздух и сразу всей тяжестью налег на колеса. С непередаваемой радостью ощущал я милое громыхание шасси по колдобинам и комьям мерзлого поля, твердость родимой почвы, ласковые избы вдали и вечерние голубые косогорчики. Какое наслаждение потрясло меня, когда самолет застыл на месте! Все гурьбою кинулись к выходу, открыли дверь, сбросили трап и стали опрометью выскакивать на воздух. У меня дрожали ноги и руки, и я с трудом спустился на снег. Не останавливаясь, я пошел в молчаливый снежный простор, без цели, без направления, — просто так, чтобы почувствовать землю, скрипучий снег, устойчивую неподвижность мирных полей и уютных деревенских крыш за отлогим взгорком.

— Милая, родная земля!.. — шептал я. — Дорогая моя земля!..

И вдруг в душе стало светло, устойчиво и бодро: все бредовые видения и мысли растаяли, унеслись вместе с пургою и мутью.

Я остановился и оглянулся назад. Самолет стоял далеко, задрав голову и неподвижно распластав крылья. Около него толпились пассажиры. Уже смеркалось, и снежные дали переходили в фиолетовые сумерки. Небо было мутное, и тучи неслись очень низко. Хотя свежий снежок и скрипел под ногами, но здесь, должно быть, совсем не было того урагана, с которым мы боролись в этой чертовой вышине. Воздух был теплый, домашний, с запахом навоза и мокрой земли. Неподалеку от меня лениво шагала горбатая лошаденка и тащила за собой сани. Я побежал наперерез ей, чтобы узнать, где мы находимся. На санях сидел крестьянин в стареньком полушубке и смотрел мне навстречу с недоверчивой улыбочкой, спрятанной в реденькой бороденке.

Он сам остановил лошадь и первый же спросил:

— Это чего птица-то тут села? Из нее ты, что ли?.. Ерапланы в жизнь в наших местах не садились. Аль что приспичило?..

— Буря сюда занесла. До города-то далеко отсюда?

— Вота-а!.. — засмеялся он. — Ну и сморозил тоже! Хо! До города-то едешь, едешь — глаза вылупишь.

— Нет, без шуток...

— А без шуток — так: иди по этой дороге, она тебя к вокзалу приведет. До города-то, по нашему счету, верст пятьдесят будет.

— Нельзя ли лошадку с вашей помощью нанять?

— Вот-а чудак какой? Какая теперь лошадка? Война! Лошадка теперь не гладка. На своих на двоих дешевше... ответственней... Но-но, ты, сивая-ковурая!..

И колхозник ударил вожжами по сухому крупу лошади.

Я возвратился к самолету, но никого из пассажиров не застал: все ушли ночевать в деревню.

Я влез в самолет, взял свой чемоданчик и простился с экипажем: в деревню не пошел, а решил добраться до вокзала.

22

В кромешной тьме доплелся я кое-как до маленькой станции, сел в товарник и в час ночи уже был дома.

Моя холостая комната показалась мне бесконечно родной и уютной: она встретила меня ласково, как живая. Она дышала моими тревогами, она хранила все мои мысли и радости. Со стены смотрели на меня Лиза с Лавриком, хмурился мой старик и грустно улыбалась мать. А Игнаша как будто даже подмигнул мне: вот, мол, я тоже здесь, с тобою!.. На столе лежали груды книг и толстая папка записок.

Как кровно родного, встретила меня Аграфена Захаровна. Даже в сумраке прихожей видно было, что она покраснела от удовольствия. Казалось бы, чего ей так радоваться! Ведь я не был дома только четыре дня. Причудливая вещь душа хорошего человека! Пропадай я хоть целую неделю в своем цехе, эта женщина не взволнуется. Но стоило уехать куда-то в Казань и сразу же возвратиться, она уже встречает меня, как после долгой разлуки.

Не успел я войти в комнату, как она принесла мне целый ворох писем и газет. Я выхватил их из ее рук и стал жадно разбирать.

— А вы не волнуйтесь, Николай Прокофьич. Письмо-то из Ленинграда наверху было. Зачем вы его отбросили?

Письмо было необычно короткое, и это почему-то испугало меня. Что-то в этом листике, написанном с двух сторон, было суровое, как окрик. Я даже смущенно оглянулся, боясь, как бы Аграфена Захаровна не догадалась, что мне не по себе. Но в комнате ее уже не было.

«Родной мой! — читал я, дрожа всем телом. — Получила твои телеграммы, а потом — два письма, но долго не отвечала на них — сознательно не отвечала. Мне кажется, что за это время ты мог многое передумать, многое понять и не осуждать меня. Выехать из Ленинграда я не могу и не хочу. Оставить многостра-

дальный город, который борется за свою жизнь и за жизнь страны, — город, где я родилась, где прошла вся моя жизнь, — это значит малодушно уйти в сторону от борьбы. Разве ты сам оставил бы добровольно наш мужественный Ленинград? Разве ты не рвешься сюда, чтобы грудью пробивать блокаду? Но ты и там, на Урале, бьешься на переднем крае обороны. Ты работаешь за двадцать, за тридцать человек. Ты выполняешь великое задание страны. Тебя знает весь народ. А мой священный долг, как рядового воина, оставаться здесь до конца.

Я люблю тебя какой-то новой, огромной любовью, и во имя этой любви я всю себя отдаю любимому городу. Самое трудное пройдено: блокада прорвана с Ладожского озера. Страна снабжает нас хлебом, оружием, техникой. Тысячи машин курсируют по льду озера, несмотря на вражескую бомбежку. Наши соколы дружно очищают небо от немецких коршунов. Идут жестокие бои, и мы уверены, что блокада скоро будет прорвана окончательно.

Как я счастлива, что Игнаша воскрес! Старик наш хоть и ослабел, но, когда узнал, что Игнаша жив, высоко поднял голову и сказал: «Не удивляюсь: Шароновы — удачливы, потому что смекалисты и никогда не теряются». Лаврик велит передать тебе, что он тоже герой Ленинграда. Всегда с тобой. Твоя Лиза».

В этом письме — вся моя Лиза. Эта нежная строгость ее слов вызвала не огорчение, а стыд за себя и гордость за нее. Так именно она и должна была поступить.

В письмах из разных городов Союза рабочие и работницы, старики и юнцы требуют совета, дают обязательства, вызывают на соцсоревнование... В областной газете появились открытые письма фрезеровщиков, токарей и лекальщиков других заводов края. В этих письмах они с дружеской теплотой приветствуют меня и сообщают о своих победах и достижениях. Они выражают желание немедленно приступить к обмену опытом. «Нас много, — пишет один из них с явным задором, — и все страстно добиваются новых

и новых рекордов. У нас уже целый ряд изобретений, и мы применяем такие приспособления, что тебе, товарищ Шаронов, увидеть и изучить их не бесполезно. Мы с интересом следим за твоей работой. Надеемся, что и ты знаешь наши имена. Так давай же, дорогой товарищ, поведем дальше на бой нашу молодежь. Поддержим наступление наших красных воинов и рядом с ними еще крепче будем разить фашистскую сволочь упорной борьбой на трудовом фронте».

Только в эти дни я почувствовал, как грозна сила ответственности. Мне было и страшновато и радостно. Но в то же время я ощущал себя богаче и сильнее, чем раньше. За эти полгода наш двуединый завод вместо двух-трех машин в сутки выпускает уже целые вереницы танков и самолетов. Мы рьяно браним себя на каждом производственном совещании, на каждой заводской конференции, и постороннему человеку могло бы показаться, что мы завязли в недостатках, что работаем плохо и вообще не умеем работать. Но на самом деле каждый день — это напряженная битва за новые и новые высоты. И каждый рабочий, вплоть до подростка, — это боец, который рвется на переднюю линию огня. Война и здесь дышит в каждом уголке, в каждом сердце и родит героев.

Утром я побежал на завод. Еще издали приветствовал он меня своими огромными корпусами, высоченными трубами, выдыхающими черный дым, градирнями в облаках пара, и я остро и глубоко почувствовал невыразимую любовь к нему: ведь он часть моего родного города, это мой дом, мой мир, моя боевая крепость. Ревели в вышине серебристые стаи самолетов, и откуда-то из недр завода доносился металлический рокот танков, и в этой музыке боевых машин гремела буря нашей ненависти, гнева и мести, наша сила и великая уверенность в победе.

У подъезда заводоуправления я встретил Петю. У него блестели глаза, и он смеялся от восторга.

— Понимаешь, как чудесно, что я тебя встретил, Коля! Только ты и нужен мне в эту минуту. Как быстро ты возвратился! Ну, как Игнаша?

И, не слушая моего ответа, он торопливо, перебивая самого себя, говорил:

— У меня необычайное событие... Ну, как тут не поверишь в чудеса!..

— Я тоже дня два жил в мире чудесного, Петя.

— Ты пойми, Колька! Моя Наташа... Я пришел к ней вчера, и она впервые кинулась ко мне на грудь и заплакала... «Петя, Петя, кричит, ты живой!.. Возьми меня отсюда, возьми сейчас же!..» А я не чувствую себя от потрясения. Понимаешь ли ты, что это значит?

— Я понимаю, Петя. Это — большое счастье. Я же говорил тебе, и это случилось... А моя Лиза остается в Ленинграде: для нее вся жизнь — там. Это — ее долг и счастье. Игнаша ослеп, но ему кажется, что он видит рассвет. Он весь в мечте о солнце, о будущих полетах и радуется, как ребенок.

— Да, да, Коля, я это очень хорошо чувствую: я сам как ребенок.

Он быстро зашагал к проходной, размахивая руками, а я вошел в цех.

Вдали, на широкой площади между корпусами, стояли крылатой серебряной толпой самолеты. Их вывели из сборочного цеха и выстроили рядами для испытательных полетов. Эти пернатые машины неотразимы и сокрушительны. Немцы в страхе прозвали их «черной смертью». Да, эти страшные птицы поливают их «черной смертью» отовсюду — и из кабин и из крыльев. В каждой из них — живая частица моей души, и мне чудилось, что они приветствуют меня издали и трепещут крыльями.

Из широченных ворот двух противоположных цехов с грохотом и лязгом выползали в переулок танки. Слева — средние, справа — тяжелые. Все они голубые, глянцевые. Они играли своими колесами и стальной бахромой гусениц. Длинные стволы пушек грозно целились вперед, высовываясь из литых башен. На броне стояли танкисты и рабочие. Они что-то кричали друг другу и махали руками. Танки становились в ряды и загромождали переулок. Это родилась очередная сменная партия, готовая к бою. В этих машинах тоже во-

плотились, как в кристаллах, мои искания и мои боевые победы. Здесь всюду — дыхание войны: и грохот танков, судорожно рвущихся вперед, и трепет самолетов в небесах, и гулы завода... И я чувствовал, что я такой же боец, как и эти танкисты и летчики, опаленные битвами.

Родная моя страна, мать моя! Вся моя жизнь, все мои помыслы принадлежат только тебе...

1942—1943

ПРИМЕЧАНИЯ

Березовая роща. — Повесть написана в Москве в 1940 году. Впервые опубликована в журнале «Новый мир», 1941, № 3. Вошла затем в сборник «Избранное» (Гослитиздат, 1948) и в третий том Собрания сочинений Ф. В. Гладкова, выпущенного Гослитиздатом в 1951 году. Второе и третье издания отличаются от первого рядом дополнений и стилистических изменений, необходимых для психологического углубления образа главного героя — старого учителя Мартына Мартыновича. Так, в новую редакцию повести внесена сцена посещения Мартына Мартыновича его учениками, вместе с которыми он посадил и вырастил чудесную березовую рощу. Эта сцена подчеркивает огромное значение воспитательно-творческой работы учителя, углубляет смысл живой связи его с молодежью.

«Березовая роща» вышла в свет за несколько месяцев до Великой Отечественной войны. Появление этой повести накануне войны с гитлеровской Германией было особенно своевременным.

По словам Гладкова, в основу «Березовой рощи» лег действительный факт, который оставил в его душе глубокий след. В одном из городов Центральной России еще до Октябрьской революции появился молодой учитель, неукротимый борец за украшение жизни. Вместе со своими учениками он вырастил великолепную березовую рощу в окрестностях города, а в школьном саду — обильно приносящие плоды фруктовые деревья. Гладков впоследствии узнал, что этот учитель умер глубоким стариком, неутомимо продолжая любимое дело.

«Березовая роща» — произведение, которое сам писатель очень любил. Здесь много личных переживаний и впечатлений, отчего образ Мартына Мартыновича особенно лиричен.

Сердце матери. — Повесть до настоящего издания выходила под названием «Мать». Писатель начал работу над нею в Свердловске и закончил в Москве в 1942 году. Впервые опубликована в журнале «Новый мир», 1942, № 11—12. Эпиграфом к повести взяты слова Н. А. Некрасова: «Великое, святое слово: мать..»

Над повестью «Сердце матери» Гладков продолжал работать и после первой ее публикации.

Текст второй редакции (сборник повестей и рассказов «Опаленная душа», изд. «Советский писатель», 1943) во многом отличается от первой: глубже, ярче раскрыты здесь образы Натальи Степановны и дочери ее Сони. Вставлен новый эпизод с фотокорреспондентом, подчеркивающий скромность, внутреннее достоинство Натальи Степановны, ее отвращение к позе, к напыщенной театральности.

В дальнейших переизданиях повести (Сб. «Избранное», Гослитиздат, 1944 и 1948, и третий том Собрания сочинений, 1951) Гладков вносит ряд изменений и уточнений.

Боец Назар Суслов. — Повесть написана в Свердловске в 1942 г. Впервые опубликована в журнале «Октябрь», 1942, № 11. Подзаголовок — «Из записей раненого политрука» — внесен во вторую публикацию повести — в сборнике «Опаленная душа» («Советский писатель», 1943); в журнальном тексте стояло лишь обозначение жанра — «повесть».

Подзаголовок внесен не случайно: во второй и в последующей публикации («Избранное», Гослитиздат, 1944, и третий том Собрания сочинений, 1951) Гладков стремится придать произведению все более лирический характер, глубже, естественнее, непосредственнее раскрыть и переживания раненого политрука и душу рядового русского бойца Назара Суслова.

Во всех произведениях Гладкова поэзия народных характеров выражается прежде всего в любви к труду и в умении работать; писатель показывает значение труда в формировании воинствующего, революционного характера — «человек трудом делается». Изображая эпизоды из будней Великой Отечественной войны, Гладков и здесь раскрывает эту же тему. Жизнь Назара Суслова на войне — это труд, работа, напряжение всех сил ума, чувства, воли, чтобы ковать, творить победу. Писатель для второго издания усиливает в этом плане характеристику Назара: «...по-деревенски заботливо подносил снаряды, и

в лице его, коричнево-красном, с рассудительно трезвыми глазками, я не замечал никакого волнения и страха. Во время этой работы он даже находил секунду высморкаться и вытереть нос». И затем: «Назар продолжал работать, точно и боя не было: убирал и укладывал ящики. Потом пошел куда-то в сторону, наклонился, поднял под мышки бойца с окровавленной головой». Очень характерна в этом отношении и сцена, где Назар предлагает бойцам соорудить шалаш так хорошо и ладно, чтоб ни одна капля дождя внутрь не попала: «Ребятки, — ласковым фальцетом пригласил их Назар, — давайте-ка колхозом?.. Все за одного, один — за всех. Очень даже хорошо. Осинки шумят, о любви говорят... Отличный барак будет: поспят бойцы, поедят, душу успокоят, а там и опять за работку».

Малашино счастье. — Рассказ написан в Свердловске в 1942 году. Впервые опубликован под названием «Малкино счастье» в сборнике «Говорит Урал» (Свердловск, Свердлгиз, 1942).

Как и все произведения военного цикла, рассказ этот написан лирично, проникновенно и ведется от первого лица (в данном случае от имени специального корреспондента). В подзаголовке обозначено: «Из записок специального корреспондента». Рассказ был опубликован в сборнике повестей и рассказов «Опаленная душа» (изд-во «Советский писатель», 1943), а затем, с некоторыми изменениями в тексте, под названием «Малашино счастье», вошел в третий том Собрания сочинений, 1951 год.

Опаленная душа. — Рассказ под этим названием был помещен в газете «Известия» в 1942 году, № 165, 16 июля.

В сборнике «Опаленная душа» («Советский писатель», 1943) вместе с рассказом «Потомственный» вышел под общим заглавием «Старики» и составил вторую подглавку этого произведения. Два рассказа, близкие по сюжету, несколько повторяли друг друга, и для настоящего издания автор взял только текст «Потомственного», дав ему название «Опаленная душа» и вставив в него кое-какие художественные детали из прежнего рассказа «Опаленная душа».

Маша из Заполья. — Рассказ написан в Свердловске и впервые опубликован в сборнике «Клятва» в 1944 году издательством «Советский писатель».

С небольшими изменениями в тексте рассказ вошел в третий том Собрания сочинений, 1951, и в сборник «Рассказы советских писателей», т. 1 (Гослитиздат, 1952).

Сильнее смерти. — Впервые опубликовано в «Литературной газете» 10 августа 1957 года, № 96, с подзаголовком: «Отрывок из неоконченной повести».

Публикуемый отрывок был написан в 1943 году. Повесть не была закончена, так как другие творческие планы отвлекли внимание писателя.

Если сравнить напечатанный отрывок с рукописью, то мы обнаружим некоторые изменения в тексте, которые уточняют психологический рисунок образов основных героев произведения — мальчика-подростка Юрки и обожженного страданиями войны стойкого борца-патриота Бабякина.

Клятва. — Повесть впервые опубликована в журнале «Октябрь», 1944, №№ 1—2 и 3—4, с подзаголовком: «Записки фрезеровщика Николая Шаронова».

В первые годы войны Гладков, живя на Урале, близко соприкасается с жизнью оборонных заводов, знакомится с новаторами производства.

В 1941—1942 годах писатель печатает в газетах «Известия» и «Правда» цикл очерков: «Чуткое сердце», «Живой ток», «С огнем в душе», «Вдохновенные мастера», «Новое в труде» и другие. Само название очерков о тружениках тыла говорит о величайшем подъеме, горячем вдохновении, живой силе новаторства. Очерки носят документальный характер: перед нами живые, подлинно существующие люди, мастера-рационализаторы уральских заводов: Попов, Иванов, Босой и другие герои труда.

Повесть «Клятва» написана на основе этих очерков.

Гладков продолжает работать над текстом повести и после публикации ее в журнале «Октябрь». В следующем издании (сборник повестей и рассказов «Клятва», «Советский писатель», 1944) Гладков вносит ряд изменений и дополнений, из которых особенно интересна страничка, поэтически подтверждающая мысль о величии, красоте человеческого гения, создающего новую технику, новые машины: «В нашей литературной критике

иногда раздавались голоса, что невозможно поэтизировать машины и те вещи, которые производит человек с помощью этих машин, что поэтизация машин обезличивает человека и превращает его в придаток механизмов. Но это утверждали люди, которые не имели понятия о глубокой и величественной красоте механизмов, об их изумительной жизни и волшебной согласованности их движений. Эти движения прекрасны, как человеческий организм, потому что эти механизмы — чудесное создание человеческого гения».

В издании 1948 года (сборник «Избранное», Гослитиздат) особого внимания заслуживают изменения и дополнения, касающиеся писем Лизы — жены Шаронова. Гладков стремится здесь глубже раскрыть величайшие испытания, которые выпали в годы войны на долю советских людей.

В главе первой в письмо Лизы вставлен эпизод о трудностях ленинградской зимы 1941—1942 года, который характеризует стойкость и мужество советских людей, глубину их патриотического чувства, всепокоряющую любовь к родине.

В главу тринадцатую вставлено новое письмо жены Шаронова, в котором более конкретно раскрывается трагический быт Ленинграда в январе 1942 года и сообщается о несчастии с братом Николая Шаронова, который вылетел с эскадрильей штурмовиков на боевое задание и не вернулся.

Это письмо, вопреки испытаниям, о которых в нем говорится, проникнуто глубоким оптимизмом, верой в победу, гордостью за стойкость, благородное мужество советских людей.

СОДЕРЖАНИЕ

Федор Васильевич ГЛАДКОВ

Собрание сочинений, т. 5

Редактор *А. Ноткина.* Художественный редактор *Ю. Боярский.*
Технический редактор *Т. Гончарова.* Корректор *Л. Чиркунова.*

Сдано в набор 1/IX 1958 г. Подписано в печать 26/XI 1958 г. Бумага 84 ×108[1]/[32].
14,38 печ. л.=23,58 усл. печ. л., уч.-изд. л. 22,14 Тираж 75 000 экз. Зак. № 3440.
Цена 8 р. 50 к.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза. Ленинград,
Измайловский пр., 29.


3р.50к.